3 1761 03571 5440

Presented to
The Library
of the
University of Toronto
by
Professor B.E.Shore

Defective copy

Tracks title-page
and pp. i-iv, 15-16, 47-50, 57-60,
65-66, 79-80, 95-96, 113-114,
127-128, 159-160, 175-176,
193-194

Goethe, Johann Wolfgang von
V
47282/24.3.48
[Собраніе сочиненій Гёте въ переводѣ русскихъ писателей; сост. Н. В. Гербель. 2. изд. подъ ред. Петра Вейнберга.] [1892]

ОТЪ РЕДАКЦІИ ВТОРОГО ИЗДАНІЯ.

Настоящее изданіе, редактированное нижеподписавшимся по приглашенію наслѣдниковъ покойнаго Н. В. Гербеля, представляется публикѣ въ очень значительно дополненномъ и исправленномъ видѣ.

Дополненія заключаются въ слѣдующемъ. *Во-1-хъ*, къ біографіи Гёте (которою замѣнена бывшая въ первомъ изданіи и которая, въ фактическомъ отношеніи, составлена по англійскому сочиненію Займа) прибавлено написанное редакторомъ введеніе, гдѣ кратко излагается исторія нѣмецкой поэзіи отъ конца тридцатилѣтней войны, для уясненія тѣхъ *новыхъ* элементовъ, которые внесъ въ эту поэзію Гёте. Сверхъ того, къ біографіи присоединены, въ видѣ приложенія, двѣ принадлежащія перу знаменитыхъ спеціалистовъ, характеристики Гёте, какъ дѣятеля въ области естествознанія и изящныхъ искусствъ.— *Во-2-хъ*, всякому произведенію будетъ предшествовать „вступленіе“, излагающее кратко фактическую исторію созданія его и характеристику съ художественной стороны. (Присоединенное къ помѣщеннымъ въ настоящемъ первомъ томѣ лирическимъ стихотвореніямъ вступленіе относится, конечно, не къ каждому изъ этихъ послѣднихъ въ отдѣльности, а ко всему отдѣлу).—*Въ-3-хъ*, въ случаяхъ надобности, произведенія будутъ снабжаться частными примѣчаніями; примѣръ таковыхъ читатель найдетъ уже въ первомъ томѣ, гдѣ почти ни одно лирическое стихотвореніе не оставлено безъ объяснительнаго примѣчанія—*Въ-4-хъ*, сюда войдутъ нѣкоторыя произведенія, никогда не бывшія въ русской печати и переведенныя собственно для нашего изданія, а равно и такія, которыя въ первомъ изданіи помѣщены не были. Въ первомъ томѣ такимъ образомъ напечатаны: а) *Переведенныя на русскій языкъ въ первый разъ стихотворенія*: Когда я

былъ въ Саарбрюкенѣ [1]); Новый Амадисъ; Кристель; Пѣснь Странника въ бурю; Кубокъ; Мысль при видѣ Шиллерова черепа; Раскаянье Мельничихи; Вліяніе Издали; Могучая Неожиданность; Сказано—сдѣлано; Дѣвушка; Разлука; Предостереженіе; Дѣвушка и Поэтъ; Свиданіе; Новый Павзій и Цвѣточница [2]); Уединеніе; Сельское Счастье; Священное Мѣсто; Паркъ; Мѣра Времени; Учители; Сакунтала; Орфическія Слова; Завѣщаніе; Тайна; Къ Зюлейкѣ; Къ Зюлейкѣ (bis); Приди, мой другъ, и роскошью тюрбана; Поэтъ и Виночерпій; Къ Гафизу; Чтобъ всѣ относились къ тебѣ осторожно; Похвалъ герою не жалѣетъ; Тимуръ! Ты говоришь, что такъ утратилъ много; Застольная Пѣсня; Vanitas! Vanitatum Vanitas! (37 стихотвореній); б) *Не вошедшія въ первое изданіе изъ переведенныхъ уже послѣ появленія его*: Степная Розочка; Паркъ Лили; Молодой дворянинъ и мельничиха; Подмастерье и мельничный ручей; Міровая Душа; Диллетантъ и Критикъ; Рецензентъ; Писатели (8 стихотвореній).—Въ послѣдующихъ томахъ настоящаго изданія будутъ помѣщены между прочимъ въ первый разъ собственно для него переведенныя: драматическій отрывокъ „Пандора“, Изреченія въ прозѣ, статьи Гёте по литературѣ и искусству и др.

Что касается до *измѣненій и исправленій*, то укажемъ на слѣдующія. *Во-1-хъ*, въ печатаніи принята строгая система, именно: А) Всѣ произведенія печатаются въ хронологическомъ порядкѣ, при чемъ, такъ какъ Гёте писалъ иныя (и печаталъ отрывками и частями) въ продолженіе многихъ лѣтъ, то для хронологическаго порядка приняты нами годы, когда данное произведеніе было совершенно окончено. Стихотворенія лирическія, хотя писавшіяся въ разное время, во все продолженіе жизни поэта, соединены вмѣстѣ въ одномъ отдѣлѣ, такъ какъ разсѣяніе ихъ по всѣмъ томамъ оказалось бы весьма неудобнымъ и неблагопріятнымъ относительно цѣльности впечатлѣнія; но въ каждой изъ группъ, на которыя раздѣленъ отдѣлъ, стихотворенія помѣщены тоже въ порядкѣ хронологическомъ. Б) По груп-

[1]) Касательно этого стихотворенія считаемъ необходимымъ замѣтить, что уже по отпечатаніи листа, гдѣ оно находится, познакомились мы съ тѣми изслѣдованіями, которыми въ недавнее время доказана принадлежность этого стихотворенія не Гёте, которому оно всегда приписывалось, а его современнику, молодому поэту Ленцу, влюбившемуся въ Фредерику уже послѣ ея разлуки съ Гёте. Въ заглавіи ошибка: вмѣсто „когда я *былъ*“, должно быть „когда я *была*“, такъ какъ эти слова были надписаны самою Фредерикою на рукописи, данной ей Ленцомъ, для обозначенія времени, когда были сочинены эти стихи.

[2]) Въ первомъ изданіи это стихотвореніе было помѣщено въ вольномъ пересказѣ А. Н. Майкова.

памъ (Пѣсни, Смѣшанныя Стихотворенія, Баллады и т. д.),—стихотворенія лирическія распредѣлены такъ, какъ распредѣлилъ ихъ авторъ, при чемъ удержаны и данныя имъ же заглавія этихъ группъ. — *Во-2-хъ*, текстъ многихъ переводовъ провѣренъ съ подлинникомъ, и сдѣланы исправленія тамъ, гдѣ замѣчены существенныя ошибки, недосмотры и т. п.

Въ послѣднемъ томѣ изданія будутъ помѣщены еще: а) списокъ *всѣхъ* произведеній Гёте, появившихся въ печати до настоящаго времени (какъ беллетристическихъ, такъ и другихъ) съ обозначеніемъ годовъ ихъ появленія, и краткими объяснительными примѣчаніями; б) перечень всѣхъ лучшихъ сочиненій для изученія жизни и литературной дѣятельности Гёте; в) общій алфавитный указатель для настоящаго изданія.

Петръ Вейнберъ.

С.-Петербургъ.
Августъ, 1891 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕРВАГО ТОМА.

стр.

Предисловіе.
Гёте, его жизнь и литературная дѣятельность. 1

ЛИРИЧЕСКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.

Посвященіе. Ѳ. Миллера. 53

ПѢСНИ.

Брачная ночь. Н. Холодковскаго. 59
Перемѣна. Ѳ. Тютчева. . . . . —
Обманчивая смерть. Н. Холодковскаго. 60
Чудная ночь. Н. Гербель. . . . . —
Свиданіе и разлука. М. Каткова. . . . . —
Когда я былъ въ Саарбрюкенѣ. П. Вейнберга. 61
Осеннее чувство. М. Михайлова. 62
Степная розочка. П. Вейнберга. . . . . —
Привѣтствіе духа. Ѳ. Тютчева. 63
Новый Амадисъ Н. Холодковскаго. . . . . —
Блаженство грусти. М. Михайлова. 64
Вечерняя пѣсня охотника. М. Михайлова. . . . . —
Новая любовь, новая жизнь. М. Михайлова. 65
На озерѣ. А. Фета. . . . . —
Съ горы. А. Соколовскаго. 66
Къ Белиндѣ. А. Соколовскаго. . . . . —
Къ золотому сердечку, носившемуся на шеѣ. А. Соколовскаго 67
Кристель. П. Вейнберга. . . . . —
Ночная пѣсня странника (1-я) М. Михайлова. 68
Къ мѣсяцу. В. Жуковскаго. . . . . —
Ноябрьская пѣсня. Н. Холодковскаго. 69
Ночная пѣсня странника (2-я) М. Лермонтова. 70
Счастье и сонъ. Ѳ. Миллера. . . . . —
Близость. М. Михайлова. . . . . —
Къ отсутствующей. Ѳ. Миллера. 71
Первая потеря. М. Михайлова. . . . . —
Близость милаго. М. Михайлова, ... —
Морская тишь. М. Михайлова. 72
Счастливое плаванье. М. Михайлова.. . . . . —

стр.
Прощаніе. Ѳ. Миллера. 72
Жалоба пастуха. Ѳ. Миллера. 73
Обманъ. М. Михайлова. 74
Ночная пѣснь. Н. Холодковскаго. . . . . —
Горный замокъ. Ѳ. Миллера. 75
Утѣшеніе въ слезахъ. В. Жуковскаго. 76
Подмастерье ювелира. Н. Холодковскаго. 77
Настоящее. А. Яхонтова. 78

СМѢШАННЫЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.

Пѣсня странника въ бурю. Н. Холодковскаго. 81
Пѣсня Магомета. А. Струговщикова. 83
Орелъ и Голубка. В. Жуковскаго. 84
Дядѣ Кроносу. Н. О. 86
Паркъ Лили. П. Вейнберга. 87
Плаваніе. Н. Холодковскаго. 91
Зимняя поѣздка на Гарцъ. Н. Холодковскаго. 92
Ганимедъ. А. Кронеберга. 94
Пѣснь духовъ надъ водами. Ѳ. Арефьева. . . . . —
Моя Богиня. В. Жуковскаго. 95
Границы человѣчества. М. Михайлова. 99
Лидѣ. Н. Гербеля. 100
Ночныя мысли. Ѳ. Миллера. . . . . —
Кубокъ. П. Вейнберга. . . . . —
Божественное. А. Григорьева. 101
Къ непреклонной. Ѳ. Миллера. 102
Посѣщеніе. Н. Гербеля. 103
Утреннія жалобы. Ѳ. Миллера. 104
Царская молитва. Н. Гербеля. 105
Въ полночный часъ. Н. Холодковскаго. 106
Всегда и вездѣ. А. Бестужева. . . . . —
Мысли при видѣ Шиллеровскаго черепа. Н. Холодковскаго. . . . . —

БАЛЛАДЫ.

Невѣрный юноша. Н. Холодковскаго. 111
Царь Ѳульскій. М. Загорскаго. 112
Передъ судомъ. М. Михайлова. 113
Рыбакъ. В. Жуковскаго. . . . . —
Крысоловъ. Ѳ. Миллера. 114
Лѣсной Царь. В. Жуковскаго. 115
Пряха. М. Михайлова. . . . . —
Кладокопатель. Ѳ. Миллера. 116
Молодой дворянинъ и мельничиха. П. Вейнберга. 117
Подмастерье и мельничный ручей. П. Вейнберга. 118
Измѣна мельничихи. Ѳ. Миллера. 120
Раскаянье мельничихи. Н. Холодковскаго. 122
Ученикъ чародѣя. Н. Холодковскаго. 124
Богъ и баядера. Графа А. Толстого 126
Коринѳская невѣста. Графа А. Толстого. 128
Чудесный цвѣтокъ. Ѳ. Миллера. 133
Свадебная пѣсть. Ѳ. Миллера. 135

стр.
Странникъ и мызница. Ѳ. Миллера. 137
Свадебная поѣздка рыцаря Курта. Ѳ. Миллера. 139
Вліяніе издали. Н. Холодковскаго. 140
Пляска мертвецовъ. Н. Холодковскаго. 141
Блуждающій колоколъ. Н. Гербеля. 142
Вѣрный Эккартъ. Ѳ. Миллера. 143
Баллада объ изгнанномъ и возвращенномъ графѣ. Н. Холодковскаго. . . 144
Парія. Ѳ. Миллера. 146
Мужъ и жена. Ѳ. Миллера. 151

СОНЕТЫ.

Могучая неожиданность. Н. Холодковскаго. 155
Милая встрѣча. Н. Холодковскаго. . . . . —
Сказано—сдѣлано. Н. Холодковскаго. 156
Дѣвушка. Н. Холодковскаго. . . . . —
Разлука. Н. Холодковскаго. . . . . —
Предостереженіе. Н. Холодковскаго. 157
Дѣвушка и поэтъ. Н. Холодковскаго. . . . . —

ЭЛЕГІИ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

РИМСКІЯ ЭЛЕГІИ.

Первая. Ѳ. Миллера. 161
Вторая. Ѳ. Миллера. . . . . —
Третья. Н. Гербеля. 162
Четвертая. Ѳ. Миллера. . . . . —
Пятая. А. Яхонтова. 163
Шестая. В. Крестовскаго. . . . . —
Седьмая. Ѳ. Миллера. 164
Восьмая. Н. Гербеля. 165
Девятая. Н. Гербеля. . . . . —
Десятая. Н. Гербеля. . . . . —
Одиннадцатая. Н. Гербеля. 166
Двѣнадцатая. И. Тургенева. . . . . —
Тринадцатая. Н. Холодковскаго. 167
Четырнадцатая. Н. Гербеля. 168
Пятнадцатая. Н. Холодковскаго. . . . . —
Шестнадцатая. Н. Гербеля. 169
Семнадцатая. Н. Гербеля. . . . . —
Восемнадцатая. Н. Гербеля. 170
Девятнадцатая. Н. Холодковскаго. . . . . —
Двадцатая. Н. Гербеля. 171

КНИГА ВТОРАЯ.

Свиданье. Н. Холодковскаго. 172
Алексисъ и Дора. Ѳ. Миллера. 173
Аминтъ. Ѳ. Миллера. 176
Евфрозина. Ѳ. Миллера. 177
Новый Павзій и цвѣточница. Н. Холодковскаго. 180

стр.

ПОСЛАНІЯ.

Первое. А. Яхонтова. 187
Второе. А. Яхонтова. 189

ВЕНЕЦІАНСКІЯ ЭПИГРАМЫ.

Сто четыре. А. Яхонтова. 195

ИСКУССТВО.

Странникъ. В. Жуковскаго. 213
Утренняя пѣснь художника. Н. Гербеля. 218
Вечерняя пѣснь художника. Ѳ. Миллера. 220
Капля нектара. А. Струговщикова. . . . . —
Амуръ-живописецъ. И. Крешева. 221
Пѣснь художника. Н. Холодковскаго. 222

ВЪ АНТИЧНОЙ ФОРМѢ.

Уединеніе. Н. Холодковскаго. 227
Сельское счастье. Н. Холодковскаго. . . . . —
Священное мѣсто. Н. Холодковскаго. . . . . —
Паркъ. Н. Холодковскаго. 228
Братья. М. Михайлова. . . . . —
Сознанное счастье. А. Струговщикова. . . . . —
Избранный утесъ. М. Михайлова. . . . . —
Сладкія заботы. М. Михайлова. . . . . —
Земледѣльцу. М. Михайлова. 229
Филомела. М. Михайлова. . . . . —
Могила Анакреона. М. Михайлова. . . . . —
Извиненіе. Н. Гербеля. . . . . —
Предостереженіе. А Струговщикова. . . . . —
Мѣра времени. Н. Холодковскаго. 230
Неравный бракъ. М. Михайлова. . . . . —
Учители. Н. Холодковскаго. . . . . —
Сакунтала. Н. Холодковскаго. . . . . —
Аполлонъ и Гермесъ. Ѳ. Миллера . . . . . —
Зеркало Музы. Н. Холодковскаго. 231
Китаецъ въ Римѣ. М. Михайлова. . . . . —

БОГЪ И МІРЪ.

Метаморфоза растеній. Н. Холодковскаго 235
Міровая душа. Кн. Д. Цертелева. 237
Орфическія слова. Н. Холодковскаго 238
Метаморфоза животныхъ. Н. Холодковскаго 239
Ззвѣщаніе. Н. Холодковскаго 240

ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВАНЪ.

Тайна. Н. Холодковскаго. 245
Къ Зюлейкѣ. Н. Холодковскаго. 245
Приди, мой другъ... Н. Холодковскаго 246

стр.
Зюлейка Гатему. А. Бестужева. 247
Зюлейка и Гатемъ. Ѳ. Миллера. . . . . —
На гроздъ плодовъ зеленый. Н. Холодковскаго. 248
Поэтъ и Виночерпій. Н. Холодковскаго. . . . . —
Будь любезная далеко. А. Бестужева. 249
Къ Гафизу. Н. Холодковскаго. . . . . —
Чтобъ всѣ относились къ тебѣ осторожно. Н. Холодковскаго. . . . . —
Похвалъ герою не жалѣетъ. Н. Холодковскаго. . . . . —
Отчего вездѣ, повсюду посреди людей. Н. Холодковскаго. 250
Слова Тимура. Н. Холодковскаго. . . . . —
Ты говоришь, что такъ утратилъ много. Н. Холодковскаго. . . . . —

ПѢСНИ ВЪ ДРУЖЕСКОМЪ КРУГУ.

Кофтская пѣсня. Ѳ. Миллера. 253
Застольная пѣсня. Н. Холодковскаго. . . . . —
Vanitas! Vanitatum Vanitas! Н. Холодковскаго. 255
Ergo Bibamus. Н. Холодковскаго. 256

ПАРАБОЛИЧЕСКОЕ И ЭПИГРАММАТИЧЕСКОЕ.

Различныя угрозы. Н. Гербеля. 261
Причина. Н. Холодковскаго. . . . . —
Дилетантъ и критикъ. П. Вейнберга. 262
Рецензентъ. П. Вейнберга. . . . . —
Писатели. П. Вейнберга. 263
Легенда. Н. Холодковскаго. . . . . —

Примѣчанія къ лирическимъ стихотвореніямъ. 265

ДРАМАТИЧЕСКІЯ СОЧИНЕНІЯ.

Капризы влюбленнаго. Пастушеская пьеса въ одномъ дѣйствіи. Переводъ А. Соколовскаго. 299
Совиновные. Комедія въ трехъ дѣйствіяхъ. Переводъ А. Соколовскаго. . 329

ГЁТЕ.

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

ВВЕДЕНІЕ.

Въ 1648 г. Германія подписала тотъ мирный договоръ, который положилъ конецъ страшной, губительной войнѣ, въ продолженіе цѣлыхъ тридцати лѣтъ истощавшей всѣ ея соки и отодвинувшей ее, въ политическомъ, общественномъ и культурномъ отношеніи, на много десятковъ, если не сотенъ лѣтъ назадъ. Извѣстные историческіе факты того времени,—между которыми, по ихъ пагубному значенію и вліянію, нужно поставить на первомъ планѣ громадное развитіе самаго крайняго абсолютизма, по примѣру Людовика XIV, и не менѣе сильнаго деспотизма церкви,—эти факты естественно должны были повлечь за собою умственное отупѣніе и нравственное паденіе народа, поставленнаго войною и въ ужасное матеріальное положеніе; не малую роль въ этомъ случаѣ сыгралъ и развратъ высшаго сословія, усилившійся особенно вслѣдствіе французскаго вліянія, проникнувшаго въ Германію въ громадныхъ размѣрахъ въ формѣ нравовъ, обычаевъ, модъ, языка и т. п. Такой ходъ дѣла естественно не могъ не оказаться самымъ неблагопріятнымъ образомъ на наукѣ, на умственной жизни вообще, которыя, впрочемъ, уже и до того, вслѣдствіе оборота, принятаго дѣломъ реформаціи, пришли въ очень плачевное положеніе. Какъ на знаменательное въ этомъ отношеніи явленіе можно указать—(что сдѣлалъ Геттнеръ въ своей Исторіи нѣмецкой литературы) на характеръ, принятый проникнувшимъ въ Германію возрожденіемъ и выразившійся въ преобладаніи, почти исключительномъ господствѣ мертвой, односторонней формы новолатинскаго стихотворства, въ измѣреніи всего грубымъ масштабомъ самой осязательной полезности. Въ этомъ случаѣ Германія (какъ справедливо замѣтилъ тамъ же Геттнеръ) представила рѣзкую противоположность съ Англіею, Нидерландами, Франціею, даже Италіею, Испаніею и Португаліею, которыя «въ концѣ XVI ст. были проникнуты блаженнымъ сознаніемъ побѣдоноснаго достиженія своихъ цѣлей», тогда какъ Германія — одна изъ всѣхъ странъ—«вслѣдствіе своего церковнаго и государственнаго упадка, была лишена такого великаго, общаго, проникшаго всю народную жизнь чувства. Въ тѣхъ

странахъ мы видимъ самостоятельную переработку элементовъ, привесенныхъ Возрожденіемъ — видимъ ее въ созданіяхъ Шекспира, Кальдерона, Рубенса, Рембрандта, Мурильо; въ Германіи всюду встрѣчаемъ только внѣшнюю подражательность, усиливавшуюся все болѣе и болѣе, и за которою наступила, наконецъ, потеря всякой самостоятельности и оригинальности въ области искусства». Послѣ войны всѣ эти явленія оставались во всей силѣ,—если еще не усиливались — и исторія германскихъ университетовъ той поры (да и довольно долго послѣ того) представляетъ чуть не сплошную картину лѣности, корыстолюбія, даже невѣжества профессоровъ,— полнаго господства мертвой quasi-учености, — преобладанія латыни, въ крайній ущербъ родному языку,—страшной ортодоксальной нетерпимости—и многаго еще въ этомъ же родѣ. Это было въ сферѣ науки, но не болѣе утѣшительное зрѣлище представляла литература вообще и поэзія въ частности. Французское вліяніе отразилось и здѣсь въ весьма значительной степени, выразившись, напримѣръ, распространеніемъ безобразно циническихъ и по содержанію, и по формѣ произведеній въ стихахъ и прозѣ, писавшихся главнымъ образомъ для высшаго сословія, и на которыя авторы, судя по предисловіямъ, смотрѣли, какъ на совершенно невинныя, несмотря на то, что многія изъ такихъ произведеній подносились дамамъ. Одновременно съ вліяніемъ французскимъ стали проникать въ Германію вліянія и другія—классической древности, Нидерландъ, Испаніи, Италіи, нѣсколько позже и Англіи,—и все это отражалось въ сильной степени на нѣмецкомъ языкѣ, представлявшемъ крайнюю степень уродливости и пестроты. Инициатива и главная доля движенія на этомъ пути принадлежала высшему сословію, которое, такимъ образомъ, все болѣе и болѣе отдалялось отъ народа, вслѣдствіе чего литература этого періода, исходя отъ дворянства и ученаго сословія, становилась для неученаго класса народа болѣе чуждою и недоступною, чѣмъ была въ средніе вѣка рыцарская поэзія для простаго народа. А рядомъ съ вышесказанными мутными струями текла въ литературѣ, въ поэзіи, та самая схоластическая струя, которая наносила столько грязи и въ науку. Какъ только поэзія очутилась въ рукахъ ученыхъ педантовъ, нѣкоторые изъ нихъ обнаружили стремленіе вывесть ее изъ того упадка, въ которомъ она находилась, но она взялась за это дѣло *по-своему*, ибо иначе взяться не могли—и тутъ-то возникла та ученая и искусственная поэзія, которая съ этихъ поръ господствовала въ Германіи почти полтора вѣка. «Вдохновеніе сдѣлалось теперь излишнею вещью; главное значеніе получили однажды установленныя правила; неизмѣннымъ образцомъ служили италіанскія и французскія псевдо-классическія произведенія. Поэзія не удовлетворяла потребностямъ сердца; она сдѣлалась ученымъ предпріятіемъ, предметомъ тщеславныхъ стремленій кружка педантовъ. Съ этой поры огромная пропасть образовалась между народною массою и людьми науки. Ученый, придающій великое значеніе своему витіеватому слогу, презрительно смотритъ на человѣка толпы, а этотъ послѣдній, не понимающій языка, на которомъ говоритъ многоумный мужъ, не довѣряетъ ему и подсмѣивается надъ нимъ. Съ одной стороны стоятъ писатели, не понимающіе народной жизни и не желающіе понимать ее, съ другой — предоставленный себѣ самому народъ, безъ духовной культуры и безъ стремленій къ идеалу».

Такимъ путемъ возникла довольно долго существовавшая послѣ того и причинившая много вреда нѣмецкой поэзіи *первая силезская школа*, процвѣтаніе которой и особенно громадная, переходившая даже за предѣлы Германіи, слава, какою пользовался ея создатель и глава *Мартинъ Опицъ* (1597—1639) — могутъ служить характеристическимъ знаменіемъ времени въ области литературы и поэзіи. Дѣйствительно, только въ такое время могъ заслужить прозваніе «царя поэтовъ»,

«отца нѣмецкой литературы» и т. п., только въ такое время (хотя тутъ были и нѣкоторыя побочныя обстоятельства) могъ служить предметомъ благоговѣйнаго поклоненія въ буквальномъ смыслѣ слова этотъ Опицъ, очень добросовѣстный и полезный дѣятель въ нѣкоторыхъ сферахъ науки, напр. по обработкѣ нѣмецкаго языка, по возвращенію этому языку права гражданства предпочтительно предъ господствовавшею латынью,—но совершенно бездарный, какъ поэтъ, ставившій выше всего правила, установленныя безжизненною реторическою теоріею поэзіи того времени, лишенный всякой умственной оригинальности, глубины чувства, смѣлости фантазіи, надѣленный крайнею узкостью кругозора, хорошо проявлявшеюся въ главномъ содержаніи его произведеній, писавшихся на крестины, свадьбы, похороны, прославлявшихъ въ самомъ безобразно-категорическомъ тонѣ разныхъ «потентатовъ», милостивцевъ, и т. п.

Первую силезскую школу смѣнила *вторая*, тоже силезская, съ *Гофманомъ фонъ-Гофмансвальдау* (1618—1679) во главѣ. Но перемѣнилось названіе, и осталась мало тронутою—хотя частности явились иныя—сущность направленія. Осталась та же слѣпая подражательность, что̀ господствовала въ школѣ Опица, съ тою только разницею, что въ этой послѣдней неудачно копировали древнихъ и рабски слѣдовали французскимъ ложно-классикамъ, а вторая силезская школа взяла себѣ въ образецъ вычурную и манерную школу италіанца Марини; и эта подражательность, въ связи съ другими недостатками, сдѣлала безплодными попытки главныхъ представителей школы расширить и разнообразить содержаніе поэзіи, и вмѣстѣ дать ей болѣе блестящую внѣшнюю форму,—возвратить права гражданства фантазіи предпочтительно предъ сухимъ разумомъ,—достигнуть большей самостоятельности и выйти изъ простой роли переводчиковъ. Сухая и мертвая разсудочность Опицевской школы смѣнилась грубою чувственностью, скоро переступившею всѣ границы какъ по языку достигшему невообразимой манерности, такъ и по содержанію, гдѣ болѣзненность и испорченность фантазіи дошли до послѣдней степени.

Такъ шло дѣло, но *такъ* продолжаться не могло оно. Духъ времени, сила здоровыхъ элементовъ должны были взять свое—и они взяли его въ многознаменательномъ XVIII вѣкѣ.

Этотъ вѣкъ—вѣкъ такъ-называемаго «просвѣщенія» (Zeitalter der Aufklärung), носящій также названіе вѣка «освободительныхъ стремленій». И дѣйствительно, это время—время борьбы новой эпохи со старою, отжившею; время стремленія къ самостоятельности въ мысляхъ и чувствахъ, которой мѣшало до тѣхъ поръ сильное поклоненіе по большей части не заслуживавшимъ того авторитетамъ; время изслѣдованія пытливаго, практическаго, цѣлью котораго было уничтожить сухія и безжизненныя формулы и непроизводительную, совершенно оторванную отъ жизни, работу человѣческаго ума; время, наконецъ, демократическихъ стараній о томъ, чтобы результаты научныхъ стремленій сдѣлались доступны всѣмъ классамъ народа, въ противоположность прежнему порядку, когда наука и литература были достояніемъ извѣстнаго кружка, сословія привилегированнаго. Одновременно съ тою, отчасти видимою, отчасти невидимою, преобразовательною работою въ сферахъ политической и общественной, которая подготовила великій взрывъ въ концѣ XVIII-аго вѣка, шло, сперва медленными, потомъ быстрыми шагами измѣненіе въ направленіи человѣческаго ума; наступало царство скептицизма, «безъ котораго (слова Бекля) не можетъ быть изслѣдованія, а безъ изслѣдованія не можетъ быть науки», — царство сознательнаго анализа; другими словами — разума, который мало-по-малу становился глав-

нымъ судьею общественныхъ и частныхъ дѣлъ, законодателемъ, предписанія котораго одни только признавались дѣйствительными. Такимъ образомъ, такъ-называемый «разумный раціонализмъ» — направленіе, которое ведетъ свое происхожденіе еще отъ знаменитаго Декарта, впервые провозгласившаго верховное господство человѣческаго самосознанія, сдѣлалось главнымъ фундаментомъ всѣхъ просвѣтительныхъ стремленій XVIII столѣтія, фундаментомъ, въ которомъ коренится вся освободительная литература этой эпохи.

Все это движеніе было движеніемъ съ характеромъ реакціи — реакціи противъ дурныхъ и отжившихъ свое время сторонъ стараго порядка. Неудивительно поэтому, что въ немъ, особенно въ первое время, мы видимъ многіе элементы того броженія, которое неразлучно съ подобными эпохами и одну изъ отличительныхъ чертъ котораго составляетъ смѣсь самыхъ противоположныхъ другъ другу началъ: мягкой, почти плаксивой чувствительности съ титанической силой воли, ѣдкаго скептицизма, даже атеизма съ мистическими стремленіями, бездѣйственной созерцательности съ энергическою дѣятельностью, сухой разсудительности съ самымъ пламеннымъ воодушевленіемъ. «Но — (скажемъ словами Шерра) — въ этомъ, полномъ броженія, хаосѣ разочарованія и энтузіазма, нѣжной, какъ свѣтъ луны, чувствительности и грубой чувственности, дерзкаго невѣрія и дѣтской вѣры во все чудесное, грубѣйшаго матеріализма и эѳирной высоты мысли, рафинированной искусственности (Unnatur) и доходящаго до сентиментальной крайности наслажденія природы — во всемъ этомъ безпрерывно звучитъ основной нотой призывъ къ умственному освобожденію, и надъ нравственною испорченностью возносится и паритъ, подобно орлу, вѣра въ идеалъ...»

Изъ вышесказаннаго уже видно, что вся эта освободительная работа могла совершиться только путемъ науки. И въ самомъ дѣлѣ, XVIII-ое столѣтіе — время сильнаго, а сравнительно съ прежнимъ — колоссальнаго движенія науки, или, опредѣляя точнѣе, тѣхъ наукъ, въ которыхъ сосредоточивается, которыми споспѣшествуется движеніе подобнаго рода — исторіи, критики, философіи, начавшихъ теперь дѣлать то, что̀ до тѣхъ поръ представлялось дѣломъ совершенно неслыханнымъ — объясняетъ явленія въ области религій, нравовъ, общественной жизни, человѣческаго ума. Повсемѣстно въ Европѣ происходила эта работа — преимущественно же въ тѣхъ странахъ, которыя въ ту пору были главными центрами умственнаго движенія: Франціи, Англіи, Германіи, откуда, черезъ ихъ вліяніе и посредство, оно распространялось и на остальныя. Наряду съ нимъ, или, вѣрнѣе, обусловливаемое имъ, исходя изъ него, совершалось сильное движеніе и въ литературѣ собственно художественной.

Германія, вслѣдствіе вышеизложенныхъ обстоятельствъ, позже другихъ земель выступила на этотъ «просвѣтительный» путь. Къ ней и относительно XVIII-аго вѣка можно примѣнить то, что̀ говорила мадамъ Сталь о Германіи вообще: «Глядя на Германію, кажется, что въ ней время идетъ медленнѣе, чѣмъ гдѣ-либо, что растительность въ землѣ не торопится развиваться точно такъ же, какъ мысли въ головахъ людскихъ». Дѣйствительно, въ началѣ этого столѣтія новыя идеи англичанъ, голландцевъ, французовъ жадно воспринимались въ Германіи немногими передовыми и просвѣщенными умами, старавшимися при этомъ обратить ихъ въ свою собственность, но собственно въ нѣмецкой умственной, общественной, политической жизни не было почти ничего, что̀ могло бы способствовать расширенію круга этихъ идей,— и если эти нѣмецкіе передовые умы соперничали съ такими европейскими учеными, какъ Гуго Гроцій, Бейль, Локкъ, въ либеральной борьбѣ съ установившимися авторитетами и традиціями, то они все-таки были не что иное, какъ ученые ученики этихъ великихъ предшественниковъ. «На классическую разработку нашей литературы—

говоритъ Гиллебрандъ въ своей «Исторіи нѣмецкой національной литературы» — надо смотрѣть, какъ на расцвѣтъ классическихъ метаморфозъ другихъ европейскихъ литературъ».

Мы видѣли уже—хотя и въ общихъ чертахъ—съ какими обстоятельствами предстояло бороться въ Германіи «вѣку просвѣщенія». Попытки этой борьбы стали появляться уже въ концѣ XVII-аго и въ первые годы XVIII-аго столѣтія, выразившись въ дѣятельности такихъ людей, какъ *Томазіусъ*, *Пуфендорфъ*, великій *Лейбницъ*... Но дѣятельность этихъ людей, этихъ Томазіусовъ и Лейбницовъ, ихъ освободительная работа была только крупицею въ сравненіи съ тою массою противодѣйствія, которая окружала ихъ со всѣхъ сторонъ. И это не только въ *ихъ* время, т.-е. въ концѣ XVII-аго и первые годы XVIII-аго столѣтія; почти вся первая половина этого послѣдняго представляетъ почти такую же картину. Съ одной стороны, напримѣръ, продолженіе реформаціонной дѣятельности Лейбница *Вольфомъ*, котораго Гегель называетъ «учителемъ нѣмцевъ», о которомъ Кантъ отзывается, какъ о «величайшемъ изъ всѣхъ догматическихъ философовъ», идеями котораго, — гдѣ фундаментомъ служила строго-критическая провѣрка всего — вся нѣмецкая цивилизація (по замѣчанію Геттнера) питалась до великой реформы Канта, — и затѣмъ — продолженіе работы и вліянія Вольфа въ школѣ *алетофиловъ*, гдѣ главное правило — не принимать за истину ничего недоказаннаго и бороться за истину. Съ другой стороны — обрушивающіяся на того же Вольфа преслѣдованія, въ видѣ высылки его изъ Пруссіи Фридрихомъ I, сожженія его сочиненій въ числѣ прочихъ «атеистическихъ» и т. п., — или (послѣдовавшее въ 1723 г.) запрещеніе правительства профессорамъ нападать другъ на друга печатно, потому что «нельзя дозволять начинающимъ молодымъ людямъ ронять славу университета всенародными выходками противъ профессоровъ»;— или проклятіе писателя Лискова съ церковной каѳедры за то, что онъ своими сатирами (въ сущности очень невинными) совершаетъ смертельный грѣхъ въ отношеніи къ Богу и своему ближнему;—и много еще въ томъ же родѣ.

При такихъ обстоятельствахъ, такихъ условіяхъ «освободительная» работа — хотя и нашедшая себѣ проявленіе въ столь знаменательныхъ фактахъ, какъ вышеупомянутые,—могла совершаться, итти впередъ только медленными шагами. Такъ оно и было въ первую половину XVIII-аго вѣка,—собственно до вступленія на престолъ Фридриха Великаго, объ историческомъ и культурномъ значеніи котораго нечего распространяться и котораго нѣмцы признаютъ основателемъ національнаго «просвѣщенія» (Aufklärung) въ своемъ отечествѣ, человѣкомъ вполнѣ своего времени, соотвѣтствовавшимъ его существеннѣйшимъ потребностямъ и въ этомъ, (какъ выразился Гиллебрандтъ), «нашедшимъ свое національное историческое безсмертіе». Съ этихъ поръ медленность хода просвѣтительныхъ стремленій, о которой только-что сказано, встрѣчаетъ себѣ поразительное противовѣсіе въ быстротѣ движенія, въ совокупности усилій и въ выдѣленіи громадныхъ по своему разностороннему значенію личностей,— при чемъ, въ противоположность культурному характеру первой половины вѣка, вторая является съ характеромъ національности и космополитизма въ гармоническомъ соединеніи и «твердо устанавливаетъ то, что составляетъ преобладающую отличительную черту нѣмецкаго народнаго духа— стремленіе къ идеаламъ, сосредоточеніе отдѣльныхъ индивидуумовъ въ себѣ и ихъ разъединеніе съ цѣлымъ, общимъ». Главная работа и въ эту пору совершалась прежде всего въ области науки, преимущественно философіи, и критики. Отсюда перешла она, силою естественнаго отраженія и вліянія, и въ область литературы художественной, гдѣ, со второй половины XVIII-аго вѣка, пошла тоже, особенно сравнительно съ предыдущимъ, исполинскими шагами.

Мы оставили эту область въ плачевномъ положеніи, въ оковахъ разныхъ силезскихъ школъ, съ весьма рѣдкими и слабыми проблесками самостоятельности и истиннаго поэтическаго дарованія. Въ началѣ XVIII-аго ст. поворотъ къ лучшему сказался здѣсь въ характеристическомъ спорѣ между Готшедомъ и такъ-называемыми «швейцарцами». Сухой и ученый педантъ, хотя воспитанный на философіи Вольфа и державшійся мнѣнія, что «для того, чтобы быть критикомъ, надо быть философомъ», Готшедъ (1700—1766 г.) собственно въ поэзіи (гдѣ дѣятельность его выразилась главнымъ образомъ въ драматической формѣ) держался принципа строгой разсудочности, признавая эту послѣднюю единственнымъ закономъ поэтическаго творчества, отвергалъ необходимость дарованія, находя, что сочинять стихи можно выучиться, и ставилъ главною цѣлью—поучительность, т.-е. признавалъ поэзію только съ дидактическимъ характеромъ. Будучи воспитанъ въ *этомъ* отношеніи на псевдоклассическихъ французскихъ образцахъ, имѣя высшаго своего законодателя въ Буало, преклоняясь предъ Корнелемъ и Расиномъ, и рабски подражая имъ (хотя стоя неизмѣримо ниже ихъ по дарованію) въ своихъ скучныхъ, до послѣдней степени прозаическихъ, произведеніяхъ—Готшедъ яростно возставалъ противъ всѣхъ литературныхъ «теченій» въ иномъ направленіи и съ инымъ характеромъ: такъ, Шекспира ставилъ онъ въ число самыхъ жалкихъ писакъ, находя, что въ этомъ поэтѣ «не можетъ находить удовольствіе ни одинъ человѣкъ, прочитавшій въ своей жизни хоть что-нибудь разумное»,—или заявлялъ, что «невозможно читать безъ отвращенія Шекспировскаго «Юлія Цезаря»—до такой степени много въ немъ гнуснаго»;—такъ, въ Торквато Тассо (какъ романтикѣ) онъ не видѣлъ ничего, кромѣ «чертовщинъ» (Teufeleien); такъ, произведенія Аріосто и Мильтона ставилъ онъ на одну доску съ фабрикаціями во вкусѣ Лоэнштейна, и т. п. Совсѣмъ иное представляли собою «швейцарцы»—кружокъ литературной молодежи, проникнутой романтическимъ элементомъ и по своей натурѣ, и благодаря литературнымъ образцамъ, на которыхъ они воспитались: Гомеру, Тассо, Мильтону. Нѣтъ ничего удивительнаго, что два, столь противоположныхъ другъ другу, направленія, должны были вступить между собой въ борьбу,—и не менѣе естественна побѣда, оставшаяся въ концѣ концовъ на сторонѣ швейцарцевъ—побѣда, хорошее объясненіе которой мы находимъ въ указаніи самихъ этихъ швейцарцевъ на заключающееся между ними и Готшедомъ различіе въ томъ, что онъ держался всегда стараго и отжившаго, они новаго и того, что постоянно шло впередъ (werdenden),—и въ соотвѣтствующемъ этой характеристикѣ замѣчаніи Геттнера, что «Готшедъ былъ не началомъ новаго вѣка, а концомъ стараго». Движеніе, произведенное этимъ споромъ и положившее начало критикѣ, какъ наукѣ, подготовивъ тѣмъ путь для критической дѣятельности Лессинга, уже не могло остановиться; интересы эстетически-литературные все больше и больше привлекали къ себѣ вниманіе публики, которая постепенно выходила изъ состоянія прозябанія, изъ оковъ ученаго педантизма, постепенно пріобрѣтала умственную самостоятельность и уже неомраченными глазами смогрѣла на окружающую природу и человѣческое общество. Тѣмъ болѣе самостоятельности проявлялась въ самихъ дѣятеляхъ литературы: съ этихъ поръ въ Германіи больше, чѣмъ гдѣ-либо, были заняты теоріями въ искусствѣ, больше, чѣмъ гдѣ-либо, съ увлеченіемъ боролись за ту или другую идею, но въ то же время—и сильнѣе, чѣмъ гдѣ-либо, умъ писателя сталъ независимо повиноваться своему личному вдохновенію, не заботясь—согласуется или нѣтъ это вдохновеніе съ тою или другою доктриною. Въ такомъ направленіи дѣйствовалъ сыгравшій немаловажную роль въ литературномъ движеніи этого періода «Лейпцигскій Поэтическій Союзъ» (Dichterbund), съ лучшимъ его представителемъ и наиболѣе выдающимся дѣятелемъ Геллертомъ,—союзъ,

впервые провозгласившій, что призваніе поэта «быть герольдомъ Бога, возвышать славу добродѣтели, обращать заблуждающійся народъ къ истинной цѣли и отстранять его отъ лживыхъ заблужденій, научить его благороднѣе мыслить»,—впервые внесшій въ поэзію, подъ вліяніямъ Ричардсона, начала такъ-называемаго «сентиментализма», т.-е. роли сердца предпочтительно передъ сухою разсудочностью,—впервые, хотя еще въ очень слабой степени, понявшій значеніе Шекспира и вообще англійской драмы сравнительно съ французскою,—наконецъ, несомнѣнно послужившій, въ соединеніи съ дѣятельностью «швейцарцевъ», твердымъ фундаментомъ для развитія того *поэтическаго* творчества, которое нашло себѣ первое полное проявленіе въ *Клопштокѣ* (1724—1803) и *Виландѣ* (1733—1813).

При полной противоположности точекъ зрѣнія и направленія, эти писатели «подобно звукамъ статуи Мемнона, многознаменательно возвѣстили восходящее солнце новаго литературнаго дня», явились классическими представителями перехода въ новую эпоху.

Клопштокъ, съ одной стороны, является представителемъ принципа идеальной субъективности, представителемъ и создателемъ спиритуалистическаго, отрѣшеннаго отъ всякой реальности направленія въ нѣмецкой поэзіи; съ другой, мы видимъ его стоящимъ на дѣйствительной почвѣ и тутъ энергически воскрешающимъ въ своихъ соотечественникахъ народное самосознаніе, (явившись въ этомъ случаѣ предшественникомъ Шиллера). Очень большое историко-литературное значеніе пріобрѣлъ Клопштокъ и тѣмъ, что твердо установилъ тотъ взглядъ на свободное поэтическое творчество, первое проявленіе котораго мы видѣли уже у швейцарцевъ,—именно, что „художникъ, какъ праведникъ, не получаетъ ни отъ кого законовъ; природа начертала ему законъ въ сердцѣ...»—«И знайте, глупцы—восклицаетъ этотъ поэтъ, обращаясь къ толпѣ—что онъ, строгій къ самому себѣ, не отступитъ отъ этого закона, непоколебимо исполнитъ его!..» Не менѣе важное значеніе въ исторіи нѣмецкой поэзіи имѣетъ и та роль, которую Клопштокъ отвелъ сердцу и чувству, въ противоположность сухому резонерству поэтовъ предшествовавшихъ, и въ этомъ отношеніи нельзя не признать благотворнымъ даже тотъ такъ-называемый сентиментализмъ, которымъ проникнуты очень многія произведенія Клопштока и который, представляясь для нашего поколѣнія смѣшнымъ въ своихъ крайностяхъ, производилъ, однако, несомнѣнно облагораживающее дѣйствіе на современниковъ.... И, наконецъ, говоря о Клопштокѣ, исторія нѣмецкой поэзіи съ благодарностью вспоминаетъ о большихъ заслугахъ его относительно отечественнаго языка и стиха,— о томъ, что онъ впервые установилъ разницу между языкомъ поэтическимъ и прозаическимъ,—что точно такъ же онъ первый сталъ пользоваться сокровищами языка народнаго, изъ котораго перевесъ въ языкъ своихъ произведеній всю благоухающую прелесть и чистоту,—что при своемъ взглядѣ на силу выраженія и новизну, какъ на главные аттрибуты языка поэтическаго произведенія, онъ, примѣняя этотъ взглядъ на практикѣ, разрушилъ окаменѣлыя поэтическія формы и создалъ дѣйствительно новый поэтическій языкъ... Всѣмъ вышесказаннымъ и объясняется то вліяніе, которое, какъ увидимъ, Клопштокъ имѣлъ на современное ему и на позднѣйшее поколѣніе поэтовъ.

Противовѣсіемъ и противодѣйствіемъ спиритуализму и идеализму Клопштока явилось реалистическое направленіе Виланда, создавшееся подъ вліяніемъ современной французской литературы и въ которомъ, при большой долѣ фривольности, при многихъ крайностяхъ (особенно въ первый періодъ) было много такого, что дѣйствовало благотворно на освѣженіе атмосферы нѣмецкой поэзіи.

Но вполнѣ новый періодъ нѣмецкой литературы начался съ *Лессинга* (1729—1781), великаго писателя, въ которомъ примирились два противоположныя напра-

вленія двухъ вѣковъ и въ дѣятельности котораго мы видимъ соединеніе разрушительной работы XVIII в., съ созидательною XIX в. Вся эта дѣятельность, при огромномъ разнообразіи ея, имѣла характеръ *творческій* въ полномъ смыслѣ этого слова, и Гёте былъ совершенно правъ, замѣтивъ, что «Лессингъ отклонялъ отъ себя прозваніе генія, но глубокое дѣйствіе его произведеній говоритъ въ этомъ случаѣ противъ него самого». Творчество это самымъ опредѣлительнымъ образомъ проявилось во всѣхъ тѣхъ сферахъ, куда входилъ со своею работою этотъ изумительный умъ.

Въ области драматической литературы и сцены стоитъ онъ предъ нами со своею знаменитостью—«Гамбургскою Драматуріею», этимъ, по выраженію Гервинуса, «завѣщаніемъ для Германіи и путеводною звѣздою всей послѣдующей нѣмецкой поэзіи», этою «философіею драматической поэзіи», какъ охарактеризовалъ ее другой критикъ, этимъ сочиненіемъ, которое, какъ замѣтилъ Шиллеръ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Гёте, «высказало самыя ясныя, самыя глубокомысленныя и въ то же время либеральныя воззрѣнія на искусство».

Къ этой *теоретической* работѣ присоединяются въ видѣ строго художественныхъ иллюстрацій такія пьесы, какъ «Эмилія Галотти», «Минна фонъ-Барнгельмъ», «Натанъ-Мудрый»;—«Эмилія Галотти»—произведеніе, въ которомъ высшія художественныя достоинства (при отсутствіи, правда, истинной поэтичности), дѣлающія его—по единогласному признанію лучшихъ критиковъ—*первою* нѣмецкою *трагедіею* въ истинномъ значеніи этого понятія, соединены съ значеніемъ соціальнымъ, какъ протеста противъ безнравственности и пустоты тогдашней придворной жизни, какъ «перваго предостереженія либерализма деспотамъ и ихъ безстыдному образу дѣйствій»;—«Минна фонъ-Барнгельмъ»—признаваемая тѣми же лучшими критиками не только за комедію вполнѣ національную, но и за единственно національную между нѣмецкими комедіями, поражающая такими достоинствами въ чисто-эстетическомъ отношеніи, какъ удивительная мѣткость и вѣрность въ обрисовкѣ характеровъ, здравое изображеніе дѣйствительной жизни, лишенное односторонности олицетвореніе человѣческихъ пороковъ и слабостей, превосходный стиль, искусная постройка и т. п.,—наконецъ «Натанъ Мудрый», произведеніе, воспроизводящее въ высоко-художественной формѣ великую идею свободы совѣсти и братской любви ко всѣмъ людямъ, «несокрушимый памятникъ, который германская муза воздвигнула единовременно идеѣ человѣчества и національному образу мыслей» (Гиллебрандъ), книга, которая, по характеристикѣ Гервинуса, есть, вмѣстѣ съ «Фаустомъ», своеобразнѣйшее и національнѣйшее твореніе, какое только создала нѣмецкая поэзія того времени и которую, по словамъ Гёте, необходимо хранить «какъ священное и драгоцѣнное завѣщаніе».

Театръ—главная сфера дѣятельности Лессинга; но это не мѣшаетъ ему являться могущественнымъ новаторомъ, реформаторомъ и тамъ, гдѣ дѣло идетъ о другихъ отрасляхъ искусства. Мы говоримъ о его знаменитомъ «Лаокоонѣ», навсегда установившемъ основный законъ поэзіи—изображать видимое посредствомъ дѣйствія, а не описанія, указавшемъ на красоту, какъ на главный принципъ древняго искусства, разграничившемъ среды живописи и поэзіи, показавшей преимущество этой послѣдней предъ другими искусствами, нанесшемъ смертельный ударъ господствовавшей до того описательной и аллегорической поэзіи... То же и въ области критики чисто-литературной, гдѣ достаточно указать на знаменитыя «Литературныя Письма», этотъ—какъ удачно охарактеризовалъ его одинъ изъ біографовъ Лессинга—«манифестъ литературнаго похода», какъ громъ обрушившійся на все, что въ современной нѣмецкой литературѣ и наукѣ было отжившаго, рутиннаго, нелѣпаго... «Литературныя Письма, Драматургія, Лаокоонъ!—восклицаетъ Геттнеръ,—не знаешь право, какому

изъ этихъ трехъ произведеній отдать первенство, когда говоришь о Лессинговской критикѣ, какъ о творческой!»

При тѣхъ воззрѣніяхъ и стремленіяхъ, какими былъ проникнутъ Лессингъ, вся дѣятельность его должна была имѣть реформаціонный, даже революціонный (конечно литературно) характеръ,—и совершенно вѣрно указываетъ Гервинусъ на различіе между Лессингомъ и остальными двумя членами этого новаго литературнаго тріумвирата—Клопштокомъ и Виландомъ, замѣчая, что эти послѣдніе все-таки еще держались извѣстныхъ традицій въ литературѣ и обществѣ, Лессингъ же послѣ серіознаго изслѣдованія выбрасывалъ всякій ненужный балластъ, дѣйствуя и въ этомъ случаѣ съ присущею ему желѣзною непоколебимостью и руководясь своимъ основнымъ стремленіемъ—противодѣйствовать гнилой нѣмецкой рутинѣ, скудости нѣмецкой учености, вести вѣчную борьбу свободнаго духа съ гнетомъ традиціонныхъ условій...

Если, благодаря «желѣзному величію творческаго ума» Лессинга (какъ выразился о немъ одинъ изъ историковъ нѣмецкой литературы), положеніе его среди современниковъ было отчасти уединенное—если для истинной оцѣнки его нужно было пройти болѣе продолжительному времени, — если по этимъ же причинамъ онъ не создалъ, въ самую пору своей дѣятельности, *школы* въ собственномъ смыслѣ этого слова, — то несомнѣнно все-таки, что вліяніе его на современное литературное поколѣніе было очень велико, что вся эта молодежь, которая скоро—какъ увидимъ сейчасъ — завладѣла на довольно продолжительное время всею литературною ареною, была въ сущности его учениками. «Надо, говоритъ Гёте въ своей автобіографіи, быть юношей, чтобы понять какое дѣйствіе произвелъ на насъ «Лаокоонъ», унеся насъ изъ сферы мизернаго созерцанія въ свободныя области мысли. Точно отъ блеска молніи освѣтились предъ нами всѣ послѣдствія; вся критика, существовавшая до сихъ поръ, была сброшена, какъ поношенный сюртукъ; мы признали себя избавленными отъ всякихъ золъ». Не менѣе сильное дѣйствіе производили и его драматическія произведенія: «Минна фонъ-Барнгельмъ», «Эмилія Галотти»...

Но для этого молодого поколѣнія, выросшаго вокругъ Лессинга и на немъ воспитавшагося, то, что́ сдѣлалъ авторъ «Лит. Писемъ», скоро представилось недостаточнымъ; онъ слишкомъ широко растворилъ ворота душнаго зданія, чтобы ворвавшіяся свѣжія струи—при содѣйствіи еще политическихъ и соціальныхъ обстоятельствъ того времени — не обратились скоро въ порывистый вѣтеръ, даже въ ураганъ... Строгая разсудочность и безпощадный анализъ холоднаго критическаго разума Лессинга шли въ разрѣзъ съ пылкимъ, бурнымъ темпераментомъ этого поколѣнія, съ совершившимся въ немъ броженіемъ умственныхъ и нравственныхъ силъ, какъ естественнымъ слѣдствіемъ всего предшествовавшаго хода вещей; и если Лессингъ, какъ мы видѣли, явился такимъ радикальнымъ реформаторомъ нѣмецкой литературы, то дѣятели этой новой школы выступили литературными революціонерами именно въ бурномъ значеніи этого слова — отчего къ этому движенію такъ идетъ установившееся за нимъ названіе періода «бури и натиска» — Sturm und Drang Periode.

Весьма важную роль въ этомъ движеніи сыгралъ выступившій незадолго до того на литературное поприще Гердеръ (1744—1803). Ученикъ великаго философа Канта, при этомъ воспитанный на Шекспирѣ, Оссіанѣ, на произведеніяхъ народной поэзіи, горячій послѣдователь воззрѣній Ж. Ж. Руссо на существующія въ обществѣ формы и условія, на необходимость возвращенія къ «природѣ», — этотъ писатель въ своей собственно критической дѣятельности, вызванной примѣромъ и вліяніемъ тоже Лессинга, являлся существеннымъ дополненіемъ этого послѣдняго: «гдѣ Лессингъ убѣждаетъ діалектикой, Гердеръ дѣйствуетъ возбужденіемъ фантазіи и чувства»; отличительный характеръ его работъ — преобладаніе именно сердечной

стороны, явное присутствіе во всемъ субъективности — въ противоположность той объективности, которая составляетъ существенное свойство работъ Лессинга. Усердно занимаясь при этомъ народною поэзіею, придавая ей огромное значеніе, опредѣляя ее, какъ «архивъ народной жизни, сокровище ея науки и религіи, ея теогоніи и космогоніи, дѣяній ея отцовъ и событій ея исторіи, отпечатокъ ея сердца, образъ жизни народа въ домашнемъ быту», ставя ее даже выше поэзіи искусственной, ибо «искусство есть только послѣднее и высшее поэтическое выраженіе народнаго элемента» — Гердеръ въ сочувствіи народной поэзіи почерпнулъ сочувствіе къ непосредственному творчеству, т.-е. другими словами, тому творчеству, гдѣ законы предписываетъ все та же «природа», и только она одна. Отсюда близокъ и естествененъ былъ переходъ къ принципу непосредственнаго вдохновенія, къ установленію первенствующаго значенія того, что Гердеръ назвалъ «erster Wurf» и слѣдовательно—къ полному отрицанію всякихъ правилъ, къ доведенію до послѣдней крайности теоріи, построенной Лессингомъ, который самъ испугался за свое зданіе, когда увидѣлъ его въ рукахъ такихъ пылкихъ, часто до опьянѣнія доходившихъ работниковъ. Теперь впервые явились термины «геніальность» и «оригинальность», какъ единственныя условія, создающія истиннаго поэта — термины, тогдашнее значеніе которыхъ уяснится намъ сейчасъ знакомствомъ съ существенными чертами движенія «бури и натиска».

Названіе это оно получило отъ появившейся въ 1776 г. подъ этимъ заглавіемъ («Sturm und Drang») пьесы одного изъ самыхъ видныхъ дѣятелей этой школы— если можно говорить здѣсь о «школѣ»—Клингера. И заглавіе произведенія, весьма слабаго въ художественномъ отношеніи, было принято (и удержалось навсегда) за названіе всего періода, потому что въ этомъ мірѣ, выведенномъ Клингеромъ, «мірѣ туманномъ — по выраженію Геттнера, но который былъ въ то же время согрѣтъ лучезарнымъ солнцемъ идеальности» — молодое литературное поколѣніе находило самого себя совершенно такимъ, какимъ оно на самомъ дѣлѣ было, со своимъ инстинктивнымъ влеченіемъ къ свободѣ и со всѣми своими крайностями, увлеченіями, даже разнузданностями, какъ естественными аттрибутами лежавшаго въ основаніи всей этой горячки, и тоже по совершенно естественной причинѣ — броженія. Всѣ эти дѣятели «бури и натиска» были люди очень молодые: самому старшему было 28 лѣтъ; Гёте, въ ту пору, когда онъ сдѣлался, какъ увидимъ ниже, главою кружка — пошелъ всего 20-ый годъ. Разбившись на два кружка — Геттингенскій и Франкфуртскій, изъ которыхъ первый сдѣлалъ предметомъ своего поклоненія Клопштока, второй — Шекспира, различаясь рѣзко между собою частностями собственно въ литературномъ отношеніи, вся эта молодежь, однако, поставила себѣ одну и ту же задачу: противодѣйствовать всему условному, рутинному, въ какихъ бы то ни было проявленіяхъ его; всему старческому, педантическому, схоластическому; всѣмъ стѣсненіямъ въ сферѣ педагогической, домашней и т. п. «Мы призваны — проповѣдываетъ Клингеръ — исправить вредъ, отъ котораго страдаетъ міръ вслѣдствіе скверныхъ традицій...» — и въ своихъ пьесахъ, являясь живымъ отголоскомъ ученія Ж. Ж. Руссо проводитъ воззрѣніе, что все на свѣтѣ, какимъ оно выходитъ изъ рукъ Творца, хорошо, и все портится въ рукахъ человѣка; все благородное и доброе помѣщено въ тотъ огромный домъ умалишенныхъ, который называютъ человѣческимъ обществомъ только для того, чтобы страдать и погибать, между тѣмъ какъ все злое торжествуетъ... А двадцатилѣтній Шиллеръ устами своего Карла Мора (въ «Разбойникахъ») провозглашалъ, что законъ не создалъ еще ни одного великаго человѣка, тогда какъ свобода высиживаетъ изъ себя колоссовъ — и этой пьесой кидалъ въ лицо закону вызовъ, звалъ на войну противъ него, т.-е. противъ общественныхъ уста-

повленій и условій, выражалъ необузданное стремленіе къ измѣненію, къ перевороту, проникавшее сердца этой молодежи, которой сдѣлалось уже слишкомъ тѣсно въ собственной кожѣ...

Но если всю ее соединяла одна общая идея, если на такъ-называемомъ знамени ихъ были написаны въ сущности одни и тѣ же слова, только съ нѣкоторыми видоизмѣненіями, то тутъ же — и это опять весьма характеристическое явленіе — смѣшивались самые разнообразные элементы, самыя противоположныя натуры. «Наслажденіе жизнью, жизненная энергія шли рядомъ съ глубокой тоской, унынiемъ; стремленіе къ высочайшимъ идеаламъ, неудержимый полетъ фантазіи — съ положительнѣйшимъ реализмомъ, самое смѣлое нарушеніе общественныхъ законовъ и условій — съ глубокимъ уваженіемъ къ семейнымъ узамъ, горячимъ сочувствіемъ къ добродѣтели, религіи и т. п.». И всѣ эти крайности, противорѣчія, отсутствіе всякой твердой почвы подъ ногами, метаніе изъ стороны въ сторону, присутствіе всѣхъ элементовъ броженія, внутренній разладъ, вѣчная неудовлетворенность настоящимъ, всѣ, однимъ словомъ, несомнѣнные предшественники «болѣзни вѣка» и «міровой скорби» XIX-аго столѣтія, — все это были отличительныя черты не только литературной производительности «штурмеровъ» и «дрангеровъ», но и ихъ частной жизни. Вотъ, напримѣръ, передъ нами Юнгъ-Стиллингъ, въ молодости своей готовый обжигать уголья, потомъ дѣлающійся портнымъ, затѣмъ принимающійся за профессію домашняго учителя, кидающій ее, чтобы снова взяться за иглу портнаго и, въ промежуткахъ этого занятія, опять дающій уроки грамоты... Вотъ Ленцъ, вѣчно томимый какимъ-то злымъ демономъ, странствующій съ мѣста на мѣсто, нигдѣ не находящій покоя, терпящій съ нравственными муками и тяжелую матеріальную нужду, и наконецъ, сходящій съ ума въ Москвѣ, куда занесла его судьба, и тамъ умирающій въ больницѣ... Вотъ Клингеръ, въ первый періодъ своей жизни тоже ведущій вѣчно странническую жизнь, то учащійся артиллеріи, чтобы, какъ герои его драмы, отправиться въ Америку и тамъ биться за дѣло свободы, то сочинитель пьесъ для бродячей театральной труппы, то офицеръ въ ополченіи. Вотъ Шубартъ — крайне интересная въ патологическомъ отношеніи натура, въ которой самыя возвышенныя и чистыя ощущенія шли всегда рядомъ съ самыми грубыми и низменными, и котораго жизнь представляетъ собою самый пестрый рядъ всяческихъ странствій, перемѣнъ профессіи, киданія изъ одной крайности въ другую... Проповѣдуя теорію о нестѣсненіи ничѣмъ человѣческой страсти, о недопущеніи для нея никакихъ «свѣтскихъ» законовъ, объ отсутствіи всякой «вины», всякаго «грѣха», о важности только закона «внутренняго», написаннаго въ собственномъ сердцѣ и который являлся въ настоящемъ случаѣ ничѣмъ инымъ, какъ отсутствіемъ всякаго закона — многіе изъ нихъ примѣняли эту теорію и на практикѣ. Уничтожая всякія правила въ поэзіи, они пренебрегали ими и въ дѣйствительной жизни, и это пренебреженіе доводили часто до комическихъ крайностей, являясь, напримѣръ, въ публикѣ въ самыхъ оригинальныхъ, чуть не маскарадныхъ костюмахъ, составляя на улицахъ сборища съ плясками и т. п., къ немалому ужасу и скандалу честныхъ бюргеровъ, пускавшихся въ нелѣпыя розсказни о томъ, напримѣръ, что эти юноши собираются на какой-то «бычачьей горѣ» на шабашъ, какъ они тамъ наряжаются въ козлиныя кожи — и многое въ такомъ же родѣ...

Что касается до литературной формы, въ которой выражались всѣ эти воззрѣнія теоріи, то она обусловливалась прежде всего признаваніемъ первостепенной важности за вышеупомянутыми «геніальностью» и «оригинальностью». Это «геніальное» въ писателѣ, какъ опредѣляли его тѣ, которые сами признавали себя

его носителями (Kraftgenies) — свойство «невыученное, незаимствованное, котораго нельзя выучить, нельзя заимствовать, глубоко своеобразное, недоступное подражанію, божественное»; путь генія—это путь молніи, вѣтра, орла; геніи—это свѣточи міра, соль земли, существительное въ грамматикѣ человѣчества, равные Богу, богочеловѣки, истолкователи природы, пророки, жрецы, цари міра... При такихъ аттрибутахъ «геніальности», всѣ продукты ея должны быть конечно совершенно своеобразны, а отсюда и связь геніальности съ «оригинальностью». Въ чемъ же должна проявляться эта «оригинальность?» Въ ниспроверженіи всякихъ *правилъ*, въ подчиненіи себя непосредственному вдохновенію, тому «первому толчку»—erster Wurf — о которомъ говорилъ Гердеръ. Правила представляются для нихъ только «костылями, которыя помогаютъ больнымъ и стѣсняютъ здоровыхъ»; Аристотель, ученіе котораго Лессингъ признавалъ такимъ же непогрѣшимымъ, какъ теоремы Эвклида, совершенно устраняется ими, и ссылаясь на Шекспира,—во многихъ отношеніяхъ ложно понимавшагося ими, или, вѣрнѣе сказать, тоже доводившагося ими до послѣдней крайности,—они, относительно, напримѣръ, «единства времени и мѣста», уходятъ, сравнительно съ Лессингомъ, такъ далеко, что восклицаютъ: «Развѣ натура (а вѣдь «натура» для нихъ самое главное!) спрашиваетъ у Аристотеля совѣта, когда она создаетъ генія?... Развѣ десять лѣтъ не такое же единство времени, какъ и двадцать четыре часа? Въ нашихъ созданіяхъ — непрерывный рядъ дѣйствій, смѣняющихъ другъ друга, какъ раскаты грома, и въ концѣ-концовъ долженствующихъ слиться въ одно великое цѣлое?..» И точно, въ ихъ пьесахъ мѣсто дѣйствія — въ экипажѣ на большой дорогѣ, на сѣдлѣ лошади, даже въ невѣдомомъ пространствѣ: послѣ двухъ-трехъ словъ это дѣйствіе переносится изъ одного пункта въ другой: въ композиціи пьесы тоже и помину нѣтъ о какой бы то ни было правильности и систематичности; даже въ языкѣ постоянныя злоупотребленія все тою же теоріею натуральности...

Уже изъ нашей краткой характеристики этого движенія видно, что такой эпизодъ, какимъ былъ періодъ «бури и натиска» въ нѣмецкой культурной жизни, не могъ долго продолжаться. «Чѣмъ сильнѣе—говоритъ историкъ нѣмецкой поэзіи—было напряженіе умовъ, тѣмъ быстрѣе должно было оно ослабѣть, ибо нѣмецкая общественная и государственная жизнь была совсѣмъ не такова, чтобы благопріятствовать энергическимъ порывамъ такой молодежи. Нѣмецкій періодъ геніевъ есть одинъ изъ прологовъ тѣхъ великихъ переворотовъ, которые совершались въ концѣ XVIII-аго ст. Шумъ и суета этой «геніальности» были похожи на тѣ равноденственныя бури, которыя возвѣщаютъ весну. И въ тѣ дни дѣйствительно началась для Германіи новая духовная весна...»

Въ этой «духовной веснѣ» великимъ, главнымъ насадителемъ является Гёте, выросшій на почвѣ «бури и натиска», самъ давшій могущественный толчокъ этому движенью, но не погибшій, вмѣстѣ со многими, въ этомъ водоворотѣ и спасшій погибавшую въ немъ также поэзію, не только благодаря своей геніальности, но и вслѣдствіе «глубокой нравственной чистоты, съ которою онъ мгновенно умѣлъ усмирять дикихъ демоновъ своей глубоковзволнованной души и доводить ихъ до нравственной красоты и гармоніи». «Тамъ, гдѣ всѣ другіе держались только поверхностнаго, только дѣтски лепетали или накладывали на себя лживыя румяна—тамъ глубокая проницательность и нравственная твердость и ясность Гёте тотчасъ же открываютъ самую суть, произносятъ послѣднее рѣшительное слово и творятъ пластическичистые и общечеловѣческіе, а вслѣдствіе этого — и вѣчно неумирающіе типы и идеалы».

Къ очерку жизни и литературной дѣятельности этого міроваго ума мы теперь и обращаемся.

I.

Іоганнъ Вольфгангъ Гёте родился во Франкфуртѣ на Майнѣ 28 августа 1749 г. Отецъ его былъ докторъ юридическихъ наукъ, окончившій курсъ въ двухъ университетахъ, затѣмъ нѣсколько лѣтъ занимавшійся юридической практикой въ Вецларѣ (гдѣ тогда находился высшій королевскій судъ), и, наконецъ, поселившійся во Франкфуртѣ, гдѣ хорошее состояніе, унаслѣдованное имъ отъ отца, позволило ему жить независимо, безъ всякихъ опредѣленныхъ занятій. Человѣкъ онъ былъ съ педантическимъ складомъ ума, вспыльчивый иногда до крайности, но весьма честный; что касается до его образованія, то съ солиднымъ знаніемъ собственно юридическихъ наукъ онъ соединялъ искреннюю любовь къ искусству и литературѣ, при чемъ Италія составляла особенный предметъ его предпочтенія. Мать будущаго поэта вышла замужъ, когда ей было всего семнадцать лѣтъ, такъ что въ годъ рожденія Вольфганга—ихъ перваго сына, ей исполнилось осьмнадцать лѣтъ; это была женщина веселая и красивая, очень любившая музыку и поэзію и отличавшаяся большимъ даромъ сочинять занимательныя дѣтскія сказки. Кромѣ Вольфганга, у этой четы было довольно многочисленное семейство, въ которомъ будущій авторъ „Фауста“ былъ особенно друженъ—и дружба эта сохранилась между ними все послѣдующее время—съ сестрою Корнеліею, имѣвшею очень значительное вліяніе на нравственную выдержку пылкаго и часто необузданнаго мальчика, какимъ былъ въ дѣтствѣ Гёте.

Первородный сынъ Каспара и Елисаветы Гёте унаслѣдовалъ отъ матери физическую красоту и горячую изобрѣтательность фантазіи, въ соединеніи съ общею поэтичностью темперамента; «vom Mütterchen—говорилъ онъ впослѣдствіи въ одномъ изъ своихъ стихотвореній—hab' ich die Frohnatur und Lust zu fabuliren», прибавляя, что отъ отца получилъ «die Statur, des Lebens ernstes Führen». Нерѣдко по цѣлымъ часамъ сидѣлъ онъ у окна одной изъ комнатъ, выходившаго на живописное загородное мѣсто, слѣдилъ за закатомъ солнца или проходившими мимо грозами, и, какъ онъ самъ разсказываетъ въ своей автобіографіи, созерцаніе природы, а при этомъ и дѣтей, игравшихъ недалеко въ саду, часто наполняло его душу чувствомъ одиночества и смутнымъ стремленіемъ къ чему-то еще невѣдомому и желаемому...

Изумительныя умственныя способности его обнаружились очень рано; быстрота и легкость, съ которыми мальчикъ усвоивалъ самыя трудныя объясненія и свѣдѣнія, поражали какъ отца, взявшаго въ свои руки воспитаніе дѣтей и занявшагося этимъ дѣломъ весьма серіозно, такъ и учителей; не было такого предмета, предъ которымъ онъ сталъ бы втупикъ. При этомъ бесѣды съ матерью и слушаніе ея сказокъ развивали его воображеніе, а чтеніе лучшихъ поэтовъ прежняго времени и такихъ современныхъ, какъ Клопштокъ, котораго «Мессіада» (собственно первыя три пѣсни ея) появилась за годъ до рожденія Гёте, несомнѣнно способствовало возбужденію и укрѣпленію въ немъ любви къ поэзіи; къ этому присоединилась и склонность къ изученію исторіи и древностей, вызванная тѣми историческими воспоминаніями, которыя чуть не на каждомъ шагу возставали предъ любознательнымъ мальчикомъ въ этомъ Франкфуртѣ на Майнѣ, игравшемъ нѣкогда такую выдающуюся роль въ жизни германской имперіи... Вспыхнувшая въ эту пору семилѣтняя война была временемъ подчиненія молодого Гёте французскому вліянію: въ домѣ отца онъ видѣлъ французскихъ военныхъ, которымъ, какъ союзникамъ Австріи, былъ отведенъ здѣсь постой, слышалъ французскій языкъ, выучился бѣгло говорить на немъ, точно такъ же какъ и пріобрѣлъ первыя свѣдѣнія въ рисованіи отъ жи-

вописцевъ, посѣщавшихъ постояльца его отца; на сценѣ городскаго театра предъ нимъ разыгрывались французскія пьесы, — и такимъ образомъ, уже въ самые ранніе годы будущій поэтъ прошелъ сквозь рядъ совершенно новыхъ возбуждающихъ вліяній, воспоминаніе о которыхъ, еще многіе годы послѣ того, не давало ему присоединиться къ большинству его соотечественниковъ въ ихъ безотчетномъ и огульномъ осужденіи французскаго народа, цивилизаціи котораго онъ, Гёте, былъ обязанъ нѣсколькими изъ лучшихъ проявленій своей духовной жизни.

Прерванный военными событіями порядокъ ученія въ домѣ Гёте былъ возстановленъ въ усиленномъ видѣ по уходѣ французовъ изъ Франкфурта. Въ это время молодой Вольфгангъ уже имѣлъ достаточныя свѣдѣнія въ латинскомъ, италіанскомъ и французскомъ языкахъ, отчасти зналъ и по гречески; теперь къ этимъ языкамъ присоединился еще англійскій и, въ довольно значительной степени, древнееврейскій. Но великій умъ не могъ довольствоваться только усвоеніемъ такихъ чисто фактическихъ, такъ сказать, внѣшнихъ познаній: въ головѣ уже двѣнадцатилѣтняго мальчика онъ работалъ надъ высшими религіозными и философскими вопросами: такъ, лиссабонское землетрясеніе 1755 г. — слѣдовательно, когда Гёте было всего шесть лѣтъ — наводитъ его на пытливый вопросъ: какъ согласить существованіе подобныхъ дѣйствій съ безконечною любовію, безконечнымъ милосердіемъ Бога, о которыхъ говоритъ человѣку религія? Для поклоненія Высшему Существу, какимъ представляло Его себѣ воображеніе ребенка, онъ строитъ у себя въ комнатѣ изъ разныхъ металловъ, минераловъ, камешковъ и другихъ представителей различныхъ царствъ природы нѣчто въ родѣ высокаго алтаря, увѣнчиваетъ все зданіе фарфоровымъ сосудомъ, куда кладетъ ароматическія вещества, зажигаетъ эти послѣднія посредствомъ зажигательнаго стекла, т.-е. посредствомъ солнечныхъ лучей, — и такою процедурою, заставляющею видѣть уже въ маломъ ребенкѣ будущаго поэта-пантеиста, выражаетъ свое благоговѣніе къ проявленіямъ въ природѣ той высшей силы, которая называется Богомъ и которую, по его мнѣнію, недостаточно чтитъ и признаетъ обыкновенный, общепринятый религіозный культъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ этого десяти-двѣнадцатилѣтняго мальчика усерднымъ чтецомъ библіи (нѣсколько времени спустя — даже въ подлинникѣ), при чемъ особенно привлекаютъ и интересуютъ его тѣ главы книги Бытія, которыя переносятъ его въ идеальный міръ, полный серіозныхъ и причудливо живописныхъ образовъ. Само собою разумѣется, что такая впечатлительная и поэтическая душа не могла, даже въ самые юные годы, остаться нетронутою ощущеніями любви — и дѣйствительно, въ жизни пятнадцатилѣтняго Гёте занимаетъ нѣкоторое мѣсто идиллическій и кратковременный романъ, героиня котораго — нѣкая Гретхенъ, дочь небогатаго ремесленника.

Въ 1765 г. юноша, красивый, бодрый, веселый, производившій обоятельное впечатлѣніе на всѣхъ, видѣвшихъ и знавшихъ его, а въ кругу сверстниковъ бывшій высшимъ авторитетомъ, которому они инстинктивно и безусловно подчинялись, чуя въ немъ выстую, необычайную силу — этотъ юноша отправился въ Лейпцигъ для поступленія въ тамошній университетъ по юридическому факультету. Безъ возраженій исполнилъ онъ въ этомъ случаѣ волю отца, но зналъ, что исполненіе это будетъ чисто формальное, ясно чувствуя, что не для юридической карьеры создала его судьба, что въ совсѣмъ иной области станетъ онъ работать и займетъ высокое мѣсто—той области, въ которой уже теперь сдѣлалъ онъ нѣсколько, правда, слабыхъ и нерѣшительныхъ шаговъ,—въ видѣ довольно большаго количества лирическихъ стихотвореній, эпическихъ произведеній на тему сошествія І. Христа во адъ и исторіи продажи Іосифа братьями, трагедіи «Бельзацаръ», написанной въ подражаніе Клопштокскому «Соломону» и т. п.

пенісмъ этихъ основныхъ чертъ. Само собой разумѣется, что занятія университетскія продолжали оставаться только необходимою формальностью, необходимою и почтительною уступкою волѣ отца, хотя на этотъ разъ Гёте и окончилъ въ полной исправности весь курсъ, выдержалъ экзаменъ и, написавъ и защитивъ диссертацію «de legislatione» (которая, замѣтимъ кстати, встрѣтила въ факультетѣ затрудненія вслѣдствіе своей нецензурности въ религіозно-догматическомъ отношеніи), получилъ степень «лиценціата». Для литературнаго, собственно поэтическаго развитія Гёте, весьма важнымъ обстоятельствомъ послужила здѣсь его встрѣча съ Гердеромъ (въ 1770 г.), встрѣча, которую самъ поэтъ назвалъ впослѣдствіи въ своей автобіографіи «значительнѣйшимъ событіемъ, долженствовавшимъ имѣть для него важнѣйшія послѣдствія» и которая осуществила давнишнее желаніе, можно даже сказать — жажду молодого Гёте лично познакомиться съ человѣкомъ, умственно стоящимъ выше его. Гердеру было въ это время всего двадцать шесть лѣтъ, но имя его уже пользовалось извѣстностью, какъ имя автора «Критическихъ Лѣсовъ» и нѣсколькихъ другихъ сочиненій. Его энергія, свѣжесть мысли, горячность, часто доходившая до восторженности, въ соединеніи, впрочемъ, съ способностью холоднаго, строгаго, даже скептическаго анализа — не могли не дѣйствовать авторитетно, даже обаятельно на молодыхъ носителей идей «бури и натиска», — и неудивительно поэтому, что тѣ изъ нихъ, которые находились въ это время въ Страсбургѣ, сгруппировались вокругъ этого человѣка, немного превосходившаго ихъ годами, по характеръ котораго давно уже вполнѣ созрѣлъ подъ вліяніемъ строгой самодисциплины. Гёте сдѣлался однимъ изъ самыхъ усердныхъ посѣтителей Гердера, не упускалъ ни одного случая оказать ему услугу, терпѣливо сносилъ раздражительность, вообще лежавшую въ характерѣ Гердера, а теперь особенно усиленную его болѣзнью, и съ такою же терпѣливостью, больше—съ глубокимъ уваженіемъ, которому не мѣшало естественное непріятное чувство оскорбленнаго самолюбія — относился къ рѣзкости, съ какою Гердеръ произносилъ судъ надъ стихотворными произведеніями будущаго автора «Фауста». Все это возмѣщалось для Гёте (какъ и для его молодыхъ товарищей, группировавшихся около Гердера) тѣми свѣдѣніями, которыми обогащалъ его Гердеръ, тѣми идеями и чувствами, которыя онъ будилъ и развивалъ въ нихъ и которыя, какъ нельзя больше, соотвѣтствовали тому, что отчасти еще смутно, отчасти уже въ сознательной, опредѣленной формѣ бродило въ умѣ и душѣ молодого Гёте. Гердеръ разрушилъ многіе изъ тѣхъ авторитетовъ, которымъ до сихъ поръ поклонялся молодой Вольфгангъ (напр. Овидій); Гердеръ уяснилъ ему многое въ исторіи человѣчества, въ ходѣ человѣческой культуры; Гердеръ далъ ему понятіе о сущности пластики, о законахъ истинной поэзіи, Гердеръ надлежащимъ образомъ ознакомилъ его съ Гомеромъ, Оссіаномъ, Руссо, Гольдсмитомъ, Стерномъ, Свифтомъ, Ричардсономъ, а главное—съ Шекспиромъ, передъ бюстомъ котораго онъ часто обнималъ своего юнаго ученика; чрезъ посредство Гердера, наконецъ, Гёте узналъ народныя пѣсни, сдѣлавшіяся скоро для него источникомъ многихъ его собственныхъ лирическихъ произведеній — составляющихъ драгоцѣннѣйшіе камни въ вѣнцѣ его поэтическаго творчества.

Благодаря всему этому, Гёте во время своего пребыванія въ Страсбургѣ сдѣлалъ большіе шаги впередъ на пути умственнаго пробужденія своего. Онъ не принялъ теперь никакой доктрины, какъ полнаго и окончательнаго выраженія истины. Напротивъ того, высшая услуга, оказанная ему авторомъ «Критическихъ Лѣсовъ», заключалась въ томъ, что относительно вещей, входящихъ въ область человѣческаго разума, онъ освободился отъ подчиненія внѣшнимъ авторитетамъ. На міръ сталъ онъ смотрѣть теперь собственными глазами, точно такъ же какъ мнѣнія его

являлись уже продуктами свободной дѣятельности его собственнаго разсудка. Гердера встрѣтилъ онъ какъ разъ въ ту минуту, когда нуждался въ побужденіи, которое исходило бы отъ самостоятельнаго ума, достигнувшаго, сравнительно съ нимъ самимъ, болѣе высокой степени развитія. Когда онъ разстался съ этимъ человѣкомъ, для него уже не было надобности продолжать сидѣть у ногъ учителя. Теперь онъ зналъ уже, что совершать великое возможно только — (подобно тому, какъ это было съ поэтами, въ тайны которыхъ все больше и больше проникалъ онъ) — возможно только при условіи непосредственнаго соприкосновенія съ явленіями жизни; — теперь онъ сталъ безусловно вѣрить основнымъ импульсамъ и законамъ своего собственнаго ума и воображенія.

Весь погруженый въ область своего поэтическаго творчества, Гёте въ то же время, по своей натурѣ широко пользовался благами и наслажденіями дѣйствительной жизни, которая, замѣтимъ кстати, въ свою очередь постоянно находила у него отраженіе и воспроизведеніе въ этомъ творчествѣ. Самымъ выдающимся эпизодомъ здѣсь представляется маленькій романъ молодого поэта съ Фредерикою Бріонъ, дочерью зезенгеймскаго пастора — романъ, который въ высшей степени поэтически, если и съ нѣкоторыми чисто-фактическими невѣрностями, разсказанъ имъ самимъ въ его автобіографіи «Поэзія и Правда» (къ которой мы и отсылаемъ читателя). Фредерика, горячо полюбившая молодого студента-поэта, вообще производившаго обаятельное впечатлѣніе въ обществѣ своею красотою, веселымъ нравомъ, блестящимъ умомъ, необычайнымъ соединеніемъ физическихъ и нравственныхъ достоинствъ — Фредерика, на основаніи всего, происходившаго между ними (хотя это происходившее и имѣло вполнѣ платоническій характеръ),—могла, конечно, надѣяться—и дѣйствительно надѣялась — что эта идиллическая любовь окончится бракомъ; но не такова была натура Гёте, чтобы онъ рѣшился связать себя, когда предъ нимъ открывалось совсѣмъ иное поприще. чтобы онъ не поколебался «разрушить счастіе своего сердца для спасенія своего умственнаго развитія». При томъ— какъ доказала и послѣдующая жизнь поэта — онъ съ чисто-поэтическимъ увлеченіемъ переходилъ отъ одной привязанности къ другой, умѣлъ разлюбить такъ же быстро, какъ быстро влюблялся—хотя, пока длилась та или другая привязанность, она всегда была у него очень искренняя и очень глубока. Такъ или иначе — но скоро покончился разлукой этотъ романъ, собственно для исторіи поэтическаго творчества Гёте весьма важный въ томъ отношеніи, что пережитыя поэтомъ въ эту пору радости и страданія, борьба въ немъ самыхъ противоположныхъ чувствъ послужили могущественнымъ стимуломъ для его лирической производительности: къ этому именно періоду принадлежатъ многія изъ его лучшихъ «Lieder»—такія, въ которыхъ уже ясно проявляются дѣйствительно характерныя черты его поэзіи, ибо здѣсь нѣтъ уже ничего традиціоннаго, условнаго, а все служитъ прямымъ и точнымъ выраженіемъ его внутренней жизни.

III.

Въ 1771 г. Гёте оставилъ Страсбургъ, гдѣ, одновременно съ литературной дѣятельностью (выражавшеюся не только въ вышеупомянутыхъ лирическихъ стихотвореніяхъ, но и въ другихъ работахъ, каковы, напр., переводы изъ Оссіана, планъ драмы «Юлій Цезарь», комическія оперы и т. п.), онъ велъ шумную и веселую жизнь, тоже вполнѣ соотвѣтствовавшую его натурѣ, жизнь, которую, въ одномъ

изъ своихъ писемъ онъ сравнивалъ съ «катаньемъ на саняхъ, звенящимъ (отъ бубенчиковъ) и великолѣпнымъ, но дававшимъ такъ же мало для ума и сердца, какъ много — для глазъ и ушей», и которая, по словамъ того же письма, «оставляла мало времени, чтобы думать, и мало отдыха, чтобы чувствовать». Но тутъ же былъ и другой кружокъ, гдѣ поэтъ находилъ удовлетвореніе своимъ высшимъ интересамъ и стремленіямъ, которыхъ, конечно, не могли подавить или ослабить никакія свѣтскія удовольствія: это—кружокъ его единомышленниковъ, людей «бури и натиска», между которыми особенно близки къ нему Юнгъ Стиллингъ и Ленцъ, уже извѣстные намъ изъ вступленія къ настоящему біографическому очерку, и Лерзе: эти трое, вмѣстѣ съ Гёте, составляли, какъ выражался Юнгъ Стиллингъ, «кружокъ, въ которомъ хорошо было всякому, кто только могъ чувствовать, что̀ прекрасно и добро». Изъ Страсбурга онъ проѣхалъ во Франкфуртъ и тутъ немедленно вступилъ въ адвокатскую корпорацію, но сдѣлалъ это, очевидно, не по собственному желанію, а опять-таки, чтобы угодить отцу, который усматривалъ въ немъ будущее свѣтило этого міра.

Практики, впрочемъ, у него не было почти никакой, и все время онъ отдавалъ литературѣ. На первомъ планѣ теперь стояло у него изученіе Шекспира, культъ котораго выразился у него между прочимъ въ устройствѣ празднества по случаю годовщины дня рожденія великаго драматурга, — и первымъ плодомъ этого изученія была написанная въ 1772 г. въ нѣсколько вечеровъ и появившаяся въ окончательной редакціи въ 1773 г. драма, вѣрнѣе — драматическая хроника «Гецъ-фонъ-Берлихингенъ съ желѣзною рукою». *) Вызванный этою пьесою энтузіазмъ превзошелъ ожиданіе автора. Нѣкоторымъ критикамъ стараго поколѣнія она показалась безобразнымъ уклоненіемъ отъ всякихъ эстетическихъ правилъ, каковыми признавали они, не сбитые съ этого пути даже Лессингомъ, законы, установленные французскою классическою драмой; но поколѣніе молодое, поколѣніе «бури и натиска» привѣтствовало «Геца», какъ блистательное доказательство появленія новаго и смѣлаго духа свободы. Геніальный человѣкъ, отбросивъ въ сторону все условное и искусственное, обратился за вдохновеніемъ прямо къ дѣйствительности, и произнесъ «слово», которое, какъ думала эта молодежь, освобождало ихъ навсегда отъ необходимости подчиняться не только «единствамъ» французской драмы, но и какимъ бы то ни было законамъ въ искусствѣ. Разомъ образовалась школа писателей, провозгласившая Гёте своимъ главою, въ то самое время, какъ онъ сдѣлался однимъ изъ первыхъ «львовъ» Франкфурта вообще и ежедневно, ежечасно долженъ былъ принимать у себя посѣтителей, сгоравшихъ жаждою познакомиться съ нимъ. Этотъ необычайный успѣхъ далъ молодому автору полную увѣренность въ себѣ, и съ этихъ поръ онъ — нерѣдко до того переживавшій минуты унынія, разочарованія въ своихъ силахъ и т. п. — не сомнѣвался уже, что онъ вполнѣ оправдаетъ надежды, возлагавшіяся нѣмецкою публикою на его слѣдующее произведеніе. И онѣ оправдались блистательно: этимъ слѣдующимъ произведеніемъ былъ романъ «Страданья молодого Вертера» (Die Leiden des jungen Werthers), оконченный въ мартѣ 1774 г. и находившійся, со своей фактической стороны, въ близкой связи съ тѣмъ дѣйствительнымъ романомъ, который весьма незадолго до того былъ пережитъ самимъ авторомъ въ Вецларѣ и подробности котораго разсказаны нами ниже, во вступленіи къ самому произведенію.

---

*) Фактическія подробности, касающіяся сочиненія этой драмы, равно какъ литературная оцѣнка ея и т. п. будутъ приведены нами во вступленіи къ самой пьесѣ; точно такъ же будемъ мы поступать и относительно другихъ произведеній.

Успѣхъ «Вертера» былъ такой, что передъ нимъ поблѣднѣлъ даже успѣхъ «Геца». Если этотъ послѣдній вызвалъ массу подражаній не только въ Германіи, но и въ Европѣ (напр. во Франціи пьеса «La guerre d'Alsace»), подражаній, впрочемъ, большинство которыхъ, по замѣчанію самого Гёте, «сдѣлали его манеру смѣшною и зловонною въ глазахъ публики»; если эта пьеса, нѣсколько времени спустя, оказала значительное вліяніе на такого писателя, какъ Вальтеръ-Скоттъ— то «Страданья Вертера» не только породили цѣлую литературу въ Германіи, Франціи и Англіи, но нашли себѣ сильное отраженіе и въ дѣйствительной жизни размноженіемъ самоубійствъ, маніею молодежи наряжаться въ такіе костюмы, въ какой Гёте одѣлъ своего Вертера и т. п. частностями, повидимому, совершенно внѣшними и незначительными, но на самомъ дѣлѣ далеко не лишенными значенія, какъ матеріалъ для исторіи умственнаго и нравственнаго состоянія того времени... Что касается самого автора, то, какъ онъ самъ говорилъ, окончивъ «Вертера», онъ почувствовалъ себя въ настроеніи человѣка послѣ обширной исповѣди. Бремя, такъ тяжело лежавшее на немъ, теперь спало съ груди, и, снова свободный и счастливый, онъ съ тою же свѣтлою увѣренностью въ себѣ готовился продолжать свою литературную дѣятельность. Мало-по-малу онъ нашелъ для себя возможнымъ даже шутить насчетъ тѣхъ характеровъ въ этомъ романѣ, бѣдствія которыхъ такъ глубоко трогали его. Николаи, извѣстный берлинскій книгопродавецъ и литераторъ, другъ Лессинга, находившійся въ числѣ тѣхъ серіозныхъ и положительныхъ людей, которые, отчасти по недоразумѣнію (какъ Лессингъ), отчасти по узкой ограниченности и рутинному филистерству отнеслись къ новому произведенію молодого «революціонера въ литературѣ» весьма несочувственно, даже враждебно.— Николаи написалъ жалкую пародію на романъ Гёте, въ которой Вертеръ и Лотта соединяются бракомъ и живутъ потомъ долгіе годы счастливо, ибо пистолетъ, изъ котораго Вертеръ стрѣлялъ въ себя, былъ заряженъ не пулею, а кровью цыпленка, ослѣпившею стрѣлявшаго. Гёте, въ отвѣтъ на это, сперва написалъ стихотворную эпиграмму «Николаи на гробѣ Вертера», а потомъ — шуточный и забавный «діалогъ» между Вертеромъ и Лоттой, въ которомъ она и онъ жалуются на то, что Николаи суется въ чужія дѣла, ничего не понимая. Объ этомъ діалогѣ, впослѣдствіи затерявшемся, Гёте разсказываетъ въ своей автобіографіи — и разсказываетъ съ нѣкоторою гордостью, показывающею, что во время сочиненія этой шутки онъ чувствовалъ себя уже освобожденнымъ отъ тѣхъ вліяній, которыя вызвали появленіе «Вертера»; здѣсь же мы можемъ напомнить эпиграфъ, написанный авторомъ на второмъ изданіи романа: «Sei ein Mann und folge mir nicht»—(«будь мужчина и не слѣдуй моему примѣру»).

Но до полнаго контроля надъ своими умственными силами было еще далеко этому геніальнѣйшему воплощенію идей «бури и натиска», этому почти юношѣ, который однимъ, можно сказать, взмахомъ пера создалъ въ Германіи новую, Шекспировскую драму, и такъ же быстро, однимъ юношескимъ произведеніемъ, произвелъ реформу въ области романа; — до полнаго контроля надъ своими умственными силами ему было еще далеко. Множество противоположныхъ идей толпились и боролись между собою въ его умѣ, и жанры его почти мѣнялись чуть не съ каждымъ днемъ, уступая мѣсто другъ другу безъ всякаго видимаго основанія и съ изумительною быстротою. Натура Гёте была слишкомъ сложная, чтобы сразу или скоро достигнуть внутренняго успокоенія,— того художественнаго успокоенія, которое впослѣдствіи составило отличительную черту поэзіи автора «Эгмонта», «Торквато Тассо», «Римскихъ Элегій»... Время съ 1772 г. до 1775, т.-е. до того года, когда начинается новый періодъ въ жизни Гёте, есть время полнаго броженія его силъ, непрестанной

внутренней работы надъ собой и, вмѣстѣ съ тѣмъ, непрерывной дѣятельности его. Она выразилась теперь — независимо отъ лирическихъ стихотвореній, между которыми, кромѣ «Lieder» начинаютъ встрѣчаться и стихотворенія другаго жанра (напр. Wanderer's Sturmlied, Wanderer и т. п.) — въ двухъ, написанныхъ прозою, драмахъ «Клавиго» и «Стелла», маленькихъ пьескахъ съ пѣніемъ: «Эрвинъ и Эльмира» и «Клаудина фонъ-Вилла-Белла», сатирическомъ фарсѣ «Боги, герои и Виландъ» (Götter, Helden und Wiland), драматическомъ отрывкѣ «Прометей», неоконченной поэмѣ «Вѣчный Жидъ», первыхъ наброскахъ трагедіи «Эгмонтъ» (окончепной уже гораздо позже), наконецъ — въ нѣсколькихъ сценахъ «Фауста», котораго началъ писать Гёте въ 1773 и въ 1774 г. и который въ томъ видѣ, въ какомъ онъ вышелъ изъ-подъ его пера во Франкфуртѣ, заключалъ уже въ себѣ все, что̀ есть наиболѣе существеннаго и прекраснаго въ первой части этого великаго произведенія... Необходимо замѣтить, что въ эту пору нашъ поэтъ, дѣятельность котораго не ограничивалась собственно поэтическою производительностью, а выражалась и въ усердныхъ занятіяхъ тѣми науками, которыя могли подвигать его впередъ на пути умственнаго самосовершенствованія — познакомился съ великимъ философомъ Спинозою и, главнымъ образомъ, съ его сочиненіемъ «Этика». Это знакомство было очень важнымъ событіемъ въ жизни Гёте, ибо Спиноза ввелъ его въ такой высокій кругъ идей, какой не былъ ему доступенъ до этихъ поръ. Именно, «Этика» оказала на него могущественное вліяніе, и много лѣтъ впослѣдствіи онъ не переставалъ по временамъ обращаться къ ней, постоянно находя въ ней мысли, родственныя его мыслямъ, и которыя онъ могъ дѣлать своими собственными. Безспорно, что Спиноза былъ единственный дѣятель въ области чистой философіи, изъ уроковъ котораго Гёте всегда извлекалъ для себя обильную пользу. Если изъ всѣхъ сочиненій амстердамскаго мудреца такую сильную роль въ развитіи нашего поэта сыграла именно «Этика», то это весьма естественно, принимая въ соображеніе натуру и склонности Гёте. Онъ, котораго поэтическій темпераментъ его заставлялъ всегда думать сердцемъ и сквозь воображеніе, не могъ не подчиняться впечатлѣнію, производившемуся на него спокойнымъ и величественнымъ ходомъ аргументовъ, которые являлись ему въ безстрастной, отвлеченной формѣ и путемъ неоспоримаго логическаго метода. При этомъ еще для Гёте было утѣшительно видѣть, что философъ, безусловнѣе всѣхъ своихъ собратьевъ освободившій свой умъ отъ всякихъ предразсудковъ, смотрѣлъ на жизнь съ непоколебимою твердостью, и относился къ ней не съ простою покорностью судьбѣ, а полный надежды, радостнаго чувства и энергіи. Самый же серіозный отголосокъ въ умѣ Гёте находила идея Спинозы, что между тѣмъ какъ двигающія вселенною силы проявляютъ себя въ широкомъ и разъ навсегда установленномъ, не подлежащемъ ни малѣйшимъ измѣненіямъ порядкѣ, индивидуальный умъ можетъ привести себя въ гармонію съ этимъ порядкомъ только оставаясь постоянно вѣрнымъ законамъ своего собственнаго бытія. Высокое благородство характера Спинозы было тоже однимъ изъ источниковъ очарованія, которое онъ имѣлъ для Гёте. «Болѣе всего — писалъ Гёте много лѣтъ спустя въ своей автобіографіи — поразило меня въ этомъ сочиненіи (т.-е. «Этикѣ»), то безграничное безкорыстіе, которое сквозитъ въ каждой его строкѣ. Дивное изреченіе: «кто любитъ Бога, отнюдь не долженъ требовать, чтобы Богъ любилъ его», со всѣми положеніями, изъ которыхъ оно выведено, равно какъ и съ послѣдствіемъ, выведеннымъ изъ него — наполнило все мое существо. Быть безкорыстнымъ во всемъ, и болѣе всего — въ любви и дружбѣ, сдѣлалось до того моимъ стремленіемъ, моимъ высшимъ правиломъ, моимъ желаннымъ счастьемъ, что смѣлое позднѣйшее мое выраженіе: «Если я тебя люблю, то что тебѣ до этого?..» вырвалось дѣйствительно изъ моего сердца...» За время

жизни во Франкфуртѣ Гёте не достигъ еще того душевнаго настроенія, которое позволило бы ему сказать о себѣ, что онъ вполнѣ примирился съ собою и съ міромъ; внутренній разладъ его, явными обнаруженіями котораго полны многія изъ написанныхъ въ эту пору произведеній, еще далеко не уничтожился, — но ученіе Спинозы было все-таки освѣжающимъ питьемъ для его жаждущихъ губъ; вмѣстѣ съ чтеніемъ «Этики»—говоритъ онъ самъ—«я нашелъ успокоеніе своимъ бурнымъ порываmъ; мнѣ казалось, что я пріобрѣлъ вѣрный, свободный взглядъ и на духовный, и на чувственный міръ...» Общеніе съ этимъ яснымъ и возвышеннымъ умомъ поставило его на тотъ путь, которымъ могъ онъ пойти къ внутреннему контролю надъ собою и къ гармоническому развитію своихъ интеллектуальныхъ силъ.

Продолжая работать такимъ образомъ съ несокрушимою и неистощимою энергіею, Гёте поддерживалъ дружескія связи со своими близкими и единомышленниками, между которыми назовемъ Мерка, издателя «Frankfurter Gelehrten Anzeigen» (гдѣ сотрудничаетъ и Гёте), человѣка очень образованаго и съ скептическимъ, отчасти даже циническимъ складомъ ума, вслѣдствіе чего, какъ думаютъ, нѣкоторыя черты этой личности воспроизведены въ Мефистофелѣ «Фауста»,— уже извѣстнаго намъ Клингера, въ ту пору еще не автора пьесы «Sturm und Drang»,—извѣстнаго физіономиста Лафатера, впослѣдствіи фанатика и отступника, но въ это время еще горячаго приверженца тѣхъ идей, за которыя стояла вся эта молодежь,—особенно же братьевъ Якоби, собственно младшаго изъ нихъ, человѣка весьма умнаго и благороднаго, съ которымъ Гёте по цѣлымъ днямъ и ночамъ обсуждалъ высшіе философскіе вопросы, при чемъ главною темою ихъ преній было ученіе все того же Спинозы... Само собою разумѣется, что въ этихъ сердечныхъ привязанностяхъ немаловажную роль играли и женщины, между которыми самое выдающееся мѣсто занимала Лили (Анна Елисавета) Шенманъ, семнадцатилѣтняя дѣвушка, принадлежавшая къ высшему франкфуртскому обществу. Она до такой степени очаровала Гёте красотою, граціею, веселостью, что онъ, закрывши даже глаза на ея кокетство, сдѣлалъ ей предложеніе, и она отвѣчала на него согласіемъ, потому, что сама полюбила—насколько можно было полюбить при ея вѣтреномъ характерѣ— молодого красавца-поэта, имя котораго гремѣло во всей Германіи. Бракъ этотъ, однако, не состоялся, отчасти вслѣдствіе противодѣйствія со стороны родственниковъ Лили, находившихъ, что эта партія для нея—почти mésalliance,—отчасти потому, что Гёте въ свою очередь, послѣ первой поры ослѣпленія, увидѣлъ эту дѣвушку въ ея настоящемъ свѣтѣ и понялъ, что жениться на ней—безсмысленно; да его натура и не позволяла ему связывать себя. Для поэтическаго его творчества романъ съ Лили прошелъ почти безслѣдно, но ему мы все-таки обязаны нѣсколькими лирическими стихотвореніями, между которыми особенно хороши: «An Belinden» (Къ Белиндѣ) и «Neue Liebe, Neues Leben» (Новая Любовь, Новая Жизнь).

1775-ымъ годомъ открывается новый періодъ въ жизни Гёте. Къ концу предыдущаго года онъ былъ представленъ во Франкфуртѣ проѣзжавшему черезъ этотъ городъ наслѣдному принцу веймарскому, въ то время семнадцатилѣтнему юношѣ, и результатомъ этого свиданія, оставившаго въ молодомъ принцѣ самое благопріятное впечатлѣніе, было то, что когда, полгода спустя, онъ вступилъ на престолъ, то имъ было послано къ поэту приглашеніе—пріѣхать въ Веймаръ. 7 ноября 1775 г. Гёте прибылъ въ этотъ городъ, думая, что пробудетъ тамъ только короткое время; на самомъ же дѣлѣ Веймару предстояло сдѣлаться новымъ его отечествомъ, гдѣ жизнь его и дѣятельность пошли совершенно новымъ путемъ.

IV.

Веймаръ, въ то время маленькій нѣмецкій городокъ, былъ однако пунктомъ въ которомъ наука, литература, искусство находили самый радушный и широкій пріютъ, благодаря какъ самому герцогу, такъ главнымъ образомъ и его матери, вдовствующей герцогинѣ Амаліи, женщинѣ всего тридцатишести лѣтъ, очень умной и образованной, старавшейся группировать вокругъ себя по возможности все, что было наиболѣе выдающагося въ мірѣ литературы и искусства. Такимъ образомъ, Гёте увидѣлъ себя здѣсь въ сообществѣ, между прочими, Виланда и Гердера, съ первымъ изъ которыхъ у него завязались, а со вторымъ возобновились дружескія связи. Герцогъ же, въ натурѣ котораго было тоже не мало «натискобурнаго» доводившагося имъ иногда до излишества въ практической жизни,—такъ полюбилъ молодого поэта, что рѣшилъ уже никогда не разставаться съ нимъ, и привлечь его къ участію въ управленіи государствомъ, несмотря на то, что Гёте, правда очень ловко, съ большимъ тактомъ сдерживалъ излишнюю наклонность государя ко всякимъ шумнымъ удовольствіямъ, нервнымъ возбужденіямъ... Благодаря этому рѣшенію, горячо поддерживавшемуся вдовствующею герцогинею, и вопреки энергической оппозиціи старыхъ высшихъ сановниковъ, находившихъ, что профессія поэта и государственнаго дѣятеля совершенно несовмѣстимы—Гёте весною 1776 г. былъ назначенъ Членомъ Тайнаго Совѣта съ титуломъ «Geheimer Legationsrath», при чемъ ему предоставлена была полная свобода заниматься, сколько угодно, поэзіею и смотрѣть на занятія должностныя, какъ на побочныя, если онъ того пожелаетъ—равно какъ и право выти въ отставку и уѣхать изъ Веймара тоже, когда онъ сочтетъ это для себя нужнымъ.

Къ первымъ годамъ пребыванія Гёте въ Веймарѣ относится его сердечное увлеченіе женщиною, которая потомъ, въ теченіе десяти лѣтъ, оказывала на него сильное вліяніе—Шарлоттою фонъ-Штейнъ,—женою шталмейстера, матерью семерыхъ дѣтей, бывшею старше поэта на шесть лѣтъ. Уже во Франкфуртѣ Гёте имѣлъ случай видѣть ея портретъ, который произвелъ на него сильное впечатлѣніе; г-жа Штейнъ, въ свою очередь, еще не зная лично поэта, была горячею поклонницею его произведеній, и такимъ образомъ они были уже приготовлены ко взаимной симпатіи. Шарлотта Штейнъ не обладала особенно высокимъ умомъ, но ея грація, красота, восторженное сочувствіе ко всему прекрасному въ жизни и литературѣ были тѣми качествами, которыя сразу и неодолимо привлекли къ ней автора «Вертера». Это чувство готово было перейти въ немъ въ настоящую страсть, но образъ дѣйствія г-жи Штейнъ—добродѣтельной жены и матери — относительно его скоро сдержалъ это пламенное увлеченіе, и взаимныя отношенія ихъ приняли форму тѣсной, чистой и благородной дружбы. Гёте повѣрялъ своей новой пріятельницѣ всѣ свои мысли, колебанія, тревоги—и она постоянно поддерживала въ немъ бодрость, вселяла въ него силу и энергію; онъ сообщалъ ей также планы своихъ новыхъ произведеній, подробности о ходѣ своихъ занятій и находилъ въ ней человѣка, понимавшаго все это, сочувствовавшаго ему и ободрявшаго во всѣхъ замыслахъ и предпріятіяхъ... Въ эти же первые годы новой жизни нашего поэта въ характерѣ его произошла большая перемѣна—частью, какъ явленіе естественное, частью какъ результатъ долгой и усиленной работы его надъ собою. Онъ пришелъ къ тягостному сознанію, что въ прошедшемъ позволилъ себѣ слишкомъ сильно увлекаться минутными импульсами, что ему дороги были пылкія, необузданныя движенія и склонности, не имѣвшія никакого дѣйствительнаго отношенія къ фактамъ человѣческаго существо-

ванія, что счастіе свое онъ ставилъ въ зависимость отъ преходящихъ настроеній, привязанностей, вкусовъ... И онъ твердо рѣшился положить всему этому конецъ, установить твердый контроль надъ собою, неуклонно направлять свои силы къ возвышеннымъ, но ясно опредѣленнымъ и достижимымъ цѣлямъ. Насколько онъ исполнитъ это рѣшеніе, насколько успѣлъ и сумѣлъ дисциплинировать себя—видно, между прочимъ, изъ отношенія его къ служебнымъ своимъ обязанностямъ. Побѣждая въ себѣ чувство поэта, несовмѣстимое съ занятіями такого рода, зная, что герцогъ, какъ мы видѣли выше, предоставилъ ему въ этомъ отношеніи полную свободу, онъ, однако, только въ силу сознанія долга, исполнялъ все возлагавшееся на него, все, въ чемъ требовалось его участіе, самымъ добросовѣстнымъ образомъ, и притомъ съ такою талантливостью, такимъ разностороннимъ и глубокимъ пониманіемъ дѣла, что дѣятельность его на этомъ поприщѣ—въ сферахъ административной, финансовой, дипломатической, педагогической, даже военной—приносила огромную пользу, въ то же время поражая изумленіемъ тѣхъ, которые сомнѣвались въ способности поэта заниматься вещами совершенно практическаго и прозаическаго свойства.—Дисциплинируя такимъ образомъ себя во внутреннемъ отношеніи, онъ не менѣе строго относился къ своему тѣлу: спалъ на твердомъ тюфякѣ, началъ пить гораздо меньше вина, чѣмъ пилъ до тѣхъ поръ, усердно и съ великимъ удовольствіемъ предавался разнымъ физическимъ упражненіямъ, въ родѣ верховой ѣзды, плаванія, фехтованія, бралъ холодныя ванны какъ лѣтомъ, такъ и зимой... Соотвѣтственно съ перемѣною въ характерѣ измѣнилась и его манера держать себя, измѣнилось то, что̀ мы называемъ внѣшнимъ поведеніемъ. Правда, что и теперь бывалъ онъ способенъ на тѣ открытые и «геніальные» взрывы, чувства, которыми такъ часто очаровывались его товарищи въ дни «бури и натиска»,—но вообще онъ сдѣлался болѣе спокойнымъ, положительнымъ, сдержаннымъ. Это не значитъ, что въ немъ ослабѣли добрыя, человѣчныя движенія, составлявшія прекрасную отличительную черту его натуры: тотъ духъ благородной гуманности, который широко проявился въ немъ въ первую половину его жизни, нисколько не терялъ съ годами своей глубины и свѣжести. «Гёте—писалъ Меркъ, посѣтившій въ эту пору своего стараго пріятеля—доставляетъ удовольствіе всѣмъ, имѣющимъ съ нимъ дѣло, потому что онъ оказываетъ услуги многимъ и не причиняетъ вреда никому. Кто имѣетъ возможность устоять противъ полнаго отсутствія эгоизма въ этомъ человѣкѣ?..»

Понятно, что столь многочисленныя служебныя занятія, при такомъ добросовѣстномъ исполненіи ихъ, оставляли мало времени для работъ поэтическихъ, да и были не особенно благопріятны для того, чтобы вызывать и поддерживать поэтическое настроеніе. Вотъ, можетъ быть, отчего, не прекращая вовсе—какъ увидимъ ниже—чисто литературныхъ работъ, онъ посвящалъ свои свободные часы больше наукѣ,—наукѣ, къ которой обнаруживалъ Гёте сильную склонность уже въ дѣтствѣ и потомъ въ юношествѣ, слушая въ Лейпцигѣ лекціи физики и медицины, изучая въ Страсбургѣ разныя отрасли біологіи. Теперь онъ сталъ заниматься минералогіею и геологіею, главнымъ же образомъ—остеологіею и ботаникою, проявляя во всѣхъ этихъ работахъ не только самое серіозное отношеніе къ дѣлу, но и большія научныя дарованія, что̀ засвидѣтельствовалось, между прочимъ, первымъ его важнымъ открытіемъ, сдѣланнымъ въ области остеологіи. Изучая эту область анатоміи, онъ интересовался преимущественно сравненіемъ скелета человѣческаго со скелетомъ другихъ позвоночныхъ. До тѣхъ поръ было вообще принято, что межчелюстная кость, находящаяся въ верхней части рта нѣкоторыхъ животныхъ, не имѣется у человѣка, и это считалось однимъ изъ доказательствъ, что физическая природа человѣка совершенно отлична отъ природы остальныхъ живыхъ существъ. Въ 1784 г. Гёте,

разсматривая разныя кости, былъ крайне изумленъ, найдя въ одной человѣческой челюсти то, что́, по его мнѣнію, было междучелюстная кость. Онъ немедленно сталъ сравнивать ее съ различными формами, принимаемыми костью въ различныхъ видахъ животныхъ, и чѣмъ обширнѣе размѣры принимало это сравненіе, тѣмъ болѣе онъ убѣждался въ справедливости своего мнѣнія. Результаты своихъ изслѣдованій онъ изложилъ въ статьѣ, иллюстрированной рисунками, и трудъ этотъ былъ переведенъ на латинскій языкъ и отданъ на обсужденіе многихъ ученыхъ; но въ печати онъ появился не раньше, какъ лѣтъ тридцать спустя. Сдѣланное Гёте открытіе междучелюстной кости въ челюсти человѣка сильно способствовало устраненію мнѣнія, что возможно провести рѣзкую черту отличія между физическою натурою человѣка и другихъ позвоночныхъ; а отсюда Гёте пришелъ къ теоріи, что всѣ органическія существа одного и того же класса устроены сообразно съ идеальными типами или моделями, которые природа измѣняетъ для приспособленія ихъ къ измѣняющимся условіямъ. Эта теорія составила эпоху въ исторіи научныхъ идей, ибо, остановивъ вниманіе на томъ фактѣ, что органическія существа одного и того же класса, какъ ни значительно различіе ихъ органовъ, совершенно сходны между собою въ общей структурѣ, она прямо приготовила путь къ открытію закона эволюціи, въ которомъ этотъ фактъ нашелъ себѣ мѣсто и объясненіе.

Выше замѣчено, что собственно литературныя работы,—какъ и слѣдовало ожидать, — не были вовсе оставлены поэтомъ. Въ 1779 г. онъ окончилъ драму «Ифигенію», которую написалъ *прозой* (въ стихотворную форму она была переработана уже впослѣдствіи) и которая была представлена съ блестящимъ успѣхомъ на придворной веймарской сценѣ (которою завѣдывалъ Гёте и которая ему, особенно впослѣдствіи, была обязана своимъ блестящимъ положеніемъ), при чемъ самъ авторъ игралъ роль Ореста. Пьеса эта является новымъ шагомъ на пути поэтическаго творчества Гёте, такъ какъ здѣсь уже ясно виденъ тотъ поворотъ отъ пылкаго, пламеннаго стиля первыхъ произведеній къ стилю строго-художественному, который затѣмъ сталъ принимать болѣе и болѣе значительные размѣры и окончился полнымъ установленіемъ новой манеры. Въ 1777 г. началъ онъ писать «Вильгельма Мейстера», надъ которымъ затѣмъ продолжалъ работать восемь лѣтъ. Къ этому-то времени относятся: часть драмы «Торквато Тассо», сперва, какъ и «Ифигенія», тоже написанной въ прозѣ, — нѣсколько мелкихъ драматическихъ пьесъ въ прозѣ, назначенныхъ собственно для представленія при дворѣ, — нѣсколько превосходныхъ стихотвореній, между которыми особенно выдаются: «Harz reise im Winter» («Путешествіе на Гарцъ зимою»), отрывокъ «Die Geheimnisse» («Тайны») и др.

Такъ работалъ Гёте цѣлыхъ десять лѣтъ —и почувствовалъ потребность отдохнуть въ смыслѣ перемѣны обстановки, доставленія уму и сердцу новыхъ, свѣжихъ впечатлѣній. Лучшимъ средствомъ для этого призналъ онъ путешествіе. Уже въ теченіе этихъ десяти лѣтъ ѣздилъ поэтъ-сановникъ съ этою цѣлью на короткое время въ Швейцарію, потомъ два раза—въ горы Гарца, но этого было слишкомъ недостаточно; предметомъ его стремленій была теперь Италія, которую онъ жаждалъ увидѣть уже съ самаго дѣтства. Въ 1786 г. онъ и отправился въ это путешествіе, которое, какъ увидимъ ниже, имѣетъ несомнѣнную важность въ исторіи художественнаго развитія и поэтическаго творчества Гёте.

V.

Едва ступилъ поэтъ на почву Италіи, какъ почувствовалъ въ душѣ присутствіе той радости и той внутренней эластичности, которыхъ онъ давно ждалъ и жаждалъ, почувствовалъ, что онъ снова самъ себѣ хозяинъ и господинъ. О его настроеніи во время этой поѣздки, его впечатлѣніяхъ, томъ новомъ, что́ она вносила въ его кругозоръ—краснорѣчиво и лучше всякихъ біографовъ свидѣтельствуютъ письма его оттуда на родину, большая часть которыхъ была адресована къ Шарлоттѣ Штейнъ и которыя впослѣдствіи (не всѣ, а только избранныя) были литературно обработаны авторомъ и изданы имъ подъ общимъ заглавіемъ «Italienische Reise» («Путешествіе въ Италію»). Письма эти, въ которыхъ свѣжесть и восторженность непосредственныхъ, первыхъ впечатлѣній удивительно гармонируетъ съ благородною и спокойною простотою и античною чистотою стиля — въ рукахъ нашего читателя, и онъ самъ поэтому можетъ шагъ за шагомъ сопровождать геніальнаго путешественника, проѣхать съ нимъ черезъ Верону, Виченцу. Падую, — пробыть три недѣли въ Венеціи и быть свидѣтелемъ глубокаго впечатлѣнія, произведеннаго на поэта этимъ изумительнымъ въ историческомъ и художественномъ отношеніи городомъ,—видѣть его въ Римѣ, главной цѣли его путешествія, этой, какъ онъ выразился въ письмѣ, «столицѣ міра», пребываніе въ которой «осуществило всѣ мечты его юности»,— присутствовать при его изученіи памятниковъ древняго и средневѣковаго искуства, и при сознательномъ наслажденіи, вызываемомъ ими въ ученикѣ Винкельмана, слышать признаніе его, что дыханіе жизни можно чувствовать только въ подлинныхъ мраморныхъ статуяхъ, а не гипсовыхъ копіяхъ съ нихъ.— сидѣть съ нимъ въ мастерскихъ художниковъ, между которыми иные (Тишбейнъ, Анжелика Кауфманъ) становятся его друзьями, — изъ Рима послѣдовать за нимъ въ Неаполь, оттуда въ Сицилію,—видѣть его здѣсь старательно изучающимъ остатки греческой архитектуры и въ то же время продолжающимъ свои научныя занятія и изслѣдованія, преимущественно въ области ботаники, по вопросу о метаморфозѣ растеній, составляющей одно изъ его важныхъ открытій,—изъ Сициліи снова вернулся въ Римъ, гдѣ онъ проводитъ почти годъ,—и наконецъ въ іюнѣ снова вернуться въ Веймаръ. Не забудемъ, что наслажденіе міромъ искуства, полное погруженіе въ него не останавливало и поэтической производительности Гёте: къ этому времени относится окончаніе «Ифигеніи» — вѣрнѣе, переработка прежней редакціи въ стихотворную форму, окончаніе давно начатаго «Эгмонта», приведеніе въ лучшій видъ «Эрвина и Эльмиры» и «Клаудины фонъ Вилла-Белла», наконецъ, продолженіе работы надъ «Фаустомъ», изъ котораго была написана въ Римѣ одна изъ замѣчательнѣйшихъ сценъ этой трагедіи, именно «Кухня Вѣдьмы».

Путешествіе въ Италію дало поэту все, чего онъ ожидалъ отъ него — даже больше. Оно успокоило то сердечное томленіе, которымъ давно уже страдалъ онъ; оно обогатило его умственную жизнь, приведя его въ соприкосновеніе съ природою въ грандіознѣйшихъ и прелестнѣйшихъ проявленіяхъ ея и со многими изъ возвышеннѣйшихъ созданій человѣческаго генія; оно обновило и укрѣпило въ немъ сознаніе своей силы, какъ поэта, и наполнило его пламеннымъ желаніемъ примѣнять эту силу къ достиженію результатовъ болѣе высокихъ, чѣмъ тѣ, которые были достигнуты до сихъ поръ. Исполненію этого желанія способствовало освобожденіе его герцогомъ веймарскимъ отъ значительной части служебныхъ обязанностей, при чемъ онъ, въ это время уже «тайный совѣтникъ» (Geheimrath), министръ и дворянинъ, удержалъ за собою, больше съ научными цѣлями, управленіе рудниками въ Ильменау

и наблюденіе за ходомъ преподаванія въ іенскомъ университетѣ; въ это же время въ его частной жизни произошло событіе, перенесшее его изъ шумнаго свѣтскаго круга въ тѣсный кругъ домашній и этимъ давшее ему еще болѣе возможности посвятить себя чисто кабинетнымъ занятіямъ. Это событіе было почти внезапная и поразившая всѣхъ женитьба его,—поразившая потому, что въ подруги себѣ этотъ знаменитый поэтъ, важный государственный сановникъ избралъ случайно встрѣченную имъ черезъ нѣсколько недѣль по возвращеніи въ Веймаръ дѣвицу средняго класса и бѣдную. Христина Вульпіусъ — такъ звали ее—очаровала поэта и своею наружностью, и тѣмъ, чему всегда придавалъ онъ высокую цѣну въ женщинѣ — простотою, естественностью, искренностью, однимъ словомъ, «натурою», которую онъ въ этомъ случаѣ ставилъ гораздо выше пріобрѣтаемаго искусственнымъ путемъ образованія, культуры. Стоя, конечно, неизмѣримо ниже его по уму и развитію, Христина, однако, не принадлежала къ числу женщинъ совершенно дюжинныхъ, потому что онъ, когда уѣзжалъ изъ Веймара, писалъ ей длинныя письма, велъ съ ней бесѣды о такихъ вещахъ, какъ напримѣръ его ботаническія открытія, и не находилъ, что эти предметы особенно превышали ея разумѣніе, поручалъ ей часто важныя частныя дѣла, и она исполняла ихъ съ тактомъ, здравымъ смысломъ, энергіею. Присоединявшіеся къ этому прекрасный характеръ, глубокая любовь къ мужу, веденіе ею домашняго хозяйства совершенно сообразно взглядамъ и желаніямъ главы дома—все это было причиною, что Гёте, какъ онъ самъ сознавался, считалъ себя въ этомъ отношеніи совершенно счастливымъ,—какъ, замѣтимъ кстати, это бывало въ подобныхъ случаяхъ со многими другими поэтами и передовыми людьми. На первыхъ порахъ онъ жилъ съ Христиною въ гражданскомъ бракѣ, но впослѣдствіи, и по чувству привязанности, и считая это долгомъ совѣсти, закрѣпилъ эту связь бракомъ законнымъ—и то, и другое, къ великому неудовольствію придворныхъ барынь, особенно же г-жи Штейнъ, съ которою у поэта уже и прежде начались холодныя отношенія и которая теперь формально поссорилась съ нимъ, написавъ ему весьма рѣзкое письмо; замѣтимъ уже здѣсь, чтобы не возвращаться болѣе къ этому предмету, что отъ Христины онъ имѣлъ нѣсколько дѣтей, изъ которыхъ трое родились мертвыми, четвертый умеръ въ дѣтствѣ, а старшій сынъ, Августъ, прожилъ до 1830 г., сама же Христина умерла уже въ 1816 г. къ великому горю мужа.

Поэтическая производительность Гёте по возвращеніи изъ Италіи выразилась прежде всего «Римскими Элегіями», въ которыхъ новый путь, на который ступилъ поэтъ уже своею «Ифигеніею», своимъ «Эгмонтомъ», многими изъ лирическихъ стихотвореній — путь стремленія къ идеальной красотѣ — обозначился еще явственнѣе, чѣмъ въ прежнихъ произведеніяхъ; скоро послѣ того окончилъ онъ и драму «Торквато Тассо», въ которой это новое направленіе, это поэтическое воплощеніе античнаго элемента, явилось уже во всемъ блескѣ, во всей изумительной законченности. То самое изданіе сочиненій Гёте, въ которомъ были помѣщены «Эгмонтъ», «Ифигенія» и «Тассо» въ новой редакціи, заключало въ себѣ и появившіяся теперь (1790) впервые въ печати сцены изъ первой части «Фауста» подъ общимъ заглавіемъ «Отрывокъ», закончившійся сценою въ соборѣ. Но на ряду съ тѣми произведеніями чистаго искуства, которыя теперь выходили изъ-подъ пера великаго художника, мы находимъ у него и такія, которыя были вызваны политическими современными событіями, и именно подоспѣвшею къ этому времени французскою революціею. Между тѣмъ какъ многіе изъ лучшихъ современниковъ Гёте въ Германіи привѣтствовали великій переворотъ, какъ начало новой и славной эры для всего человѣчества, самъ онъ не раздѣлялъ этихъ восторговъ. Для него отнюдь не были тайною страданія народа не только во Франціи, но и въ другихъ странахъ, вклю-

чая и его отечество, и въ душѣ его жило пламенное желаніе, чтобы участь этого народа была улучшена до послѣдней возможности справедливыми и мудрыми дѣйствіями правительства; но ему представлялось немыслимымъ достиженіе этой цѣли насильственнымъ путемъ, и онъ—тутъ сказывался не только разсудительный государственный человѣкъ, но и поэтъ-ученый—не сомнѣвался, что это революціонное движеніе подавитъ на долгое время всякій прогрессъ въ наукѣ, литературѣ, искуствѣ. При этомъ, однако, было для него неоспоримою истиною и то, что всѣ эти плачевныя событія имѣли свой источникъ не въ личныхъ расчетахъ агитаторовъ, думавшихъ только о собственныхъ интересахъ, а въ злоупотребленіяхъ всего общества, испорченнаго до мозга костей. Уже много лѣтъ спустя говорилъ онъ Экерману, что если были ему ненавистны революціонеры, то не меньшую ненависть питалъ онъ къ тому народу, который дѣлаетъ неизбѣжными революціи,—и вотъ этими-то воззрѣніями были вызваны, между прочимъ, вышеупомянутыя произведенія его съ современнымъ характеромъ, именно, пьесы въ прозѣ: «Великій Кофта» (1791 г.) «Der Bürgergeneral» и «Возбужденные» («Die Aufgeregten»), изъ которыхъ послѣдняя осталась, впрочемъ, неоконченною; политическій характеръ имѣла и относящаяся къ тому же времени сатирическая сказка «Рейнеке Лисъ» (Reineke-Fuchs).—Что касается дѣятельности научной, то здѣсь главное мѣсто занимали работы ботаническія, плодомъ которыхъ явилось въ это время небольшое разсужденіе «Die Metamorphose der Pflanzen» («Метаморфоза Растеній»), гдѣ Гёте излагаетъ установленную имъ, путемъ долговременныхъ собственныхъ наблюденій, теорію, что листовые органы цвѣтковыхъ растеній суть не что иное, какъ различныя формы листа. Теорія эта была принята ботаниками, и пріобрѣла еще новое важное значеніе впослѣдствіи, когда была приведена въ соотношеніе съ общимъ закономъ эволюціи. Гёте былъ въ восторгѣ отъ своего открытія—не только ради самого себя, но и потому, что оно представлялось ему самымъ очевиднымъ доказательствомъ принципа, что въ органической природѣ всѣ предметы созданы съ единствомъ плана. Необходимо замѣтить, что уже за тридцать лѣтъ до появленія разсужденія Гёте, теорія метаморфозы растеній была пущена въ ходъ К. Ф. Вольфомъ; Гёте впослѣдствіи узналъ объ этомъ, но нисколько не огорчился тѣмъ, что его предупредили; напротивъ, то обстоятельство, что къ одинаковому заключенію пришли два ума, работавшіе совершенно независимо другъ отъ друга, весьма порадовало его, какъ очевидное доказательство справедливости этой теоріи. Къ этому же времени и именно къ 1790 г., отвосится другое его научное открытіе, признаваемое спеціалистами за далеко немаловажное. Его слуга Зейдель, гуляя вмѣстѣ съ нимъ по еврейскому кладбищу въ Венеціи (куда онъ въ этомъ году ѣздилъ на короткое время для встрѣчи возвращавшейся домой изъ путешествія вдовствующей герцогини), нашелъ тамъ черепъ овцы и, подавъ его своему барину, утверждалъ, что это черепъ еврея. Разсмотрѣвъ его, Гёте тутъ же пришелъ къ мысли, что кости, изъ которыхъ составленъ черепъ, не имѣютъ существеннаго отличія отъ позвонковъ, но на самомъ дѣлѣ суть преобразованные позвонки,—мысли, вполнѣ согласныя съ его заключеніемъ, что листовые органы цвѣтковыхъ растеній суть преобразованные листья. Гёте въ этомъ случаѣ не думалъ, что за многіе вѣка позвонки развились въ кости черепа; ему казалось только, что природа, создавая эти кости, видоизмѣняетъ позвонки для приспособленія ихъ къ спеціальнымъ потребностямъ. Эта теорія однако—которая есть только новое примѣненіе общаго ученія Гёте о типахъ—становится, подобно и прежнимъ открытіямъ его вполнѣ понятною только тогда, когда факты, къ которымъ она относится, объясняются закономъ эволюціи. Работы Гёте по біологіи имѣютъ, вообще, то огромное достоинство, что

всѣ онѣ направлены къ этому закону, и вмѣстѣ съ трудами другихъ ученыхъ сдѣлали признаніе эволюціи рано или поздно неизбѣжнымъ.

VI.

Мы подошли теперь въ нашемъ изложеніи къ весьма важному періоду не только въ литературной жизни Гёте, но и въ исторіи нѣмецкой поэзіи. Это — періодъ отъ 1794 до 1805 г.—въ которомъ на первомъ планѣ стоитъ дружба его съ Шиллеромъ и ихъ совмѣстная дѣятельность.

Шиллеръ (десятью годами моложе Гёте) пріѣхалъ въ Веймаръ въ 1787 г., когда авторъ «Фауста» былъ въ Италіи — пріѣхалъ уже какъ сочинитель «Разбойниковъ» — этого самаго характеристическаго и самаго «геніальнаго» продукта идей «бури и натиска», и «Донъ Карлоса», въ которомъ эти бурные элементы далеко еще не улеглись, и высокіе, почти утопическіе идеалы поэта являлись еще во всей полнотѣ и въ томъ юношески-благородномъ одушевленіи, которое не покидало Шиллера до конца его жизни. Гёте, который давно уже, со времени поворота его творчества на новый путь, сталъ относиться недружелюбно, даже враждебно къ новому литературному движенію, хотя самъ былъ въ весьма значительной степени его виновникомъ — Гёте зналъ Шиллера только по «Разбойникамъ», видѣлъ въ немъ поэтому одного изъ самыхъ необузданныхъ, самыхъ ярыхъ представителей «бури и натиска», — и если очень вѣжливо принялъ его, по своемъ возвращеніи въ Веймаръ, если даже скоро доставилъ ему каоедру всеобщей исторіи въ іенскомъ университетѣ, — то до сближенія было еще далеко, тѣмъ болѣе, что и Шиллеръ, признававшій въ Гёте великаго поэта и мыслителя, чувствовалъ себя какъ-то отталкиваемымъ этою учтивою, почти снисходительною холодностью, этимъ олимпійскимъ величіемъ того, съ кѣмъ въ концѣ-концовъ должна была соединить его самая тѣсная дружба. Двухъ-трехъ свиданій (въ 1794 г.), двухъ-трехъ задушевныхъ бесѣдъ объ искусствѣ, поэзіи, философскихъ предметахъ оказалось достаточно, чтобы разбить эти ледяныя отношенія, уничтожить то, что было простымъ и печальнымъ недоразумѣніемъ, сблизить этихъ великихъ людей, показать имъ, что несмотря на видимыя и на дѣйствительно существенныя отличія между ними въ частныхъ воззрѣніяхъ, частныхъ стремленіяхъ, они, однако, имѣли другъ съ другомъ очень много общаго въ коренныхъ отношеніяхъ къ литературѣ и искусству, и что вѣчные, незыблемые законы искусства одинаково понимались ими обоими и обоимъ были одинаково дороги. Съ этихъ поръ началась и ихъ совмѣстная дѣятельность, началось ихъ взаимное вліяніе другъ на друга, оказавшееся въ высокой степени благотворнымъ не только для нихъ лично, но и для всей нѣмецкой литературы.

Оставляя въ сторонѣ собственно Шиллера, исторія развитія котораго подъ вліяніемъ его геніальнаго товарища не входитъ въ рамки настоящаго очерка, и обращаясь къ Гёте, видимъ, что весьма скоро послѣ сближенія съ Шиллеромъ, онъ, совсѣмъ было отдавшійся наукѣ и этимъ заставлявшій даже многихъ думать, что сила творчества поэтическаго уснула въ немъ или совершенно уступила мѣсто иным интересамъ, вдругъ, благодаря именно этому сближенію, почувствовалъ въ себѣ то, что самъ онъ назвалъ «второю юностью», «новою весною»—и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ далъ изумленному міру произведенія, свидѣтельствовавшія о неистощимой свѣжести, силѣ и глубинѣ великаго дарованія: «Ученическіе годы Вильгельма Мейстера» (романъ, начатый, какъ мы видѣли, уже давно и затѣмъ почти

совсѣмъ оставленный), съ такими лирическими жемчужинами въ немъ, какъ пѣсня Миньоны, пѣсня арфиста, очаровательную идиллію «Германъ и Доротея», и другую идиллію «Алексисъ и Дора», какъ великолѣпный pendant къ «Римскимъ Элегіямъ»,— рядъ превосходныхъ балладъ — много лирическихъ стихотвореній, въ которыхъ Гёте-лирикъ снова является во всей обаятельности творчества его молодыхъ лѣтъ, съ прибавленіемъ глубины и силы, какъ результата долговременной работы надъ собою и долговременнаго изученія людей... Что касается до совмѣстной дѣятельности двухъ поэтовъ, то она выразилась въ эпиграммахъ, писавшихся ими для издававшагося Шиллеромъ журнала «Die Horen» («Часы»), и которыя, будучи озаглавлены «Ксеніи» (греческое слово, означающее дары гостямъ — заглавіе, заимствованное у римскаго сатирика Марціала), представляли въ формѣ двустишій мѣткія осмѣянія дурныхъ писакъ, расплодившихся въ это время въ Германіи и пользовавшихся большою популярностью, вслѣдствіе извращенности вкуса въ публикѣ, еще не доросшей до пониманія такихъ художниковъ, какъ Гёте, и благодаря тоже политической раздробленности германской націи. Вмѣстѣ съ тѣмъ «Ксеніи» обрушивались на тѣхъ ограниченныхъ педантовъ, которые яростно возставали противъ «Horen», и давно уже вели мелкую войну завистливыхъ пигмеевъ противъ того великана поэзіи, который презрительно смотрѣлъ на нихъ со своей недосягаемой высоты. Двустишія эти такимъ образомъ, независимо отъ чисто поэтическаго достоинства большей ихъ части, имѣютъ и значеніе историко-литературное, такъ какъ они были критическою работою, освѣжавшею литературный воздухъ Германіи, вносившею въ него новыя начала и убивавшею,—по крайней мѣрѣ, заставлявшею дрожать—то, что было здѣсь тлетворнаго, вреднаго, педантическаго... «Эти «Ксеніи», читаемъ мы въ извѣстномъ сочиненіи Розенкранца о Гёте — точно конгревовскія ракеты насквозь прожгли жалкую посредственность. Дѣйствіе ихъ трудно описать словами, ибо читатели, негодуя тамъ, гдѣ дѣло касалось ихъ собственной особы, злорадно находили остроту мѣткою и злою въ тѣхъ случаяхъ, когда двустишіе избирало своимъ предметомъ кого-либо другого. Гёте имѣлъ случай уже прежде, во время своего сотрудничества въ «Frankfurter Anzeigen» (1772—1773), пережить подобную оппозицію генія противъ притязаній и нелѣпостей посредственности. Но «Ксеніи» превзошли своимъ успѣхомъ всѣ прежніе. Сила, съ которою онѣ указывали на слабыя и смѣшныя стороны авторовъ, вызвала настоящую литературную революцію; впослѣдствіи, многіе изъ оборотовъ и выраженій этихъ двустишій перешли въ литературную полемику романтической школы... Гёте, которому первому пришла мысль писать «Ксеніи», смотрѣлъ на производившуюся ими бурю съ холоднымъ спокойствіемъ. Его совершенно удовлетворяло то, что вся эта дрянь такъ бѣсновалась. Объективное неудовольствіе его желало вселить въ нихъ чувство ихъ ничтожества...»

Если ко всѣмъ вышеупомянутымъ работамъ Гёте за это время прибавимъ журналъ «Пропилеи», основанный имъ для разработки вопросовъ искусства и просуществовавшій очень недолго вслѣдствіе равнодушія публики, — книгу «Винкельманъ и его вѣкъ» (Winkelmann und sein Jahrhundert),—переводъ автобіографіи знаменитаго художника Бенвенуто Челлини, и, наконецъ, переводъ одного изъ самыхъ лучшихъ произведеній энциклопедиста Дидро, «Племянникъ Рамо» (Le Neveu de Rameau) — то нами исчислено все, вышедшее изъ подъ пера Гёте за время отъ 1794 по 1805 годъ, т.-е. тотъ годъ, когда смерть Шиллера разбила этотъ геніальный союзъ двухъ величайшихъ людей своего времени. На сколько онъ оказался благотворнымъ для современнаго и послѣдующаго развитія нѣмецкой поэзіи, на сколько для этой послѣдней было великимъ счастіемъ, что такихъ два колосса явились въ одно и то же время—объ этомъ говорить здѣсь не мѣсто; упомянемъ только,

съ фактической стороны, о появленіи подъ этими вліяніями цѣлой школы, извѣстной подъ именемъ романтической, которая, правда, потомъ совершенно разошлась съ воззрѣніями Гёте и Шиллера, особенно перваго, но на первыхъ порахъ работала на одномъ съ ними пути, и тѣмъ, что было въ ней наиболѣе жизненнаго, наиболѣе истинно-поэтическаго, была обязана именно обоимъ «діоскурамъ», какъ принято называть Гёте и Шиллера.

VII.

Смерть автора «Валленштейна» нанесла другу его очень чувствительный ударъ; самъ онъ говоритъ, что не переживалъ въ жизни болѣе тяжелой минуты, и въ теченіе нѣсколькихъ дней послѣ этой кончины (9 мая 1805) никто не смѣлъ произнести въ его присутствіи имя почившаго. Годъ спустя, ему пришлось испытать новое сильное горе—уже не частнаго человѣка, а гражданина; это былъ 1806 годъ, когда образовалась Рейнская конфедерація и когда, послѣ іенскаго сраженія, Наполеонъ вошелъ въ Веймаръ и оставилъ герцогу его престолъ на очень обременительныхъ условіяхъ. Страдая, какъ патріотъ, Гёте въ то же время долженъ былъ нести на себѣ, въ качествѣ министра, тяжелую обязанность возстановленія порядка, исправленія страшнаго зла, причиненнаго этими событіями, и исполнялъ свой долгъ съ присущими ему умомъ, энергіею и добросовѣстностью, работая лично, находя всевозможные рессурсы для выхода изъ крайне стѣснительнаго положенія и возбуждая своимъ примѣромъ къ дѣятельности своихъ согражданъ. Въ связи съ обстоятельствами, вызвавшими именно эти работы его, находится любопытный эпизодъ свиданія поэта-министра съ человѣкомъ, который былъ главнымъ виновникомъ этого печальнаго положенія. Осенью 1808 г. состоялась въ Эрфуртѣ знаменитая встрѣча Наполеона и императора Александра. Наполеонъ до этого времени прочелъ французскій переводъ «Вертера» и теперь пожелалъ познакомиться съ его авторомъ. Ему представили поэта, и когда тотъ вошелъ, Наполеонъ пристально смотрѣлъ на него нѣсколько минутъ, потомъ, повернувшись, произнесъ: «Voilà un homme!» Императоръ заговорилъ о «Вертерѣ», отсюда перешелъ къ разсужденію о французской драмѣ и нѣсколько разъ прерывалъ свою рѣчь словами: «Qu'en dit M. Göt?» Нѣсколько дней спустя, Наполеонъ присутствовалъ на представленіи въ Веймарскомъ театрѣ трагедіи Вольтера «La Mort de César»; послѣ спектакля состоялся балъ, во время котораго императоръ нѣсколько разъ бесѣдовалъ съ авторомъ «Вертера». Онъ неодобрительно отзывался о пьесѣ Вольтера и замѣтилъ, что Гёте на эту тему написалъ бы трагедію гораздо лучше этой, показавъ въ ней, что если бы Цезарь остался въ живыхъ, онъ сдѣлалъ бы много благого для Рима. Бесѣды съ Гёте такъ возвысили этого послѣдняго въ глазахъ императора, что онъ просилъ поэта пріѣхать въ Парижъ и обѣщалъ ему тамъ самый радушный пріемъ...

Къ тѣмъ грустнымъ фактамъ въ жизни Гёте послѣ 1805 г., о которыхъ сказано выше, прибавимъ еще весьма тяжело подѣйствовавшую на него смерть горячо любимой матери, скончавшейся во Франкфуртѣ, гдѣ она продолжала жить и по смерти мужа, въ 1808 г. Черезъ восемь лѣтъ понесъ онъ новую потерю, такъ же оставившую глубокій слѣдъ въ его сердцѣ: умерла его жена, которую никогда не любилъ онъ такъ горячо, какъ въ послѣдніе годы ея жизни...

Все это однако не останавливало поэтической производительности этого изумительнаго человѣка. Въ 1808 г. появилась въ печати вся первая часть «Фауста». Если «Отрывокъ», напечатанный, какъ мы видѣли, въ 1790 г., по непостижимой

причинѣ прошелъ замѣченный немногими, то первая часть, въ полномъ ея видѣ, вызвала восторженныя похвалы и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокое изумленіе, ибо отъ человѣка въ такихъ преклонныхъ годахъ и нѣсколько лѣтъ молчавшаго не ждали уже ничего особенно замѣчательнаго. И вдругъ предъ этою публикою явилось произведеніе, превосходившее глубиною и поэтической силою все, что было написано великимъ художникомъ до того времени, и теперь только его современники поняли надлежащимъ образомъ, какого исполина имѣли они въ немъ... За «Фаустомъ», черезъ два года, послѣдовалъ романъ «Die Wahlverwandtschaften» («Духовное Сродство»),—въ 1811—1814 г. появились три первыя книги его знаменитой автобіографіи «Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit» («Изъ моей жизни. Поэзія и Правда»),—въ 1815 г. былъ оконченъ почти весь сборникъ стихотвореній въ восточномъ духѣ—«West-Oestlicher Divan» (Западно-восточный Диванъ»)... Забѣгая впередъ того времени, до котораго мы теперь дошли, слѣдя за литературною производительностью Гёте до самой его кончины, видимъ послѣдовательно выходящими изъ-подъ его пера: «Wilhelm Meisters Wanderjahre» («Странническіе годы В. Мейстера»), много лирическихъ стихотвореній, наконецъ, вторую часть «Фауста», оконченную наканунѣ послѣдняго празднованія дня рожденія автора; прибавимъ къ этому изданіе, въ теченіе нѣкотораго времени, журнала, который сперва назывался «Kunst und Alterthum in den Rhein- und Maingegenden» (Искусство и Древность въ рейнскихъ и майнскихъ областяхъ»), а потомъ—просто «Искусство и Древность»,—и изданіе, въ теченіе шести лѣтъ, научнаго журнала, въ которомъ редакторъ помѣстилъ, между прочимъ, свое разсужденіе о междучелюстной кости и сообщилъ свое открытіе касательно костей черепа; наконецъ, не забудемъ огромнаго множества писемъ его къ разнымъ лицамъ, служащихъ драгоцѣннымъ матеріаломъ для характеристики и біографіи поэта (таковы письма—впослѣдствіи напечатанныя—къ Шиллеру, къ композитору Цельтеру и др.).—При всемъ этомъ онъ находилъ еще время для исполненія тѣхъ—правда, уже немногочисленныхъ, но по существу своему важныхъ государственныхъ обязанностей, которыя продолжали лежать на немъ. Германія въ эту пору переживала многознаменательный періодъ своей исторіи, и Гёте, какъ и другіе его соотечественники и современники, тревожно слѣдилъ за ходомъ событій. Нельзя, однако, сказать, что онъ былъ одинъ изъ тѣхъ, которые тѣмъ или другимъ способомъ помогали успѣху національнаго дѣла. Это происходило не отъ недостатка въ немъ патріотизма, ибо хотя онъ не могъ раздѣлять ненависть, съ какою большинство нѣмцевъ относилось въ это время къ Франціи, но вполнѣ понималъ и соглашался, что для Германіи въ высшей степени важно сокрушеніе французскаго владычества. Когда, однако, началась война за освобожденіе, Гёте былъ того мнѣнія, что еще не наступило время для окончательной борьбы за національную независимость. Наполеонъ, несмотря на бѣдственный результатъ своего похода въ Россію, все еще имѣлъ въ своемъ распоряженіи большія силы, и Гёте былъ убѣжденъ, что этотъ военный геній долженъ былъ всюду являться побѣдителемъ. Съ другой стороны, германскіе государи, какими зналъ ихъ нашъ поэтъ, были вообще люди, заботившіеся только о личныхъ интересахъ и ненадежные, и Гёте находилъ немыслимымъ, чтобы они были способны гармонически дѣйствовать вмѣстѣ въ защиту общаго дѣла... Для герцогства Веймарскаго это національное движеніе принесло тотъ незначительный результатъ, что оно изъ простаго «герцогства» сдѣлалось «великимъ», и что его территорія была нѣсколько увеличена; «великій герцогъ» не забылъ при этомъ заслугъ своего стараго друга-поэта и назначилъ его «первымъ министромъ»... Въ самые послѣдніе годы своей жизни Гёте, впрочемъ, очень мало интересовался политическими дѣлами Европы. Менѣе всего занимало его то, что

происходило въ партіи либераловъ, и на этотъ счетъ сохранился очень характеристическій эпизодъ. Когда во Франціи вспыхнула революція 1830 г. и извѣстіе объ этомъ пришло въ Веймаръ, другъ поэта, Сорэ, побѣжалъ къ нему поговорить о случившемся. Гёте находился въ очень возбужденномъ состояніи, и самъ тотчасъ же повелъ рѣчь о необычайномъ событіи въ Парижѣ; Сорэ замѣтилъ, что отъ такого министерства, какое образовалось тамъ, и нельзя было ждать ничего иного. При этихъ словахъ, Гёте съ изумленіемъ посмотрѣлъ на своего гостя: при чемъ тутъ министерство? Оказалось, что онъ говорилъ совсѣмъ не о вспыхнувшей революціи, а о происшедшемъ какъ разъ въ это время жаркомъ спорѣ между знаменитыми французскими учеными, Кювье и Жоффруа Ст. Илеромъ—спорѣ, въ которомъ Ст. Илеръ поддерживалъ мысли Гёте касательно правильнаго способа пониманія органической природы.... Въ ту пору главною цѣлью либеральной партіи во всей Европѣ было установить такую политическую систему, въ которой власть и функція правительства были бы ограничены самыми тѣсными предѣлами; всѣ интересы общественной жизни они стремились подчинить принципу свободной конкуренціи. Гёте не могъ сочувствовать движенію, имѣвшему такую цѣль и задачу, ибо его глубочайшимъ убѣжденіемъ было, что существованіе строгаго и энергическаго правительства безусловно необходимо для общества и что путь свободной конкуренціи ведетъ только къ разоренію и всяческимъ бѣдствіямъ. Подъ строгимъ правительствомъ Гёте отнюдь не понималъ систему, имѣющую принципомъ подавленіе мысли и индивидуальности; напротивъ того, мысль и личная индивидуальность признавались имъ за жизненныя условія человѣческаго прогресса. Но, при этомъ онъ желалъ, чтобы слабый былъ вполнѣ защищенъ отъ тираніи сильнаго,—чтобы государство было высшимъ органомъ въ установленіи и поддерживаніи между людьми правильныхъ и здравыхъ отношеній, равно какъ и въ исполненіи мѣръ, направленныхъ къ правильному развитію не того или другого класса въ отдѣльности, но всей гражданской общины. Тѣ, которые въ то время—да и послѣ—обвиняли Гёте въ реакціонерствѣ, въ отсутствіи всякаго участія къ практическимъ интересамъ общества, поступали такъ потому, что равнодушіе его относительно ихъ партіи они ошибочно принимали за равнодушіе къ человѣчеству вообще. Многія мѣста изъ «Странническихъ годовъ Вильгельма Мейстера» ясно свидѣтельствуютъ объ убѣжденіи автора, что дѣйствительныя проблемы, разрѣшить которыя предстоитъ будущему—проблемы не только политическаго, но и соціальнаго свойства; что гражданскія общества никогда не будутъ въ состояніи разрѣшить эти проблемы только предоставленіемъ полнаго простора, полной свободы силамъ, спорящимъ между собою за первенство; что для новыхъ общественныхъ условій неизбѣжно потребуются новыя формы кооперативной промышленной организаціи. Гёте относился съ самымъ серіознымъ вниманіемъ къ доктринамъ, высказывавшимся въ это время С. Симономъ, и его идеи касательно соціальнаго прогресса находятся въ тѣсномъ родствѣ съ тѣми, которыя въ Англіи распространялись такими людьми, какъ Карлейль и Рёскинъ.

Великій поэтъ дожилъ до глубокой старости — и продолжалъ пользоваться отличнымъ здоровьемъ: физическая сила соединилась въ этомъ человѣкѣ съ духовною въ изумительной гармоніи. До какой степени оставалось при этомъ свѣжо и юно его сердце, видно между прочимъ изъ того, что въ 1822 г., т.-е. когда ему было семьдесятъ три года, онъ съ пыломъ юноши полюбилъ встрѣченную имъ въ Маріенбадѣ дѣвушку, Ульрику фонъ Левецовъ, и его привязанность къ ней была для

всѣхъ такъ очевидна, что стали уже поговаривать о возможности брака. Но Гёте, съ тѣмъ яснымъ разумомъ, который всегда стоялъ у него на первомъ планѣ, рѣшился подавить это слишкомъ позднее увлеченіе, и хотя это стоило ему сильной внутренней борьбы, вышелъ изъ нея побѣдителемъ... Слава его, слава всемірная, была въ своемъ апогеѣ; Байронъ называлъ себя его вассаломъ и посвящалъ ему своего «Сарданапала»; Гейне смотрѣлъ на него, какъ на олимпійскаго Зевса и, посѣтивъ его въ Веймарѣ, «невольно смотрѣлъ, не помѣщается ли рядомъ съ этою величественною фигурою Зевсовъ орелъ», и «почти готовъ былъ заговорить съ нимъ по-гречески». Веймаръ сдѣлался мѣстомъ, куда пріѣзжали какъ бы на поклоненіе молодые и старые поэты, ученые, художники... Но годы брали свое...

15 марта 1832 г. онъ внезапно почувствовалъ себя не совсѣмъ хорошо, не спалъ, затѣмъ недомогалъ еще нѣсколько дней, а въ ночь на 20-ое ощутилъ сильныя боли въ груди и имѣлъ припадокъ удушья. Но такъ какъ до того времени въ его здоровьѣ не происходило никакихъ тревожныхъ перемѣнъ, то онъ смотрѣлъ на это болѣзненное состояніе, какъ на случайное, не обращая на него никакого серіознаго вниманія, и 20-аго чувствовалъ себя еще настолько сильнымъ, что занимался служебными дѣлами. Но жизнь быстро уходила. Утромъ 22-аго онъ сидѣлъ въ креслѣ и, держа въ своей рукѣ руку своей невѣстки Оттиліи (мужъ которой, сынъ Гёте, умеръ за два года до того), весело бесѣдовалъ съ нею. Вдругъ слова начали выходить у него съ значительными усиліями, трудность произнесенія ихъ увеличивалась все больше и больше, и скоро онъ совсѣмъ потерялъ способность говорить. За параличемъ языка постепенно послѣдовало омертвѣніе другихъ членовъ — и около полудня поэтъ прислонился къ спинкѣ кресла и спокойно уснулъ навѣки...

ПРИЛОЖЕНІЕ.

I.

ГЁТЕ, КАКЪ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ.

(Изъ «Natürliche Schöpfungsgeschichte» Эрнста Геккеля).

Среди натурфилософовъ, которымъ мы обязаны первоначальнымъ созданіемъ органической теоріи развитія, рядомъ съ Чарльзомъ Дарвиномъ прежде всего нужно поставить Жана Ламарка и Вольфганга Гёте. Но прежде чѣмъ разъяснить заслуги этого послѣдняго по отношенію къ теоріи развитія, мнѣ кажется полезнымъ сказать кое-что о его значеніи, какъ естествоиспытателя вообще, такъ какъ оно часто слишкомъ мало сознается.

Навѣрное, многіе почитаютъ Гёте только какъ поэта и человѣка; только немногіе имѣютъ представленіе о высокой цѣнности его работъ по естествознанію, о гигантскомъ шагѣ, которымъ онъ опередилъ свое время — опередилъ настолько, что большинство именно тогдашнихъ естествоиспытателей не могли за нимъ поспѣвать. Гёте часто сердечно страдалъ отъ непризнанія современниками его заслугъ въ философіи естествознанія. Горько жалуется онъ во многихъ мѣстахъ своихъ естественно-научныхъ трудовъ на ограниченныхъ спеціалистовъ, которые не умѣютъ оцѣнить его работъ, которые не видятъ лѣсу изъ-за деревьевъ и не могутъ настолько возвыситься, чтобы изъ груды отдѣльностей сумѣть найти общіе законы природы. Слишкомъ справедливъ его упрекъ: «Философъ слишкомъ скоро открываетъ, что наблюдатели весьма рѣдко подымаются до той точки зрѣнія, съ которой становятся видны столь важныя отношенія вещей». Это отрицательное отношеніе современниковъ существенно извиняется тѣмъ ложнымъ путемъ, на который вступилъ Гёте въ своемъ ученіи о цвѣтахъ (краскахъ). Это ученіе, которое самъ Гёте считалъ любимымъ дѣтищемъ своей музы, ложно въ самомъ основаніи своемъ, хотя въ отдѣльностяхъ можетъ содержать много прекраснаго. Точный методъ математики, составляющій несокрушимый фундаментъ, на которомъ шагъ за шагомъ строилось впослѣдствіи зданіе науки о неорганической природѣ, въ особенности физики, —

этотъ методъ внушалъ Гёте положительное отвращеніе. Отрицая этотъ методъ, онъ заходилъ такъ далеко, что не только становился несправедливъ по отношенію къ знаменитѣйшимъ физикамъ, но и сильно вредилъ остальнымъ своимъ весьма цѣннымъ работамъ. Совсѣмъ иное отношеніе имѣетъ математическій методъ къ наукѣ объ органической природѣ. Здѣсь весьма рѣдко является возможнымъ сразу пользоваться этимъ методомъ, а гораздо чаще приходится, вслѣдствіе безконечной сложности задачи, прибѣгать сперва къ индуктивному методу, т. е. изъ очень многихъ отдѣльныхъ наблюденій, притомъ несовершенныхъ, выводить общій законъ. Мыслящее сравненіе рядовъ родственныхъ явленій и комбинація ихъ — вотъ то важнѣйшее орудіе изслѣдованія, которымъ пользовался Гёте въ своихъ естественно-философскихъ работахъ съ такимъ же счастіемъ, какъ и сознаніемъ значенія его.

Самое знаменитое сочиненіе Гёте, касающееся органической природы, есть «*Метаморфоза Растеній*», вышедшее въ 1790 году—сочиненіе, въ которомъ уже ясно сознается основная идея теоріи развитія, ибо Гёте имѣлъ цѣлью указать здѣсь такой органъ, развитіемъ и превращеніемъ котораго можно было бы объяснить все разнообразіе и богатство формъ въ растительномъ мірѣ; и этотъ органъ онъ видѣлъ въ листѣ. Если бы Гёте изслѣдовалъ строеніе листа микроскопомъ, который не былъ тогда во всеобщемъ употребленіи, то онъ пошелъ бы далѣе и призналъ бы листъ состоящимъ изъ индивидуальныхъ частей низшаго порядка, изъ клѣточекъ. Онъ призналъ бы тогда основнымъ органомъ не листъ, а клѣточку; посредствомъ размноженія клѣточекъ, превращенія и соединенія ихъ образуется листъ; а изъ превращенія, измѣненія и соединенія листьевъ возникаетъ все то прекрасное разнообразіе формъ и красокъ, которому мы удивляемся, какъ въ настоящихъ питающихъ листьяхъ, такъ и въ листьяхъ, служащихъ для размноженія, т. е. въ частяхъ цвѣтка. Тѣмъ не менѣе основная идея, высказанная Гёте, отмѣнно справедлива. Онъ показалъ въ ней, что для того, чтобы понять явленіе въ цѣломъ, необходимо, во-первыхъ, сравнивать, а во-вторыхъ—искать простѣйшій типъ, простѣйшую основную форму, такъ-сказать, тему, относительно которой остальныя формы суть только варіаціи.

Нѣчто подобное далъ Гёте и относительно позвоночныхъ животныхъ въ своей *позвоночной теоріи черепа*. Гёте первый показалъ, независимо отъ Окена, пришедшаго единовременно къ той же идеѣ, что черепъ человѣка и всѣхъ прочихъ позвоночныхъ, начиная съ млекопитающихъ, есть не что иное, какъ передняя видоизмѣненная часть позвоночнаго столба. Именно, костянная коробка черепа состоитъ изъ нѣсколькихъ костяныхъ поясовъ, имѣвшихъ первоначально значеніе позвонковъ позвоночнаго столба. Конечно, эта идея въ послѣднее время, благодаря остроумнымъ изслѣдованіямъ Гегенбауэра, значительно видоизмѣнена. Тѣмъ не менѣе въ то время она была величайшимъ шагомъ впередъ въ сравнительной анатоміи и послужила однимъ изъ первыхъ основаній пониманія строенія позвоночныхъ. Признать, что столь различныя съ перваго взгляда части, какъ черепъ и позвоночный столбъ, первоначально равнозначны и развились изъ одной и той же первоначальной основной формы — это значило рѣшить одну изъ труднѣйшихъ задачъ естественной философіи. И здѣсь мы встрѣчаемъ ту же идею одного типа, одной темы, которая только варьируется у различныхъ видовъ и въ частяхъ отдѣльнаго вида.

Но не только надъ установленіемъ этихъ глубокихъ законовъ трудился Гёте; его занимали также отдѣльныя и многочисленныя изслѣдованія въ области сравнительной анатоміи. Самое интересное изъ нихъ — это *открытіе межчелюстной кости у человѣка*. Такъ какъ это открытіе во многихъ отношеніяхъ очень важно для теоріи развитія, то я позволю себѣ вкратцѣ его изложить. У всѣхъ млеко-

питающихъ въ верхней челюсти между двумя собственно-челюстными костями находятся двѣ маленькія косточки, которыя соединяются въ средней линіи лица подъ носомъ. Эта пара косточекъ, несущая верхнихъ четыре рѣзца, у большинства млекопитающихъ обнаруживается легко; напротивъ того, у человѣка эти косточки не были найдены, и знаменитые сравнительные анатомы особенно цѣнили отсутствіе ихъ у человѣка, полагая въ этомъ основное отличіе человѣка отъ обезьяны; страннымъ образомъ это отсутствіе разсматривалось, какъ наиболѣе человѣчный изъ человѣческихъ признаковъ. И вотъ, у Гёте въ головѣ никакъ не укладывалась мысль, чтобы человѣкъ, который во всѣхъ тѣлесныхъ признакахъ есть только высоко развитое млекопитающее, не имѣлъ этой межчелюстной кости. Изъ всеобщаго нахожденія межчелюстной кости у млекопитающихъ, онъ вывелъ заключеніе, что она должна быть и у человѣка; и онъ не успокоился, пока, сравнивъ большое число череповъ, не нашелъ дѣйствительно межчелюстной кости. Только у нѣкоторыхъ особей эта кость сохраняется всю жизнь; большею частью она срастается рано съ сосѣдними костями верхней челюсти, и обнаруживается, какъ отдѣльная кость, только на молодыхъ человѣческихъ черепахъ. На человѣческомъ зародышѣ можно ее демонстрировать, когда угодно. Итакъ, межчелюстная кость есть у человѣка, и Гёте принадлежитъ слава установленія этого во многихъ отношеніяхъ важнаго факта, несмотря на возраженія важнѣйшихъ авторитетовъ, какъ, напр., знаменитаго анатома Петра Кампера. Особенно интересенъ логическій путь этого открытія; это есть путь, по которому постоянно движется впередъ наука объ органической природѣ — путь индукціи и дедукціи. Индукція есть выводъ общаго закона изъ массы отдѣльныхъ фактовъ, а дедукція — обратное заключеніе относительно отдѣльнаго случая, еще не подвергавшагося наблюденію. Изъ всѣхъ эмпирическихъ свѣдѣній о млекопитающихъ индуктивно вытекало, что всѣ они имѣютъ межчелюстную кость. Гёте сдѣлалъ отсюда дедуктивное заключеніе, что такъ какъ человѣкъ въ другихъ отношеніяхъ существенно не отличается отъ млекопитающихъ, то и онъ долженъ имѣть межчелюстную кость; и послѣдняя была найдена при ближайшемъ изслѣдованіи. Дедуктивный выводъ былъ подтвержденъ и оправданъ послѣдовавшими наблюденіями.

Уже эти немногія черты показываютъ очевидно, какое высокое значеніе должны мы приписать біологическимъ изслѣдованіямъ Гёте. Къ сожалѣнію, большинство относящихся сюда работъ такъ перемѣшаны въ общемъ собраніи его сочиненій, и важнѣйшія наблюденія и замѣчанія такъ разсѣяны въ многочисленныхъ отдѣльныхъ статьяхъ, трактующихъ другіе вопросы, что отыскивать ихъ очень затруднительно. Кромѣ того, иногда превосходное, чисто-научное замѣчаніе такъ переплетено съ кучей ненужныхъ образовъ натурфилософской фантазіи, что теряетъ изъ-за нихъ свое значеніе.

Лучшимъ свидѣтельствомъ интереса, который Гёте чувствовалъ къ естествознанію, служитъ то живое участіе, съ которымъ онъ слѣдилъ уже въ концѣ своей жизни за споромъ, возникшимъ во Франціи между Кювье и Жоффруа-Сентъ-Илеромъ. Интересное изложеніе этого замѣчательнаго спора и общаго его значенія, а также отличную характеристику обоихъ великихъ противниковъ далъ Гёте въ особой статьѣ, которую онъ окончилъ незадолго до своей смерти, въ мартѣ 1832 г. Эта статья называется «Principes de Philosophie zoologique par Mr. Geoffroy de Saint-Hilaire»; она—послѣднее твореніе Гёте и заключаетъ полное собраніе его сочиненій. Самый споръ былъ во многихъ отношеніяхъ въ высшей степени интересенъ. Сущность его заключалась въ оправданіи теоріи развитія. Къ тому же оба противника вели споръ во французской академіи съ такой личной страстностью,

которая была почти не слыхана въ почтенныхъ засѣданіяхъ этого общества, и доказывала, что оба естествоиспытателя сражались за свои глубочайшія и священнѣйшія убѣжденія. Первая стычка произошла 22-аго февраля 1830 г.; за нею послѣдовали вскорѣ много другихъ, изъ которыхъ самая жестокая была 19-аго іюля 1830 г. Жоффруа, какъ глава французскихъ натурфилософовъ, защищалъ теорію естественнаго развитія и монистическое воззрѣніе на природу. Онъ утверждалъ измѣняемость органическихъ видовъ, общее происхожденіе отдѣльныхъ видовъ отъ общихъ родоначальныхъ формъ и единство организаціи, или, какъ тогда выражались, единство плана строенія. Кювье былъ рѣшительнѣйшимъ противникомъ этихъ воззрѣній. Онъ пытался доказать, что натурфилософы не имѣли права дѣлать столь далекихъ выводовъ изъ того эмпирическаго матеріала, который имѣлся въ ихъ распоряженіи, и что утверждаемаго ими единства строенія или плана организаціи не существуетъ. Онъ защищалъ телеологическое (дуалистическое) воззрѣніе на природу и утверждалъ, что «неизмѣняемость вида есть необходимое условіе для существованія научной естественной исторіи». Кювье имѣлъ передъ своимъ противникомъ то преимущество, что могъ приводить въ пользу своихъ утвержденій наглядныя доказательства, которыя въ дѣйствительности были отдѣльными фактами, вырванными изъ общаго порядка явленій. Напротивъ, Жоффруа не могъ поддерживать защищаемую имъ общую связь отдѣльныхъ явленій такими наглядными фактами. И потому, въ глазахъ большинства, побѣдителемъ остался Кювье, и тѣмъ обусловилъ для слѣдующаго тридцатилѣтія пораженіе натурфилософіи и господство строго эмпирическаго направленія. Конечно, Гёте рѣшительно принялъ сторону Жоффруа. Какъ живо занималъ его, на 81-омъ году жизни, этотъ великій споръ, показываетъ анекдотъ, разсказанный Сорэ (Soret) [1]): «Понедѣльникъ, 2-аго августа 1830. Извѣстія о начавшейся іюльской революціи достигли сегодня Веймара и привели все въ возбужденіе. Послѣ обѣда я пошелъ къ Гёте». «Ну! встрѣтилъ онъ меня, что вы думаете объ этомъ великомъ событіи? Моментъ изверженія вулкана насталъ; все объято пламенемъ и дальнѣйшія пренія не могутъ итти при закрытыхъ дверяхъ!» «Ужасная исторія!—отвѣтилъ я;—но чего же другого можно было ожидать при извѣстныхъ обстоятельствахъ и такомъ министерствѣ, какъ не изгнанія въ концѣ-концовъ царствовавшей королевской фамиліи?»—«Мы, кажется, не понимаемъ другъ друга, мой милѣйшій, — возразилъ Гёте;—я вовсе не о тѣхъ людяхъ говорю; дѣло идетъ совсѣмъ о другихъ вещахъ. Я говорю о въ высшей степени важномъ для науки спорѣ между Кювье и Жоффруа-Сентъ-Илеромъ, дошедшимъ до публичнаго взрыва въ академіи». Эти слова Гёте были столь неожиданны, что я не зналъ, что̀ сказать, и въ теченіе нѣсколькихъ минутъ чувствовалъ полную остановку въ своихъ мысляхъ. «Дѣло это величайшей важности—продолжалъ Гёте,—и вы не можете себѣ представить, что̀ я чувствую при извѣстіи о засѣданіи 19-аго іюля. Въ Жоффруа-Сентъ-Илерѣ мы имѣемъ могучаго союзника надолго. Но въ то же время я вижу, какое большое участіе принимаетъ въ этомъ дѣлѣ французскій ученый міръ, если, несмотря на ужасное политическое возбужденіе, засѣданіе 19-аго Іюля все-же происходило при полной залѣ. Но самое лучшее то, что введенный Жоффруа во Франціи синтетическій методъ изученія природы уже не можетъ сдѣлать шага назадъ. Обстоятельства дѣла, изложенныя въ свободномъ спорѣ въ академіи и въ присутствіи большой публики, сдѣлались публичнымъ достояніемъ,—ихъ нельзя болѣе отсылать въ тайные комитеты и подавлять ихъ, и покончивать съ ними при закрытыхъ дверяхъ».

---

[1]) Объ этомъ говорится и выше, въ біографіи Гёте. *Ред.*

Изъ многочисленныхъ важныхъ и интересныхъ изреченій, въ которыхъ Гёте ясно высказываетъ свои воззрѣнія на органическую природу и ея безпрерывное развитіе, я сдѣлалъ выборку и употребилъ ихъ, какъ эпиграфы къ отдѣльнымъ книгамъ и главамъ моей «Общей Морфологіи организмовъ». Здѣсь я приведу прежде всего отрывокъ изъ стихотворенія, заглавіе котораго «Метаморфоза Животныхъ»:

„Alle Glieder bilden sich aus nach ew'gen Gesetzen,
„Und die seltendste Form bewahrt im Geheimen das Urbild.
„Also bestimmt die Gestalt die Lebensweise des Thieres,
„Und die Weise zu leben, sie wirkt auf alle Gestalten
„Mächtig zurück. So zeiget sich fest die geordnete Bildung,
„Welche zum Wechsel sich neigt durch äusserlich wirkende Wesen.

(Всѣ члены образуются по вѣчнымъ законамъ, и самая странная форма сохраняетъ втайнѣ первообразъ. Такимъ образомъ, форма опредѣляетъ образъ жизни животнаго, и образъ жизни оказываетъ могущественное обратное вліяніе на всѣ формы. Такъ строго сохраняется порядокъ творенія, видоизмѣняющійся подъ вліяніемъ внѣшнихъ причинъ).

Уже здѣсь указана противоположность двухъ различныхъ органическихъ образовательныхъ силъ, которыя своимъ взаимодѣйствіемъ опредѣляютъ форму организма; съ одной стороны—внутренній, упорно сохраняющійся первообразъ, лежащій въ основѣ различнѣйшихъ формъ; съ другой стороны—внѣшнее вліяніе среды и образа жизни, которое дѣйствуетъ измѣняющимъ способомъ на первообразъ. Еще опредѣленнѣе выступаетъ это противоположеніе въ слѣдующемъ изреченіи:

«Нѣкоторая первоначальная общность лежитъ въ основѣ всякой организаціи, различіе же формъ проистекаетъ изъ необходимыхъ отношеній къ внѣшнему міру, и потому мы въ правѣ принять нѣкоторое первоначальное единовременное различіе и безостановочно идущее впередъ превращеніе, чтобы понять явленія столь же неизмѣнныя, какъ и отклоняющіяся».

«Первообразъ» или «типъ», который лежитъ въ основѣ всѣхъ органическихъ формъ, какъ «внутренняя первоначальная общность», есть внутреняя образовательная сила, которая даетъ первоначальное направленіе развитію и сохраняетъ его черезъ наслѣдственность. Напротивъ, «безостановочно идущее впередъ превращеніе», «проистекающее изъ необходимыхъ соотношеній съ внѣшнимъ міромъ», производитъ, какъ внѣшняя образовательная сила, черезъ приспособленіе къ внѣшнимъ условіямъ существованія, безконечное «разнообразіе формъ». Внутреннее образовательное стремленіе наслѣдственности, сохраняющее единство первообраза, Гёте называетъ въ другомъ мѣстѣ центростремительной силой организма, его специфическимъ стремленіемъ; напротивъ того, внѣшнее образовательное стремленіе приспособленія, которое производитъ разнообразіе органическихъ формъ, онъ называетъ центробѣжной силой организма, его варіирующимъ стремленіемъ. Мѣсто, въ которомъ онъ совершенно ясно обозначаетъ противовѣсъ этихъ двухъ, въ высшей степени важныхъ, органическихъ образовательныхъ силъ, гласитъ слѣдующее: «Идея метаморфоза подобна vis centrifuga и потерялась бы въ безконечности, если бы ей не былъ данъ противовѣсъ: я подразумѣваю специфическое стремленіе, упорную стойкостъ того, что однажды сдѣлалось дѣйствительностью, vis centripeta, недоступное въ основѣ своей вліянію внѣшнихъ условій».

Подъ метаморфозомъ Гёте понимаетъ не только, какъ это часто бываетъ нынѣ, тѣ измѣненія формы, которыя претерпѣваетъ органическая особь въ теченіе

своего личнаго развитія, но въ болѣе широкомъ смыслѣ—вообще превращеніе органическихъ формъ. «Идея метаморфоза» почти равнозначуща нашей «теоріи развитія». Это, между прочимъ, видно изъ слѣдующаго изреченія: «Побѣда физіологическаго метаморфоза обнаруживается тамъ, гдѣ цѣлое распадается и обособляется на семейства, семейства на роды, роды на виды и т. д. до особей. Этотъ процессъ природы идетъ въ безконечность; природа не знаетъ ни отдыха, ни остановки; но она не можетъ также сохранить и удержать всего, что произвела. Изъ сѣмени развиваются растенія, отношенія частей которыхъ между собою постоянно видоизмѣняются».

Въ этихъ двухъ органическихъ образовательныхъ стремленіяхъ—консервативномъ, внутреннемъ стремленіи наслѣдственности, и прогрессивномъ, внѣшнемъ стремленіи приспособленія, Гёте уже открылъ тѣ двѣ великія механическія силы природы, которыя суть дѣйствующія причины органическаго образованія формъ. Это глубокое біологическое познаніе должно было естественно привести его къ основной идеѣ ученія о развитіи, къ тому представленію, что родственные по формѣ органическіе виды родственны и по крови, и происходятъ отъ общихъ родоначальныхъ формъ. Гёте высказалъ эту мысль относительно важнѣйшей изъ группъ животныхъ, группы позвоночныхъ, въ слѣдующемъ замѣчательномъ отрывкѣ (1796 г.): «Такимъ образомъ, мы выиграли бы право утверждать безбоязненно, что всѣ наиболѣе совершенныя органическія формы, куда мы относимъ рыбъ, амфибій, птицъ, млекопитающихъ и на вершинѣ послѣднихъ—человѣка, всѣ сформированы по одному первообразу, который отклоняется въ ту или другую сторону въ своихъ очень постоянныхъ частяхъ, и каждодневно еще посредствомъ размноженія развивается и превращается».

Этотъ отрывокъ интересенъ во многихъ отношеніяхъ. Изъ него ясно вытекаетъ, что всѣ «наиболѣе совершенныя органическія формы, т. е. позвоночныя, происходятъ отъ одного общаго первообраза, что онѣ возникли изъ него черезъ размноженіе (наслѣдственность) и превращеніе (приспособленіе). Но особенно интересно, что Гёте и здѣсь не дѣлаетъ исключеніи для человѣка, а выразительно относитъ его генеалогически къ позвоночнымъ. Здѣсь видно въ зачаткѣ то генетическое ученіе, по которому человѣкъ происходитъ отъ другихъ позвоночныхъ.

Еще яснѣе высказываетъ Гёте эту чрезвычайно важную основную идею въ другомъ мѣстѣ (1807) въ слѣдующихъ словахъ: «Если наблюдать растенія и животныя въ ихъ самомъ несовершенномъ видѣ, то они едва различимы другъ отъ друга. Но все же мы имѣемъ право сказать, что выступающія изъ этого, почти нераздѣлимаго, родства творенія, растенія и животныя совершенствуются въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ, такъ что подъ конецъ вѣнцомъ созданія растеній является вѣчное и неподвижное дерево, вѣнцомъ созданія животныхъ—достигшій высшей степени свободы и подвижности человѣкъ». Въ этихъ замѣчательныхъ словахъ не только превосходно опредѣляются генеалогически родственныя отношенія растительнаго и животнаго царствъ, но также уже содержится зародышъ монофилетической гипотезы, по которой весь органическій міръ генетически происходитъ изъ одного корня.

II.

ГЁТЕ ВЪ ОБЛАСТИ ИЗЯЩНЫХЪ ИСКУССТВЪ.

(Статья Розенкранца).

Гёте относился къ природѣ, какъ истый поэтъ и какъ классикъ: новѣйшее естествознаніе отличается отъ древняго, главнымъ образомъ, тою ролью, которую играетъ въ первомъ расчетъ, совершенно отсутствующій въ отношеніи Гёте къ природѣ.

На этой античной наивности основывалось далѣе его отношеніе къ образовательному искусству,—ибо въ музыкѣ онъ видѣлъ лишь придатокъ поэзіи, — поскольку онъ былъ способенъ къ *образному* пониманію. Гёте носилъ въ себѣ оригинальность германскаго индивидуализма и примирительное благодушіе всеобъемлющаго христіанства; веселую же размѣренность эллинской красоты ему еще приходилось усвоивать себѣ, и притомъ не безъ труда. Живо сознавая недостаточность существовавшихъ дотолѣ формъ поэзіи, онъ ощущалъ сильнѣйшую потребность заняться пластическимъ искусствомъ; но нельзя отрицать того, что въ этомъ отношеніи онъ долгое время не въ состояніи былъ составить себѣ ясныхъ, опредѣленныхъ взглядовъ; онъ даже очень долго колебался надъ разрѣшеніемъ вопроса о томъ, что̀ составляетъ его призваніе—поэзія или пластическія искусства? До такой степени онъ смѣшивалъ то, что̀ должно было сдѣлаться для него, хотя и необходимымъ, но все же лишь простымъ образовательнымъ средствомъ, съ настоящимъ своимъ творческимъ дарованіемъ.

Тогдашняя литература, впрочемъ, помогла ему выйти изъ его затруднительнаго положенія. Еще въ 1764-омъ году вышла въ свѣтъ Винкельманова «Исторія художествъ», проливавшая яркій свѣтъ на всю эту область. Въ 1767-омъ году, въ то время, когда Гёте слушалъ лекціи въ Лейпцигскомъ университетѣ, появился «Лаокоонъ» Лессинга, произведшій сильное впечатлѣніе на молодого человѣка. Лессингъ, исходя изъ Винкельмановой точки зрѣнія,—что въ Лаокоонѣ мы имѣемъ дѣло съ доведеннымъ до прекраснаго выраженіемъ сильной физической и моральной боли,—вникнулъ, однако, въ дѣло глубже, указавъ на существенное различіе между искусствомъ, выражающимся пластически, и тѣмъ, которое находитъ себѣ выраженіе въ словѣ: различіе это заключается въ томъ, что послѣднее имѣетъ возможность изобразить весь ходъ даннаго состоянія или дѣйствія въ цѣлой *послѣдовательности* моментовъ и объяснить происхожденіе измѣненій, между тѣмъ какъ первое вынуждено бываетъ ограничиться *фиксированіемъ одного момента*; въ виду этого приходится исключать все некрасивое, такъ какъ послѣднее, не будучи моментомъ преходящимъ, пріобрѣтя характеръ неизмѣнности, постоянства, не преобразуясь въ иную форму, въ концѣ-концовъ сдѣлалось бы просто невыносимымъ. Поэтому для пластическаго искусства главная трудность заключается въ отысканіи *надлежащаго* момента, существенно-*кульминаціоннаго* положенія; и въ концѣ, концовъ, Гёте понялъ, что поэзія, принимая, понятно, въ расчетъ дѣятельность

силы воображенія, въ состояніи вытти далеко за тѣ предѣлы, которые предназначены живописи и ваянію.

Гёте всю свою жизнь оставался вѣренъ принципамъ Винкельмана и Лессинга. Слѣпое *подражаніе природѣ*, въ смыслѣ какого-нибудь Баттё, въ смыслѣ простой копировки эмпирической дѣйствительности, онъ всегда считалъ ложнымъ путемъ, слѣдуя которому невозможно осуществить истинные идеалы искусства. Созданія природы, въ томъ видѣ, въ какомъ они существуютъ, зависятъ отъ тысячей разнообразныхъ условій, не дозволяющихъ проявленію въ нихъ абсолютной красоты. Задача искусства заключается въ томъ, чтобы по возможности освобождать созданіе природы отъ обыденныхъ недостатковъ ихъ, отъ зависимости ихъ отъ случая, чтобы являться выраженіемъ *вѣчной* гармоніи между сущностью и формой. Искусство должно быть вѣрно природѣ, не въ смыслѣ рабскаго копированія непосредственно-даннаго, а въ смыслѣ изображенія того, что стремится создать сама природа, но чего ей не дано достигнуть въ виду множества переплетающихся внѣшнихъ обстоятельствъ. Такъ именно и поступали греки: они, повидимому, нѣсколько отклонялись отъ природы, но только для того, чтобы при помощи волшебнаго жезла искусства изобразить ее во всемъ идеальномъ ея совершенствѣ.

И Гёте пришлось участвовать въ современныхъ ему эстетическихъ спорахъ объ *истинѣ* и *характеристичности:* первая, какъ антитеза послѣдней, должна была представлять собою нѣчто общее, отвлеченное, послѣдняя — нѣчто индивидуальное, посредственное, живое; другими словами, первая должна была выражать собою отвлеченный, формальный принципъ такъ-называемаго золотого вѣка Франціи, послѣдняя — реальный принципъ Шекспировскихъ драмъ. Гёте же, напротивъ, стоялъ на томъ, что истинное искусство, будучи идеальнымъ, въ то же время должно быть и характеристичнымъ, и, будучи характеристичнымъ, — должно быть въ общемъ истиннымъ, но что, разъ уже зашла рѣчь о принципахъ искусства, истина въ дѣлѣ искусства, во всякомъ случаѣ, должна быть предпочитаема характеристичности.

Осуществленіе своихъ идеаловъ Гёте видѣлъ въ античномъ искусствѣ. Правда, онъ умѣлъ относиться безпристрастно, безъ всякихъ предвзятыхъ мыслей, и ко всякому иному виду искусства. Немедленно по прибытіи своемъ въ Страсбургъ, онъ отправился смотрѣть Страсбургскій соборъ. Подъ понятіемъ *готическаго* зодчества онъ пріучилъ себя разумѣть все неуклюжее, странное, составленное изъ лоскутковъ, даже уродливое; съ такими предвзятыми взглядами онъ приближался къ собору,—и все же сразу пришелъ къ убѣжденію, что онъ стоитъ передъ однимъ изъ величайшихъ художественныхъ произведеній всего міра. Его статья: «*Эрвинъ фонъ-Штейнбахъ*» (1773) проложила путь всеобщему признанію въ Германіи древнегерманскаго зодчества. Гёте суждено было дожить до окончанія архитекторомъ Буассере кельнскаго собора,—этого прекраснаго, спѣлаго плода тѣхъ воззрѣній, которыя онъ самъ началъ проводить еще въ вышеупомянутой статьѣ своей.

Но одно древнегерманское искусство не могло удовлетворить его, хотя оно и было близко ему по рожденію и по воспитанію его, хотя онъ и видѣлъ въ немъ смѣлость германской индивидуальности, смягченную христіанскою универсальностью. Поэтому онъ снова вернулся къ искусству античнаго міра. Однако въ началѣ онъ ошибался касательно отношенія своего къ нему, и лишь въ Римѣ ему суждено было уразумѣть его надлежащимъ образомъ. Въ Лейпцигѣ онъ много занимался рисованіемъ подъ руководствомъ Эзера; въ Италіи, куда съ непреодолимою силой его влекъ геній его, онъ снова усиленно занялся рисованіемъ. Но именно среди

этихъ усиленныхъ занятій, именно очутившись лицомъ къ лицу съ древнимъ искусствомъ, онъ пришелъ къ убѣжденію, что истинное его призваніе—*не пластическія искусства, а поэзія*. Какъ ни восхищался онъ художественными богатствами Италіи, но все же результаты его артистическихъ занятій, даже рисованія его, сказались лишь въ болѣе идеалистической формѣ его поэтическихъ произведеній. «Эгмонтъ», «Ифигенія», «Тассо» подверглись въ Италіи болѣе возвышенному перерожденію, «Навзикая» была здѣсь задумана, и многое менѣе значительное создано.

Не подлежитъ сомнѣнію то, что Гёте глубоко чувствовалъ всю красоту античнаго искусства и родственнаго ему генія Рафаэля. Но онъ находился по отношенію къ нему въ состояніи полнѣйшаго удовлетворенія, чтобы не сказать, въ состояніи полнѣйшей зависимости отъ него. Оно импонировало ему, и онъ рѣшилъ, во что бы то ни стало, усвоить его себѣ; и вотъ рисованіе, которое давалось ему не безъ труда, явилось вѣрнѣйшимъ средствомъ для ассимиляціи. Но на этомъ онъ остановился, такъ какъ, лишь только онъ начиналъ самостоятельно размышлять о пластическомъ искусствѣ или изображать его, то превращался въ поэта. Разсмотрѣвъ всѣ оставшіяся послѣ Гёте статьи, въ которыхъ онъ трактуетъ о пластическомъ искусствѣ, мы всюду, рядомъ съ критикомъ, найдемъ и поэта. Въ «Лаокоонѣ» онъ видитъ трагическую идиллію. Дельфійскія сцены Полигнота онъ тщательно старается распредѣлить по различнымъ цикламъ, разъясняя послѣдовательность и взаимную связь отдѣльныхъ картинъ. Точно такъ же онъ поступаетъ и относительно неаполитанской картинной галлереи, описаніе которой оставилъ намъ Филостратъ. Но той же причинѣ интересуетъ его «Тріумфальное шествіе Цезаря» Мантеньи, служащее для него въ то же время образцомъ того, какъ удачно сумѣлъ художникъ слить характеристичное индивидуальности съ общностью абсолютной формы, ибо учитель Мантеньи былъ приверженцемъ теоріи безусловнаго *подражанія античнымъ образцамъ* и разошелся съ ученикомъ своимъ, когда тотъ сталъ давать мѣсто въ своихъ картинахъ окружающимъ его мотивамъ, когда онъ сталъ писать портреты моденскихъ обывателей, хотя бы и идеализированные. Въ произведеніяхъ живописи Гёте особенно охотно останавливался на группахъ: онъ самъ предлагалъ, въ видѣ сюжета, шесть ветхозавѣтныхъ и шесть новозавѣтныхъ фигуръ, символически разгруппированныхъ вокругъ фигуры Христа, особенно рекомендовалъ онъ сюжетомъ капернаумскаго сотника. Остроумныя соображенія высказалъ онъ и по поводу коровы Мирона. Въ древности, въ теченіе десятилѣтія, картина эта составляла предметъ удивленія; повидимому, болѣе всего удивлялись ея чрезвычайной естественности. По этому поводу создано было даже множество анекдотовъ и эпиграммъ: увѣряли, будто на нее опустился оводъ, будто теленокъ бросился сосать ея вымя, будто пастухъ заигралъ въ рожокъ, побуждая ее не отставать отъ стада, и т. Эта крайняя естественность, въ сущности, противорѣчила эллинскому идеализму. Поэтому Гёте задался вопросомъ о томъ, что собственно казалось особенно-естественнымъ въ означенной коровѣ, и, на основаніи дошедшихъ до насъ эпиграммъ и камей, старающихся подражать картинѣ Мирона, пришелъ къ выводу, что, очевидно, художникъ изобразилъ корову въ моментъ кормленія ею сосущаго ея вымя теленка, такъ какъ этотъ моментъ и составляетъ кульминаціонный пунктъ существованія коровы: исполненіе своихъ материнскихъ обязанностей какъ бы облагораживаетъ животное. И вотъ это-то положеніе коровы, а отнюдь не поразительная вѣрность природѣ, придавало коровѣ Мирона, рядомъ съ естественностью, и такую привлекательность.

Поэтому мы имѣемъ полное право сказать, что Гёте относился съ благоговѣніемъ къ пластичности, поскольку она представляетъ собою высшій, божественный

идеалъ, и что любилъ ее, какъ нѣчто, соотвѣтствовавшее его глубокому художественному чутью; онъ воспитался на ней, питался ею, но не отдавался ей всецѣло, какъ дѣлалъ то относительно дельфійскихъ сценъ или относительно картинъ Филострата, въ которыхъ эпическая *послѣдовательность* возбуждала его фантазію или при созерцаніи которыхъ воображеніе помогло что-либо дополнить, создать, какъ, напр., относительно Мироновой коровы. Онъ чрезвычайно мѣтко самъ озаглавилъ свою статью о Рюисдалѣ: «Рюисдаль, какъ поэтъ», ибо его поэтическая энергія побуждала его приравнивать даже живопись къ своему спеціальному роду творчества. Но когда онъ принимался за развитіе принциповъ своихъ эстетическихъ воззрѣній, то оказывался несостоятельнымъ. Гервинусъ высказалъ по этому поводу весьма рѣзкое сужденіе. Мнѣ же кажется, что было бы справедливѣе поискать истинной причины того, почему такой глубокій и столь многознающій умъ значительно отставалъ отъ другихъ въ своихъ дидактическихъ, философски-историческихъ воззрѣніяхъ: едва-ли я ошибусь, предположивъ, что онъ *былъ слишкомъ поэтъ* для того, чтобы создавать такіе трактаты, какъ Вильгельмъ Гумбольдтъ, Шиллеръ, братья Шлегели. Здѣсь помѣхой ему являлось самое его дарованіе. Очень хорошій образчикъ манеры Гёте разсуждать объ искусствѣ представляютъ намъ его письма къ Мейеру, Шиллеру, Цельтеру. Здѣсь онъ вполнѣ удовлетворителенъ, такъ какъ, по опредѣленному случаю, обращается къ опредѣленному лицу, и при такомъ условіи все общее, такъ сказать, индивидуализируется для него. Но когда онъ желаетъ поступать совершенно самостоятельно, то останавливается на афоризмахъ, часто содержательныхъ, но не достаточно убѣдительныхъ и не вникающихъ въ суть дѣла. Поэтому довольно пространный трактатъ его «Собиратель и его близкіе» принялъ повѣствовательно-эпистолярную форму, переходившую въ наиболѣе затруднительныхъ мѣстахъ въ разговорный тонъ и заканчивавшуюся постановкой схемы. То обстоятельство, что онъ былъ поэтомъ и смотрѣлъ на пластическія концепціи съ точки зрѣнія крайняго развитія субъективной фантазіи, объясняетъ намъ, почему такъ-называемые Веймарскіе «друзья искусствъ» могли вращаться лишь въ крайне тѣсномъ, съ современной точки зрѣнія, кругѣ и ожидать въ то же время отъ своей дѣятельности крупныхъ результатовъ. Но все же предпринятое въ этихъ видахъ въ 1798—1800 гг. періодическое изданіе «Пропилеи», вступленіе къ которому было написано Гёте, остается прекраснымъ памятникомъ этихъ благородныхъ стремленій.

Когда Гёте увидѣлъ, что романтическая школа стала и въ области пластическихъ искусствъ совершенно покидать эти основные принципы, которымъ онъ придавалъ такое важное значеніе, то онъ ощутилъ сильное неудовольствіе. Онъ неодобрительно относился къ тѣмъ псевдо-классикамъ, которые, отростивъ себѣ длинные волосы à la Альбрехтъ Дюреръ, но будучи лишены его творческаго генія, отправлялись въ Римъ, и подъ вліяніемъ какого-то средневѣковаго фанатизма, снова возвращались въ лоно римской церкви, какъ будто благословеніе католическаго священника могло сдѣлать изъ нихъ истинныхъ художниковъ. Гёте представилъ, впрочемъ, очень интересный обзоръ начатковъ христіански-германскаго искусства въ томѣ 43, въ заключительной главѣ своего описанія путешествія на Майнъ и на Рейнъ въ 1814-омъ и 1815-омъ гг., въ особенности примѣнительно къ Кёльнской школѣ живописцевъ.

Своеобразное отношеніе Гёте къ пластическимъ искусствамъ иллюстрируется, между прочимъ, и тѣми взглядами, которые онъ высказалъ въ полемикѣ съ современнымъ ему писателемъ Гейнзе на тотъ же предметъ. Этотъ послѣдній почувствовалъ живѣйшее желаніе пойти дальше псевдо-античности Виланда, котораго онъ вначалѣ являлся послѣдователемъ, и подняться до истиннаго художественнаго энту-

зіазма при созерцаніи древнихъ руинъ и чуднаго италіанскаго неба. И дѣйствительно, его описаніе произведеній пластики и живописи древняго міра превосходно; въ написанномъ имъ въ 1785-омъ году «Ардингелло» мы находимъ прекрасное описаніе древнихъ статуй; не менѣе удалось ему и описаніе картинъ Дюссельдорфской галлереи. Но разъ онъ пытался итти далѣе, самому что-либо изобрѣтать, онъ оказывался крайне бѣднымъ и несостоятельнымъ въ сравненіи съ богатствомъ, оригинальностью и нравственнымъ изяществомъ поэта Гёте. Описательный талантъ Гейнзе можетъ, пожалуй, казаться намъ даже превосходящимъ, по отношенію къ пластическимъ искусствамъ, талантъ Гёте; но разница между обоими поэтами заключается въ томъ, что Гейнзе остановился на воспроизведеніи, возвратился съ своими соціальными тенденціями къ древнему міру и заставилъ своего Ардингелло кончить обновленіемъ Платоновой республики, между тѣмъ какъ Гёте, путемъ воспроизведенія любимаго и почитаемаго имъ древняго міра, поднимался до болѣе высокихъ соображеній вообще.

Если ему что-либо являлось помѣхой въ усвоеніи себѣ классической древности, то это было всосанное имъ съ юношескихъ лѣтъ, черезъ Винкельмана и Лессинга, представленіе о *спокойствіи* божественнаго идеала, какъ о чемъ-то самодовлѣющемъ, незыблемомъ. Какъ пригодился бы ему тотъ взглядъ на статуи боговъ древности, который развилъ годъ спустя послѣ его смерти, въ 1833-ьемъ году, Ансельмъ Фейербахъ, въ своей столь же дѣльной, какъ умно и изящно написанной монографіи о Ватиканскомъ Аполлонѣ. По сравненіи съ группой Лаокоона, Аполлонъ Бельведерскій можетъ служить олицетвореніемъ идеальной красоты, хотя, съ другой стороны, нельзя было отрицать того, что наклоненная какъ бы для движенія впередъ поза его, угрожающе-вытянутая рука, откинутая вверхъ, въ порывѣ гордаго гнѣва, голова его, величественно-ироническая складка его губъ не вполнѣ согласовались съ Винкельмановой теоріей. Поэтому дѣлались различнаго рода гипотезы, имѣвшія цѣлью смягчить эту порывистость, возвратиться къ большему спокойствію, — но все же приходилось признать, что безконечное обаяніе статуи заключается именно въ порывистости ея. Болѣе всего склонялись къ той гипотезѣ, что здѣсь Аполлонъ изображенъ въ видѣ убійцы Дельфійскаго дракона, что онъ только-что пустилъ свою мѣткую стрѣлу въ чудовище, и теперь наслаждается побѣдой. Но Фейербахъ доказываетъ, на основаніи Эсхиловыхъ «Эвменидъ», что Аполлонъ, по всей вѣроятности, изображенъ именно въ тотъ моментъ, когда онъ изгоняетъ фурій изъ окрестностей храма, послѣ того какъ онъ, во время ихъ сна, отправилъ Ореста къ Палладѣ въ Аѳины, и когда эти дочери мрака, проснувшись и замѣтивъ исчезновеніе своей добычи, въ кровожадной алчности своей добрались до самыхъ стѣнъ храма; и вотъ этимъ мрачнымъ чудовищамъ подземнаго міра выступаетъ на встрѣчу кроткій, прощающій богъ солнца, предъявляя свои права и угрожая имъ своимъ оружіемъ; а такъ какъ онѣ, въ качествѣ богинь, хотя и возбуждали ненависть, но все же были въ нѣкоторомъ отношеніи равны ему, то поза его, хотя и гнѣвная, но не презрительная; моментъ возможности пойти далѣе и, въ случаѣ если фуріи не отступятъ, рѣшимости перейти къ дѣлу вполнѣ ясно выраженъ въ слегка приподнятой ногѣ и въ протянутой для спуска стрѣлы рукѣ; въ полномъ соотвѣтствіи съ этимъ находятся и гнѣвное выраженіе лица, и одѣяніе, вполнѣ отвѣчающее позѣ. Какъ обрадовало бы такое толкованіе статуи Гёте, какъ оно разъяснило бы для него тѣсную связь между ваяніемъ и поэзіей, какой свѣтъ оно пролило бы на свободу пріемовъ древней пластики, на выразительность ея; безъ сомнѣнія, оно также въ значительной мѣрѣ расширило бы нѣсколько узкіе предѣлы понятія объ идеальномъ спокойствіи.

Что же касается собственно живописи, то Гёте былъ замѣчательный знатокъ

ея. Свое ученіе о цвѣтахъ онъ написалъ въ интересахъ живописцевъ, желая доставить прочную основу для *колорита* тѣмъ изъ нихъ, которые до тѣхъ поръ колебались между столькими противорѣчивыми взглядами на этотъ предметъ. Къ великому его удовольствію, какъ онъ самъ объясняетъ въ концѣ дидактической части своего ученія о цвѣтахъ, одинъ гамбургскій живописецъ, Отто Рунге, идя самостоятельнымъ путемъ, пришелъ въ этомъ отношеніи къ совершенно тожественнымъ съ нимъ выводамъ. Гёте усматриваетъ задачу живописи, съ точки зрѣнія колорита, въ томъ, чтобы путемъ спеціализированія обособить основныя, элементарныя краски (желтая, синяя, красная, оранжевая, фіолетовая, зеленая). Напр., красный цвѣтъ безъ сомнѣнія красенъ; но красный цвѣтъ бархата получаетъ особый оттѣнокъ, благодаря эластичности, мягкости, пушистости его; или же, напр., бѣлый цвѣтъ безъ сомнѣнія бѣлъ; но бѣлизна атласа иная, чѣмъ бѣлизна мѣла, и т. д. Затѣмъ живописцу необходимо умѣть установить надлежащую гармонію между цвѣтомъ предметовъ и общимъ мѣстнымъ колоритомъ. Въ этомъ отношеніи мы находимъ у Гёте много весьма цѣннаго. Помимо вышеупомянутаго и нѣкоторыхъ интересныхъ небольшихъ статеекъ, послѣ него остался переводъ «Этюда о живописи» Дидро, съ примѣчаніями Гёте. Здѣсь нелишнимъ будетъ вообще напомнить, что въ прошломъ столѣтіи Дидро оказалъ замѣтное вліяніе на Лессинга, Гёте, Шиллера, быть можетъ болѣе сильное, чѣмъ какое мы могли бы предполагать на основаніи современныхъ представленій о Дидро, старающихся низвести его лишь до степени атеиста и софиста. Не одни только тогдашніе монархи и сильные міра сего были усердными читателями Дидро, не они одни не щадили денегъ для того, чтобы получать всѣ новинки, выходившія изъ-подъ пера Дидро; (Карлъ-Августъ, герцогъ Веймарскій, писалъ какъ-то Кнебелю, что онъ отправляется въ уединенный замокъ свой въ горахъ Гарца для того, чтобъ имѣть возможность прочесть на досугѣ только-что полученное имъ окончаніе книги Дидро «Jacques le Fataliste»). Дидро, человѣкъ чрезвычайно многосторонне образованный, являлся въ то же время ревностнымъ проповѣдникомъ евангелія природы, какъ панацеи противъ всѣхъ соціальныхъ золъ и заблужденій въ области искусства. Это направленіе замѣчается и въ вышеупомянутомъ опытѣ. Нужно, впрочемъ, замѣтить, что этотъ послѣдній, въ 13-омъ томѣ собранія сочиненій Дидро, изданія Нежона, гораздо объемистѣе, чѣмъ можно было бы предположить на основаніи передачи Гёте, который собственно перевелъ лишь двѣ главы, въ произвольно избранной имъ послѣдовательности, сопроводивъ ихъ своими комментаріями отчасти полемическаго свойства. Мнѣ кажется, что въ послѣднихъ Гёте былъ не совсѣмъ справедливъ по отношенію къ Дидро: если онъ желалъ обсуждать его теорію, то ему слѣдовало бы принять въ соображеніе не только всю статью, но и его «Отдѣльныя мысли» («Pensées détachées») въ 15-омъ томѣ и прекрасныя статьи его по поводу художественныхъ выставокъ 1765 и 1767 гг. Лишь при такомъ условіи получился бы сколько-нибудь полный обзоръ Дидро. К. Ф. Крамеръ довольно удовлетворительно перевелъ на нѣмецкій языкъ подлинникъ «Опыта», вмѣстѣ съ частью статей о выставкахъ, подъ заглавіемъ: «Взглядъ Дидро на живопись», въ Ригѣ, въ 1797 г.; но, повидимому, переводъ этотъ не пользовался особой извѣстностью. Гёте не желаетъ принять въ должной мѣрѣ въ соображеніе то, что Дидро, главнымъ образомъ, ополчился противъ вопіющей лжи, противъ условнаго педантизма парижской академіи, противъ стереотипнаго характера ея фигуръ и положеній, противъ ея неестественности и дѣланности. Дидро совершенно правъ, когда, въ виду этой академической рутины, совѣтуетъ художнику, желающему изучить выраженіе физіономіи нищаго, отправиться прогуляться по улицѣ, вмѣсто того чтобы списывать дѣланное жалобное выраженіе лица натурщика. Но Гёте,

51

ПОСВЯЩЕНІЕ.

ПОСВЯЩЕНІЕ.

(1784).

Проснулся я, разсвѣтомъ пробужденный:
Часъ утра грезъ моихъ разсѣялъ рой.
Покинувъ свой пріютъ уединенный,
Пошелъ я въ горы съ бодрою душой,
И все мой взоръ плѣняло восхищенный—
Цвѣты, трава съ жемчужною росой.
Рожденье дня тамъ лучезарно было
И такъ мой духъ спасительно живило.

Я въ горы шелъ. Поднявшись надъ рѣкою,
За мною вслѣдъ туманъ туда всходилъ,
Сгущался, росъ—и бѣлой пеленою
Онъ скоро мнѣ чело мое обвилъ.
Исчезло все тогда передо мною;
Отъ глазъ моихъ туманъ окрестность скрылъ—
И, облакомъ какимъ-то осѣненный,
Стоялъ я, въ мракъ уныло погруженный.

Но вдругъ туманъ какъ-будто озарился;
Сквозь облака дрожащій свѣтъ проникъ;
Туманъ взвился, на части раздѣлился,
И солнце свой огнемъ горящій ликъ
Готовилось открыть. Мой взоръ стремился
Имъ насладиться вновь; но въ этотъ мигъ
Иной вдругъ свѣтъ блеснулъ передо мною
И ослѣпилъ глаза мои собою.

Когда жъ, какимъ-то движимый влеченьемъ,
Рѣшился я свой взоръ опять поднять,
Кругомъ сіяло все, и слабымъ зрѣньемъ
Едва я могъ свѣтъ яркій созерцать —
И чуднымъ я былъ пораженъ видѣньемъ:

Явилась мнѣ жена... Мечта создать
Такого образа не въ состояньи:
Такъ былъ онъ полонъ чаръ и обаянья.

«Знакома ль я тебѣ?» она спросила —
И звукъ тѣхъ словъ былъ звукъ любви живой:
«Я та, чья ужъ не разъ святая сила
Твой врачевала духъ въ борьбѣ земной;
Я та, которая тебя манила,
Влекла тебя невольно за собой.
Ты сердцемъ ужъ давно по мнѣ томился!
Ты юношей еще ко мнѣ стремился!»

«О, да!» воскликнулъ я, къ ней припадая:
«Давно тебя въ душѣ я ощущалъ:
Когда меня терзала страсть слѣпая,
Въ тебѣ одной покой я обрѣталъ;
Ты прохлаждала мнѣ чело, витая
Незримо надо мной; твой свѣтъ придалъ
Въ моихъ глазахъ земному совершенство,—
Въ тебѣ обрѣлъ я полное блаженство!

«Не назову тебя, хоть и дерзаютъ
Столь многіе тебя своею звать!
Да, многихъ видъ твой чудный привлекаетъ,
Но рѣдкій можетъ блескъ твой созерцать!
Друзья меня теперь всѣ покидаютъ
За то, что я тебя сталъ познавать:
Они со мной не дѣлятъ наслажденья,
Какъ нѣкогда дѣлили заблужденья.»

И, улыбаясь, мнѣ она сказала:
«Сколь малое способны вы вмѣстить!
Чуть предъ тобой разверзлось покрывало,
Чуть дѣтскій умъ дерзнулъ твой воспарить —
Гляди: тебя ужъ гордость обуяла,
Отъ ближнихъ взоръ готовъ ты отвратить.
А развѣ ты ихъ превзошелъ собою?
Люби людей, для нихъ живи душою!»

«Прости!» вскричалъ я: «это заблужденье!
Желаніемъ добра мой духъ горитъ.
Не даромъ мнѣ ты просвѣтила зрѣнье:
На благо всѣмъ свой даръ употребитъ
Твой вѣрный рабъ. Онъ преисполненъ рвенья;
Не будетъ въ прахъ талантъ его зарытъ:
Я къ правдѣ путь искалъ такъ неустанно,
Затѣмъ чтобъ всѣмъ открыть тотъ путь желанный.»

Я говорилъ; взоръ, полный снисхожденья
И кротости, меня межъ тѣмъ ласкалъ;
Въ ея глазахъ прочелъ я осужденье
Тому, въ чемъ я невольно погрѣшалъ,
Но вмѣстѣ съ тѣмъ привѣтъ и одобренье
За то, въ чемъ правъ былъ—и восторгъ объялъ
Тогда меня, и, полный упованья,
Приблизился я къ чудному созданью.

И, руку приподнявъ надъ полосою
Воздушнаго тумана и паровъ,
Она ихъ отвела—и предъ собою
Узрѣлъ я тотъ же видъ полей, лѣсовъ,
Долинъ и горъ—и небо голубое,
Какъ чистый сводъ, раскинулося вновь;
Ее жъ, мое видѣнье, обвивало,
Волнуяся, сквозное покрывало.

И мнѣ она сказала: «Все я знаю,
Въ чемъ грѣшенъ ты и чѣмъ твой духъ богатъ!
(Мнѣ мнится—и теперь я ей внимаю!)
Прими жъ мой даръ: отъ всѣхъ скорбей изъятъ
Счастливецъ тотъ, кого имъ награждаю:
Въ немъ солнца свѣтъ; въ немъ утра ароматъ.
Мой даръ—поэзіи покровъ чудесный:
Прими его отъ истины небесной!

«Теперь ты самъ, друзья твои въ часъ зноя
Не будете знать мукъ: развѣй покровъ —
На васъ пахнетъ прохладою ночною,
Благоуханьемъ травъ, лѣсныхъ цвѣтовъ;
Поэзія въ васъ страсть смиритъ собою,
Гробъ обратитъ вамъ въ ложе тихихъ сновъ!
Она прольетъ лучи во тьму ночную
И дню придастъ красу совсѣмъ иную!»

И такъ, друзья мои, ко мнѣ скорѣе!
Зову и тѣхъ, кто утомленъ борьбой,
И тѣхъ, кому судьба рукой своею
Усыпала цвѣтами путь земной!
Сомкнемся всѣ между собой дружнѣе:
Поэзія скрѣпитъ союзъ живой;
Когда жъ умремъ—потомкамъ въ достоянье
Оставимъ по себѣ воспоминанье!

Ѳ. Миллеръ

Ужъ ночь на высяхъ горъ снуется;
Въ объятьяхъ вечера земля,
И вѣтви дубъ распростирая,
Какъ исполинъ во мглѣ стоитъ,
И изъ-за листьевъ мгла густая
Глазами черными глядитъ.

Весь окруженный облаками,
Печально мѣсяцъ внизъ смотрѣлъ,
И вѣтеръ тихими крылами
Мнѣ въ уши жалобно свистѣлъ,
И стая призраковъ ходила —
Но чувства веселы мои...
Въ моей груди какая сила!
Какой огонь въ моей крови!

Тебя увидѣлъ я — лилася
Съ глазъ кроткихъ радость на меня;
Съ тобой душа моя слилася,
Тебѣ дыханье отдалъ я.
Въ весеннемъ розовомъ сіяньи
Твое лицо; взоръ нѣженъ былъ...
Я могъ желать, изныть въ желаньи;
Но чѣмъ я это заслужилъ?

Вотъ солнце! Ахъ, пора съ ночлега!
Тѣснитъ мою разлука грудь.
Въ твоихъ лобзаньяхъ — что за нѣга!
Въ твоихъ глазахъ какая грусть!
Опущенъ взоръ, но за гонимымъ
Онъ поднятъ вновь — его слѣдить...
Какое счастье быть любимымъ!
Какое счастіе любить!

М. Катковъ.

КОГДА Я БЫЛЪ ВЪ СААРБРЮКЕНѢ.

(1771).

Гдѣ ты, гдѣ ты теперь, о другъ мой незабвенный?
Гдѣ слышенъ голосъ твой?
Гдѣ весела земля, гдѣ городокъ блаженный,
Владѣющій тобой?

Съ тѣхъ поръ, какъ ты ушла — увы, и солнце лѣтомъ
Ужъ свѣта не дастъ,
И небо, заключивъ союзъ съ твоимъ поэтомъ,
Печально слезы льетъ.

Всѣ наши радости ты унесла жестоко!
Вездѣ — средн полей,

Средь улицъ—тишина. Вслѣдъ за тобой далеко
Умчался соловей.

О, воротись! Уже тебя пастухъ со стадомъ
Зоветъ... О, поспѣшай
Въ родимые края! Иначе зимнимъ хладомъ
Окованъ будетъ май.

П. Вейнбергъ.

ОСЕННЕЕ ЧУВСТВО.

(1771).

Тучнѣй зеленѣйте,
Виноградныя лозы,
Взбираясь къ окну моему!
Полнѣй наливайтесь,
Густые гроздья, и зрѣйте
Быстрѣе, пышнѣе!
Васъ грѣетъ,
Какъ лоно матери,
Прощальный взоръ солнца:
Васъ обвѣваетъ
Плодотворящая ласка
Благого неба;
Васъ освѣжаетъ
Чудной прохладой
Дружественный мѣсяцъ;
Васъ орошаютъ
Изъ этихъ глазъ
Вѣчно живящей любви
Крупныя слезы.

М. Михайловъ.

СТЕПНАЯ РОЗОЧКА.

(1773).

Мальчикъ степью шелъ; на ней
Розочка степная;
Молода, зари свѣжѣй...
Онъ бѣжитъ туда скорѣй...
Радость-то какая!
Роза, розочка-краса,
Розочка степная!

Онъ ей: «Я тебя сломлю,
Розочка степная!»
А она: «Не потерплю,
Больно, больно уколю:

Помни, какъ сильна я!»
Роза, розочка-краса,
Розочка степная!

Злой мальчишка! Сорвана
Розочка степная,
Какъ ни «ахъ!» и «охъ!» она,
Какъ ни колетъ шалуна...
«Ахъ, стерпѣть должна я!...»
Роза, розочка-краса,
Розочка степная!

П. Вейнбергъ.

ПРИВѢТСТВІЕ ДУХА.

(1774).

На старой башнѣ, у рѣки,
Духъ рыцаря стоитъ—
И лишь завидитъ челноки
Привѣтомъ ихъ даритъ:

«Кипѣла кровь въ моей груди;
Кулакъ былъ изъ свинца,
И богатырскій мозгъ въ кости,
И кубокъ — до конца.

«Пробушевавъ полъ-жизни я,
Другую проволокъ...
А ты плыви, плыви, ладья,
Куда несетъ потокъ!»

Ѳ. Тютчевъ.

НОВЫЙ АМАДИСЪ.

(1774).

Съ дѣтства въ комнатѣ одной
Заперли меня —
И, какъ въ чревѣ у родной,
Заключенъ былъ я
Отъ людей вдали.

Но, фантазія, цвѣли
Чары мнѣ твои!
Я героемъ смѣлымъ сталъ,
И, какъ принцъ Пипи,
Міръ весь облеталъ.

Строилъ замки въ облакахъ,
Рушилъ ихъ потомъ,

И дракона въ чешуяхъ
Поражалъ мечомъ.
Да, я былъ великъ!

И принцессу Рыбку вмигъ
Я освобождалъ;
Ею былъ, très obligeant,
Званъ къ обѣду въ залъ,
И я былъ galant.

Поцѣлуй ея меня
Жегъ — вина пьянѣй.
Охъ, влюбленъ былъ страстно я!
Вкругъ, блестя на ней,
Искрилась эмаль.

Ахъ, она умчалась вдаль!
Кѣмъ увлечена?
Кто бъ ее мнѣ могъ вернуть?
Гдѣ ея страна?
Въ ту страну гдѣ путь?

Н. Холодковскій.

БЛАЖЕНСТВО ГРУСТИ.

(1775).

Не высыхайте, не высыхайте,
Слезы вѣчной любви!
Ахъ, и едва осушенному оку
Мертвъ и пустыненъ кажется міръ!
Не высыхайте, не высыхайте,
Слезы несчастной любви!

М. Михайловъ.

ВЕЧЕРНЯЯ ПѢСНЯ ОХОТНИКА.

(1775).

Я крàдусь полемъ, тихъ и дикъ;
Взведенъ курокъ ружья.
Опять твой свѣтлый, милый ликъ
Мечтами вижу я!

Тиха, спокойна въ этотъ мигъ
Гуляешь ты въ лугахъ.
Мой промелькнувшій, блѣдный ликъ
Не всталъ въ твоихъ мечтахъ.

Тоска и зло сдавили грудь...
Я исходилъ весь свѣтъ:

Тотъ ли я, кого теперь съ гостями
Садишь ты играть,
Гдѣ средь лицъ противныхъ, за костями,
Долженъ я зѣвать?

Я люблю цвѣтовъ весенніхъ всходы,
Но не въ цвѣтникахъ!
Я хочу читать среди природы
Рай въ твоихъ очахъ!

А. Соколовскій.

КЪ ЗОЛОТОМУ СЕРДЕЧКУ, НОСИВШЕМУСЯ НА ШЕѢ.

(1775).

Счастья прежняго залогъ священный,
На груди моей ношу тебя я.
Долго ль будешь связью драгоцѣнной
Ты для насъ, блаженство продолжая?
Въ даль ушелъ я, но залогъ твой, Лили,
Все жъ со мною будетъ оставаться;
Много надо горя и насилій,
Чтобъ отъ сердца милой оторваться.

Сѣть порвавъ, веселая пѣвунья,
Птичка мчится въ прежній свой лѣсокъ,
Но остался все же у пѣвицы
Знакъ ея покинутой темницы —
На ногѣ оборванный шнурокъ.
Птичка та — не прежняя летунья:
Ей знакомъ неволи былъ силокъ.

А. Соколовскій.

КРИСТЕЛЬ.

(1776).

Подчасъ больна душа моя;
Въ ней холодъ, мракъ такой!
Но чуть увижу Кристель я —
Все сняло, какъ рукой.
Совсѣмъ въ полонъ меня взяла;
И самъ я не пойму,
За что мнѣ такъ она мила,
И какъ, и почему?

Въ шельмовскій черный этотъ глазъ,
На эту диво-бровь
Взглянуть мнѣ стоитъ только разъ,
Чтобъ выздоровѣть вновь.

Такихъ губенокъ, какъ у ней,
И щечекъ... и всего...
Найти нельзя, нельзя—ей-ей!—
Нигдѣ, ни у кого!

Какъ въ вальсѣ миломъ и родномъ
Ее я обниму,
И завертимся мы кругомъ,
И къ сердцу моему
Она прижмется невзначай,
Вся, какъ огонь, горя —
Вотъ то-то жизнь, вотъ то-то рай!
Я сча́стливѣй царя!

Когда, забывши все вокругъ,
Она въ глаза мои
Глядитъ, глядитъ—и послѣ вдругъ
Цѣлуетъ въ забытьи —
Тогда до пятокъ по спинѣ
Бѣжитъ огня струя,
И любо мнѣ, и жутко мнѣ...
Такъ слабъ, такъ мощенъ я!

Не отошелъ бы шагу прочь!
День точно часъ летитъ;
А если бъ съ ней пробыть и ночь—
Меня не устрашитъ!
Нѣтъ, быть должна она моей...
Коль и тогда не жди
Конца мученіямъ — у ней
Умру я на груди!

П. Вейнбергъ.

НОЧНАЯ ПѢСНЯ СТРАННИКА (1-ая).

(1776).

Ты, небесный, ты, святой,
Всѣ печали утоляющій,
Изнуренному борьбой
Облегченье посылающій!

Утомителенъ мой путь,
Край далекъ обѣтованный...
Миръ чарующій, желанный,
Снизойди въ больную грудь!

М. Михайловъ.

КЪ МѢСЯЦУ.

(1779).

Снова лѣсъ и долъ покрылъ
Блескъ туманный твой:

Онъ мнѣ душу растворилъ
Сладкой тишиной.

Ты блеснулъ — и просвѣтлѣлъ
Тихо темный лугъ:
Такъ улыбкой нашъ удѣлъ
Озаряетъ другъ.

Скорбь и радость давнихъ лѣтъ
Отозвались мнѣ —
И минувшаго привѣтъ
Слышу въ тишинѣ.

Лейся, мой ручей, стремись!
Жизнь ужъ отцвѣла.
Такъ надежды пронеслись;
Такъ любовь ушла.

Ахъ, то было и моимъ,
Чѣмъ такъ сладко жить,
Тò, чего, разставшись съ нимъ,
Вѣчно не забыть!

Лейся, лейся, мой ручей,
И журчанье струй
Съ одинокою моей
Лирой согласуй.

Счастливъ, кто отъ хлада лѣтъ
Сердце охранилъ;
Кто безъ ненависти свѣтъ
Бросилъ и забылъ;

Кто дѣлитъ съ душой родной,
Втайнѣ отъ людей,
То, что̀ презрѣно толпой,
Или чуждо ей.

В. Жуковскій.

НОЯБРЬСКАЯ ПѢСНЯ.

(1783).

Стрѣльцу — не древнему Стрѣльцу,
Что̀ дождь и тучи шлетъ
И Феба свѣтлому лицу
Явиться не даетъ —

Нѣтъ, я малюткѣ пѣснь пою!
На немъ изъ розъ вѣнецъ —
И въ сердце дѣвъ стрѣлу свою
Пускаетъ тотъ стрѣлецъ.

Мнѣ зимній вечеръ веселѣй
Желая сдѣлать, онъ
Привелъ сюда толпу друзей
И много милыхъ женъ.

О, пусть всегда, плѣняя взглядъ,
Блеститъ онъ въ вышинѣ
И свой восходъ, и свой закатъ
Свершаетъ въ тишинѣ!

Н. Холодковскій.

НОЧНАЯ ПѢСНЯ СТРАННИКА (2-ая).

(1783).

Горныя вершины
Спятъ во тьмѣ ночной;
Тихія долины
Полны свѣжей мглой;
Не пылитъ дорога,
Не дрожатъ листы...
Подожди немного —
Отдохнешь и ты!

М. Лермонтовъ.

СЧАСТЬЕ И СОНЪ

(1788).

Какъ часто сны тебѣ являли,
Что мы предъ алтаремъ стояли:
Я — мужемъ, ты — моей женой!
Какъ часто съ устъ твоихъ украдкой
Я поцѣлуй, какъ грёзы, сладкій,
Срывалъ вечернею порой!

Часы блаженства миновали —
И счастье то, что̀ мы вкушали,
Лихое время унесло.
Что̀ пользы, что я наслаждался?
Восторгъ любви, какъ сонъ, умчался,
Какъ поцѣлуй, все утекло.

Ѳ. Миллеръ.

БЛИЗОСТЬ.

(1788).

Часто мы другъ другу чужды,
Далеки въ толпѣ людской...
Свѣтъ иль шумъ тому виной —
Право, знать намъ мало нужды.

На безлюдьи, въ тишинѣ
Близость нашу мы почуемъ —
И знакомымъ поцѣлуемъ
Тотчасъ скажешься ты мнѣ.

М. Михайловъ.

КЪ ОТСУТСТВУЮЩЕЙ.

(1789).

И такъ, съ тобою я—въ разлукѣ,
И нѣтъ надежды на возвратъ;
Но словъ твоихъ послѣднихъ звуки
Еще въ ушахъ моихъ звучатъ.

Какъ взоръ скитальца тщетно бродитъ
Въ далекой выси голубой,
Гдѣ пѣснію жавронокъ заводитъ
Незримо надъ его главой—

Такъ я тоскливо устремляю
Взоръ за холмы, за лѣсъ и лугъ,
И въ пѣсняхъ все къ тебѣ взываю:
«О, возвратись, мой милый другъ!»

Θ. Миллеръ.

ПЕРВАЯ ПОТЕРЯ.

(1789).

Кто возвратитъ мнѣ прекрасные дни,
Дни моей первой любви?
Кто возвратитъ мнѣ хоть часъ лишь одинъ,
Этой поры золотой?

Грусть моей ранѣ зажить не даетъ:
Сердце назадъ свое счастье зоветъ
Съ новой и новой тоской.

Кто возвратитъ мнѣ прекрасные дни,
Дни той поры золотой?

М. Михайловъ.

БЛИЗОСТЬ МИЛАГО.

(1795).

Съ тобою мысль моя — горятъ ли волны моря
Въ огнѣ лучей;
Луна ли кроткая, съ туманомъ ночи споря,
Сребритъ ручей.

Я вижу образъ твой, когда далеко въ полѣ
Клубится прахъ,
И въ ночь, какъ странника объемлютъ по неволѣ
Тоска и страхъ.

Я слышу голосъ твой, когда начнетъ съ роптаньемъ
Волна вставать;
Иду въ долину я, объятую молчаньемъ,
Тебѣ внимать.

О, я вездѣ съ тобой, хоть далека отъ взора!
Съ тобой вездѣ!
Ужъ солнце за горой; взойдутъ и звѣзды скоро...
О, гдѣ ты? гдѣ?

М. Михайловъ.

МОРСКАЯ ТИШЬ.

(1795).

Тишь глубокая надъ моремъ,
Неподвижно лоно водъ —
И на гладь морскую смотритъ,
Озабоченъ, мореходъ.

Хоть одно бы дуновенье
Среди мертвой тишины!
Хоть бы гдѣ въ дали безбрежной
Показался всплескъ волны!

М. Михайловъ.

СЧАСТЛИВОЕ ПЛАВАНЬЕ.

(1795).

Туманы рѣдѣютъ,
Прояснилось небо;
Эолъ разрѣшаетъ
Докучную цѣпь
Вотъ вѣтромъ пахнуло:
Пловецъ встрепенулся.
Живѣе! живѣе!
Волна разступается,
Далекое близится,
Смотрите — земля!

М. Михайловъ.

ПРОЩАНІЕ.

(1797).

Пусть мой взоръ тебѣ откроетъ,
Что въ словахъ сказать нельзя!

О, какъ тяжко сердце ноетъ,
А вѣдь, все жъ мужчина я!

Даже ласка въ часъ прощанья
Не смиритъ моей тоски:
Вѣетъ холодомъ лобзанье
И пожатіе руки.

Ахъ, какъ сладко мнѣ бывало
Поцѣлуй похитить твой!
Такъ фіалка насъ плѣняла,
Что̀ срывали мы весной!

Ужъ не стану, дорогая,
Плесть вѣнки я для тебя:
Всѣмъ цвѣтетъ весна златая,
Но — лишь осень для меня!

О. Миллеръ.

ЖАЛОБА ПАСТУХА.

(1802).

Какъ часто на горной вершинѣ
Я въ думѣ глубокой стою—
И тамъ, опираясь на посохъ,
Гляжу на долину мою.

Пасется внизу мое стадо—
Оно подъ охраной собакъ...
Потомъ я спускаюсь въ долину—
И самъ не припомню ужъ какъ.

Роскошно весь лугъ изукрашенъ
Цвѣтами прелестными тамъ—
И я ихъ въ букетъ собираю.
Не зная, кому ихъ отдамъ.

И въ дождь, и въ грозу, и въ ненастье
Сижу тамъ подъ деревомъ я;
Но дверь запертой остается...
Ахъ, это лишь сонъ для меня!

Вотъ радуга стала надъ домомъ,
Гдѣ милая сердцу жила;
Но тамъ ея нѣтъ уже болѣ:
Она въ край далекій ушла—

Въ чужбину, далеко, далеко...
Быть, можетъ, за моремъ она!
Идите жъ, овечки, идите:
Душа моя грусти полна.

О. Миллеръ.

ОБМАНЪ.

(1803).

Шелохнулась занавѣска
У сосѣдки на окнѣ:
Видно, вздумалось плутовкѣ
На окно взглянуть ко мнѣ.

Видно, хочется провѣдать,
Все ли такъ же я сердитъ,
Или ропотъ мой ревнивый
Пріутихъ, и гнѣвъ забытъ.

Ахъ, плутовка спитъ спокойно
И не грезитъ обо мнѣ:
То шалунъ играетъ вѣтеръ
Занавѣской на окнѣ.

М. Михайловъ.

НОЧНАЯ ПѢСНЬ.

(1803).

Ты спишь, мой другъ прекрасный,
Мой ангелъ красоты!
Подъ лиры звонъ согласный
Усни! Довольна ль ты?

Подъ лиры звонъ согласный
Мнѣ звѣзды съ высоты
Льютъ въ сердце пламень страстный.
Усни! Довольна ль ты?

Льютъ въ сердце пламень страстный—
И пылкія мечты
Парятъ подъ небомъ яснымъ.
Усни! Довольна ль ты?

Имъ грустно въ тверди ясной,
А въ мірѣ суеты
Ты спишь, мой другъ прекрасный.
Такъ спи! Довольна ль ты?

Ты спишь, мой другъ прекрасный,
Сквозь сонныя мечты
Не внемля пѣснѣ страстной.
Ахъ, спи! Довольна ль ты?

Н. Холодковскій.

ГОРНЫЙ ЗАМОКЪ.

(1803).

Вонъ тамъ, на вершинѣ утеса,
Развалины замка стоятъ.
Ворота его принимали
И коней, и рыцарей рядъ.

Сгорѣли ворота и башни,
Повсюду могильный покой—
И я по разрушеннымъ стѣнамъ
Взбираюсь свободной стопой.

Полны его были подвалы
Запасами винъ дорогихъ;
Но ключница ужъ перестала
Спускаться съ кувшинами въ нихъ.

И въ залѣ она предъ гостями
Не ставитъ бокаловъ вина,
И даже пону для причастья
Его не отпуститъ она.

Не дастъ ужъ слугѣ по дорогѣ
Урывкой немного глотковъ,
Не приметъ за даръ мимолетный
Его благодарности словъ...

Затѣмъ что и башни, и своды
Сгорѣли и пали давно;
Въ часовнѣ, аркадахъ и ходахъ—
Вездѣ разрушенье одно.

Но разъ, когда съ флягой и цитрой
Пошелъ я бродить между скалъ,
Въ развалинахъ стараго замка
Я милую вдругъ отыскалъ.

И чувство отрады внезапно
Моей овладѣло душой—
И ожили древнія стѣны
Въ минувшей красѣ предо мной.

Казалось, обширныя залы
Готовы принять ужъ гостей—
И вышла чета молодая
Изъ тѣхъ неизнѣженныхъ дней.

Въ часовнѣ почтенный священникъ
Къ четѣ обратился тогда:

«Согласны ли вы сочетаться?»
Мы дружно отвѣтили «да!»

И звукомъ мелодіи чудной
Глубоко сердца потрясло:
То вмѣсто толпы многолюдной
Намъ эхо привѣтъ принесло.

Спустились вечернія тѣни;
Покой воцарился кругомъ,
И солнце, садясь, озарило
Вершины прощальнымъ лучомъ.

И ключница тамъ со слугою
Опять самовластно царитъ:
Она его вновь угощаетъ,
Онъ вновь ее благодаритъ.

Ѳ. Миллеръ.

УТѢШЕНІЕ ВЪ СЛЕЗАХЪ.

(1803).

Скажи, что̀ такъ задумчивъ ты?
Все весело вокругъ.
Въ твоихъ глазахъ печали слѣдъ:
Ты, вѣрно, плакалъ, другъ?

«О чемъ грущу, то въ сердце мнѣ
Запало глубоко;
А слезы... слезы въ сладость намъ:
Отъ нихъ душѣ легко».

Къ тебѣ ласкаются друзья—
Ихъ ласки не дичись;
И что̀ бы ни утратилъ ты,
Утратой подѣлись.

«Какъ вамъ, счастливцамъ, то понять,
Что̀ понялъ я тоской?
О чемъ... Но нѣтъ; оно мое,
Хотя и не со мной».

Не унывай же, ободрись:
Еще ты въ цвѣтѣ лѣтъ.
Ищи—найдешь: отважнымъ, другъ,
Несбыточнаго нѣтъ.

«Увы, напрасныя слова!
Найдешь—сказать легко...
Мнѣ до него, какъ до звѣзды
Небесной, далеко».

На что жъ искать далекихъ звѣздъ?
Для неба ихъ краса.
Любуйся ими въ ясну ночь,
Не мысля въ небеса.

«Ахъ! я любуюсь въ ясный день—
Нѣтъ силъ и глазъ отвесть;
А ночью... ночью плакать мнѣ,
Покуда слезы есть».

В. Жуковскій.

ПОДМАСТЕРЬЕ ЮВЕЛИРА.

(1808).

Напротивъ, въ лавочкѣ, живетъ
Сосѣдка молодая.
Едва работы часъ придетъ—
Уже гляжу туда я.

Кую я перстень золотой,
Работаю, мечтая
Сковать колечки намъ съ тобой,
Малютка дорогая!

Съ утра у милой у моей
Работа есть большая:
Съ утра толпа шумитъ у ней,
Торгуясь и болтая.

Не разъ въ рукахъ ломалась тутъ
Полоска золотая,
При чемъ ворчалъ хозяинъ-плутъ,
Причину понимая.

Народъ уйдетъ, она идетъ
За прялку, припѣвая—
И знаю я, что вновь прядетъ
Сосѣдка молодая.

Прядетъ она, слегка ногой
На прялку наступая,
А на ногѣ подарокъ мой—
Подвязка шелковая.

И къ алымъ губкамъ нить порой
Подноситъ дорогая.
О, если бъ былъ я нитью той—
Прильнулъ бы къ нимъ тогда я!

Н. Холодковскій.

НАСТОЯЩЕЕ.

(1813).

Все возвѣщаетъ тебя:
Встанетъ ли ясное солнце —
Жду: за нимъ слѣдомъ и ты!

Вступишь ли въ садъ ароматный—
Роза ты лучшая въ немъ,
Лилій нѣтъ тебя краше!

Въ пляскѣ ли кружишься ты—
Вѣчныя звѣзды, блистая,
Кружатся вмѣстѣ съ тобой.

Ночь! о, скорѣе бы ночь!
Кроткаго луннаго свѣта
Сладостнѣй ты и свѣтлѣй.

Очаровательна ты—
Солнце, предметъ поклоненья
Мѣсяца, звѣздъ и цвѣтовъ!

Солнце! и мнѣ просіяй
Радостью дней благодатныхъ,
Жизни и вѣчной любви!

А. Яхонтовъ.

ПѢСНЬ СТРАННИКА ВЪ БУРЮ.

(1772).

Кого не покидаетъ геній,
Того ни ливень, ни гроза
Не могутъ страхомъ обуять:
Кого не покидаетъ геній,
На встрѣчу тучѣ грозовой,
На встрѣчу граду
Тотъ будетъ пѣть —
Подобно жаворонку въ небѣ!

Кого не покидаетъ геній —
Подниметъ огненнымъ крыломъ
Надъ илистой дорогой;
И онъ пройдетъ, какъ по цвѣтамъ,
По мутной хляби
Девкаліона,
И легкій и могучій,
Какъ самъ Пиѳійскій Аполлонъ.

Кого не покидаетъ геній —
Подстелетъ мягкое крыло,
Когда заснетъ онъ на утесѣ;
Прикроетъ крыльями любовно
Въ лѣсу, во мглѣ ночной.

Кого не покидаетъ геній —
Въ сугробѣ снѣжномъ
Согрѣетъ онъ любимца;
Къ согрѣтому слетятся Музы,
Хариты соберутся

Ко мнѣ, о Музы!
Ко мнѣ, Хариты!
Вотъ влага, вотъ земля,
Вотъ смѣсь ихъ, илъ,
Сынъ праха и воды.

И по нему я прохожу,
Богоподобный.

Вы чисты, какъ духъ чистый влаги,
Какъ сердце матери земли;
Вокругъ меня парите вы,
А я иду по влагѣ и землѣ,
Богоподобный!

Вонъ тамъ идетъ,
Весь черный, малорослый,
Но смѣлый поселянинъ...
Вернется-ль онъ пугливо вспять,
Онъ, подкрѣпленный лишь тобою,
Твоимъ огнемъ согрѣтый, Вакхъ?
Онъ не вернется!
А я, съ кѣмъ Музы и Хариты,
Кому обѣщано все то,
Чѣмъ Граціи и Музы
Избранниковъ счастливятъ и вѣнчаютъ —
Мнѣ ль возвратиться въ страхѣ?

О, Вакхъ! Ты геній,
Ты геній вѣка,
Ты нынѣ то, что̀ для Пиндàра
Былъ внутренній огонь;
Ты нынѣ то, что̀ для вселенной —
Фебъ-Аполлонъ.

Нѣтъ, нѣтъ! Ты, внутренній огонь,
Огонь души и сердца,
Пылай на встрѣчу Фебу-Аполлону!
Иль отвернется отъ тебя
Владыки мощный взоръ
И обратится съ завистью невольной
На кедръ могучій,
Который зрѣетъ и ростетъ
Одинъ, своею внутренней силой.

Но отчего же послѣ всѣхъ
Я вспоминаю
О томъ, съ кого я началъ
И кѣмъ я кончу?
Кто вызвалъ эту пѣснь —
Зевсъ, богъ дождя и грозъ?
Тобой, тобой течетъ вся эта пѣснь!
Кастальскій же ручей струится тихо
Для тѣхъ, кто праздны,
Кто въ тихомъ счастьи
Далекъ отъ бога грозъ и бури,

Которымъ я проникнутъ и объятъ!
Ты, Зевсъ, не посѣщалъ
Сидящаго подъ тѣнью вяза,
Въ вѣнкѣ изъ розъ
И съ парой нѣжныхъ голубковъ,
Лепечущаго сладко
Анакреона!

Въ лѣсу изъ тополей,
На брегѣ Сибариса,
На освѣщенной яркимъ солнцемъ
Горѣ, не посѣщалъ ты, Зевсъ,
Пѣвца цвѣтовъ, чьи рѣчи слаще меда,
Манящаго къ себѣ,
Счастливца Феокрита!

Но ты, Пиндаръ,
Когда гремѣли колесницы,
Мчась быстро къ цѣли,
И громко хлопали бичи
Стремящихся, пылая,
Къ побѣдѣ, юношей-возницъ,
И пыль крутилась, какъ песокъ, съ горы
Сметаемый могучимъ вихремъ —
Ты мужествомъ горѣлъ
Въ виду опасностей суровыхъ!
Ты мужествомъ горѣлъ... А я?
О, силы неба,
Пошлите мнѣ, усталому въ пути,
Лишь мужества настолько, чтобъ добраться
До хижины моей!

Н. Холодковскій.

ПѢСНЯ МАГОМЕТА.

(1773).

Взгляните на горный источникъ:
Онъ свѣтится, блещетъ во мракѣ,
Расплавленный, будто кристаллъ.
Земля, благотворная сила,
Живыми сосцами вспоила
Его межъ утесовъ и скалъ.

Въ высотѣ, у тучи,
Силы набрался
И, какъ вихрь летучій,
Въ бездну сорвался.

Вотъ, сгибаясь межъ разсѣлинъ,
Онъ играетъ и журчитъ:

То пробьется стороною
И сочится, то молчитъ,
Словно звѣрь оторопѣлый.
«Сгибнешь, дерзкій!» Что за дѣло!
Вѣтеръ свищетъ, боръ шумитъ.

Братья вслѣдъ; онъ выростаетъ,
Онъ дохнетъ—и оживаетъ
Помертвѣлая земля:
Зноемъ выжжена она.

Онъ плыветъ, долина рдѣетъ,
Лугъ смѣется и, пестрѣя,
Рой цвѣтовъ ему вослѣдъ:
«Отдохни, останься съ вами!»
Но ему покоя нѣтъ;
Онъ усталости не знаетъ,
На равнину выплываетъ
Серебристой головой,
Зміевидно извиваясь
Между терномъ и травой

«Братъ и другъ!» Къ нему въ объятья
Брагья и друзья бѣгутъ;
Заодно и жизнь, и силу
Полной грудью отдаютъ.
«Всѣ за мною!» Вотъ онъ выросъ
И торжественъ, и могучъ!

Люди въ радости ликуютъ;
Нива вешняя тучна,
И стопу его цѣлуютъ
Пашни, села, города.

И плыветъ, неукротимый,
Онъ все дальше, все впередъ;
Вотъ ужъ близко, вотъ онъ слышитъ —
Океанъ его зоветъ.

Путь оконченъ—и въ объятьяхъ
Сѣдовласаго отца,
Старца вѣчно-молодого,
Вѣчной жизнью онъ живетъ.

А. Струговщиковъ.

ОРЕЛЪ И ГОЛУБКА.

(1773).

Съ утеса молодой орелъ
Пустился на добычу;

Стрѣлокъ пронзилъ ему крыло —
И съ высоты упалъ
Онъ въ масличную рощу.
Тамъ онъ томился
Три долгихъ дня,
Три долгихъ ночи
И содрогался
Отъ боли; наконецъ
Былъ исцѣленъ
Живительнымъ бальзамомъ
Всеисцѣляющей природы.

Влекомый хищничествомъ смѣлымъ,
Пріютъ покинулъ свой:
Онъ хочетъ крылья испытать.
Увы, они едва
Его подъемлютъ отъ земли—
И онъ, въ унынiи глубокомъ,
Садится отдохнуть
На камнѣ у ручья.
Онъ смотритъ на вершину дуба,
На солнце, на далекiй
Небесный сводъ —
И въ пламенныхъ его глазахъ
Сверкаютъ слезы.

По близости, между оливъ,
Крылами тихо вѣя,
Летали голубь и голубка.
Они къ ручью спустились
И тамъ по золотому
Песку гуляли вмѣстѣ.
Водя кругомъ
Пурпурными глазами,
Голубка наконецъ
Примѣтила сидящаго въ безмолвномъ
Унынiи орла.
Она товарища тихонько
Крыломъ толкнула;
Потомъ, съ участiемъ сердечнымъ
Взглянувши на страдальца,
Ему сказала:

«Ты унываешь, другъ!
О чемъ же? Оглянись, не все ли,
Что намъ для счастья
Простого нужно,
Ты здѣсь имѣешь?
Не дышатъ ли вокругъ тебя

Благоуханіемъ оливы?
Не защищаютъ ли зеленой
Прозрачной сѣнію своей
Онѣ тебя отъ зноя?
И не прекрасно ль блещетъ
Здѣсь вечеръ золотой
На муравѣ и на игривыхъ
Струяхъ ручья?
Ты здѣсь гуляешь по цвѣтамъ,
Покрытымъ свѣжею росою;
Ты можешь пищу
Сбирать съ кустовъ и жажду
Въ струяхъ студеныхъ утолять.
О, другъ, повѣрь,
Умѣренность—прямое счастье!
Съ умѣренностью мы
Вездѣ и всѣмъ довольны».

— «О, мудрость!» прошепталъ орелъ,
Въ себя сурово погрузившись:
«Ты разсуждаешь, какъ голубка».

В. Жуковскій.

ДЯДѢ КРОНОСУ.

(1774).

Ну, скорѣй, Кроносъ,
Шумною рысью все впередъ!
Внизъ по горѣ все дорога.
Что жъ?... Голова у меня
Съ тихой ѣзды закружилась.
Живо, хоть тряско, впередъ
Рысью по камнямъ и кочкамъ
Въ жизнь поскорѣй выѣзжай!

Ну! Ужъ опять ты
Шагомъ несноснымъ съ трудомъ
Въ гору поѣхалъ, лѣнивый!
Ну же, проснись—и пошелъ
Къ верху, стремясь и надѣясь!

Чудно, широко раскрылась
Жизнь передъ взоромъ моимъ.
Вдаль, внизъ и вверхъ черезъ горы
Вѣчный проносится духъ
Съ предчувствіемъ вѣчныя жизни.

Въ сторону манитъ тебя
Тѣнь подъ навѣсомъ;

Манитъ живительный взоръ
Дѣвы, что̀ тутъ у порога.
Здѣсь наслаждайся И мнѣ,
Дѣва,—шипящій напитокъ!
Мнѣ—жизни исполненный взоръ!

Внизъ поскорѣе поѣдемъ—
Солнце садится, смотри!
Ѣдемъ, пока меня, старца,
Холодъ не обдалъ болотъ,
Кости дрожать не заставилъ,
Зубы объ зубы стучать.

Ты меня свѣтомъ послѣднимъ
Дня упоеннымъ—вези;
Море огня передъ взоромъ
Мутнымъ моимъ ты разлей—
Пусть ослѣпленный доѣду
Къ Тартара мрачнымъ вратамъ.

Дядя! Труби же ты въ рогъ свой,
Громкую рысь протруби,
Оркусъ чтобъ слышалъ: мы ѣдемъ.
Тотчасъ у двери бы насъ
Принялъ радушный хозяинъ.

Н. О.

ПАРКЪ ЛИЛИ.

(1775).

Обойдите всѣ страны земли—
Не найдете звѣринца, какой есть у Лили!
Ловитъ она туда чуднѣйшихъ звѣрей—
Богъ ее знаетъ, какъ удается ей.
Ахъ, какъ они бѣгаютъ, прыгаютъ, топаютъ,
Подрѣзанными крыльями хлопаютъ!
Всяческія выдѣлываютъ штуки
Отъ неугасимой любовной муки...

Какъ звать фею? Лили. Не разспрашивайте много:
Коль не знаете ее, благодарите Бога!

Что̀ за шумъ, что̀ за гвалтъ межъ звѣрей,
Чуть она появится у дверей
Съ корзинкою корма въ рукахъ!
Что̀ за крики, что̀ за писки, что̀ за визги—страхъ!
Точно оживутъ деревья, кусты по дорожкамъ,
И падаютъ животныя къ ея ножкамъ.
Изъ бассейна даже выплываютъ рыбки...

А она, улыбаясь (отъ такой улыбки
Могутъ сойти съ ума даже боги,
Не то что какіе-нибудь четвероногіе) —
Она бросаетъ кормъ налѣво, направо...
И тутъ-то начинаетъ вся орава,
Всѣ эти клювы, и рты, и пасти
Жевать, клевать, рвать на части.
Другъ черезъ друга они кидаются
И дерутся, и грызутся, и кусаются,
И все это вѣдь ради получки
Хлѣба кусочка, сухого хлѣба,
Но сладкаго для нихъ изъ такой ручки,
Точно въ нектаръ его погружала Геба...

Ну, да и взглядъ у ней! Ну, да и тонъ!
Самъ Зевсовъ орелъ покинулъ бы тронъ.
Чтобъ явиться на этакій зовъ.
И Венерина чета голубковъ,
Даже павлинъ величаво-надутый —
Клянуся—не теряя минуты,
Летѣли бъ сюда,
Заслышавъ этотъ тонъ, господа!...

Вотъ такъ и медвѣдя изъ темнаго лѣса —
Неотесаннаго, дикаго балбеса—
Выманила она по своему желанію
И посадила въ прирученную компанію,
И сталъ онъ ручнымъ, какъ прочіе звѣри—
Само собою разумѣется, въ извѣстной мѣрѣ.
Какъ хороша была она, ахъ!
И доброты-то сколько въ глазахъ!...
Всю кровь свою радъ бы я отдать,
Чтобъ въ саду у нея цвѣты поливать...

«Что сказали вы? *Я?* Какъ же это?....» — Ну, да,
Что скрываться? Медвѣдь—это я, господа.
Поймала она меня въ тоненькую сѣтку,
На шнуркѣ шелковомъ привела въ свою клѣтку...
Но *какъ* случилась эта бѣда моя —
Въ другое время разскажу вамъ я.
Сегодня слишкомъ взбѣшенъ для того ..

Это ужасно! Изъ угла моего
Слышу я вдали шумъ, гоготанье,
Вижу во всѣ стороны метанье.
И бѣжать оттуда хочу —
И ворчу...
Пробѣжалъ я частичку дороги—
Нѣтъ, тянутъ назадъ ноги! ..

Не послушаюсь, не хочу...
И опять ворчу,
И бѣгу дальше опять—
А въ концѣ концовъ все вернулся вспять!...

Но тутъ бѣшенство овладѣваетъ мною...
Изъ ноздрей дикая сила валитъ волною.
Звѣриная натура беретъ свое..
Эхъ, ты, дурачье, дурачье!
Какой ты звѣрь! Жалкій ты зайченокъ,
Бѣлочка въ колесѣ, слабенькій цыпленокъ...
Храбро ерошу я свою щетину,
Непривычную служить никакому господину;
Но каждое щегольское деревцо
Смѣется мнѣ здѣсь прямо въ лицо —
И бѣгу я съ цвѣточной роскошной грядки,
Бѣгу въ темные кусты безъ оглядки;
Пытаюсь перелѣзть черезъ заборъ,
Выпрыгнуть скорѣе на просторъ..
Ахъ, ни лазить, ни прыгать нѣтъ силы,
Точно окаменѣли всѣ жилы!
Какія-то чары тянутъ книзу меня.
Какія-то чары держатъ на мѣстѣ, дразня...
Вновь спускаюсь на землю еле-еле,
Со смертью въ душѣ, со смертью въ тѣлѣ.
Горько плачу, съ рыданіемъ жвачку жую,
Лежа тамъ, гдѣ игривые плещутъ каскады,
И фарфорныя лишь Ореады
Слышатъ скорбную повѣсть мою...

Но вдругъ—у меня по всѣмъ членамъ
Дрожь пробѣжала... И въ чувствѣ блаженномъ
Я замеръ... Да, это она, она,
Въ бесѣдкѣ своей .. Мнѣ слышна
Вновь ея пѣсня .. Въ голосѣ чудесномъ
Колдовство: стало жарче въ воздухѣ окрестномъ,
Все благоухаетъ слаще и сильнѣй...
Для чего запѣла? Хочется ли ей,
Чтобы я услышалъ?... Бѣгу во всѣ ноги,
Ломаю, топчу все по дорогѣ,
Сторонятся деревья, пятятся кусты,
И вотъ—лежитъ звѣрь у ногъ красоты...

Глядитъ ова. «Вотъ-то чудище! Но смѣшной!»...
И съ любопытствомъ занялася мной.
«Для лѣсного медвѣдя слишкомъ кротокъ ужъ,
Для пуделя слишкомъ неуклюжъ...
Жирный какой, мохнатый.
Щетинистый, узловатый!»...

Гладитъ она его ножкой по спинѣ —
Мнится ему, что онъ въ райской странѣ;
Заходили въ немъ всѣ чувства и души, и тѣла —
А ей до того никакого дѣла...
Цѣлую я ея башмачки,
Жую я у нихъ каблучки.
Настолько прилично и осторожно,
Насколько это медвѣдю возможно.
Тихонечко послѣ приподымусь
И къ колѣнямъ ся чуть слышно прижмусь...
Когда ей самой пріятна забава эта.
Въ вольностяхъ такихъ нѣтъ мнѣ запрета.
Ласково у меня за ухомъ чешетъ,
Или пинкомъ дружелюбнымъ потѣшитъ —
И я мурлыкаю тронутый весь, умиленный,
Точно въ блаженствѣ новорожденный...
Или командовать мнѣ, какъ собачкѣ, начнетъ:
«Allons tout doux! eh, la menotte!
Et faites serviteur
Comme un joli seigneur!»

Такъ она шутитъ, смѣется легко и пріятно—
Дуракъ же, котораго тысячекратно
Надували, дерзаетъ вновь надежду питать...
Но вздумай-ка онъ чуть-чуть перестать
Быть ей полезнымъ на всякое дѣло —
Сейчасъ его снова въ черное тѣло...

Есть однако у ней одинъ огонь-бальзамъ—
Весь медъ земной я за него отдамъ —
И капельку его по временамъ она,
Когда ужъ черезчуръ я стражду,
Любовью, вѣрностью моей размягчена,
На губы «чудища», чтобъ облегчить ихъ жажду,
Спускаетъ съ своего мизинчика—и вновь
Бѣжитъ, оставивши мою любовь
Наединѣ со мной самимъ...
И я тогда, тоской тревожною томимъ,
Не на цѣпи, но скованъ крѣпко, больно,
Всюду слѣдомъ за ней тащусь невольно,
Ищу, и мучусь.. убѣгаю снова...
А она-то на бѣднаго, на больного
И не взглянетъ: все ей равно—
Радостно ль его сердцу, въ крови ли оно!
Порой еще полураскроетъ насмѣшливо дверь
И смотритъ: не хочетъ ли тягу дать звѣрь?...

А я!... О, боги! Если въ вашей власти
Разбить эти чары роковой страсти,

Вѣчно славить и чествовать буду васъ я
За то, что вернется свобода моя.
Но коль не рушите и вы тюремныя стѣны—
О, не напрасно порой расправляю я члены:
Я чую—клянусь!—да, я чую въ душевной своей глубинѣ—
Есть еще сила во мнѣ!..

П. Вейнбергъ.

ПЛАВАНІЕ.

(1776).

Мой корабль стоялъ и дни, и ночи:
Съ нетерпѣньемъ, съ пылкою душою,
Ждалъ я вѣтра въ гавани уютной,
Межъ друзьями.

И друзья томились нетерпѣньемъ:
«Если бъ, милый, ты скорѣй помчался,
Чудный путь свершилъ бы поскорѣе!
Въ дальнемъ мірѣ ждетъ тебя блаженство,
А вернешься — славой и любовью
Встрѣченъ будешь!

Рано утромъ все затрепетало:
Будятъ насъ веселые матросы;
Все проснулось, и кипитъ работа,
Чтобы въ путь помчаться съ тихимъ вѣтромъ.
Тихимъ вѣтромъ паруса надулись;
Яркимъ свѣтомъ солнце ихъ ласкаетъ;
Мчится парусъ; тучки въ небѣ мчатся,
А друзья на берегу веселомъ
Мнѣ поютъ, ликуя, пѣснь желаній
И надежды, что весь путь мой будетъ
Также веселъ, какъ отплытья утро
И его предшественницы — ночи.

Но, по волѣ Бога измѣняясь,
Вѣтръ отъ цѣли путника относитъ;
Волѣ вѣтра будто покоряясь,
Онъ плыветъ, искусно лавируя,
Вѣрный цѣли и въ пути невѣрномъ.

Но изъ мрачной и туманной дали
Злая буря грозно налетаетъ.
Бьются птицы, рѣя надъ водою;
Бьется въ страхѣ сердце человѣка.
Предъ порывомъ бури безпощадной
Мудрый кормчій паруса спускаетъ—
И играютъ утлою ладьею
Вихрь и волны.

А друзья на берегу трепещутъ
И печалью мрачною томятся:
«Ахъ, зачѣмъ онъ съ нами не остался!
Буря мчится! всѣ мечты погибли!
Горе намъ! Ужели онъ потонетъ?
Горе намъ! Погибъ онъ! Боги, боги!»

Но стоитъ онъ у кормила твердо.
Кораблемъ играйте, вихрь и волны!
Вихрь и волны смѣлымъ не играютъ:
И въ крушеньи, и въ спасеньи сладкомъ
Бодро онъ богамъ своимъ ввѣряетъ
Жизнь и счастье.

Н. Холодковскій.

ЗИМНЯЯ ПОѢЗДКА НА ГАРЦЪ.

(1777).

Какъ соколъ въ небѣ
Надъ тучкой утренней паритъ,
Покоясь на крылахъ могучихъ.
Ища добычи зоркимъ глазомъ—
Такъ воспари, о пѣснь моя!

Вѣчный творецъ указалъ
Каждому смертному путь.
Быстро счастливый
Къ радостной цѣли стремится;
Тотъ же, чье сердце несчастьемъ
Тягостнымъ сковано—
Борется вѣчно безплодно;
Хода вовѣкъ не измѣнитъ онъ
Жизненной нити своей:
Парка одна безпощадно
Нить разорветъ.

Въ тѣнистой чащѣ
Таиться любитъ звѣрь лѣсной,
А журавли и цапли
Въ своемъ болотѣ
Селятся и живутъ.

Легко за Фортуной итти,
Вослѣдъ за ся колесницей,
Какъ свитѣ придворныхъ легко
По гладкой дорогѣ
За поѣздомъ царскимъ спѣшить.

Но кто въ сторонѣ
Отсталъ, заблудившися въ чащѣ?

Кусты по лицу его бьютъ,
Трава ему путаетъ ноги —
Ему не пройти!

Увы, кто излѣчитъ отъ скорби
Того, кому жизни цѣлебный бальзамъ
Сталъ ядомъ ужаснымъ,
Кто ненависть къ людямъ
Изъ вѣчной любви почерпнулъ?
Онъ презрѣнъ былъ прежде, теперь презираетъ
Другихъ—и навѣкъ безысходно погрязъ
Въ своемъ себялюбьи.

Отецъ всемогущей любви!
Коль есть на псалтыри твоей
Звукъ нѣжной любви, его уху понятный—
Смягчи его душу;
Открой помраченному взору
Милльоны источниковъ свѣтлыхъ,
Которыхъ онъ ищетъ,
Въ пустынѣ томясь!

Радость ты всѣмъ посылаешь
Щедрой рукою;
Дай же въ охотѣ успѣхъ
Юношамъ, смѣло идущимъ
Хищному звѣрю вослѣдъ,
Съ юной отвагою,
Местью пылая
Къ чудищу злому, съ которымъ
Цѣлые годы
Борется тщетно крестьянинъ.

Но одинокаго ты окружи
Тучей своей золотой,
И, въ ожиданіи розы весенней,
Зимнею вѣткой увядшей укрась, о любовь,
Влажныя кудри,
Кудри поэта, пѣвца твоего!
Мерцающій факель
Несешь ты предъ нимъ
И свѣтишь во мракѣ ночномъ
Въ пустынной равнинѣ,
Ему освѣщая дорогу и бродъ —
И розовой, пышно прекрасной зарею
Ты сердцу его улыбаешься часто,
И бѣшеной бурей
Возносишь его.

И зимній потокъ, со скалы низвергаясь,
Грохочетъ въ его вдохновенныхъ псалмахъ —
И ставитъ тебѣ онъ алтарь благодарный
На снѣжной вершинѣ горы.
Холодную эту вершину,
Какъ духовъ жилище,
Издревле въ преданьяхъ вѣнчаетъ народъ.

Стоишь ты, Гарцъ, съ своей могучей грудью,
Таинственный и всѣмъ открытый!
Предъ удивленнымъ міромъ,
Глядишь изъ облаковъ
На славу царствъ земныхъ
И орошаешь ихъ обильно
Живой струей своихъ могучихъ горъ.

Н. Холодковскій.

ГАНИМЕДЪ.

(1778).

Весна, моя милая, какъ озаряешь
Меня ты зарею своей предразсвѣтной!
Съ блаженствомъ любви ты мнѣ въ душу вливаешь
Священное чувство твоей теплоты,
Краса безконечная!
О, если бы могъ я обнять
Рукою моею тебя!
И вотъ я къ груди твоей, зломъ истомленный,
Приникъ — и мнѣ въ сердце тѣснятся
Твоя мурава и цвѣты.
Палящую жажду въ груди
Развѣялъ зефиръ предразсвѣтный;
Изъ мрака туманной долины
Звучитъ мнѣ любовная пѣснь соловья...
Блаженный, иду я! Но только куда же, куда?
На небо, въ святую отчизну мою!
Эѳирное облако долу несется,
Чтобъ пасть на любящую душу мою!
Сюда! Я на крыльяхъ твоихъ вознесусь!
Въ объятьяхъ твоихъ я на небо умчусь,
Въ твое безконечно-любящее лоно,
Мой вѣчный Отецъ!

А. Кронебергъ.

ПѢСНЬ ДУХОВЪ НАДЪ ВОДАМИ.

(1779).

Душа человѣка
Подобна водѣ:

Деревъ сѣнолиственныхъ;
То въ сумракѣ вечера,
Когда златорогая
Луна изъ-за облака
Надъ рощею выглянетъ
И, слившн дрожащій лучъ
Съ вечерними тѣнями,
Одѣнетъ и лѣсъ, и долъ
Туманнымъ сіяніемъ, —
Играетъ съ наядами
По гладкой поверхности
Потока дубравнаго
И, струекъ съ журчаніемъ
Мѣшая гармонію
Волшебнаго шопота,
Наводитъ задумчивость,
Дремоту и легкій сонъ,
Иль быстро съ зефирами
По дремлющимъ лиліямъ,
Гвоздикамъ узорчатымъ
Фіалкамъ и ландышамъ
Порхая, питается
Душистымъ дыханіемъ
Цвѣтовъ, ожемчуженныхъ
Росинками свѣтлыми;
Иль съ сонмами геніевъ,
Воздушною цѣпію
Віясь, развиваяся,
Въ мерцаніи мѣсяца,
Невидима-видима,
По облакамъ носится
И, къ рощѣ спустившися,
Играетъ листочками
Осины трепещущей.
Прославимъ Создателя,
Могущаго, древняго
Зевеса, пославшаго
Намъ Радость-Фантазію!
Въ сей жизни, гдѣ радости
Прямыя — лучъ молніи,
Онъ далъ намъ въ ней счастіе,
Всегда неизмѣнное,
Супругу веселую,
Красой вѣчно-юную,
Цвѣтокъ разнолиственный,
Душистый, не вянущій,
И съ нею насъ цѣпію
Сопрягъ нераздѣльною.
«Да будешь», сказалъ онъ ей,

«И въ счастьѣ, и въ горести
Имъ вѣрная спутница,
Утѣха, прибѣжище!»
Другія творенія
Цибелы, обильныя
Дарами и жизнію,
Съ очами незрящими,
Въ слѣпыхъ наслажденіяхъ,
Съ печалями смутными,
Гнетомыя бременемъ
Нужды непреклонныя,
Начавшись, кончаются
Въ кругу, ограниченномъ,
Чертой настоящаго,
Минутною жизнію;
Но мы, отличенные
Зевесовой благостью...
Онъ далъ намъ сопутницу,
Игривую, нѣжную,
Летунью, искусницу
На милые вымыслы,
Причудницу рѣзвую,
Любимую дщерь свою —
Богиню-Фантазію.
Ласкайте прелестную!
Кажите вниманіе
Ко всѣмъ ея прихотямъ,
Невиннымъ, младенческимъ!
Пускай почитается
Надъ вами владычицей
И дома хозяйкою!
Чтобъ вотчиму старому,
Брюзгливцу суровому,
Разсудку не вздумалось
Ее переучивать,
Пугать укоризнами
И мучить уроками.
Я знаю сестру ея
Степенную, тихую...
Мой другъ утѣшительный,
Тогда лишь простись со мной,
Когда изъ очей моихъ
Лучъ жизни сокроется;
Тогда лишь покинь меня,
Причина всѣхъ добрыхъ дѣлъ,
Источникъ великаго,
Намъ твердость и мужество
И силу дающая,
Надежда отрадная!

В. Жуковскій.

ГРАНИЦЫ ЧЕЛОВѢЧЕСТВА.

(1780).

Когда предвѣчный,
Святой отецъ
Спокойной рукою
Изъ клубящихся тучъ
Благодатныя молніи
Сыплетъ на землю,
Я лобызаю
Края одеждъ его
Съ младенческимъ трепетомъ
Въ вѣрной груди.
И гдѣ жъ человѣку
Тягаться съ богами!
Поднимется ль въ высь,
Досягнетъ ли
До звѣздъ головой,
Негдѣ ему опереться
Стопою певѣрной —
И имъ играютъ
Вѣтры и тучи.
Стоитъ ли твердой,
Сильной ногою
На крѣпкозданной,
Прочной землѣ,
Ему не подняться,
Даже чтобъ съ дубомъ
Или съ лозой виноградной
Сравняться.
Что отличаетъ
Боговъ отъ людей?
Безъ счета волны
Бѣгутъ предъ ними
Вѣчнымъ потокомъ;
А насъ одна
Волна подниметъ,
Одна потопитъ.
Въ маломъ звенѣ
Жизнь наша замкнута;
Много поколѣній
Примыкаютъ прочно
Къ безконечной цѣпи
Ихъ бытія.

М. Михайловъ.

ЛИДѢ.

(1781).

Лида, кого полюбить одного лишь могло твое сердце,
Хочешь присвоить себѣ ты вполнѣ и по праву!
Но онъ и такъ твой вполнѣ, нераздѣльно и свято!
Милая, знай: мнѣ вдали отъ тебя все движенье
Шумное быстростремительной жизни
Кажется легкой тафтой, сквозь которую я
Вижу твой ликъ непрестанно—и свѣтитъ
Мнѣ онъ, привѣтливо-вѣрный, какъ вѣчныя звѣзды,
Ярко горящія радужнымъ блескомъ изъ мрака.

Н. Гербель.

НОЧНЫЯ МЫСЛИ.

(1781).

Жаль мнѣ васъ, несчастливыя звѣзды!
Вы прекрасны, свѣтите привѣтно
Мореходцу на пути далекомъ,
Безвозмездно отъ боговъ и смертныхъ:
Никогда любви вы не знавали!
Вашъ удѣлъ — вовѣки непрерывно
Странствовать въ эѳирѣ безпредѣльномъ.
О, какой вы путь уже свершили!
Между тѣмъ, какъ я, въ объятьяхъ милой,
Васъ и полночь часто забываю!

Ѳ. Миллеръ.

КУБОКЪ.

(1781).

Полный кубокъ съ чудною рѣзьбою
Я держалъ обѣими руками —
И вино сладчайшее пилъ жадно,
Чтобы съ нимъ пропить печаль и злобу.

Тутъ вошелъ ко мнѣ Амуръ — и, глядя
На меня, онъ скромно улыбнулся,
О глупцѣ какъ будто сожалѣя:

«Другъ, сосудъ я знаю покрасивѣй;
Душу всю вложить въ него не жалко.
Что ты дашь, коли его тебѣ я
Поднесу, иной туда вливъ нектаръ?»

Мило какъ сдержалъ онъ слово, Лида,
Давъ тебя, съ твоей любовью кроткой,
Мнѣ, по ней томившемуся долго!

Каждый разъ, какъ дорогое тѣло
Я сожму въ объятьяхъ, или съ губокъ
Пью бальзамъ любви несокрушимой —
Я шепчу душѣ моей съ блаженствомъ:

«Нѣтъ, изъ всѣхъ боговъ однимъ Амуромъ
Созданъ былъ такой сосудъ чудесный,
И Амуръ одинъ владѣлъ имъ въ небѣ!
Формъ такихъ не выковать Вулкану
Молоткомъ талантливымъ и умнымъ!
Пусть Ліей межъ фавнами своими
Поручи́тъ старѣйшимъ и умнѣйшимъ
Выжимать ва высотахъ тѣнистыхъ
Соки всѣ изъ самыхъ лучшихъ гроздьевъ;
Пусть за ихъ таинственнымъ броженьемъ
Онъ и самъ усердно наблюдаетъ —
Не добыть ему питья такого!...»

П. Вейнбергъ.

БОЖЕСТВЕННОЕ.

(1782).

Правъ будь, человѣкъ,
Милостивъ и добръ:
Тѣмъ лишь однимъ
Отличаемъ онъ
Отъ всѣхъ существъ,
Намъ извѣстныхъ.

Слава неизвѣстнымъ,
Высшимъ, съ нами
Сходнымъ существамъ!
Его примѣръ насъ
Вѣрить имъ учитъ.

Безразлична
Природа-мать.
Равно свѣтитъ солнце
На зло и благо,
И для злодѣевъ
Блещутъ, какъ для лучшаго,
Мѣсяцъ и звѣзды.

Вѣтръ и потоки,
Громы и градъ,
Путь совершая,
Съ собой мимоходомъ
Равнò уносятъ
То и другое.

И счастье, такъ
Скитаясь по̀ міру,
Осѣнитъ — то мальчика
Невинность кудрявую,
То плѣшивый
Преступленья черепъ.

По вѣчнымъ, мѣднымъ,
Великимъ законамъ,
Всѣ бытія мы
Должны невольно
Круги совершать.
Человѣкъ одинъ
Можетъ невозможное:
Онъ различаетъ,
Судитъ и рядитъ,
Онъ лишь минутѣ
Сообщаетъ вѣчность.

Смѣетъ лишь онъ
Добро наградить
И зло покарать,
Цѣлить и спасать
Все заблудшее, падшее
Къ пользѣ сводить.

И мы безсмертнымъ
Творимъ поклоненье,
Какъ будто людямъ,
Какъ въ большомъ творившимъ.
Что̀ въ маломъ лучшій
Творитъ или можетъ творить.

Будь же правъ, человѣкъ,
Милостивъ и добръ!
Создавай безъ отдыха
Нужное, правое!
Будь намъ прообразомъ
Провидимыхъ нами существъ!

А. Григорьевъ.

КЪ НЕПРЕКЛОННОЙ.

(1788).

Ты видишь померанецъ?
На деревѣ виситъ онъ,
Хоть мартъ уже прошелъ
И новый цвѣтъ на вѣткахъ.

У дерева я стану
И молвлю: «Померанецъ,
Ты, спѣлый померанецъ,
Ты, сладкій померанецъ!
Тебя трясу я — слушай:
Пади ко мнѣ на грудь!»

О. Миллеръ.

ПОСѢЩЕНІЕ.

(1788).

Подхожу къ дверямъ моей я милой —
И ихъ крѣпко запертыми вижу;
Но что въ этомъ! Ключъ въ моемъ карманѣ —
И я тихо двери отворяю.

Но, вошедши, не нашелъ я милой
Ни въ знакомой залѣ, ни въ гостиной,
И, лишь въ третью комнату вступивши,
Нераздѣтой я ее увидѣлъ
Тихимъ сномъ уснувшей на диванѣ.

Въ молодыхъ рукахъ ея вязанье
Мирно, вмѣстѣ съ спицами, лежало.
Я присѣлъ къ ней и, любуясь ею,
Разбудить ли, нѣтъ ли — началъ думать.

Я глядѣлъ на свѣтлый обликъ милой
И не могъ довольно наглядѣться:
На устахъ ея царила вѣрность,
На щекахъ — любовь къ родному крову,
А невинность сердца молодого
Въ глубинѣ груди ея таилась.

Умащенъ божественнымъ бальзамомъ,
Каждый членъ лежалъ непринужденно,
А рука, источникъ ласкъ волшебныхъ,
Опустясь, покоилась невинно
На колѣняхъ съ начатой работой.

«О, мой другъ!» подумалъ я: «что, если
Отъ меня скрываемую тайну
Обнаружишь вздохомъ ты иль словомъ
И себѣ, забывшися, измѣнишь?»

Взоръ смежонъ твой — не горитъ онъ болѣ;
Нѣтъ огня, сжигавшаго мнѣ сердце,
Только губки тихо шевелятся,
Вспоминая сладость поцѣлуевъ;
Нѣтъ движенья въ сомкнутыхъ объятьяхъ,

Горячо меня такъ обнимавшихъ,
И рука, сопутница-шалунья
Чудныхъ ласкъ, покоится невинно.

Такъ глядѣлъ я на нее — и сердцемъ
Ликовалъ, въ груди моей стучавшимъ;
Но она такъ нравилась мнѣ спящей,
Что ее будить я не рѣшился.

Положивъ два спѣлыхъ померанца
И двѣ розы пышныя на столикъ,
Я изъ дому тихо удалился.

И проснется милая и взглянетъ —
И увидитъ пестрый мой подарокъ,
И, дивяся, спроситъ, какъ попалъ онъ
Къ ней, сюда, сквозь запертыя двери?

Но съ зарей мы съ ней сойдемся снова —
И она вознаградитъ сторицей
Горечь жертвы, мною принесенной

Н. Гербель.

УТРЕННІЯ ЖАЛОБЫ.

(1788).

О, ты злая, милая красотка!
Чѣмъ, скажи, я могъ тебя обидѣть,
Что мое ты сердце такъ терзаешь,
Данное мнѣ слово забываешь?
Не вчера ль еще при разставаньи,
Руку мнѣ пожавъ, ты прошептала:
«Жди меня, приду къ тебѣ подъ утро,
Непремѣнно, другъ мой, непремѣнно!»
И дверей нарочно я не заперъ,
Притворилъ ихъ только, даже петли
Испыталъ я прежде — не скрипятъ ли.
Что̀ за ночь провелъ я въ ожиданьѣ!
Я считалъ минуты съ нетерпѣньемъ.
На одно мгновенье забываясь,
Снова я тревожно просыпался.
Разбуженный сердцемъ безпокойнымъ.
Какъ тогда благословлялъ я тѣни,
Что̀ повсюду тихо воцарялись!
Какъ я радъ былъ тишинѣ вечерней,
Какъ я ждалъ, прислушиваясь чутко —
Не услышу ль шума за стѣною!
«Если бъ въ ней такія жъ были чувства,
Какъ во мнѣ, такія жъ были мысли,

Не дождалась бы она разсвѣта —
Нѣтъ! она теперь ко мнѣ пришла бы».
Пробѣжитъ ли кошка по карнизу,
Заскребетъ ли мышь подъ половицей
Или въ домѣ что́ пошевелится —
Все твоя мнѣ чудится походка,
Все твои шаги мнѣ отдаются.
Такъ лежалъ я долго, очень долго...
Вотъ и день ужъ ясный разгорѣлся,
Вотъ и тутъ, и тамъ все зашумѣло.
Я привсталъ съ постели одинокой,
Сѣлъ на ней и, въ думу погруженный,
Все смотрѣлъ на двери, ожидая,
Что онѣ отворятся, но—тщетно!
Неподвижно обѣ половины
На послушныхъ петляхъ отдыхали.
Все свѣтлѣе утро становилось;
У сосѣда скрипнула калитка —
И поденщикъ вышелъ на работу;
Стукъ ко мнѣ по улицѣ раздался;
Отперли ворота городскія —
И народа шумною толпою
Рынокъ весь въ минуту оживился.
Въ домѣ все проснулось, заходило
Вверхъ и внизъ по лѣстницамъ, и двери
На визгливыхъ петляхъ заскрипѣли;
Но я все питалъ еще надежду,
Не хотѣлъ, не могъ ее покинуть.
Наконецъ, досадный лучъ денницы
Освѣтилъ окно мое и стѣну.
Я вскочилъ съ постели и поспѣшно
Вышелъ въ садъ, чтобъ съ утренней прохладой
Слить свое горячее дыханье
И, быть можетъ, встрѣтиться съ тобою;
Но напрасно: нѣтъ тебя въ бесѣдкѣ,
Нѣтъ и въ-темной липовой аллеѣ!

Ѳ. Миллеръ.

ЦАРСКАЯ МОЛИТВА.

(1815).

Я царь земли — меня боготворятъ
Честнѣйшіе, которые мнѣ служатъ!
Я царь земли — я подданныхъ моихъ
Люблю, во прахъ склоненныхъ предо мною!
Не попусти жъ, Всевышній, мнѣ моимъ
Могуществомъ и счастьемъ возгордиться!

Н. Гербель.

ВЪ ПОЛНОЧНЫЙ ЧАСЪ.

(1818).

Въ полночный часъ я робкою стопою
Ходилъ, малютка, чрезъ церковный дворъ
Къ духовному отцу — и надо мною
Небесныхъ звѣздъ сіялъ блестящій хоръ
Въ полночный часъ.

Ходилъ я послѣ къ милой на свиданье —
И надо мной мерцало въ вышинѣ
Сіянье звѣздъ и сѣвера сіянье
Въ полночный часъ — и сладко было мнѣ
Въ полночный часъ.

Н. Холодковскій.

ВСЕГДА И ВЕЗДѢ.

(1820).

Ключъ бѣжитъ въ ущелья горъ;
Въ небѣ свитъ тумановъ хоръ...
Муза манитъ къ волѣ, въ поле
Трижды тридевять и болѣ.

Вновь напѣненный бокалъ
Жарко новыхъ пѣсенъ проситъ;
Время катитъ шумный валъ,
Но опять весну приноситъ.

А. Бестужевъ.

МЫСЛИ ПРИ ВИДѢ ШИЛЛЕРОВА ЧЕРЕПА.

(1826).

Стоялъ я въ тихой, полутемной залѣ,
Гдѣ черепа, лежащіе рядами,
Сѣдую старину напоминали.
Другъ къ другу тѣсно — были ли врагами,
Друзьями ль въ жизни — всѣ они лежали.
Бойцовъ остатки съ жизненной арены
Нашли здѣсь свой покой. Что вы носили,
Лопатки, вы, оторванные члены,
Которые, въ связи, такъ стройны были?
Усталыхъ вновь тревожа, въ эти стѣны
Васъ принесли, не давъ вамъ спать въ могилѣ,
И тьма для васъ вновь свѣтомъ дня смѣнилась.
И никому не дорогъ черепъ тлѣнный,
Какая бъ мысль въ немъ прежде ни таилась!

Но мнѣ, адепту, мыслью вдохновенной
Дано знать то, что̀ отъ другихъ укрылось.
Средь мертвыхъ массъ я нахожу священный,
Прекрасный образъ! Просвѣтлѣла зала,
Душа согрѣта сладкимъ утѣшеньемъ,
Какъ будто жизнь изъ смерти вновь возстала!
На формъ красу гляжу я съ восхищеньемъ:
О, чудный слѣдъ, природа удержала
Тебя! Какъ полнъ я грезъ, воображеньемъ,
Въ міръ образовъ прекрасныхъ воспаряя!
Таинственный сосудъ, оракулъ милый!
Достоинъ ли въ рукахъ держать тебя я?
Несу тебя изъ полутьмы унылой,
Изъ праха, къ солнцу, къ свѣту! Взоръ плѣняя,
Ты душу мнѣ и гордостью, и силой
Наполнилъ. Что прекраснѣй, чѣмъ сознанье,
Которымъ насъ природа озаряетъ —
Какъ въ веществѣ сквозитъ души вліянье,
Какъ вещество слѣдъ духа закрѣпляетъ!

Н. Холодковскій.

БАЛЛАДЫ.

НЕВѢРНЫЙ ЮНОША.

(1774).

Красавецъ-рыцарь молодой
Изъ Франціи явился,
И дѣвѣ съ черною косой
Онъ крѣпко полюбился.
Ее онъ нѣжилъ и ласкалъ,
На ней жениться обѣщалъ —
И вдругъ куда-то скрылся.

Она — лишь вѣсть до ней дошла —
Съ разсудкомъ распрощалась:
Металась, плакала, кляла —
И въ мукахъ злыхъ скончалась;
Его жъ, какъ часъ ея насталъ,
Мгновенно ужасъ обуялъ —
И все въ немъ взволновалось.

Нещадно шпоритъ онъ коня
И рыскаетъ по свѣту;
Во тьмѣ ночной, при блескѣ дня —
Нигдѣ покоя нѣту.
Семь сутокъ ѣздитъ онъ — и громъ,
Да вихрь бушуютъ лишь кругомъ
Съ разсвѣту до разсвѣту.

Вдругъ старый замокъ передъ нимъ
Изъ мрака вырастаетъ.
Дождемъ и бурею гонимъ,
Въ ворота онъ въѣзжаетъ;
Но лишь съ коня слѣзаетъ онъ —
Какъ вмигъ, землею поглощенъ,
Подъ нею исчезаетъ.

Въ глубокомъ мракѣ онъ встаетъ,
Очнувшись отъ удара,
И видитъ: свѣтъ дрожащій льетъ
Огней блудящихъ пара —

И со ступени на ступень
Его вослѣдъ, сквозь мракъ и тѣнь,
Влечетъ Господня кара.

Предъ нимъ гостей костлявыхъ хоръ
Пируетъ, возсѣдая,
И скалитъ зубы весь соборъ,
Пришельца поджидая;
А посрединѣ ихъ сидитъ
Трупъ милой, саваномъ обвитъ,
Свой взоръ въ него вперяя.

Н. Холодковскій.

ЦАРЬ ӨУЛЬСКІЙ.

(1774).

Былъ въ Өулѣ царь. Ему другъ милый
Дала предъ смертію бокалъ —
И неизмѣнно до могилы
Онъ даръ завѣтный сохранялъ.

И всякій разъ, когда краями
Его къ устамъ онъ подносилъ,
Глаза туманились слезами
И тяжкій вздохъ вино мутилъ.

Предчувствуя свою кончину,
Всѣ грады царства своего
Онъ перечелъ и отдалъ сыну —
Не отдалъ кубка одного.

Въ наслѣдномъ замкѣ, что скалами
Морскія волны отражалъ,
Онъ, окруженъ богатырями,
За царскимъ пиромъ возсѣдалъ.

Съ послѣдней каплей, неизмѣнный,
Смѣшавъ послѣднюю слезу,
Онъ бросилъ кубокъ драгоцѣнный
Въ валы, кипѣвшіе внизу,

И видѣлъ, какъ, сверкнувъ краями,
Онъ внизъ волной былъ увлеченъ —
И, проводивъ его глазами,
Съ тѣхъ поръ ни капли не пилъ онъ.

М. Загорскій.

Ночью сталъ искать я клада.
Громъ гремѣлъ, и вѣтеръ вылъ.

Чу! Вотъ полночь прозвучала;
Вдругъ въ туманномъ отдаленьѣ
Вижу: что-то заблистало
Лучезарною звѣздой —
И, какъ чудное видѣнье,
Разливая свѣтъ чудесный,
Съ чашей юноша прелестный
Вдругъ предсталъ передо мной.

Ярко взоръ его сіяетъ;
На челѣ вѣнокъ цвѣтистый.
Съ чашей влаги золотистой
Въ кругъ волшебный онъ вступилъ,
Мнѣ напитокъ предлагаетъ.
«Нѣтъ, не ада духъ коварный
Этотъ отрокъ свѣтозарный!»
Такъ себѣ я говорилъ.

«Пей напитокъ жизни ясной!
Въ немъ найдешь ты указанье —
И сюда для волхованья
Не придешь опять назадъ.
Брось копанья трудъ напрасный:
Днемъ — работа, вечеръ — гости...
Жизнь безъ зависти и злости —
Вотъ завѣтный жизни кладъ!»

Ѳ. Миллеръ.

МОЛОДОЙ ДВОРЯНИНЪ И МЕЛЬНИЧИХА.

(1797).

ДВОРЯНИНЪ.

Куда, куда поспѣшно такъ,
Хорошенькая мельничиха? Какъ
По имени?

МЕЛЬНИЧИХА.

Я Лизавета.

ОНЪ.

Куда жъ ты это?
И съ граблями въ рукахъ?

ОНА.

У батюшки въ лугахъ,
Въ поляхъ работа...

ОНЪ.

Итти совсѣмъ одной ужли охота?

ОНА.

Тамъ надо сѣно мнѣ убрать;
Для этой цѣли
И грабли. Послѣ въ садикъ грушъ нарвать:
Уже созрѣли.

ОНЪ.

Тамъ, кажется, въ густой листвѣ
Бесѣдка?

ОНА.

Даже двѣ—
Въ концахъ обоихъ сада.

ОНЪ.

Иди—я слѣдомъ за тобой,
И тамъ въ полдневный зной
Укроетъ насъ прохлада.
Не правда ли, въ зеленый тотъ пріютъ...

ОНА.

Сейчасъ исторіи пойдутъ...

ОНЪ.

Придешь ты, гдѣ мои объятья...

ОНА.

Ну, нѣтъ-съ! Вѣдь, мельничиху такъ
Безслѣдно не обнимешь: сразу знакъ!
Мнѣ темнаго и дорогого платья
На васъ
Жаль: въ бѣлое запачкаю сейчасъ.
Нѣтъ, только тамъ, гдѣ рóвня съ рóвней—
Жизнь хороша;
По крайности, моя такъ чувствуетъ душа.
Мнѣ мельникъ молодой любовнѣй
Всѣхъ въ свѣтѣ; у него
Я не испорчу ничего.

П. Вейнбергъ.

ПОДМАСТЕРЬЕ И МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ.

(1797).

ПОДМАСТЕРЬЕ.

Куда, прозрачный ручеекъ,
Куда такъ бойко
Ты мчишься, веселъ и легокъ?
На мигъ постой-ка;
Скажи: сбѣгая съ высоты,
Чего въ долинѣ ищешь ты?

РУЧЕЙ.

Я былъ свободнымъ ручейкомъ —
Меня схватили
И въ направленіи такомъ
Мнѣ путь прорыли,
Чтобъ только къ мельницѣ всегда
Бѣжала вся моя вода.

ПОДМАСТЕРЬЕ.

Течешь ты къ мельницѣ, ручей,
Легко, спокойно,
Не зная, какъ въ крови моей
Тревожно, знойно...
Тебя привѣтомъ по утрамъ
Встрѣчаетъ мельничиха тамъ?

РУЧЕЙ.

Чуть солнце встало—ставень свой
Она откроетъ,
Моей водою ключевой
Лицо умоетъ...
Грудь такъ полна, бѣла... Меня
Кидаетъ въ жаръ, какъ отъ огня.

ПОДМАСТЕРЬЕ.

Коли ужъ и вода горитъ
Отъ ней любовью,
То какъ покой свой сохранитъ
Кто съ плотью, съ кровью?
Ее одинъ увидишь разъ—
Ахъ, послѣ вѣкъ не спустишь глазъ!

РУЧЕЙ.

Бросаюсь на колеса я—
И загудѣла,
Стучитъ вся мельница моя!..
Съ тѣхъ поръ, какъ дѣло
Въ рукахъ у ней—сдается мнѣ,
Что и вода сильнѣй вдвойнѣ.

ПОДМАСТЕРЬЕ.

Бѣднякъ! и ты, какъ всѣ, любя,
Страдаешь вѣчно?
Домой пускаетъ плыть тебя
Она безпечно,
Шутя—когда за милый взглядъ
Ты вѣкъ бы съ ней остаться радъ?

РУЧЕЙ.

Ахъ, мнѣ оттуда плыть, мой другъ,
Такъ больно, больно!

Я вялымъ шагомъ черезъ лугъ
Тащусь невольно;
А воля будь на то моя—
Назадъ домчался бъ мигомъ я.

ПОДМАСТЕРЬЕ.

Товарищъ мукъ моей души,
Прощай! Больного
Когда нибудь, журча въ тиши,
Порадуй снова...
А ей шепчи почаще ты
Про скорбь мою, мои мечты!...

П. Вейнбергъ.

ИЗМѢНА МЕЛЬНИЧИХИ.

(1797).

Откуда раннею порою
Идетъ красавецъ молодой?
Не укрѣплялъ ли онъ мольбою
Себя въ часовнѣ той лѣсной?
Предъ нимъ ручей, шумя, струится —
И босикомъ идетъ онъ вбродъ.
Куда по скàламъ онъ стремится?
Что черезъ нихъ его влечетъ?

Увы, онъ съ ложа лишь поднялся,
Гдѣ радость рокъ ему сулилъ!
Спасибо, плащъ на немъ остался,
А то совсѣмъ бы нагъ онъ былъ.
Теперь прощайте, всѣ надежды!
Досталось платье тѣмъ плутамъ,
А онъ остался безъ одежды,
Почти какъ праотецъ Адамъ.

Къ плоду запретному манило
Его на мельницу давно,
И, какъ Адаму, видно, было
Ему прельститься суждено;
Но онъ туда ужъ не вернется:
Отъ нихъ онъ вырваться былъ радъ!
И вотъ онъ скорби предается,
И рѣчи жалобой звучатъ:

«Въ глазахъ моей неоцѣненной
Коварство могъ ли я прочесть?
Она казалась мнѣ влюбленной,
А замышляла злую месть!
Увы, къ ней страстно прижимаясь,

Измѣны ль ждалъ я отъ нея?
Желаннымъ счастьемъ наслаждаясь,
Былъ ослѣпленъ любовью я!

«Она восторги раздѣляла!
Какъ сладко длилась эта ночь!
Но на зарѣ вдругъ закричала:
Мать позвала плутовка-дочь!
И вмигъ пріютъ нашъ паводнился
Родныхъ несмѣтною толпой,
Сестеръ и братьевъ; появился
Тутъ дядей, тетокъ цѣлый рой.

«Поднялся крикъ и гамъ въ свѣтлицѣ —
Какъ звѣри, начали всѣ выть:
За честь поруганной дѣвицы
Имъ мнѣ хотѣлось пригрозить.
Постойте: юноша несчастный
Не такъ предъ вами виноватъ!
Зачѣмъ же зрѣетъ плодъ прекрасный?
Кто жъ упускаетъ цѣнный кладъ?

«Мнѣ самъ Амуръ помочь стремился —
И мой сюда направилъ слѣдъ:
Онъ не хотѣлъ, чтобъ цвѣтъ таился
Въ глуши шестнадцать цѣлыхъ лѣтъ.
Они жъ, мое забравши платье,
И плащъ хотѣли ужъ унесть...
Какъ было много ихъ, проклятье!
Всей этой сволочи не счесть!

«Тогда, вскочивши, устремился
Отважно я въ толпу родныхъ;
Ея же видъ не измѣнился —
Мила была и въ этотъ мигъ.
Я гнѣвомъ ихъ своимъ суровымъ
Ошеломилъ и испугалъ,
Смирилъ ихъ голосомъ громовымъ
И, сквозь пробившись, убѣжалъ.

«И сельскихъ дѣвъ, я вижу, надо,
Какъ горожанокъ, избѣгать;
Не то за нѣжность всю въ награду
Позоръ придется испытать.
Ахъ, дѣвы, дѣвы, измѣняйте,
Коль вы лишь любите на мигъ!
Мѣняйте, но не выдавайте
Такъ зло любовниковъ своихъ!»

Такъ пѣлъ онъ про свои страданья
Въ степи холодной и нѣмой;
Но мнѣ смѣшны его стенанья:
Онъ заслужилъ лишь жребій свой.
Кто днемъ нерѣдко измѣняетъ,
А ночью жаждетъ быть любимъ,
Того всегда пусть постигаетъ
То, что теперь случилось съ нимъ!

Ѳ. Миллеръ.

РАСКАЯНЬЕ МЕЛЬНИЧИХИ.

(1797).

ЮНОША.

Прочь, смуглая вѣдьма! Мой домъ не пятнай
Своимъ посѣщеньемъ! Отсюда
Скорѣй убирайся, не то—не пеняй:
Тебѣ будетъ худо!
Зачѣмъ напѣваешь такъ сладко ты мнѣ
О вѣрности дѣвъ, о любви въ тишинѣ?
Другому болтай свои сказки!

ЦЫГАНКА.

Раскаялась дѣва, кляпусь тебѣ вновь!
Томятъ ее страстныя грезы,
Капризы ея превратились въ любовь
И въ тихія слезы.
Ни матери брань ей теперь не страшна,
И брата угрозы: все стерпитъ она,
Чтобъ только простилъ ее милый!

ЮНОША.

Пой лучше о жадности, лживой божьбѣ,
Убійствѣ и гнусномъ разбоѣ—
Тогда я повѣрю: такъ сродно тебѣ
Все скверное, злое!
Дѣлите добычу, что далъ вамъ обманъ!
Нѣтъ въ мірѣ народа гнуснѣе цыганъ,—
Вѣдь это давно всѣмъ извѣстно!

ЦЫГАНКА.

О, горе мнѣ, горе! Страдать я должна,
Поправить ошибку нѣтъ силы!
Почудилось мнѣ, что вблизи отъ окна
Проходитъ мой милый.
И сердце забилось въ груди у меня;
О, если бъ ту почку завѣтную я
Отъ матери скрыть бы сумѣла!

ЮНОША.

Глупецъ, ей, коварной, довѣрился я,
И тихо молилъ чаровницу:
Пусти меня, милая, радость моя,
Тихонько въ свѣтлицу!
Куда! Поднялись тутъ и шумъ, и возня,
Сбѣжалась на крикъ ея злая родня:
Какъ вспомню, такъ кровь и вскипаетъ!

ЦЫГАНКА.

О, если бъ вернулся тотъ сладкій часокъ!
Печаль всю меня истерзала.
Я сладкаго, вѣрнаго счастья залогъ,
Увы, прогадала!
Бѣдняжка, я слишкомъ была молода,
И братъ мой, злодѣй, такъ сурово тогда
Съ тобой обошелся, мой милый!

ПОЭТЪ.

Подходитъ цыганка къ ручью и спѣшитъ
Умыться студеной водою
О, чудо! Цвѣтъ смуглый съ лица уже смытъ
Проворной рукою,
И въ блескѣ красы, несказанно мила,
Предстала красотка, чиста и бѣла,
Предъ гнѣвнымъ влюбленнаго взоромъ.

МЕЛЬНИЧИХА.

Мой милый, прекрасный, любимый женихъ,
Ты грозенъ, ты смотришь сердито;
Прибьешь ли, убьешь ли меня въ этотъ мигъ —
Скажу я открыто,
Что ты мое сердце навѣки плѣнилъ
И жить безъ тебя — не достанетъ мнѣ силъ:
Умру иль останусь съ тобою!

ЮНОША.

О, дивная страсть! Велика и сильна,
Въ какой глубинѣ ты таилась
И какъ изъ глубокаго, мертваго сна
Ты вдругъ пробудилась?
Любовь, ты безсмертна, сомнѣнья въ томъ нѣтъ!
Ни гнусная хитрость, ни злобный навѣтъ
Тебя не погубятъ вовѣки!

МЕЛЬНИЧИХА.

О, если ты все еще любишь меня.
Какъ прежде, любви моей вѣря,
То все, что случилось до этого дня,
Для насъ не потеря.
Возьми свою дѣву, возлюбленный мой,

И съ тѣломъ невиннымъ, и съ чистой душой —
Тебѣ отдаюсь я покорно!

ОБА.

Восходишь ли солнце, заходишь ли ты,
Заря ль золотая забрежжетъ —
Любви намъ созвѣздье блеститъ съ высоты
И душу намъ нѣжитъ.
Какъ тихія, свѣтлыя волны ручья,
Пусть мирно течетъ нашей жизни струя
Въ союзѣ сердецъ неизмѣнномъ!

Н. Холодковскій.

УЧЕНИКЪ ЧАРОДѢЯ.

(1797).

Наконецъ, пришлось отсюда
Отлучиться чародѣю.
Сотворю жъ теперь я чудо:
Духовъ вызвать я сумѣю.
Я подслушалъ слово,
Помню каждый знакъ:
Вызову же снова
Духовъ точно такъ!

За водою
Маршъ проворно,
Чтобъ покорно
Предо мною
Свѣтлой, чистою волною
Полилась вода рѣкою!

Старый вѣникъ, встань исправно
И въ лохмотья облачися!
Былъ слугою ты издавна,
Нынѣ жъ мнѣ ты покорися!
Кверху головою.
Внизъ ногами стой!
Быстрою стопою
Сбѣгай за водой!

За водою
Маршъ проворно,
Чтобъ покорно
Предо мною
Свѣтлой, чистою волною
Полилась вода рѣкою!

Посмотрите: торопливо
Онъ помчался къ рѣчкѣ, къ броду;
Вотъ вернулся онъ—и живо
Выливаетъ на̀ полъ воду.
Словно улетая,
Мчится вновь бѣгомъ,
Воду вновь до края
Черпаетъ ведромъ.

Стой! Ужъ больно
Много льешь ты!
Вновь несешь ты?
Стой, довольно!
Нѣтъ, къ рѣкѣ бѣжитъ онъ снова!
Горе мнѣ, забылъ я слово!

Слово, слово запрещенья —
Позабылъ я это слово!
Вновь бѣжитъ онъ—нѣтъ спасенья!
Будь онъ старый вѣникъ снова!
Сильными руками
Ведра носитъ онъ —
И вода ручьями
Льетъ со всѣхъ сторонъ.

Вѣникъ злится...
Стой, схвачу я!
Не хочу я
Покориться!
Ахъ, какъ страшно! Нѣтъ пощады!
Что̀ за рожа! что̀ за взгляды!

Злобный дьяволъ, бѣсъ жестокій,
Иль весь домъ залить ты хочешь?
Всюду льются водъ потоки—
Ты объ этомъ ли хлопочешь?
Дьяволъ безобразный,
Тише, перестань!
Былъ ты вѣникъ грязный—
Имъ ты снова стань!

Безъ конца ли
Эти штуки?
Стой же! Въ руки
Гладкой стали
Я топоръ возьму и смѣло
Разрублю кобо̀льда тѣло.

Вотъ несетъ онъ воду снова;
Но, съ подъятою рукою,

Брошусь я на бѣса злого—
И падетъ онъ предо мною.
Лихо! на двѣ части
Разлетѣлся онъ:
Отъ бѣды-напасти
Я освобожденъ.

Горе! горе!
Что за страсти!
Обѣ части—
Гнѣвъ во взорѣ--
Встали, мчатся... Ахъ, спасите!
Силы неба, помогите!

Возрастаетъ наводненье,
Смерть и гибель ближе, ближе;
Всюду волны—нѣтъ спасенья!
Ахъ, учитель, помоги же!
Вотъ идетъ учитель:
Ахъ, я могъ призвать
Ихъ въ твою обитель—
Не могу прогнать!

«Лягъ у печи,
Вѣникъ, снова!
Слушай слова,
Мудрой рѣчи!
Повинуйтесь, духи, сразу
Лишь учителя приказу».

Н. Холодковскій.

БОГЪ И БАЯДЕРА.

(1797).

Магадевъ, земли владыка,
Къ намъ въ шестой нисходитъ разъ,
Чтобъ отъ мала до велика
Самому извѣдать насъ;
Хочетъ, въ странствованьѣ трудномъ,
Скорбь и радость испытать,
Чтобъ, судьею правосуднымъ,
Насъ карать и награждать.
Онъ, путникомъ городъ обшедши усталымъ,
Могучихъ проникнувъ, прислушавшись къ малымъ,
Выходитъ въ предмѣстье свой путь продолжать.

Вотъ стоитъ подъ воротами,
Въ шолкъ и въ кольца убрана,
Съ насурмленными бровями,

Но когда-то житель благосклонный
Хлѣбъ и соль тамъ велъ съ его отцомъ —
И дѣтей они
Въ ихъ младые дни
Нарекли невѣстой съ женихомъ.

Но какой для добраго пріема
Отъ него потребуютъ цѣны?
Онъ — дитя языческаго дома,
А они — недавно крещены.
Гдѣ за вѣру споръ,
Тамъ, какъ вѣтромъ соръ,
И любовь, и дружба сметены.

Вся семья давно ужъ отдыхаетъ,
Только мать одна еще не спитъ —
Благодушно гостя принимаетъ
И покой отвесть ему спѣшитъ;
Лучшее вино
Ею внесено,
Хлѣбомъ столъ и яствами покрытъ.

И простясь, ночникъ ему зажженный
Ставитъ мать, но ото всѣхъ тревогъ
Ужъ усталый онъ и полусонный,
Безъ ѣды, не раздѣваясь, легъ,—
Какъ сквозь двери тьму
Движется къ нему
Странный гость безшумно на порогъ.

Входитъ дѣва медленно и скромно,
Вся покрыта бѣлой пеленой;
Вкругъ косы ея, густой и темной,
Блещетъ вѣнчикъ черно-золотой.
Юношу узрѣвъ,
Стала, оробѣвъ,
Съ приподнятой блѣдною рукой.

— «Видно, въ домѣ я уже чужая»,
Такъ она со вздохомъ говоритъ,
«Что вошла, о гостѣ я не зная,
И теперь меня объемлетъ стыдъ.
Спи жъ спокойнымъ сномъ
На одрѣ своемъ:
Я уйду опять въ мой темный скитъ!»

— «Дѣва, стой!» воскликнулъ онъ, «со мною
Подожди до утренней поры!
Вотъ, смотри, Церерой золотою,
Вакхомъ вотъ посланные дары;

А съ тобой придетъ
Молодой Эротъ —
Имъ же свѣтлы игры и пиры!»

— «Отпусти, о юноша! Я болѣ
Не причастна радости земной;
Шагъ свершенъ родительскою волей:
На одрѣ болѣзни роковой
Поклялася мать
Небесамъ отдать
Жизнь мою, и юность, и покой.

«И боговъ веселыхъ рой родимый
Новой вѣры сила изгнала —
И теперь царитъ одинъ Незримый,
Одному Распятому хвала!
Агнцы болѣ тутъ
Жертвой не падутъ,
Но людскія жертвы безъ числа!»

И ея онъ взвѣшиваетъ рѣчи:
«Неужель теперь, въ тиши ночной,
Съ женихомъ не чаявшая встрѣчи,
То стоитъ невѣста предо мной?
О, отдайся жъ мнѣ,
Будь моей вполнѣ —
Насъ вѣнчали клятвою двойной!»

—«Мнѣ не быть твоею, отрокъ милый,
Ты мечты напрасной не лелѣй:
Скоро взять должна меня могила;
Ты жъ сестрѣ назначенъ ужъ моей.
Но въ блаженномъ снѣ
Думай обо мнѣ,
Обо мнѣ, когда ты будешь съ ней!»

—«Нѣтъ, да свѣтитъ пламя сей лампады
Намъ Гимена факеломъ святымъ—
И тебя для жизни, для отрады
Уведу къ пенатамъ я моимъ!
Вѣрь мнѣ, другъ, о вѣрь:
Мы вдвоемъ теперь
Брачный пиръ нежданно совершимъ!»

И они мѣняются дарами.
Цѣнь она спѣшитъ златую снять,—
Чашу онъ съ узорными краями
Въ знакъ союза хочетъ ей отдать;
Но она къ нему:
«Чаши не приму,
Лишь волосъ твоихъ возьму я прядь!»

Полночь бьетъ—и взоръ, доселѣ хладный,
Заблисталъ, лицо оживлено,
И уста безцвѣтныя пьютъ жадно
Съ темной кровью схожее вино;
Хлѣба жъ со стола
Вовсе не взяла,
Словно ей вкушать воспрещено.

И фіалъ она ему подноситъ:
Вмѣстѣ съ ней онъ токъ багровый пьетъ,
Но ея объятій какъ ни проситъ,
Все она противится—и вотъ,
Тяжко огорченъ,
Палъ на ложе онъ
И въ безсильной страсти слезы льетъ.

И она къ нему, ласкаясь, сѣла:
«Жалко мучить мнѣ тебя; но, ахъ,
Моего когда коснешься тѣла,
Неземной тебя охватитъ страхъ:
Я, какъ снѣгъ, блѣдна,
Я, какъ ледъ, хладна,
Не согрѣюсь я въ твоихъ рукахъ!»

Но, кипящей жизненною силой,
Онъ ее въ объятья заключилъ:
«Ты хотя бы вышла изъ могилы,
Я бъ согрѣлъ тебя и оживилъ!
О, какимъ вдвоемъ
Мы горимъ огнемъ,
Какъ тебя мой проникаетъ пылъ!»

Все тѣснѣй сближаетъ ихъ желанье:
Ужъ она, припавъ къ нему на грудь,
Пьетъ его горячее дыханье
И ужъ устъ не можетъ разомкнуть;
Юноши любовь
Ей согрѣла кровь,
Но не бьется сердце въ ней ничуть.

Между тѣмъ дозоромъ позднимъ мимо
За дверьми еще проходитъ мать,
Слышитъ шумъ внутри необъяснимый
И его старается понять:
То любви недугъ,
Поцѣлуевъ звукъ,
И еще, и снова, и опять!

И недвижно, притаивъ дыханье,
Ждетъ она—сомнѣній болѣ нѣтъ—

Вздохи, слезы, страсти лепетанье
И восторга бѣшенаго бредъ:
«Скоро день, но вновь
Насъ сведетъ любовь!»
—«Завтра вновь!» съ лобзаньемъ былъ отвѣтъ.

Долѣ мать сдержать не можетъ гнѣва,
Ключъ она свой тайный достаетъ:
«Развѣ есть такая въ домѣ дѣва,
Что̀ себя пришельцамъ отдаетъ?»
Такъ возмущена,
Входитъ въ дверь она —
И дитя родное узнаетъ.

И, воспрянувъ, юноша съ испугу
Хочетъ скрыть завѣсою окна,
Покрываломъ хочетъ скрыть подругу.
Но, отбросивъ складки полотна,
Съ ложа, вся пряма,
Словно не сама,
Медленно подъемлется она.

—«Мать, о, мать! Нарочно ты ужели
Отравить мою приходишь ночь?
Съ этой теплой ты меня постели
Въ мракъ и холодъ снова гонишь прочь?
Для тебя ужель
Мало и досель,
Что свою ты схоронила дочь?

«Но меня изъ тѣсноты могильной
Нѣкій рокъ къ живущимъ шлетъ назадъ;
Вашихъ клировъ пѣніе безсильно,
И попы напрасно мнѣ кадятъ:
Молодую страсть
Никакая власть,
Ни земля, ни гробъ не охладятъ!

«Этотъ отрокъ именемъ Венеры
Былъ обѣщанъ мнѣ отъ юныхъ лѣтъ,
Ты вотще во имя новой вѣры
Изрекла неслыханный обѣтъ!
Чтобъ его принять,
Въ небесахъ, о, мать,
Въ небесахъ такого бога нѣтъ!

«Знай, что смерти роковая сила
Не могла сковать мою любовь:
Я нашла того, кого любила,
И его я высосала кровь.

И, покончивъ съ нимъ,
Я пойду къ другимъ—
Я должна итти за жизнью вновь!

«Милый гость, вдали родного края
Осужденъ ты чахнуть и завять!
Цѣпь мою тебѣ передала я,
Но волосъ твоихъ беру я прядь.
Ты ихъ видишь цвѣтъ?
Завтра будешь сѣдъ:
Русымъ тамъ лишь явишься опять!

«Мать, услышь послѣднее моленье:
Прикажи костеръ воздвигнуть намъ,
Свободи меня изъ заточенья,
Миръ въ огнѣ дай любящимъ сердцамъ!
Такъ изъ дыма тьмы
Въ пламѣ, въ искрахъ мы
Къ нашимъ древнимъ полетимъ богамъ!»

Графъ А. Толстой.

ЧУДЕСНЫЙ ЦВѢТОКЪ.

Пѣснь плѣннаго графа.

(1798).

ГРАФЪ.

Чудесный знаю я цвѣтокъ,
За нимъ стремлюсь я въ поле;
Но, ахъ, какъ жребій мой жестокъ:
Сижу въ тюрьмѣ, въ неволѣ!
Какъ тяжко жить, въ плѣну томясь!
Когда я воленъ былъ—не разъ
Цвѣткомъ тѣмъ любовался.
Теперь я въ башнѣ заключенъ:
Ни тѣ цвѣты, ни пашни,
Ни лѣсъ не видны изъ оконъ
Моей тюремной башни.
Ахъ, если бъ рыцарь или рабъ
Мнѣ тотъ цвѣтокъ принесъ—тогда бъ
Онъ сталъ навѣкъ мнѣ другомъ!

РОЗА.

Я подъ окномъ твоимъ цвѣту:
Скажи, по комъ вздыхаешь?
О, не мою ли красоту
Ты, рыцарь, вспоминаешь?
Умомъ и сердцемъ ты высокъ:
Не розу ль, царственный цвѣтокъ,
Любимицей избралъ ты?

ГРАФЪ.

Твой алый цвѣтъ ласкалъ не разъ
Мой взоръ, цвѣтовъ царица!
Тебя лелѣетъ, какъ алмазъ,
Красавица дѣвица.
Кому нейдетъ изъ розъ вѣнокъ?
Но я избралъ иной цвѣтокъ,
Иному поклоняюсь.

ЛИЛІЯ.

О, роза, гордости полна!
Быть первой хочетъ вѣчно!
Но вѣдь и лилія должна
Плѣнять иныхъ, конечно.
И знаю я, кто чистъ душой,
Во мнѣ тотъ видитъ образъ свой
И бѣлый цвѣтъ мой цѣнитъ.

ГРАФЪ.

Я цѣломудренъ, чуждъ вполнѣ
Нечистыхъ помышленій;
Но что же пользы въ этомъ мнѣ?
Томлюсь здѣсь въ заключеньѣ!
Невинность дѣвы молодой
Напомнить можешь ты собой;
Но есть цвѣтокъ милѣе.

ГВОЗДИКА.

Такъ, можетъ быть, гвоздика? Я?
За мной твой сторожъ ходитъ,
Въ его саду росту—меня
Прекрасной онъ находитъ.
Хорошъ махровый мой цвѣтокъ,
И каждый тонкій лепестокъ
Исполненъ аромата.

ГРАФЪ.

Гвоздику можно ль презирать?
Нѣтъ, ею всякъ гордится,
И нашъ садовникъ блескъ придать
Не даромъ ей стремится;
Но не наружной красотой
Взоръ наслаждаться любитъ мой:
Я предпочту ей скромность.

ФІАЛКА.

Всегда росту я въ тишинѣ,
Безъ всякихъ притязаній,
Безмолвно; но теперь и мнѣ
Пора прервать молчанье.

Коль я любимица твоя,
Мнѣ жаль тогда, что до тебя
Мой запахъ не доходитъ.

ГРАФЪ.

Фіалку я отъ всей души
За скромность почитаю,
За ароматъ; но здѣсь, въ тиши,
Я не о ней мечтаю.
Я пазову вамъ свой цвѣтокъ:
Здѣсь камни да сухой песокъ—
Онъ здѣсь рости не можетъ.

Ростетъ онъ тамъ, гдѣ надъ ручьемъ
Жена моя гуляетъ
И о супругѣ дорогомъ,
Тоскуя, вспоминаетъ.
«О, не забудь меня, другъ мой!»
Цвѣтокъ срывая голубой,
Она къ нему взываетъ.

И этотъ шопотъ слышенъ мнѣ.
Ахъ, для любви глубокой
Пространства нѣтъ! Здѣсь въ тишинѣ,
Въ темницѣ одинокой,
Когда тоска мнѣ давитъ грудь,
Шепчу и я: «О, не забудь!»
И къ жизни возвращаюсь.

О. Миллеръ.

СВАДЕБНАЯ ПѢСНЬ.

(1802).

Хотите ль, споемъ вамъ про графа того,
Что прежде жилъ въ этомъ имѣньѣ?
Вы праздновать свадьбу потомка его
Собрались—услышьте же пѣнье!
Не мало походовъ тотъ графъ совершилъ,
Не малою славой себя онъ покрылъ;
Когда жъ побѣдителемъ вновь посѣтилъ
Свое родовое имѣнье,
Онъ замокъ нашелъ въ запустѣньѣ.

Ты, графъ, не на радость вернулся домой:
Людей—ни души, все въ упадкѣ.
По комнатамъ вѣтеръ гуляетъ сквозной,
Нѣтъ стеколъ, и все въ безпорядкѣ.
Гдѣ спать? Э, да первую ль бурную ночь
Проводитъ онъ такъ? Прочь же думы всѣ, прочь!

На завтра сумѣетъ онъ горю помочь;
Теперь же заснетъ, коль не въ домѣ,
Такъ въ стойлѣ, въ хлѣву на соломѣ.

Лежитъ онъ—и мѣсяцъ сіяетъ надъ нимъ:
Лучи его кротко такъ льются;
Вдругъ слышитъ онъ шорохъ подъ ложемъ своимъ—
То мыши, быть можетъ, скребутся.
Пускай ихъ! Но вдругъ предъ постелью въ ногахъ
Является съ маленькой лампой въ рукахъ
Премиленькій карликъ—и съ графомъ въ рѣчахъ
Почти что тогда объяснился,
Хоть графъ ужъ дремотой томился:

«Не разъ мы, пока ты ходилъ воевать,
Въ покояхъ твоихъ пировали,
И нынче хотѣли мы свадьбу сыграть,
Да скоро тебя такъ не ждали.
Для свадьбы у насъ ужъ назначенъ и часъ—
Итакъ, ужъ позволь намъ въ послѣдній хоть разъ
Собраться здѣсь: ты не боишься, вѣдь, насъ?»
А графъ: «Я почти засыпаю;
Пируйте—я вамъ не мѣшаю!»

И вотъ изъ-подъ ложа, конями гордясь,
Три всадника вскачь пронеслися;
Хоръ карликовъ слѣдомъ явился тотчасъ,
И звуки трубы раздалися.
Забавный имѣло, но чинный все видъ:
Все было, какъ то при дворахъ обстоитъ,
Но лишь въ миньятюрѣ. Вотъ быстро летитъ
Карета невѣсты съ гербами,
А вслѣдъ экипажи съ гостями.

И съ шумомъ несется все сонмище въ залъ—
И всѣ тамъ мѣста занимаютъ.
Неистовый тутъ открывается балъ:
Танцоры подругъ выбираютъ—
И бѣшено всѣ начинаютъ плясать,
Кружиться, носиться, шумѣть и свистать,
Кричать, и смѣяться, и пѣть, и визжать.
Графъ, молча, на это взираетъ:
Предъ нимъ, какъ въ бреду, все мелькаетъ.

Столы раздвигаются съ шумомъ потомъ,
Кругомъ ихъ рядъ стульевъ тѣснится—
И каждый съ подругой своею рядкомъ
За трапезу важно садится.
И много тамъ дичи, и рыбъ, и колбасъ,
Но меньше все это въ сто разъ, чѣмъ у насъ;

Вино они пьютъ — и въ послѣдній лишь часъ
Бесѣда у нихъ умолкаетъ —
И съ пѣньемъ ихъ сонъ исчезаетъ.

Теперь захотите вы, можетъ быть, знать,
Что̀ далѣе съ графомъ случилось?
Что̀ въ ночь ту пришлося ему увидать,
То послѣ съ нимъ въ явѣ свершилось:
Веселый звукъ трубъ огласилъ этотъ домъ,
Явились и гости: онъ сталъ женихомъ,
И свадьбу его пировали потомъ
Такъ точно, какъ мы торжествуемъ,
Какъ мы теперь свадьбы пируемъ.

О. Миллеръ.

СТРАННИКЪ И МЫЗНИЦА.

(1803).

ОНЪ.

Я усталъ, красотка молодая!
Одолжи чего-нибудь напиться;
Здѣсь въ тѣни позволь мнѣ прохладиться,
Утоли мой голодъ — я страдаю.

ОНА.

Странникъ, я лишь пищею простою
Угостить могу тебя — плодами,
Хлѣбомъ, чѣмъ довольствуемся сами;
Напоить могу одной водою.

ОНЪ.

Мнится мнѣ — давно тебя я знаю:
Да, черты мнѣ незабвенны эти!
Хоть нерѣдки сходства въ бѣломъ свѣтѣ,
Но такое въ первый разъ встрѣчаю.

ОНА.

Съ каждымъ странникомъ бываетъ то же;
Многому приходится дивиться;
Многими случается плѣниться;
Межъ собою многіе похожи.

ОНЪ.

Но вѣдь живо я припоминаю,
Какъ она передо мной предстала
Въ первый разъ: она красой сіяла
Въ пышномъ залѣ, взоры ослѣпляя.

ОНА.

Если такъ она тебя плѣнила,
То могу дополнить описанье:

Не изъ красной ткани ль одѣянье
Въ этотъ день на ней надѣто было?

ОНЪ.

Какъ меня ты право удивляешь!
Духи ль все тебѣ открыли сами?
А что блескомъ взоръ ея съ камнями
Цѣнными соперничалъ — ты знаешь?

ОНА.

Достовѣрно мнѣ одно извѣстно:
Въ ней всегда таилось упованье,
Что съ тобой судьба пошлетъ свиданье.
Это было ей мечтой чудесной!

ОНЪ.

Ахъ, а я искалъ богатства, силы,
Славы, презиралъ всѣ затрудненья!
Объ одномъ молилъ лишь Провидѣнье:
Увидать опять тотъ образъ милый.

ОНА.

Взоръ твой образъ увидать желаетъ,
Но она сама передъ тобою:
При помѣстьѣ мызницей простою
Здѣсь Елена съ братомъ проживаетъ.

ОНЪ.

Но владѣтель этого имѣнья,
Всѣхъ полей и нивъ, гдѣ дни проводитъ?
Иль ужъ онъ отрады не находитъ
Здѣсь, среди прелестнаго владѣнья?

ОНА.

Никого не присылалъ онъ съ вѣстью
И давно съ имѣньемъ ужъ разстался;
Если жъ онъ, какъ думаютъ, скончался,
Купимъ мы себѣ его помѣстье.

ОНЪ.

Милая, не разъ помѣстья цѣну
Отъ владѣльца я слыхалъ бывало;
Но теперь оно дороже стало,
Пріютивши милую Елену.

ОНА.

Блескъ и счастье были намъ преградой,
Но любовь устроила сближенье...
Вотъ идетъ мой братъ: его сужденье
Намъ теперь узнать объ этомъ надо.

О. Миллеръ.

СВАДЕБНАЯ ПОѢЗДКА РЫЦАРЯ КУРТА.

(1803).

Рыцарь Куртъ — женихъ; онъ мчится
На конѣ своемъ стрѣлой:
Свадьбѣ должно совершиться
Въ замкѣ суженой младой.
Но его въ ущельѣ горномъ
Злой противникъ поджидалъ —
И въ пылу своемъ задорномъ
На него съ мечомъ напалъ.

Долго длился бой мечами,
Куртъ однако жъ одолѣлъ —
Хоть съ избитыми боками,
Но съ побѣдой полетѣлъ.
Радъ онъ былъ, что кончилъ сѣчу;
Вдругъ, съ младенцемъ на рукахъ,
Изъ кустовъ ему на встрѣчу
Вышла дѣвушка въ слезахъ.

«Господинъ, куда спѣшите?»
Окликаетъ ѣздока:
«Приласкайте, обнимите
Не меня, такъ хоть сынка!»
Чувство въ немъ заговорило:
Какъ тутъ мимо проскакать?
И, усѣвшись подлѣ милой,
Началъ онъ ее ласкать.

Чу, трубятъ тамъ въ отдаленьѣ!
О невѣстѣ вспомнилъ онъ.
Городъ — въ праздничномъ волненьѣ
И базаромъ оживленъ.
Онъ по лавкамъ выбираетъ,
Что невѣстѣ подарить —
Вдругъ евреи приступаютъ:
Долгъ изволь имъ уплатить!

Жениховское стремленье
Судъ досадный задержалъ.
Вотъ въ какое положенье
Рыцарь доблестный попалъ!
Какъ тутъ быть? Возня съ врагами,
То евреи, то бабье...
Ахъ, съ подобными бѣдами
Плохо рыцаря житье!

Ѳ. Миллеръ.

ВЛІЯНІЕ ИЗДАЛИ.

(1808).

Залъ высокій дворца пышнымъ блескомъ горитъ,
Яркимъ пламенемъ свѣчъ озаряемъ.
«Принеси—королева пажу говоритъ,—
Кошелекъ мой: мы въ кости сыграемъ.
Мною въ спальнѣ забытъ,
На столѣ онъ лежитъ».
Пажъ помчался стрѣлой торопливо,
Весь дворецъ пробѣгаетъ онъ живо.

Съ королевою рядомъ изъ чашки сорбетъ
Пьетъ красавица фрейлина вкусный;
Вдругъ—вся чашка вверхъ дномъ! Злѣе случая нѣтъ!
Что за видъ—и досадный, и грустный!
Замѣшательство, стыдъ!
Платью порча грозитъ!
И спѣшитъ она скрыться стыдливо,
Пробѣгая дворецъ торопливо.

А на встрѣчу ей пажъ: онъ спѣшитъ ужъ назадъ
И красавицу видитъ въ печали.
Ихъ сердца ужъ давно нѣжной страстью горятъ,
Хоть другіе о томъ и не знали.
И—о радость для нихъ!
О счастливѣйшій мигъ!
Грудь на грудь они бросились нѣжно
Съ поцѣлуями страсти мятежной.

Но увы, ужъ пора имъ разстаться! И такъ,
Быстро фрейлина скрылась въ свѣтлицѣ;
Гордо межъ вѣеровъ и сверкающихъ шпагъ
Пажъ протискался прямо къ царицѣ.
Не укрылося здѣсь,
Что камзолъ—въ пятнахъ весь!
Королева умна: ей все ясно,
Точно Савской царицѣ прекрасной.

И велитъ, чтобъ гофмейстершу къ ней привели:
«Съ вами споръ я недавно имѣла;
Что на душу душа не вліяетъ вдали,
Утверждали вы громко и смѣло;
Будто близость одна
Для вліянья нужна;
А когда велики разстоянья,—
Не имѣютъ и звѣзды вліянья.

«Посмотрите жъ! Всего за немного минутъ
Здѣсь напитокъ былъ пролитъ душистый.

Пажъ былъ въ комнатѣ дальней, а фрейлина тутъ —
И камзолъ весь испачкался чистый...
Сдѣлай новый камзолъ!
А за то, что пошелъ
Онъ въ защиту мою—я готова
Заплатить. И чтобъ больше ни слова!»

Н. Холодковскій.

ПЛЯСКА МЕРТВЕЦОВЪ.

(1813).

Звонарь на погостъ съ колокольни глядитъ:
Могилами поле покрыто,
И тихо кладбище безмолвное спитъ,
Сіяніемъ лунным облито.
Но вотъ зашатались кресты: изъ гробовъ
Выходятъ на пляску ряды мертвецовъ—
И бѣлые саваны вѣютъ.

Богатый и бѣдный, и малъ и великъ,
Танцуютъ они на погостѣ—
И страшный ихъ танецъ и бѣшенъ, и дикъ.
И звякаютъ кости о кости.
Мѣшаютъ имъ саваны—прочь ихъ, долой!
Мертвецъ не стыдится и пляшетъ нагой,
Свой саванъ на холмъ положивши.

И весело пляшутъ танцоры кругомъ,
И длинными машутъ руками,
Несутся и гнутся, и вьются кольцомъ,
И тактъ отбиваютъ костями.
И, глядя на танецъ, хохочетъ звонарь,
А бѣсъ ему шепчетъ: «Поди, пономарь,
Стащи у кого-нибудь саванъ!»

Подходитъ безумецъ и саванъ беретъ,
Уноситъ и дверь запираетъ.
И бѣшено пляшетъ нѣмой хороводъ,
И мѣсяцъ его озаряетъ.
Но часъ наступаетъ: то тотъ, то другой
Свой саванъ находитъ—и вслѣдъ подъ землей
Одинъ за другимъ исчезаетъ.

Одинъ лишь стучится въ могилы къ другимъ:
Куда его саванъ дѣвался?
Кто такъ подшутилъ безсердечно надъ нимъ?
Вотъ онъ, наконецъ, догадался—
И въ дверь колокольни стучитъ кулакомъ,
Но долженъ склониться предъ божьимъ крестомъ:
Надъ дверью сверкаетъ распятье.

Но нѣтъ, онъ безъ савана въ гробъ не уйдетъ—
И лѣзетъ онъ, кверху взбираясь,
За выступъ карниза, за стрѣльчатый сводъ,
За рамы окошекъ цѣпляясь.
Блѣднѣетъ звонарь, испугался глупецъ;
Но выше, все выше взлѣзаетъ мертвецъ,
Какъ-будто паукъ долгоногій.

Звонарь замираетъ, звонарь еле живъ:
Минуты текутъ, словно годы...
И вотъ ужъ мертвецъ, капитель обхвативъ,
Взлѣзаетъ подъ верхніе своды;
Но мѣсяцъ вдругъ скрылся, стемнѣло вокругъ,
Раздался торжественный полночи звукъ—
И прахомъ разсыпались кости.

Н. Холодковскій.

БЛУЖДАЮЩІЙ КОЛОКОЛЪ.

(1815).

Ребенокъ въ церковь не любилъ
Ходить по воскресеньямъ—
И время службы проводилъ
Въ прогулкахъ за селеньемъ.

«Къ молитвѣ колоколъ зоветъ»,
Мать шепчетъ—рѣчь сурова:
«Онъ за тобою самъ придетъ,
Когда промедлишь снова.»

А мальчикъ думаетъ: «Висить
Высоко онъ на башнѣ»—
И, хохоча, уже бѣжитъ
Къ рѣкѣ, лугамъ и пашнѣ.

И что же—колоколъ молчитъ!
Свершилось предсказанье:
Онъ снялся съ петель и летитъ,
Какъ божье наказанье.

Ребенокъ видитъ и дрожитъ,
Отъ страха сердце ноетъ,
И что то сердцу говоритъ:
Вотъ колоколъ покроетъ!

Но мигъ — и мальчикъ побѣжалъ
Съ такою быстротою,
Что чрезъ минуту ужъ стоялъ
Предъ церковью святою.

И съ той поры, забывъ про лугъ,
Онъ въ праздникъ, въ воскресенье,
Заслыша звона первый звукъ,
Ужъ шелъ къ богослуженью.

П. Гербель.

ВѢРНЫЙ ЭККАРТЪ.

(1813).

«Зачѣмъ не вернулись мы раньше домой?
Русалки несутся за нами толпой:
Боимся сестеръ мы ужасныхъ!
Все пиво, что въ кружкахъ несемъ мы своихъ,
Отнимутъ онѣ, разопьютъ въ одинъ мигъ,
Хоть трудно достать его было!»

Такъ жалуясь, дѣти пустились бѣжать;
Вдругъ старецъ явился, ихъ сталъ утѣшать:
«Не бойтеся, милыя дѣти!
Съ охоты идутъ онѣ прямо сюда;
Но дайте имъ вволю напиться, тогда
Онѣ благосклонны къ вамъ будутъ.»

И точно, русалки несутся, спѣшатъ,
Какъ тѣни, какъ призраки, рѣютъ, летятъ —
И пьютъ съ наслажденіемъ пиво.
Какъ-разъ опустѣли всѣ кружки дѣтей —
И прочь унеслась вереница тѣней
Въ долины, въ далекія горы.

А дѣти спѣшатъ боязливо домой —
И такъ говоритъ имъ ихъ спутникъ сѣдой:
«Печалиться нечего, дѣти!»
— «Побои и брань — вотъ что дома насъ ждетъ!»
«О, нѣтъ, все отлично и мирно сойдетъ,
Но только, смотрите—ни слова!

«Вы знаете ль, съ вами кто такъ говоритъ?
Тотъ самый, кто любитъ дѣтей и хранитъ:
Я другъ вашъ, я вѣрный вашъ Эккартъ!
О мнѣ, чародѣѣ, слыхали ль разсказъ?
Вѣдь каждому, вѣрно, хотѣлось не разъ
Меня увидать: такъ глядите жъ!»

И вотъ они входятъ въ свой домъ, въ свой пріютъ
И кружки дрожащей рукой подаютъ —
И ждутъ уже брани, побоевъ.
Родные же кружки изъ рукъ ихъ берутъ
И пиво съ гостями все пьютъ они, пьютъ —
И кружки притомъ не пустѣютъ.

До утра тѣ кружки все были полны —
И многимъ казаться ужъ стали чудны
Волшебные эти сосуды;
А дѣти смѣялись, смѣялись тайкомъ,
Но все жъ проболтался старшимъ потомъ —
И кружки тотчасъ опустѣли.

И такъ, мои дѣти, коль скажетъ вамъ что
Отецъ, попечитель, учитель — все то
Исполнить вы точно старайтесь;
А если захочется что̀ проболтать,
То вспомните лучше: полезнѣй молчать —
И пиво тогда не изсякнетъ.

Ѳ. Миллеръ.

БАЛЛАДА

ОБЪ ИЗГНАННОМЪ И ВОЗВРАТИВШЕМСЯ ГРАФѢ.

(1816).

«Войди къ намъ, войди, старичокъ дорогой!
Одни мы останемся въ залѣ съ тобой—
И можемъ мы здѣсь затвориться.
Отецъ нашъ охотится въ рощѣ густой,
А мать удалилась молиться.
Спой пѣсенку намъ, повторить не лѣнись,
Чтобъ твердо запомнить могла я.
Насилу мы съ братомъ пѣвца дождались!»
И дѣти притихли, внимая.

«Кто вышелъ изъ замка, закрывшись плащомъ?
То графъ покидаетъ наслѣдственный домъ
И въ землю казну зарываетъ.
Куда онъ стремится во мракѣ ночномъ
И что подъ плащомъ укрываетъ?
Сквозь свистъ непогоды, сквозь темную ночь,
Къ могучей груди прижимая,
Несетъ онъ малютку, любимую дочь.»
И дѣти притихли, внимая.

«Пространна земля; безкорыстно пріютъ
Лѣса и поля несчастливцу даютъ;
По селамъ онъ съ пѣснею бродитъ;
И время проходитъ, и годы бѣгутъ —
И старость сѣдая приходитъ.
Подъ кровомъ небеснымъ, роскошнымъ цвѣткомъ
Ростетъ его дочь молодая,
Отъ бурь и ненастья хранима отцомъ.»
И дѣти притихли, внимая.

«Умчался годы одинъ за другимъ.
Плащомъ износившимся, старымъ, худымъ
Онъ дочку прикрыть ужъ не можетъ,
Но счастливъ сокровищемъ милымъ своимъ—
И сердце печаль не тревожитъ.
Дивуется всякій ея красотѣ:
Струится въ ней кровь не простая—
И бѣдный изгнанникъ богатъ въ нищетѣ.»
И дѣти притихли, внимая.

«Въ пути повстрѣчался имъ князь молодой —
И руку она протянула съ мольбой.
Невольно плѣнился онъ ею —
И руку схватилъ онъ могучей рукой:
«Красавица, будешь моею!»
— «Возьми и храни утѣшенье мое»,
Отецъ отвѣчаетъ, рыдая:
«Княгинею долженъ ты сдѣлать ее!»
И дѣти притихли, внимая.

«Монахъ ихъ во храмѣ святомъ обвѣнчалъ —
И рыцарь невѣсту отъ старца умчалъ,
Презрѣвши мученья разлуки.
И съ арфою снова старикъ зашагалъ,
Лелѣя и радость, и муку.
Про дочь вспоминалъ онъ и ночью, и днемъ,
О внукахъ и внучкахъ мечтая,
И въ мысляхъ не разъ осѣнялъ ихъ крестомъ.»
И дѣти притихли, внимая.

«Теперь-то я васъ обниму, наконецъ!»
Чу! въ двери стучатся: вернулся отецъ —
И некуда старцу укрыться.
— «Дѣтей не касайся! Бродяга, наглецъ,
Заставлю тебя поплатиться!
Эй, взять негодяя и бросить въ тюрьму!»
Услышала мать молодая —
И съ нѣжной мольбой поспѣшила къ нему.
А дѣти притихли, внимая.

«Не смѣютъ рабы престарѣлаго взять —
И съ нѣжностью просятъ и дѣти, и мать.
Безмолвствуетъ рыцарь сурово;
Но вотъ ужъ не можетъ онъ больше молчать —
И гнѣвное грянуло слово:
«Отродье презрѣнное, нищенскій родъ,
Униженъ теперь навсегда я!
Судьба подѣломъ наказанье мнѣ шлетъ!»
Заплакали дѣти, внимая.

«Но старецъ молчитъ — и невольно назадъ
Рабы отступили: могучъ его взглядъ —
И шумомъ наполнилась зала.
— «Давно я проклятому браку не радъ,
Но худшее мнѣ предстояло...
Не низкая кровь благородство даетъ —
Дворянская кровь родовая!
Отродье вы низкое, нищенскій родъ!»
И дѣти рыдаютъ, внимая.

— «Отецъ ли родной отвергаетъ дѣтей?
Придите же къ дѣду, придите скорѣй.
У нищаго есть вамъ защита!
Старикъ охранитъ васъ рукою своей —
И счастье въ грядущемъ открыто.
Мой замокъ отдай, похититель! Меня
Изгнала родня твоя злая.
Печати сберегъ я до этого дня!»
И дѣти притихли, внимая.

«Король милосердый на царство вступилъ
И подданнымъ вѣрнымъ права возвратилъ»,
Вѣщаетъ старикъ, торжествуя:
«И миръ, и порядокъ вездѣ наступилъ:
Печати съ сокровищъ сниму я.
Утѣшься, о, сынъ мой! Съ княгинею вновь
Живи, пререканья не зная:
Въ княгинѣ течетъ благородная кровь!»
И дѣти притихли, внимая.

Н. Холодковскій.

ПАРІЯ.

(1821).

1.

Молитва Паріи.

Брама мудрый и всесильный!
Ты отецъ всего творенья,
Правосудіемъ обильный!
Ахъ, ужель ты далъ рожденье
Лишь богатымъ и прекраснымъ,
Только райямъ и брахманамъ?
Или также обезьянамъ
И такимъ, какъ мы, несчастнымъ?

Мы ничтожны: все дурное
Намъ на долю выпадаетъ.
Что̀ другимъ грозитъ бѣдою,

То насъ только размножаетъ.
Пусть несемъ мы поруганье
Отъ людей; но въ униженьѣ
Ты яви намъ уваженье:
Вѣдь, и мы—твое созданье!

Охрани меня отъ злобы,
Тронься дѣтскою мольбою
И содѣлай, что̀ могло бы
Сочетать меня съ тобою!
Баядеру за смиренье
Ты возвысилъ до богини:
Да увидимъ же мы нынѣ
Дивныхъ дѣлъ твоихъ явленье!

2.

Легенда.

За водой приходитъ рано
Непорочная супруга
Бога Брамы — всеблагого
Справедливаго судьи.
Каждый день къ рѣкѣ священной
Воду брать она приходитъ,
Но съ собою не приноситъ
Ни кувшина, ни ведра.
Для нея они не нужны:
Подъ рукою непорочной
Струи свѣтлыя мгновенно
Въ шаръ кристальный превращались,
И она, съ веселымъ сердцемъ,
Взявъ, несла его домой.

Такъ пришла она и нынѣ
Къ водамъ Гангеса съ молитвой,
Наклонилась надъ водою —
Вдругъ въ струяхъ ея прозрачныхъ
Отразился, какъ видѣнье,
Образъ юноши прекрасный,
Пролетающій надъ нею
Въ дальней выси голубой,
Образъ, созданный такъ дивно
Лишь по мысли божества.
Пораженная явленьемъ
И смущенная душою,
На него она взираетъ,
Глазъ не можетъ отвести:
Отвернется, взглянетъ снова —

И дрожащею рукою
Воду черпать начинаетъ.
Ахъ, напрасно! Не дается
Ей священная волна:
Разсыпаясь, убѣгаетъ
И зіяетъ передъ нею
Яма черная безъ дна.
Страшно ей; трясутся ноги...
Какъ домой ей возвратиться?
Здѣсь остаться ль? Убѣжать ли?
Что̀ сказать ей въ оправданье?
Мысль совѣта не даетъ —
И предстала предъ супругомъ.
Взоръ его былъ приговоръ:
Взявши мечъ, ее повлекъ онъ
За собою къ холму смерти,
Гдѣ преступниковъ казнятъ.
Чѣмъ ей можно оправдаться?
Въ чемъ могла она сознаться,
Если не было вины?

И съ мечомъ окровавленнымъ
Возвратился онъ въ жилище.
Тутъ его встрѣчаетъ сынъ.

— «О, чья это кровь, родитель?»
— «Кровь преступницы!»

— «Неправда!
Вѣдь, къ мечу она не липнетъ,
Какъ преступная, но льется
Свѣжей, чистою струей.
Мать, поди сюда! Отецъ мой
Былъ всегда такъ правосуденъ,—
Посмотри, что̀ сдѣлалъ онъ!»

— «О, молчи, молчи! вѣдь, это
Кровь ея!»

— «Какъ? чья, сказалъ ты?»

— «О, молчи!» —

«То кровь родной?
Въ чемъ была она виновна?
Дай мнѣ мечъ! Ты былъ во власти
Умертвить свою супругу,
Но никакъ не мать мою.
Мужу вѣрная супруга
Съ нимъ въ огнѣ себя сжигаетъ;

Такъ и къ матери дорогу
Вѣрный сынъ мечомъ найдетъ!»

— «Удержись!» отецъ воскликнулъ:
«Поспѣши — еще не поздно:
Тамъ найдешь ея ты тѣло.
Къ шеѣ голову приставивъ,
Ты меча прикосновеньемъ
Жизнь ей можешь возвратить».

Онъ летитъ на мѣсто казни,
Видитъ тамъ два женскихъ трупа
И при нихъ двѣ головы.
Страшный видъ! Какой тутъ выборъ?
Онъ схватилъ главу родимой
И къ ближайшему изъ труповъ
Приложилъ съ благословеньемъ,
И мечомъ ея коснулся,
Чтобы жизнь ей возвратить.

И возсталъ гигантскій образъ —
И съ божественно привѣтныхъ
Устъ родимой вдругъ раздался
Горькихъ словъ ужасный звукъ:
«Сынъ мой, сынъ мой! что ты сдѣлалъ?
Вонъ лежитъ мой трупъ холодный
Рядомъ съ грѣшной головою
Злой преступницы, казненной
Правосудія мечомъ.
Ты меня теперь навѣки
Сочеталъ съ грѣховнымъ тѣломъ;
Съ мудрымъ духомъ, съ грѣшнымъ дѣломъ
Межъ боговъ должна я жить.
Образъ юноши прелестный,
Мысль и очи мнѣ плѣняя,
Въ грудь и сердце проникая,
Возбуждаетъ страсти пылъ.

«Вѣкъ такъ будетъ повторяться:
То всходя, то упадая,
Помрачаться, просвѣтляться —
Брамы судъ такъ порѣшилъ.
Онъ послалъ тотъ чудный призракъ,
Полный прелести небесной,
Чтобъ меня его красою
Испытать и соблазнить.
Только свыше къ намъ нисходятъ
Искушенья и соблазнъ,
И теперь я, какъ богиня,

Головой касаюсь неба,
Но, какъ парія, влеченье
Буду чувствовать къ землѣ.

«Сынъ, иди къ отцу обратно!
Укрѣпись: да не удержатъ
Васъ въ пустынѣ этой дикой
Ни раскаянья укоры,
Ни надежда на возвратъ.
Всѣ міры вы обойдите
Вѣкъ за вѣкомъ и скажите
Всѣмъ несчастнымъ, всѣмъ ничтожнымъ,
Что доступенъ Брама имъ!

«Для него, вѣдь, нѣтъ ничтожныхъ:
Кто — калѣка-ль онъ убогій,
Омраченный ли безумьемъ,
Безъ надежды исцѣленья,
Будь браминъ онъ или парій —
Взоръ свой къ небу вознесетъ,
Тотъ узнаетъ, испытаетъ,
Что тамъ тьмы очей сіяютъ,
Что тамъ тьмы ушей внимаютъ,
И ничто не скрыто имъ.

«Вознесусь къ его я трону,
И на образъ мой ужасный,
Имъ такъ страшно измѣненный,
Взглянетъ онъ и пожалѣетъ.
Будь ко благу это вамъ!
Устремясь къ нему съ привѣтомъ,
Я скажу съ негодованьемъ
Все, что́ разумъ мнѣ внушаетъ,
Все, что̀ сердце наполняетъ;
Но что̀ чувствую, что̀ мыслю,
Будетъ тайною навѣкъ!»

3.

Благодарность Паріи.

Брама мощный и великій!
Ты міровъ создатель славный,
Ты Господь мой и владыка —
Предъ тобою всѣ мы равны!

Отъ ничтожныхъ, угнетенныхъ
Слуха ты не отвращаешь,
Насъ — презрѣнныхъ, униженныхъ —
Къ новой жизни возрождаешь.

Вотъ жена — она чрезъ мужа
Стала свѣтлою богиней.
Воздѣвая къ небу руки,
Я тебя прославлю нынѣ!

Ѳ. Миллеръ.

МУЖЪ И ЖЕНА.

(1827).

Вотъ, завтра день Мартина!
Для мужа своего
Жена смѣсила пуддингъ
И выпекла его.

Легли въ постель, а вѣтеръ
Вкругъ воетъ, будто звѣрь.
И молвитъ мужъ: «Старуха,
Поди, запри-ка дверь!»

— «Я только-что согрѣлась»,
Она ему въ отвѣтъ:
«Пускай она хлобыщетъ,
Мнѣ встать охоты нѣтъ».

И оба сговорились
Принять такой чередъ:
Кто первый скажетъ слово,
Пускай тотъ и запретъ.

Два путника случайно
Въ избушку забрели.
Ни зги кругомъ не видно,
Хоть глазъ себѣ коли.

— «Что это за трущоба?
Разбить тутъ можно лобъ.
Души живой не слышно.»
А дверь все хлопъ да хлопъ.

Вотъ пуддингъ отыскали
И съѣли въ аппетитъ.
Жена все это слышитъ,
Но все-таки молчитъ.

Одинъ сказалъ другому:
«Теперь бы выпить намъ!
Тутъ гдѣ-то пахнетъ водкой:
Пошаримъ по угламъ».

Нашли въ шкафу бутылку.
«Вѣдь, водка тутъ, ей-ей!

Давай поочередно
Прикладываться къ ней».

Тутъ мужъ вскочилъ съ постели
И закричалъ гостямъ:
«За водку платятъ деньги —
Я даромъ пить не дамъ».

За нимъ жена вскочила
И крикнула: «Смотри:
Сказалъ ты первый слово,
Такъ дверь ты и запри!»

Ѳ. Миллеръ.

СОНЕТЫ.

(1807—1808).

МОГУЧАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ.

Изъ мрачныхъ горъ, съ подоблачной вершины,
Потокъ навстрѣчу морю шумно мчится
И — пусть въ волнахъ любое отразится —
Спѣшитъ онъ мимо, чтобъ достичь долины.

Но Ореасъ *), чтобъ тѣмъ повеселиться,
Вдругъ воздвигаетъ на пути тѣснины;
Покрыты лѣсомъ, встали исполины —
Вода какъ въ чашѣ: некуда стремиться.

Волна, колеблясь, брызжетъ, отступаетъ,
Бѣжитъ назадъ, сама себя питая;
Но не сломить преграды той суровой.

И озеро, смиряясь, утихаетъ,
И звѣзды, отраженьемъ въ немъ блистая,
Прибою внемлютъ — плеску жизни новой.

Н. Холодковскій.

МИЛАЯ ВСТРѢЧА.

Межъ дикихъ скалъ, людского чуждъ привѣта,
Плащомъ закутанъ, свѣта убѣгая,
Я шелъ, куда дорога шла крутая,
И было мглою все вокругъ одѣто.

Но вотъ блеснулъ какъ-будто лучъ разсвѣта:
Явилась дѣва, сердце мнѣ плѣняя,
Прекрасная, какъ ангелъ, житель рая,
Какъ героиня дивная поэта.

Я отвернулся, чтобы удалилась
Красавица, и снова въ путь далекій,
Плащомъ закрывшись, прочь хотѣлъ бѣжать я —

*) Горная нимфа.

Но шелъ за ней. Она остановилась.
Свершилося! Я сбросилъ плащъ широкій —
И милая упала мнѣ въ объятья.

Н. Холодковскій.

СКАЗАНО — СДѢЛАНО.

Ужель я къ ней привыкну совершенно?
Нѣтъ, это было бъ слишкомъ мнѣ досадно.
Итакъ, рѣшу сегодня жъ, безпощадно,
Къ ней не итти! Исполню непремѣнно!

Но какъ мнѣ съ сердцемъ быть? Тревожно-плѣнно,
Оно навстрѣчу къ ней стремится жадно.
Излить мнѣ будетъ жалобу отрадно
Въ аккордахъ грустныхъ пѣсни вдохновенной.

Смѣлѣе же! Пѣвца всесильно слово:
Привычная звучитъ послушно лира,
Любви свершая жертвоприношенье;

Мгновеніе — и пѣсня ужъ готова.
Но что со мной? Опять къ ногамъ кумира
Хотѣлъ спѣшить я — пѣть свое творенье!

Н. Холодковскій.

ДѢВУШКА.

Ты такъ суровъ, мой милый! Ты на диво
Похожъ на бюстъ твой мраморный, холодный,
Отъ жизни, страсти и любви свободный,
И даже онъ глядитъ не такъ строптиво.

Пусть врагъ за щитъ свой прячется пугливо,
Другъ — будь открытъ душою благородной!
Меня ты избѣгаешь? Трудъ безплодный!
Тебя, какъ бюстъ, держу я терпѣливо.

Къ кому жъ изъ двухъ я обращусь? Должна ли
Страдать я отъ обоихъ въ равной долѣ?
Онъ мертвъ, а ты хоть живъ, глядишь не живо.

Такъ нѣтъ же! Чтобъ слова не пропадали,
Я буду цѣловать его, доколѣ
Меня не станешь отнимать ревниво!

Н. Холодковскій.

РАЗЛУКА.

Не насыщенный тысячью лобзаній,
Съ однимъ, послѣднимъ, скорбно я разстался,

И милый берегъ позади остался!
Съ рѣкой, холмами, пестрымъ рядомъ зданій.

Источникомъ живыхъ очарованій
Душѣ моей больной онъ представлялся.
Но вотъ уже вдали онъ потерялся:
Не различить туманныхъ очертаній!

Когда жъ границей взору море стало —
Вся страсть моя возникла съ новой силой,
Взяла меня безсильная досада.

Но вдругъ—какъ будто небо просіяло...
Подумалъ я: «Все взялъ я, что̀ мнѣ мило,
Со мной повсюду вся моя отрада!»

Н. Холодковскій.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.

Въ день страшнаго суда, какъ надъ гробами
Гласъ трубный грянетъ, мертвыхъ воздвигая,
О каждомъ праздномъ словѣ, не скрывая,
Отвѣтъ дадимъ мы грѣшными устами.

Но что̀ жъ со всѣми станется словами,
Которыя съ любовью и съ тоскою
Я расточалъ, мой другъ, передъ тобою,
Коль было все — лишь праздными рѣчами?

Подумай же и взвѣсь все безусловно,
Мой другъ, пока поправить въ нашей власти,
Чтобъ не случилась страшная невзгода:

Вѣдь, если все я повторю дословно,
Что̀ наболталъ тебѣ въ порывахъ страсти —
То день суда длиннѣе будетъ года!

Н. Холодковскій.

ДѢВУШКА И ПОЭТЪ.

ОНА.

Мнѣ странны все жъ риѳмованныя строки;
Ихъ слушаю, имъ вѣрить бы готова;
Но можно ль такъ размѣрить въ рамкахъ слова
Тѣ чувства, что̀ столь нѣжны, столь глубоки?

Отъ скуки льешь ты звучныхъ риѳмъ потоки,
Терзаешь глубь души своей суровò, —
Но чародѣйствомъ словъ излѣчишь снова
Всѣ раны, сколь бы ни были жестоки.

онъ.

Прекрасный другъ мой! Ты сравни поэта
Съ сапероиъ: пусть по правиламъ науки
Проводитъ мины онъ пороховыя;

И все-таки — сильнѣй его стихія;
Вмигъ грянетъ взрывъ—и вверхъ, не взвидя свѣта,
Взлетитъ онъ самъ, и съ нимъ его всѣ штуки!

Н. Холодковскій.

КНИГА ПЕРВАЯ.

РИМСКІЯ ЭЛЕГІИ.

(1789).

1.

Камни, дворцы величавые, слово свое мнѣ скажите!
Улицы, дайте отвѣтъ! Геній, ты живъ ли еще?
Да, въ твоихъ стѣнахъ священныхъ, о Римъ, все исполнено жизни;
Для одного лишь меня все въ немъ молчанье хранитъ!
О, кто повѣдаетъ мнѣ, у какого окна я увижу
Нѣкогда милый мнѣ ликъ, такъ чаровавшій меня?
Какъ мнѣ припомнить пути, по которымъ я такъ постоянно
Къ ней и назадъ отъ нея въ годы былые ходилъ?
Вотъ, я смотрю на дворцы, на столпы, на рупны и храмы,
Какъ разсудительный мужъ, ищущій пользы одной.
Скоро все это минуетъ — и будетъ все храмъ лишь единый
Бога Амура — и онъ приметъ адептовъ своихъ.
Римъ, ты вмѣщаешь весь міръ; но не будь въ немъ любви благодатной —
Не былъ бы міромъ и міръ, не былъ бы Римомъ и Римъ!

Ѳ. Миллеръ.

2.

Чтите кого вамъ угодно! Теперь я отъ васъ уже скрылся!
Больше не вижу ужъ я свѣтскихъ и дамъ, и господъ;
Да, и не слышу ужъ скучныхъ вопросовъ о братьяхъ и теткахъ
И о всѣхъ прочихъ родныхъ; также не вижу и картъ,
Вѣчно идущихъ на смѣну пустыхъ разговоровъ: все это
Чуть до безумья меня не доводило порой!
Модныя мнѣнья свои повторяйте: я ихъ не услышу!
Пусть съ быстротою они міръ облетаютъ земной!
Нѣкогда такъ одинъ бриттъ, путешествуя, пѣснь о Мальбругѣ
Долженъ былъ слушать вездѣ: путь изъ Парижа держалъ
Онъ на Ливорно и далѣе въ Римъ и въ Неаполь; но — горе!
Пѣснь все гналася за нимъ. Если бъ онъ въ Смирну прибылъ,
Тоже бы тамъ услыхалъ онъ. И мнѣ приходилося слушать
Разныя рѣчи про все: про короля, про народъ.
Но ужъ теперь отыскать меня въ этомъ убѣжищѣ трудно:
Самъ благосклонный Амуръ здѣсь насъ отъ міра укрылъ,

Крыльями насъ осѣняя. Моя дорогая римлянка!
Храброму сердцу ея галлы не страшны совсѣмъ:
Новости слушать она не охотница: ей вся забота
Въ томъ, чтобъ тому угодить, кто ей дороже всего.
Любитъ она чужестранца — и какъ! Онъ свободенъ и силенъ;
Онъ ей о снѣжныхъ горахъ много чего разсказалъ.
Да, она съ нимъ раздѣляетъ восторги, которые ею
Сердцу его внушены; мило ей въ другѣ и то,
Что онъ не скупъ, какъ природный римлянинъ, и платья даритъ ей,
И экипажъ, чтобъ могла въ оперу съѣздить порой.
Дочери, такъ какъ и матери, сѣверный гость ихъ пріятенъ:
Сердцемъ римлянки вполнѣ варваръ теперь овладѣлъ.

Ѳ. Миллеръ.

3.

Милая, въ томъ ты не кайся, что мнѣ отдалась такъ поспѣшно!
Вѣрь, не съ презрѣньемъ въ душѣ думаю я о тебѣ!
Стрѣлы Эрота бываютъ не равнаго свойства: иныя
Въ грудь попадаютъ и ядъ въ ней оставляютъ навѣкъ;
Есть и другія—крылатыя, съ тонко-заостреннымъ жаломъ:
Эти вонзаются въ мозгъ, кровь источаютъ и жгутъ.
Въ вѣкъ героическій міра, когда еще боги любили,
Взглядъ вызывалъ страсти жаръ, страсть вызывала восторгъ.
Думаешь, милая, долго богиня Любви размышляла,
Встрѣтивъ Анхиза въ лѣсу? Если бы только луна
Въ рощѣ успѣла сонливца своимъ наградить поцѣлуемъ,
Тотчасъ Аврора его сжала бъ въ объятьяхъ своихъ.
Въ полдень встрѣтилась Геро съ Леандромъ, а въ полночь ужъ мчался
Онъ по волнамъ — и подъ нимъ грозно шумѣлъ Геллеспонтъ.
Сильвія Рея, владычица Тибра, пришла лишь напиться
На́ берегъ тихій — и Марсъ страстью ее оковалъ.
Такъ родились сыновья у него! Близнецовъ тѣхъ вскормила
Грудью волчица — и Римъ міра владыкою сталъ.

Н. Гербель.

4.

Крѣпко другъ друга любя, преисполнились мы благочестья:
Всѣхъ мы боговъ и богинь склонны теперь почитать.
Вамъ, побѣдители-римляне, мы уподобились: вы, вѣдь,
Мѣсто во храмахъ своихъ всякимъ давали богамъ:
Были ли то изъ базальта египтянъ суровыхъ созданья,
Иль ихъ изъ мрамора грекъ, страстный художникъ, создалъ.
Но, вѣдь, не будетъ богамъ оскорбленіемъ, если мы будемъ
Чаще одной изъ богинь свой воскурять ѳиміамъ?
Да, сознаемся охотно — въ своемъ ежедневномъ служеньѣ
Мы лишь къ богинѣ одной любимъ мольбы возносить.
Въ честь ея празднества мы устрояемъ подчасъ, но хранимъ ихъ
Въ тайнѣ глубокой отъ всѣхъ, давши взаимный обѣтъ.

Да, мы готовы скорѣе вражду безпощадныхъ Эринній
Сами навлечь на себя, дѣло дурное свершивъ,
Или подъ гнѣвомъ Зевеса страданье терпѣть на утесѣ,
Чѣмъ отказаться служить милой богинѣ своей.
Эта богиня зовется Случайностью. Да, и замѣтьте —
Въ образахъ разныхъ она любитъ являться своимъ:
Дочь она, видно, Протея и славной Оетиды, которой
Тихій, обманчивый видъ многихъ героевъ сгубилъ.
Любо ей тоже обманывать слабыхъ, неопытныхъ, скромныхъ,
Любо ей спящихъ дразнить: бодрыхъ не тронетъ она.
Только лишь съ сильнымъ, рѣшительнымъ мужемъ она и дружится,
Съ нимъ и кротка, и добра, даже покорна ему.
Мнѣ она также однажды явилась смуглянкою дѣвой:
Темныя пряди волосъ ей покрывали чело,
Въ кольцахъ крутились онѣ вокругъ ея шейки прелестной
И завивались въ кудряхъ вкругъ молодой головы.
Я, не узнавши богини, ее обхватилъ и не долго
Ждалъ я въ отвѣтъ отъ нея нѣжныхъ лобзаній себѣ.
Какъ я блаженствовалъ! Тише — то время уже миновало!
Римскими косами я крѣпко обвитъ и теперь!

О. Миллеръ.

5.

Радостно здѣсь вдохновленъ я; на этой классической почвѣ
Нынѣшній вѣкъ и минувшій понятнѣе мнѣ говорятъ.
Здѣсь я у древнихъ учусь и, что день, съ наслажденіемъ новымъ
Тщательно, листъ за листомъ, разбираю творенія ихъ.
Но по ночамъ богъ Любви занимаетъ пришельца иначе:
Пусть вполовину я буду ученъ — за то счастливъ вдвойнѣ!
И не учусь ли я также, когда, по изящному стану
Тихо спускаясь рукою, изслѣдую чудныя формы
Груди возлюбленной? Только тогда постигаю, какъ должно,
Мраморъ, сличаю и мыслю, гляжу осязающимъ глазомъ,
Зрящей рукою осязаю. Ежели часъ иль другой
Милая днемъ и похититъ, то ночь всю даритъ мнѣ взамѣну.
Часто — не все жъ цѣловаться — разумно бесѣдуемъ мы;
Сонъ ли ее одолѣетъ — лежу я и думаю много.
Часто стихи я слагалъ, оставаясь въ объятьяхъ ея,
Звучныя мѣры гекзаметра пальцами тихо считая
На обнаженномъ плечѣ. Горячо она дышитъ въ дремотѣ
И глубоко проникаетъ мнѣ сладость дыханія въ грудь.
Молча, Амуръ между тѣмъ возбуждаетъ ночную лампаду,
Тѣ времена вспоминая, когда онъ такую жъ услугу
Тайно оказывалъ здѣсь молодымъ тріумвирамъ своимъ.

А. Яхонтовъ.

6.

«Можно ль, жестокій, обидѣть меня такимъ страшнымъ укоромъ?
Станетъ ли ѣдко и грубо такъ выражаться влюбленный?

Если винятъ меня люди—я стану терпѣть: я отчасти—
Знаю сама—не безгрѣшна, но, вѣрь мнѣ, съ однимъ лишь тобою!
Этотъ прелатскій костюмъ у завистливой нашей сосѣдки—
Вѣрный свидѣтель тому, что вдова ужъ не плачетъ по мужѣ.
Вспомни, не ты ли являлся ко мнѣ опрометчиво, ночью,
Въ длинной и темной одеждѣ, въ кружокъ подобравъ свои кудри?
Вспомни, не ты ли, шутя, одѣвался святою особой?
Ты, разумѣется, долженъ тогда былъ прелатомъ казаться.
Въ Римѣ святомъ же, хотя тому вѣрятъ едва ли, клянуся,
Что ни одинъ изъ духовныхъ объятій моихъ не отвѣдалъ!
Я, къ сожалѣнью, была молода, и бѣдна, и знакома
Всѣмъ соблазнителямъ: часто глазѣлъ на меня Фальконьери;
Сводникъ Альбани не разъ, въ напыщенной нѣжной запискѣ,
Къ Остіи въ полночь притти меня вызывалъ на свиданье.
Такъ, всѣ мужчины искали меня, а дѣвицы чуждались;
Въ сердцѣ жъ всегда ненавидѣла я кардинала съ прелатомъ.
«Дѣвушки, вы черезъ страсти бываете вѣчно въ обманѣ!»
Разъ мнѣ отецъ мой сказалъ; что жъ до матери—та промолчала.
Такъ, наконецъ, и сама я обманута! Ты же со мною
Ссоришься только для виду: меня ты покинуть задумалъ.
Прочь! Недостойны вы женщинъ! Мы носимъ младенцевъ подъ сердцемъ;
Съ этой же ношей и вѣрность къ любовнику въ сердцѣ мы носимъ;
Вы же теряете вмѣстѣ съ вашею силой и страстью
Разомъ и вашу любовь въ концѣ наслажденія съ нами!»
Такъ говорила мнѣ милая. Взявши со стула младенца,
Къ сердцу прижала его съ поцѣлуемъ, и вдругъ зарыдала.
Сѣлъ я—и стало мнѣ стыдно, что слухи людей злорѣчивыхъ
Этотъ прекраснѣйшій образъ могли запятнать предо мною.
Тускло горитъ огонекъ: то вдругъ вспыхнетъ, то вновь задымится,
Если вода его пылъ, пролившись внезапно, затушитъ;
Но, вотъ, онъ вновь разгорается, дымъ разгоняетъ, свѣтлѣетъ...
Мигъ—и могучѣй, чѣмъ прежде, рвется блестящее пламя.

В. Крестовскій.

7.

О, какъ мнѣ весело въ Римѣ, когда вспоминаю то время,
Какъ меня пасмурный день сѣверныхъ странъ обнималъ;
Какъ тяжело на чело мое мрачное небо спускалось,
Массой безцвѣтною міръ предъ утомленнымъ лежалъ;
Какъ о самомъ я себѣ, съ недовольной душой созерцая
Мрачные жизни пути, въ думу сидѣлъ погруженъ!
Но вотъ теперь мнѣ чело озаряетъ сіянье эѳира,
Фебъ лучезарный творитъ образы въ немъ и цвѣта,
Чудная звѣздная ночь несетъ ко мнѣ мягкіе звуки,
Мѣсяцъ мнѣ свѣтитъ съ небесъ ярче, чѣмъ сѣверный день.
Что за блаженство вкушаю я, смертный? Не грезы ли это?
Ты ли, Юпитеръ-отецъ, гостя въ свой принялъ чертогъ?

Ахъ, здѣсь лежу я и руки къ колѣнамъ твоимъ простираю
Съ теплой мольбой: «О, прости, Ксеній-Юпитеръ, меня!»
Какъ очутился я здѣсь—не могу себѣ самъ объяснить я:
Геба скитальца взяла и въ твой чертогъ привела.
Не повелѣлъ ли ты ей привести одного изъ героевъ?
Видно, ошиблась она? Въ пользу ошибку мнѣ дай!
Вѣдь, и Фортуна сама, твоя дочь, разсыпаетъ даянья,
Слѣдуя въ этомъ порой женской причудѣ своей.
Если къ гостямъ ты привѣтливъ, то странника ты не прогонишь
Отъ Олимпійскихъ высотъ снова на землю назадъ.
«Прочь! куда ты забрался, поэтъ?»—О, прости мнѣ, Юпитеръ!
Капитолійскій здѣсь холмъ—это второй твой Олимпъ.
Дай мнѣ остаться на немъ, чтобъ, оставивъ потомъ за собою
Памятникъ Цестія, въ Оркъ Гермесъ представилъ меня!

О. Миллеръ.

8.

Другъ мой, когда говоришь, что ты въ дѣтствѣ не нравилась людямъ;
Что ненавидѣла мать, бѣдную крошку, тебя;
Что ты росла безъ призору, сама развилась и окрѣпла—
Вѣрю и радуюсь, что ты не похожа на всѣхъ.
Нѣтъ ни цвѣта, ни вида въ убогомъ цвѣткѣ виноградномъ,
Плодъ же впиваютъ его боги и люди съ хвалой.

Н. Гербель.

9.

Весело осенью пламя въ каминѣ укромномъ пылаетъ,
Блещетъ и громко трещитъ, мчась съ завываньемъ въ трубу.
Нынче мнѣ весело: прежде, чѣмъ эта вязанка подъ пепломъ
Тихо истлѣетъ, придетъ дѣвушка-радость ко мнѣ.
Разомъ тогда и сосна, и береза, и ель запылаютъ
И пробужденную ночь въ праздникъ любви превратятъ.
Завтра же утромъ она озабоченно ложе покинетъ
И, отыскавши въ золѣ искру, свѣтильникъ зажжетъ.
Далъ ей, плутовкѣ, Эротъ безцѣнную въ мірѣ способность—
Радость въ душѣ возбуждать, словно ту искру въ золѣ.

Н. Гербель.

10.

И Александръ, и Цезарь, и Генрихъ, и Фридрихъ Великій
Отдали бъ славы своей мнѣ половину сейчасъ,
Если бъ на ночь лишь одну я имъ могъ уступить свое ложе;
Но подъ сырою землей держитъ ихъ Орка рука.
Радуйся жъ, каждый живущій, и пей наслажденія чашу,
Грозная Лета пока ногъ не смочила твоихъ!

Н. Гербель.

11.

Граціи, здѣсь на алтарь вашъ священный поэтъ возлагаетъ
Нѣсколько бѣдныхъ листковъ съ горстью распуколокъ-розъ—
И возлагаетъ съ надеждой. Радостно смотритъ художникъ
На мастерскую свою, если она—Пантеонъ.
Зевсъ-громовержецъ склоняетъ долу чело, а Юнона
Къ небу вздымаетъ его; Фебъ лучезарный идетъ—
Кудри сбѣгаютъ до плечъ; непривѣтливо смотритъ Минерва;
Гермеса взглядъ воровской бродитъ лукаво вокругъ.
Что же до Бахуса, то на немъ, мягко-сонливомъ, Цитера
Взоры покоитъ свои, полные влаги съ огнемъ
Въ мраморѣ самомъ, и точно сгорая, желаетъ промолвить:
«Развѣ не долженъ нашъ сынъ здѣсь между нами стоять?»

Н. Гербель.

12.

Слышишь—веселые клики съ фламинской дороги несутся:
Идутъ съ работы домой въ дальнюю землю жнецы.
Кончили жатву для римлянъ они; не свиваетъ
Самъ надменный Квиритъ доброй Церерѣ вѣнка.
Праздниковъ болѣе нѣтъ во славу великой богини,
Давшей народу взамѣнъ желудя—хлѣбъ золотой...
Мы же съ тобою вдвоемъ отпразднуемъ радостный праздникъ..
Другъ для друга теперь двое—мы цѣлый народъ.
Такъ, ты слыхала не разъ о тайныхъ пирахъ Элевзиса:
Скоро въ отчизну съ собой ихъ побѣдитель занесъ.
Греки ввели тотъ обрядъ—и греки, все греки взывали.
Даже въ римскихъ стѣнахъ: «къ ночи спѣшите святой!»
Прочь убѣгалъ оглашенный; сгоралъ ученикъ ожиданьемъ.
Юношу бѣлый хитонъ, знакъ чистоты, покрывалъ.
Робко въ таинственный кругъ онъ входилъ: стояли рядами
Образы дивные; самъ—словно бродилъ онъ во снѣ.
Змѣи вились по землѣ; несли цвѣтущія дѣвы
Ларчикъ закрытый. На немъ пышно качался вѣнокъ
Спѣлыхъ колосьевъ. Жрецы, торжественно двигаясь, пѣли.
Свѣта съ тревожной тоской трепетно ждалъ ученикъ.
Вотъ, послѣ долгихъ и тяжкихъ искусовъ, ему открывали
Смыслъ освященныхъ круговъ, дивныхъ обрядовъ и лицъ—
Тайну, но тайну какую? Не ту ли, что тѣсныхъ объятій
Сильнаго смертнаго ты, мать Церера, сама
Разъ пожелала, когда свое безсмертное тѣло
Все Язіону царю ласково ты предала.
Какъ осчастливленъ былъ Критъ! И брачное ложе богини
Такъ и вскипѣло зерномъ, тучной покрылось травой.
Вся жъ остальная зачахла земля: забыла богиня
Въ часъ упоительныхъ нѣгъ свой благодѣтельный долгъ.
Такъ съ изумленьемъ нѣмымъ разсказу внималъ посвященный;
Милой кивалъ онъ своей... Другъ, о, пойми же меня!

Тотъ развѣсистый миртъ осѣняетъ уютное мѣсто;
Наше блаженство землѣ тяжкой бѣдой не грозитъ.

И. Тургеневъ.

13.

Только довѣрься Амуру лукавому — вмигъ онъ обманетъ!
Съ лестью пришелъ онъ ко мнѣ, молвитъ: «Повѣрь мнѣ хоть разъ!
Я благодаренъ тебѣ: ты всю жизнь свою, всѣ свои пѣсни,
Вѣдь, направлялъ и слагалъ, чтобы прославить меня.
Нынѣ, смотри: за тобою пришелъ я въ Римъ, и конечно,
Много могу я тебѣ здѣсь, на чужбинѣ, помочь.
Часто во время пути угощаютъ странника плохо;
Если же съ нимъ Купидонъ — съ радостью встрѣтятъ его.
Взоры твои восхищаются древнихъ руинъ красотою,
Ты съ вдохновеннымъ челомъ бродишь на мѣстѣ святомъ
И преклонялся не разъ предъ созданьями, дивными вѣчно,
Чудныхъ творцовъ. Въ мастерской часто я ихъ посѣщалъ,
Эти созданья — мои! И повѣрь, я не думаю вовсе
Хвастаться! Знаешь ты самъ: истину я говорю.
Нынѣ лѣниво ты сталъ мнѣ служить. Гдѣ прежняя живость
Вымысловъ дивныхъ твоихъ, красокъ роскошныхъ игра?
Хочешь ли снова творить, о, мой милый? Греческой школы
Двери открыты тебѣ: ихъ не закрыли вѣка.
Я — твой учитель, и вѣчно я юнъ, и юныхъ люблю я:
Скучнаго старца въ тебѣ видѣть бы я не хотѣлъ.
Было же нѣкогда древнее новымъ, при жизни счастливыхъ
Тѣхъ мастеровъ: и въ тебѣ древнее пусть оживетъ!
Хочешь ли тему для пѣсни? Ее тебѣ дамъ я охотно.
Вѣрь мнѣ: научитъ тебя высшему стилю — любовь.»
Такъ говорилъ мой софистъ — и ему возразить не умѣлъ я,
Такъ я привыкъ исполнять все, что онъ мнѣ повелитъ.
Хитрый обманщикъ, канву онъ мнѣ далъ для созданья, но этимъ
Время похитилъ мое, разума силу и власть.
Взоры, пожатія рукъ, поцѣлуи, привѣтныя рѣчи
Щедро другъ другу даритъ нѣжныхъ влюбленныхъ чета.
Лепетъ любви безпорядоченъ, сладкія рѣчи — безъ ритма;
Стройнаго метра лишенъ гимнъ вдохновенный любви.
О, золотая Аврора! Подругою Музъ ты считалась
Прежде, а нынѣ Амуръ, вѣрно, прельстилъ и тебя?
Ты мнѣ подругой Амура являешься: будишь меня ты
Вновь у его алтаря въ этотъ торжественный день.
Пышно разсыпавшись, чудные локоны милой головки
Грудь покрываютъ мою, руку сжимаетъ рука.
О, пробужденье чудесное! Помню я ночь упоенья...
Дивныя ласки любви, вы усыпили меня!
Вотъ повернулась во снѣ, отодвинулась милая тихо
Прочь отъ меня, но рука все жъ остается въ рукѣ:
Связаны съ ней мы любовью сердечною, вѣрною страстью;

Кратокъ нашъ отдыхъ отъ ласкъ пылкой и страстной любви.
Руку пожалъ я возлюбленной — боги, открылися очи
Милой подруги! О, нѣтъ! Снова сомкнитеся сномъ!
Дайте творить мнѣ — творить я хочу! Въ созерцанье святое
Мнѣ погрузиться не дастъ милыхъ очей красота.
Что за роскошныя формы, пышные, стройные члены!
Отъ Аріадны, Тезей, какъ убѣжалъ ты, скажи?
Только одинъ поцѣлуй въ эти губки... Тезей, убѣгай же!
Видишь: проснулась она. Нѣтъ не уйти, не уйти!

Н. Холодковскій.

14.

«Мальчикъ, огня поскорѣе!» — «Еще не стемнѣло. Вы только
Масло напрасно и воскъ тратить хотите. Взгляните —
Ставни закрыты повсюду, и солнышко только-что скрылось
Не за горой — за стѣной. Надо еще подождать.»
— «Дерзкій, иди и исполни: я дѣвушку жду — не дождуся!
Ты жъ меня, лампа, утѣшь, ночи товарищъ и другъ!»

Н. Гербель.

15.

Нѣтъ, никогда бъ не пошелъ я за Цезаремъ въ землю британцевъ!
Въ Римѣ, въ таверне, сидѣть мнѣ несравненно милѣй.
Сѣвера мгла и туманъ для меня стократъ непріятнѣй,
Чѣмъ нескончаемый рой южныхъ докучливыхъ блохъ.
Нынѣ жъ особенно сталъ я поклонникомъ римскихъ харчевенъ
(Имя «остерія» здѣсь мѣтко присвоено имъ).
Милую тамъ повстрѣчалъ я впервые, съ дядею старымъ;
Внучки коварной проказъ дядя замѣтить не могъ.
Какъ-то за общимъ столомъ съ земляками сидѣлъ я, и тутъ же,
Съ матерью рядомъ, она сѣла вблизи отъ меня.
Ловко скамейку она передвинула, ловко усѣлась
Въ полъ-оборота ко мнѣ: въ профиль я видѣлъ ее.
Громче она говорила, чѣмъ принято дѣвушкѣ римской,
Взоры бросала ко мнѣ; вижу: вино пролилось
Мимо стакана у ней — и хорошенькій пальчикъ выводитъ
Тихо на гладкомъ столѣ множество разныхъ кружковъ.
Вензель проказница вывела мой, со своимъ сочетала;
Зорко слѣжу я за ней, зорко за мною она.
Вижу я: римское «пять» рисуетъ плутовка и рядомъ
Ставитъ черту передъ нимъ. Только успѣлъ я взглянуть —
Быстро кружки за кружками покрыли и цифры, и буквы.
Милая, понялъ я все: цифру «четыре» поймалъ.
Мучимъ тоской нетерпѣнья, недвижно и тихо сидѣлъ я,
Страстью лукавой томимъ, губы кусая себѣ.
Долго до ночи — и ночью четыре часа ожиданья!
Дивное солнце, на Римъ льешь ты сіяющій свѣтъ.
«Нѣтъ ничего величавѣе Рима, и вѣчно не будетъ!»
Такъ вдохновенный поэтъ, славный Горацій, сказалъ.

Только сегодня не медли, о, солнце! Блестящіе взоры
Раньше къ закату склони, Римъ семихолмный покинь!
Часъ, живописцу любезный, заката роскошнаго время,
Ты сократи для меня — просьбѣ поэта внемли!
Яркимъ лучомъ озари ты фасады и куполы зданій
И обелисковъ верхи алымъ сіяньемъ облей —
И погрузись въ океанъ; на утро жъ возстань поскорѣе,
Чтобы опять созерцать вѣчную Рима красу:
Влажный и низменный брегъ, камышами поросшій далеко,
Горъ величавый хребетъ, лѣсомъ покрытый густымъ.
Нѣсколько хижинъ стояло здѣсь прежде; потомъ поселился
Смѣлыхъ разбойниковъ въ нихъ вѣчно подвижный народъ.
Все привлекалося въ это священное, дивное мѣсто:
Прочее все на землѣ было ничтожно предъ нимъ.
Дивный возсталъ и разрушился міръ; изъ развалинъ священныхъ
Съ чудною силою возникъ новый, чудеснѣйшій міръ.
Чтобы его созерцать мнѣ подолѣй въ сіяніи солнца,
Медленно, Парка, пряди тонкую нить для меня!
Онъ же пускай поскорѣе настанетъ, часъ мой завѣтный!
Боги, не онъ ли? О, нѣтъ! Впрочемъ, ужъ пробило три.
Милыя музы, промчали вы быстро несносное время,
Время разлуки моей! Сладкій ужъ близится часъ!
Музы, прощайте: спѣшу я — и васъ оскорбить не страшуся!
Гордыя, богу Любви все жъ вы должны уступить!

Н. Холодковскій.

16.

— «Милый, чего поутру не пришелъ ты ко мнѣ въ виноградникъ?
Какъ обѣщала, вверху я поджидала тебя.»
— «Милая, я приходилъ, да подъ горкою встрѣтился съ дѣдомъ;
Что-то работалъ онъ тамъ. Я посмотрѣлъ и ушелъ.»
— «Какъ ты жестоко ошибся: ты чучелу принялъ за дѣда,—
Мы смастерили ее изъ лоскутковъ и вѣтвей.
Стало-быть, дѣдушкѣ я на свою же бѣду помогала!»
Что жъ, старику удалось — цѣли своей онъ достигъ:
Самую хищную птицу спугнулъ онъ — не то бъ обокрала
Разомъ сегодня она садикъ и внучку его.

Н. Гербель.

17.

Есть непріятные звуки, но мнѣ изъ нихъ всѣхъ непріятнѣй
Лай и ворчаніе пса: ухо дерутъ они мнѣ.
Только одинъ есть во всемъ околодкѣ, чей лай и рычанье
Нравятся мнѣ по ночамъ. Песъ тотъ въ сосѣдствѣ живетъ.
Разъ онъ навстрѣчу моей ненаглядной залаялъ въ то время,
Какъ она шла — и едва тайну не выдалъ мою.
Лишь его лай я услышу — «идетъ» говорю я невольно,
Или хоть вспомню про то, какъ поджидалъ я ее.

Н. Гербель.

18.

Мнѣ непріятно одно, а другое противно и гадко,
Такъ что при мысли одной кровь начинаетъ кипѣть.
Да, хоть и тяжко, а надо сознаться, что какъ ни досадно
Ложа съ подругой своей въ мракѣ ночномъ не дѣлить,
Все жъ непріятнѣй еще на чудномъ пути наслажденья
Змѣй только видѣть и ядъ чувствовать въ запахѣ розъ —
Видѣть въ то время, когда наслажденію съ ней предаешься,
Думу на миломъ челѣ, грустно склоненномъ къ груди.
Вотъ почему Фаустина счастливитъ меня: она дѣлитъ
Ложе охотно со мной, честь соблюдая мою.
Юность торопится — любитъ поспѣшность; я жъ наслаждаться
Благомъ, ниспосланнымъ мнѣ, долго и мирно люблю.
Такъ наслаждаемся мы подъ покровомъ таинственной ночи —
Грудью прижавшись къ груди, внемлемъ грозѣ и дождю;
Такъ застаетъ насъ заря — и часы наслажденья приносятъ
Тысячи новыхъ цвѣтовъ, гордость наставшаго дня.
Будьте же мнѣ благодарны, квириты! И Богъ да надѣлитъ
Всѣхъ, какъ счастливца меня, лучшимъ изъ благъ неземныхъ!

Н. Гербель.

19.

Доброе имя мнѣ трудно сберечь: я знаю, съ Амуромъ,
Нѣжнымъ владыкой моимъ, Слава враждуетъ давно.
Знаете ль вы, почему ненавистенъ Амуръ для богини?
Древній объ этомъ есть миѳъ — вамъ я его разскажу.
Слава — богиня могучая, только тяжелаго нрава:
Любитъ повсюду она первое мѣсто занять
Между безсмертными вѣчно, поэтому, гордая Слава,
Съ голосомъ мѣднымъ своимъ, всѣмъ ненавистна была.
Громко однажды хвалилась она, что Зевесова сына
Мощно къ себѣ привлекла, сдѣлала даже рабомъ.
«Мой Геркулесъ», восклицала богиня «совсѣмъ измѣнился:
Ты не узналъ бы его, Зевсъ, повелитель боговъ.
Боги — и вы не узнали бы прежняго сына Алкмены!
Да, почитая меня, богомъ онъ сталъ на землѣ!
Броситъ ли взоръ на Олимпъ — не тебя, о Зевесъ, умоляетъ
Мощный герой мой — о, нѣтъ! молится мнѣ онъ одной.
Только стараяся мнѣ угодить, мой любимецъ отважный
Бодро вступаетъ на путь, чуждый для смертныхъ другихъ.
Я же повсюду навстрѣчу ему выхожу, прославляя
Громко имя его прежде, чѣмъ подвигъ свершитъ.
О, сочетай насъ, Зевесъ! Побѣдилъ Геркулесъ амазонокъ,
Нынѣ жъ супругомъ его съ гордостью я назову!»
Такъ похвалялась она — и хранили безмолвіе боги:
Спорить не сталъ съ ней никто, гнѣва богини страшась;
Только Амуръ ускользнулъ, незамѣченный ею. Героя,
Страсть въ его сердце вдохнувъ, онъ къ Афродитѣ привелъ;
Ловко затѣмъ нарядилъ онъ влюбленныхъ: на плечи прекрасной

Львиную шкуру надѣлъ, палицу къ ней прислонилъ;
Жесткіе кудри героя цвѣтами украсилъ, а въ руку,
Къ ласкѣ простертую — плутъ — онъ веретенце вложилъ.
Такъ ихъ устроивъ, оставилъ хитрецъ—и затѣмъ побѣжалъ онъ
Вдоль по Олимпу, крича: «Чудо свершилось у насъ!
Нѣтъ, ни земля, ни обширное небо, ни свѣтлое солнце
Въ вѣчномъ пути не могли чуда такого узрѣть!»
Всѣ поспѣшили за нимъ — такъ серьезно лукавый малютка
Эти слова говорилъ,—даже и Слава пришла.
Кто жъ наиболѣ былъ радъ изъ боговъ униженью героя?
Рада Юнона была. Ласковый бросила взоръ
Крошкѣ Амуру богиня. Стыдомъ и досадой терзаясь,
Слава смѣялась сперва: «Вѣрьте мнѣ, это обманъ!
Мой полубогъ неизмѣненъ; все это — комедія, маска!»
Нѣтъ, это былъ Геркулесъ — въ томъ убѣдилась она.
Старый Вулканъ не стыдился измѣны супруги нимало;
Прочимъ богамъ напоказъ выставилъ свой онъ позоръ;
Хитрую сѣть хромоногій на нѣжныхъ влюбленныхъ накинулъ:
Сладко обнявшись, они двинуться въ ней не могли.
Какъ ликовали тутъ юные боги, Меркурій и Бахусъ!
Громко признались они: «Дивную къ сердцу прижать
Было бы всякому сладко!» Лукавцы просили Вулкана:
«Милый Вулканъ, погоди: дай насмотрѣться на нихъ!»
И рогоносецъ Вулканъ, не стыдяся нимало, держалъ ихъ.
Слава тогда, убѣдясь, въ гнѣвѣ и горѣ ушла.
Съ этого времени длится вражда у богини съ Амуромъ.
Славы избранниковъ всѣхъ вѣчно прельщаетъ хитрецъ!
Чѣмъ сильнѣе они ее чтутъ, тѣмъ Амуръ неотвязнѣй;
Самымъ же скромнымъ изъ нихъ, хитрый, опаснѣй всего.
Хочетъ ли кто избѣжать его ласкъ, тотъ несчастнѣе вдвое:
Ласки Амура презрѣвъ, тяжко онъ будетъ страдать.
Гибельны мѣткія стрѣлы жестокаго бога-малютки!
Страждетъ одинъ за другимъ, въ каждомъ свирѣпствуетъ страсть.
Самъ устыдяся себя, покорится онъ хитрому богу:
Волей-неволею, всѣхъ крошка Амуръ побѣдитъ.
Также и Слава слѣдитъ за измѣнникомъ зорко и строго:
Чуть измѣняетъ онъ ей—мстить начинаетъ она.
Взоромъ суровымъ, презрѣньемъ жестокимъ она наказуетъ;
Домъ, посѣщаемый имъ, тяжкимъ безславьемъ клеймитъ—
Такъ и со мною, къ несчастью, случилося нынѣ. Я знаю,
Зорко за тайной моей гордая Слава слѣдитъ!
Это — старинный законъ: молчаливо ему покоряюсь!
Греки за споры царей такъ же платились, какъ я.

Н. Холодковскій.

20.

Ежели твердость и сила достойны почета въ мужчинѣ,
То въ сокровенныхъ дѣлахъ скромность не менѣ важна.

Міра владычица, милая сердцу, богиня Молчанья,
Спутница жизни моей, что̀ это сталось со мной?
Ты отвернулась, а Муза-шалунья съ лукавымъ Амуромъ
Мнѣ разрѣшили уста, полныя звуковъ любви.
Трудно хранить нерушимо въ груди своей царскія тайны!
Какъ ни скрывалъ царь Мидасъ длинныя уши свои,
Все же ихъ кто-то подмѣтилъ и, мучимый страшною тайной,
Долго не зналъ, какъ ему съ ней подѣлиться и съ кѣмъ.
Вотъ онъ къ землѣ припадаетъ и тайну свою ей ввѣряетъ;
Но мать сырая земля тайнъ не умѣетъ хранить:
Мигъ—и тростникъ выростаетъ и шепчетъ, и вѣтеръ разноситъ:
«Ахъ, у Мидаса-царя длинныя уши на лбу!»
То же теперь и со мной: тяжело мнѣ прекрасную тайну
Въ сердцѣ горячемъ хранить, воли устамъ не давать.
Страшно открыться подругамъ — разсердятся, станутъ браниться;
Страшно повѣдать друзьямъ — могутъ друзья измѣнить;
А для того, чтобъ лѣсамъ въ тишинѣ повѣрять свои мысли,
Я не достаточно юнъ: опытъ мечтать отучилъ.
Вамъ я, гекзаметръ съ пентаметромъ, чувства свои повѣряю —
Все, что̀ счастливитъ меня ночью, а днемъ веселитъ.
Вы, кого ищутъ мужчины, бѣгите сѣтей, что̀ открыто
Ставитъ наглецъ, а хитрецъ тайно подъ ноги кладетъ!
Мудро межъ ними проходитъ она и дорогу находитъ
Ту, гдѣ возлюбленный ждетъ съ пламенемъ въ сердцѣ ее.
Мѣсяцъ, затмись—то она! Вѣтерокъ, пронесись надъ бесѣдкой,
Чтобъ не подслушалъ никто шелеста милыхъ шаговъ!
Пѣсни любви благодатной, растите, цвѣтите — и вѣтеръ
Пусть васъ баюкаетъ вкругъ легкимъ дыханьемъ своимъ!
Вы же откройте квиритамъ, подобно болтливымъ тростинкамъ
Злого Мидаса-царя, тайну счастливой четы.

Н. Гербель.

КНИГА ВТОРАЯ.

СВИДАНЬЕ.

(1793).

ОНЪ.

Дай же одинъ, хоть одинъ поцѣлуй, дорогая подруга,
Этимъ губамъ! Такъ скупа! Что за причина тому?
Дерево это не такъ же ль цвѣло и вчера, какъ сегодня?
Мы же одинъ поцѣлуй быстро смѣняли другимъ.
Ихъ ты сравнила съ пчелинымъ, жужжащимъ по воздуху, роемъ,
Жадно сосущимъ цвѣты, сладостный черпая медъ.
Пчелы жужжатъ и сосутъ и сегодня. Ужели жъ умчалась
Раньше, чѣмъ свяли цвѣты, наша златая весна?

ОНА.

Грезь, дорогой мой, всю жизнь; говори о вчерашнемъ блаженствѣ!
Жадно внимая тебѣ, жму тебя къ сердцу, любя.
Такъ,—это было вчера, говоришь ты? Блаженное время!
Ласки за ласки стократъ, за поцѣлуй — поцѣлуй.
Къ вечеру только разстались мы грустно, и длилася долго,
Долго разлука для насъ, длинная, темная ночь.
Но возвратилося утро. Увы, въ долгій срокъ тотъ успѣло
Дерево десять ужъ разъ дать и цвѣты, и плоды!

Н. Холодковскій.

АЛЕКСИСЪ И ДОРА.

(1796).

Ахъ, безпрерывно несется корабль по пѣнистой влагѣ!
Съ каждой минутою онъ дальше и дальше летитъ!
Длинной чертою тянется слѣдъ его трюма; дельфины
Весело скачутъ за нимъ, будто добыча ихъ ждетъ.
Все предвѣщаетъ счастливое плаванье. Кормчій спокойно
Правитъ вѣтриломъ — оно быстро уноситъ корабль;
Но быстрѣе впередъ стремятся веселыя думы
Бодрыхъ пловцовъ; лишь одинъ, грустный, у мачты стоитъ,
Смотритъ, какъ дальнія горы въ пучинѣ морской исчезаютъ:
Такъ исчезаютъ предъ нимъ радости сердца его!
Ахъ, и тебѣ, моя Дора, не виденъ ужъ болѣе парусъ,
Друга умчавшій съ собой и жениха твоего!
Тщетно глядишь ты вослѣдъ: сердца наши бьются любовью,
Но ужъ не бьются они другъ подлѣ друга теперь.
О, дорогое мгновеніе! ты мнѣ приводишь на память
Всѣ минувшіе дни юности скучной моей.
Ахъ, въ одно лишь мгновенье, въ послѣднее, мнѣ возродилась
Такъ неожиданно жизнь, полная райскихъ утѣхъ!
Фебъ лучезарный, напрасно ты свѣтомъ эѳиръ озаряешь:
Твой ослѣпительный день мнѣ ненавистенъ теперь.
Я хочу въ тишинѣ припомнить себѣ все былое,
Дни тѣ припомнить, когда видѣлъ подругу свою.
Можно ли было остаться холоднымъ при видѣ прекрасной?
Дивная прелесть могла ль чувствъ не встревожить моихъ?
Нѣтъ, не вини же себя! Такъ нерѣдко поэтъ предлагаетъ
Людямъ загадку свою, въ мудрыхъ, но темныхъ словахъ.
Каждому нравится новость, прелестныхъ картинъ сочетанье.
Нѣтъ только слова того, что̀ все значенье хранитъ;
Но лишь откроютъ его — и тогда всѣ съ восторгомъ находятъ
Въ стихотвореніи томъ вдвое прекраснѣйшій смыслъ.
Ахъ, для чего же, любовь, такъ поздно сняла ты повязку
Съ глазъ моихъ? О, для чего поздно ее ты сняла?
Долго стоялъ снаряженный корабль, попутнаго вѣтра
Лишь ожидая — и вотъ онъ, желанный, подулъ.

Юности праздные дни! Пустыя мечты о грядущемъ!
Вы исчезли — и мнѣ часъ остается одинъ.
Да, онъ остался при мнѣ, при мнѣ мое счастье, о, Дора!
Ты въ объятьяхъ моихъ, образъ твой всюду со мной!
Часто видалъ я, какъ шла ты во храмъ въ уборѣ красивомъ,
И слѣдомъ дряхлая мать тихо брела за тобой.
Какъ проворно, бывало, ты съ рынка съ плодами бѣжала,
Иль отъ колодца несла бодро кувшинъ на себѣ.
Я съ восхищеньемъ глядѣлъ на шейку, на плечи прекрасной,
И всѣ движенья твои часто глазами слѣдилъ.
Часто я, злобный, желалъ, чтобъ кувшинъ твой упалъ и разбился;
Но на вѣрномъ вѣнцѣ крѣпко стоялъ онъ всегда.
Такъ, молодая сосѣдка, любилъ я тобой любоваться,
Какъ ночною порой часто любуемся мы
Яркими звѣздами неба, луной золотой, не питая
Дерзкихъ желаній въ душѣ — ихъ для себя пріобрѣсть.
Годы промчалися такъ; лишь двадцать шаговъ раздѣляли
Наши жилища, но твой былъ незнакомъ мнѣ порогъ.
Вотъ раздѣляютъ насъ бездны; въ нихъ отражается небо;
Но для меня ихъ лазурь ночи безлунной чернѣй.
Всѣ снарядились, когда прибѣжалъ ко мнѣ мальчикъ поспѣшно
Въ мой отеческій домъ — звать меня на корабль.
«Парусы подняты», такъ говорилъ онъ: «скорѣе, Алексисъ!
Вѣтеръ попутный подулъ; съ якоря сняться хотятъ —
Ждутъ лишь тебя: поспѣши!» Тогда мой почтенный родитель,
Благословляя меня, руку свою положилъ
Мнѣ на главу, а родная вручила мнѣ узелъ дорожный:
«О, возвратись къ намъ скорѣй, счастливъ, богатъ возвратись!»
Такъ говорила она — и я съ узелкомъ удалился.
Вдругъ за угломъ, у воротъ садика, встрѣтилъ тебя.
Ты улыбнулась привѣтливо мнѣ и сказала: «Алексисъ!
Тѣ, кто шумятъ тамъ внизу, вѣрно, съ тобою плывутъ?
Ты увидишь всѣ страны чужія, богатыхъ товаровъ
Много накупишь и къ намъ ихъ продавать привезешь:
Такъ привези же и мнѣ цѣпочку: давно мнѣ хотѣлось
Эту вещицу имѣть. Я заплачу за нее».
И, какъ купецъ, я разспрашивать сталъ о видѣ и вѣсѣ
Этой цѣпочки — и ты цѣну назначила ей;
А между тѣмъ я глазъ не спускалъ съ твоей шейки прелестной,
Шейки, достойной носить нашей царицы уборъ.
Крикъ съ корабля раздался сильнѣе; тогда ты сказала:
«Другъ, возьми-ка съ собой нашего сада плодовъ.
Вотъ померанцы, вотъ спѣлыя фиги: такихъ тебѣ, вѣрно,
Море не дастъ, и порой въ чуждой землѣ не найдешь».
Такъ, я въ калитку вошелъ, а ты принесла мнѣ поспѣшно
Полный передникъ плодовъ. Нѣсколько разъ я твердилъ:
«Дора, довольно, довольно!» Но ты прибавляла все больше,
Каждый прекраснѣйшій плодъ въ руки твои упадалъ.
Вотъ наконецъ за корзиной въ бесѣдку вошли мы съ тобою:

Сжалься, не мучь меня! Вспомни: не мало тебѣ наслажденій
Въ дѣтствѣ еще доставлялъ снятый съ вѣтвей монхъ плодъ, —
Такъ пощади меня: цѣпкія вѣтви плюща обрѣзая,
Ты разрываешь меня, жизнь отнимаешь мою.
Мною вѣдь вѣтви плюща взращены—онѣ мною питались:
Зелень ихъ стала сродни листьямъ моимъ ужъ давно.
Какъ не любить мнѣ растенье, которому стволъ мой такъ нуженъ,
Вѣтви котораго такъ жадно прильнули ко мнѣ?
Плющъ отъ себя уже тысячи отпрысковъ далъ и побѣговъ,
Жизнь его съ жизнью моей тысячью нитей срослась.
Правда, что силы мои этотъ другъ у меня отнимаетъ,
Мозгъ изъ меня онъ сосетъ, кровь мою, жизнь мою пьетъ;
Скудно питаюсь теперь я, лишь часть получаю тѣхъ соковъ,
Что посылаются вверхъ щедро могучимъ стволомъ:
Гость мой опасный, но милый, себѣ присвояетъ дорогой
Соки, столь нужные мнѣ, чтобы мой плодъ созрѣвалъ;
Самой вершинѣ совсѣмъ ужъ нѣтъ пищи, и вѣтви тамъ сохнутъ.
Видишь тотъ сукъ надъ ручьемъ? онъ навсегда ужъ погибъ.
Да, все предательскій плющъ этотъ сдѣлалъ: онъ жизнь и богатство,
Силы, надежды мои лестью исторгъ у меня.
Но его цѣпкія вѣтви мнѣ милы—и я наслаждаюсь
Тѣмъ, что я въ путахъ такихъ: смерти объятья люблю!
Никій, такъ ты удержи теперь ножъ свой! Любовь пожираетъ,
Правда, мое существо; страсть моя душитъ меня:
Но расточать такъ пріятно! Оставь мнѣ мое наслажденье:
Кто себя ввѣрилъ любви, жизнью ужель дорожитъ?

О. Миллеръ.

ЕВФРОЗИНА.

(1797).

Вотъ ужъ съ зубчатыхъ и снѣгомъ покрытыхъ вершинъ исчезаетъ
Нѣжно-пурпуровый свѣтъ, отблескъ вечерней зари;
Ночь покрываетъ долину; съ трудомъ пробирается странникъ
Берегомъ бурной рѣки къ хижинѣ мирной своей —
Къ цѣли дневного пути, а божественный сонъ благодатный,
Странника спутникъ, спѣшитъ ревностно тоже впередъ,
Чтобъ его встрѣтить при входѣ въ жилище. О, пусть увѣнчаетъ
Онъ и сегодня меня макомъ священнымъ своимъ!
Что же за блескъ замѣчаю я тамъ на скалистыхъ вершинахъ?
Чѣмъ озарились вдругъ такъ волны шумящей рѣки?
Можетъ быть, солнце сіяетъ, пробившись межъ тайныхъ расщелинъ?
Душу смущаетъ собой мнѣ подвижной этотъ свѣтъ.
Вотъ озаренное облако ближе ко мнѣ подступаетъ:
Въ розовыхъ этихъ лучахъ, можетъ быть, образъ живой?
Что за богиня явилась мнѣ? Или, какъ вѣрнаго друга,
Муза меня навѣстить въ дикую мѣстность пришла?
Что же, богиня? Откройся скорѣй, не исчезни внезапно,
Въ мракъ погружая опять духъ просвѣщенный тобой!

Имя свое объяви мнѣ, коль можешь его ты повѣдать
Смертному; если же — нѣтъ, то прикоснися ко мнѣ,
Чтобъ я почувствовалъ, чтобы мнѣ стало извѣстно, которой
Дочери Зевса воспѣть долженъ хвалебный я гимнъ.
«Развѣ, мой другъ, ты меня не узналъ? Неужели мой образъ,
Прежде любимый тобой, сталъ уже чуждымъ тебѣ?
Правда, ужъ я не отъ міра сего, и мой духъ окрыленный,
Съ тѣломъ простясь молодымъ, ужъ воспарилъ надъ землей;
Но я надѣялась все же, что въ памяти друга хранится,
Свѣтомъ любви озаренъ, прежній мой образъ земной.
О, по слезамъ твоимъ вижу, мой милый, по нѣжному взгляду:
Ты Евфрозину узналъ, ты уже вспомнилъ ее!
Видишь: умершая даже средь горъ, средь дремучаго лѣса,
Странника нынѣ нашла: тайная сила влечетъ
Къ другу меня и къ наставнику черезъ пространство. Отецъ мой,
Дай мнѣ вкусить хоть на мигъ радость земную опять!
Дай мнѣ хоть вспомнить тотъ день, когда на служенье искусству
Юное отдалъ дитя — музамъ меня посвятилъ!
Дай мнѣ малѣйшія вспомнить подробности этого часа!
Сладко къ минувшему намъ вновь возвратиться душой
И воскресить въ себѣ память о радостяхъ тѣхъ преходящихъ,
Что̀ украшали собой путь нашей жизни земной.
Правда, ничтожны онѣ; но любовь и искусство влагаютъ
Даже въ ничтожное все смыслъ и значенье для насъ.
Помнишь ли часъ тотъ, когда по дощатымъ подмосткамъ возвелъ ты
Въ область искусства меня, тайны его мнѣ открывъ?
Мальчика видъ я имѣла — созданье поэта британца
Я воплощала въ себѣ, имя Артура принявъ;
Яростно ты мнѣ грозилъ, и межъ тѣмъ отвращалъ поневолѣ
Взоръ отъ меня, весь въ слезахъ, тронутъ моею игрой.
Ревностнымъ былъ ты защитникомъ мальчику бѣдному; все же
Дерзкимъ побѣгомъ своимъ жизни себя онъ лишилъ.
Страшно разбившись, лежалъ недвижимъ онъ; понесъ его прочь ты.
Долго у груди твоей мертвой казалася я;
Но наконецъ я открыла глаза и тебя увидала:
Ты, наклонясь надо мной, думой казался объятъ.
Я поднялась, съ благодарностью руки твои цѣловала
И подставляла уста для поцѣлуя тебѣ —
И наконецъ я спросила: «Отецъ, отчего ты задумчивъ?
Или ошиблась я въ чемъ? Прямо мнѣ это скажи!
Я не жалѣю трудовъ и всегда повторяю охотно
Все, чему учишь меня, только бъ тебѣ угодить!»
Но все сильнѣе меня ты въ объятьяхъ сжималъ — и невольно
Бѣдное сердце мое страхъ безотчетный объялъ.
«Нѣтъ, моя милая», ты мнѣ сказалъ: «какъ сегодня играла,
Также и завтра играй. Городъ прельстится тобой:
Всѣхъ ты растрогаешь также, какъ я былъ растроганъ тобою,
Слезы исторгнешь изъ глазъ, ихъ ужъ не лившихъ давно.
Но никого такъ печаль не сразитъ, какъ меня, дорогая:

Даже притворной твоей смертью испуганъ я былъ.
Сколько величія ты проявляешь во всемъ, о, природа!
Твой непреложный законъ чтутъ небеса и земля:
Годы за годами слѣдуютъ, лѣто весну замѣняетъ,
Щедрая осень всегда руку зимѣ подаетъ,
Скалы стоятъ неподвижно, и воды въ ключахъ не изсякнутъ —
Съ пѣною вѣчно бѣгутъ, вѣчно бѣжать будутъ съ горъ;
Сосны всегда зеленѣютъ, другія жъ деревья готовятъ,
Вмѣсто опавшей листвы, почки зимой еще вновь.
Все по законамъ родится и вновь исчезаетъ въ природѣ,
Только надъ жизнью людей жребій невѣрный царитъ —
И не всегда умираетъ отецъ престарѣлый, готовый
Радостно въ землю сойти, съ сыномъ цвѣтущимъ простясь;
И не всегда закрываютъ юнѣйшіе старшимъ навѣки
Очи потухшія ихъ. Часто бываетъ не такъ:
Часто судьба поступаетъ съ людьми совершенно обратно;
Плачетъ нерѣдко старикъ, внуковъ, дѣтей хороня,
И остается безпомощный, словно какъ дубъ многолѣтній,
Вѣтви котораго всѣ вдругъ поломало грозой.
И потому-то, дитя, погрузился невольно я въ думы,
Видя тебя на рукахъ столь неподвижною вдругъ.
Но я опять успокоенъ: ты снова возстала живая,
Юности свѣжей опять вижу печать на тебѣ.
Будь же веселою, мальчикъ притворный, рости всѣмъ на радость,
Милая дѣва моя, взоръ мой собой весели!
Бодро стремися впередъ и, природный свой даръ развивая,
Цѣлямъ искусства служи, будь ему въ жизни вѣрна!
Будь мнѣ отрадой — и пусть не умру я, пока совершенства
Ты не достигнешь вполнѣ, свой разработавъ талантъ!»
Такъ говорилъ ты — и въ сердцѣ я рѣчи твои сохранила:
Словомъ своимъ ты принесъ много мнѣ пользы, отецъ.
О, какъ охотно потомъ повторяла я рѣчи народу,
Рѣчи, которыя мнѣ самъ же вложилъ ты въ уста!
Да, на глазахъ твоихъ я развивалась и жадно стремилась
Взоромъ всегда отыскать, посреди мнѣ внимавшей толпы,
Только тебя одного. А теперь? Ты смотрѣть будешь тоже,
Но никогда ужъ тебя видъ не порадуетъ мой.
Ты никогда не услышишь ужъ голоса той, для которой
Рано отверзлися такъ тайны любви и скорбей.
Будешь ты видѣть другихъ и въ другихъ находить совершенство:
Даже великій талантъ блекнетъ, коль бо́льшимъ смѣненъ.
Все же молю — не забудь ты меня! И другая, быть можетъ,
Будетъ трудиться, какъ я, только бъ тебѣ угодить;
Знакамъ покорна твоимъ и улыбкой твоей наслаждаясь,
Будетъ счастлива вполнѣ, твой исполняя совѣтъ;
Можетъ быть, будетъ другая, всѣ силы свои напрягая,
Вплоть до могилы своей только искусству служить.
Милый, ты вспомни тогда обо мнѣ; ее видя, воскликни:
«Не Евфрозина ли вновь къ жизни вернулась земной?»

Много бъ тебѣ я сказала еще; но, увы! повинуясь
Строгому богу, должна рѣчи свои сократить.
Другъ мой, прощай! Неземною влечетъ меня силой отсюда.
Только исполни одно, милый, желанье мое:
Въ царствѣ тѣней, дорогой, не дозволь мнѣ безславно скитаться!
Муза лишь можетъ придать смерти особую жизнь:
Массою, формъ не имѣющей здѣсь, въ Прозерпининомъ царствѣ,
Тѣни витаютъ всѣхъ тѣхъ, кто не воспѣтъ былъ никѣмъ;
Кто же прославленъ поэтомъ, свой собственный образъ имѣя,
Къ славнымъ героямъ примкнуть съ гордостью можетъ всегда.
Радостно къ славнымъ приближусь и я, коль меня воспоешь ты:
Ласковымъ взглядомъ тогда встрѣтитъ богиня меня,
Приметъ меня благосклонно въ среду приближенныхъ ей женщинъ;
Эти же будутъ ко мнѣ также привѣтливы всѣ.
Буду бесѣдовать я съ Пенелопой, вѣрнѣйшей изъ женщинъ;
Тутъ и Эвадна придетъ, мужа обнявъ своего;
Много юнѣйшихъ еще, преждевременно сшедшихъ въ могилу...
Вмѣстѣ оплачемъ тогда жребій печальный мы свой!
Встрѣчуся я съ Антигоною, жертвой, умершей за брата,
И съ Поликсеной, досель плачущей о женихѣ,
Словно какъ къ сестрамъ приближусь съ достоинствомъ къ этимъ я женамъ.
Муза трагедіи ихъ образы намъ создала;
Я же вѣдь тоже созданье поэта — и пѣснью своею
Онъ довершаетъ во мнѣ все, чтб пресѣкла вдругъ смерть.»

Такъ говорила она, и уста все еще шевелились,
Но уже замеръ на нихъ рѣчи умолкнувшей звукъ,
Ибо изъ облачной массы, насквозь озаренной, явился
Быстро, свободно несясь, Гермесъ, блистающій богъ.
Жезлъ свой значительно поднялъ онъ кверху и, облакомъ скрыты,
Образы свѣтлые ихъ оба исчезли изъ глазъ.
Мракъ надо мною сгущается, воды стремятся быстрѣе,
Близко шумятъ надо мной; скользокъ, опасенъ мой путь!
Скорбью какой-то объятъ я, тоской безысходной и страшной:
Слабый сажусь на утесъ, мохомъ поросшій кругомъ;
Грудь мнѣ терзаетъ печаль, и слеза за слезою струится
Въ мракѣ ночномъ; но разсвѣтъ скоро ужъ міръ озаритъ.

Θ. Миллеръ.

НОВЫЙ НАВЗІЙ И ЦВѢТОЧНИЦА.

(1797).

ОНА.

Высыпь сюда изъ корзины цвѣты, къ ногамъ моимъ, милый!
Чтб за красивая смѣсь, что за прелестный хаосъ!

ОНЪ.

Ты, какъ любовь, съединяешь раздѣльное тѣсною связью:
Чудный сплетая вѣнокъ, жизнь ты хаосу даешь.

ОНА.

Тише касайся до розы; пускай остается въ корзинѣ:
Встрѣчу на рынкѣ тебя—дамъ тебѣ розу при всѣхъ.

ОНЪ.

Я жъ, притворясь, что не знаю тебя, предложу въ благодарность
Также подарокъ тебѣ, ты же откажешься взять.

ОНА.

Дай гіацинтъ мнѣ сюда, а за нимъ подай мнѣ гвоздику:
Ранній и поздній цвѣтокъ рядомъ пусть дружно сидятъ.

ОНЪ.

Дай мнѣ у ногъ твоихъ сѣсть, посрединѣ цвѣтовъ: я ихъ буду
Тихо, одинъ за другимъ, класть на колѣни тебѣ.

ОНА.

Нитку мнѣ дай: пусть сберется семья, что жила въ разсыпную,
Милыхъ далекихъ родныхъ каждый увидитъ вблизи.

ОНЪ.

Чѣмъ восхищаться мнѣ больше, чѣмъ меньше? Цвѣтовъ красотою,
Ловкостью ли пальцевъ твоихъ, тонкимъ ли вкусомъ твоимъ?

ОНА.

Дай мнѣ и листьевъ, чтобъ блескъ ослѣпительный красокъ смягчился:
Жизнь наша—тотъ же вѣнокъ, листья въ немъ—отдыхъ и миръ.

ОНЪ.

Этотъ букетъ составляешь ты, вижу, съ особымъ стараньемъ:
Тотъ, кто получитъ его, вѣрно, пріятенъ тебѣ?

ОНА.

Сотню букетовъ раздамъ я сегодня, вѣнковъ еще больше:
Лучшій же, вѣрь мнѣ, тебѣ вечеромъ я принесу.

ОНЪ.

О, счастливецъ художникъ, который бы могъ своей кистью
Эти цвѣты возсоздать, эту богиню средь нихъ!

ОНА.

Кажется, также довольно счастливъ, кто сидитъ предо мною
Здѣсь на землѣ и кому сладко мнѣ дать поцѣлуй.

ОНЪ.

Милая! Дай же еще мнѣ одинъ: какъ ни сладокъ былъ первый,
Съ губъ ужъ похитилъ его дерзкій завистникъ, Зефиръ.

ОНА.

Щедро даритъ насъ цвѣтами весна, я жъ свои поцѣлуи
Милому рада дарить. Вотъ на придачу вѣнокъ.

ОНЪ.

Если бы Навзія чудный талантъ мнѣ данъ былъ судьбою,
Цѣлый бы день я тогда этотъ вѣнокъ рисовалъ.

ОНА.

Да, онъ и вправду хорошъ. Посмотри, какъ красиво и мило
Лучшіе Флоры дары въ стройный сошлись хороводъ!

ОНЪ.

Вотъ погрузился я въ чашечки ихъ и съ восторгомъ впиваю
Даръ несравненный цвѣтовъ, сладостный ихъ ароматъ.

ОНА.

Пусть же найду я и вечеромъ здѣсь вѣнокъ этотъ свѣжимъ;
Пусть, не увянувъ еще, намъ онъ напомнитъ нашъ пиръ.

ОНЪ.

Ахъ, сколь я бѣденъ и сколь я безпомощенъ! Какъ я хотѣлъ бы
Кистью навѣкъ для себя эту красу сохранить!

ОНА.

О, недовольный! Но ты вѣдь поэтъ: что жъ завидовать праздно
Павзію? Пользуйся самъ мощнымъ талантомъ своимъ.

ОНЪ.

Развѣ въ силахъ поэтъ возсоздать цвѣтовъ этихъ прелесть,
Прелесть твоей красоты? Слово лишь жалкая тѣнь.

ОНА.

А живописецъ—какъ можетъ онъ выразить кистью: люблю я,
Только тебя я люблю, жизнь моя—вся для тебя!

ОНЪ.

Милая! Даже поэтъ не въ силахъ такъ выразить сладко
Это «люблю я», какъ ты, радость и счастье мое!

ОНА.

Много дано имъ обоимъ, но сладкій языкъ поцѣлуя,
Страстнаго взора языкъ — только влюбленнымъ даны.

ОНЪ.

Да, но въ тебѣ съединилося все — и поэтъ, и художникъ·
Краски твои и слова, дивный языкъ твой—цвѣты.

ОНА.

Недолговѣчны созданья дѣвическихъ рукъ; раннимъ утромъ
Свѣжъ и букетъ, и вѣнокъ — къ вечеру вянутъ они.

ОНЪ.

Такъ и боговъ преходящи дары; ежедневною смѣной
Свѣтлой надежды всю жизнь смертнаго боги манятъ.

ОНА.

Да, но тебѣ каждый день и вѣнокъ, и букетъ я дарила
Послѣ того, что къ тебѣ сердце мое приковалъ.

ОНЪ.

Дома виситъ у меня этотъ первый вѣнокъ незабвенный:
Радостно пиръ обходя, мнѣ ты его подала.

ОНА.

Кубокъ твой увѣнчавъ, я бутонъ въ него уронила:
Ты же, выпивъ, вскричалъ: Дѣва, цвѣты эти — ядъ!

ОНЪ.

Мнѣ возразила тогда ты: Цвѣты исполнены меда,
Только добыть этотъ медъ можетъ одна лишь пчела.

ОНА.

Тутъ суровый Тимантъ обхватилъ меня со словами:
Что же, доступны ль шмелю сладкія тайны цвѣтка?

ОНЪ.

Ты, отвернувшись, хотѣла бѣжать, растеряла корзины.
Предъ неуклюжимъ глупцомъ всѣ разроняла цвѣты.

ОНА.

Ты же воскликнулъ ему повелительно: Прочь! Эта дѣва,
Также, какъ эти цвѣты, слишкомъ нѣжна для тебя!

ОПЪ.

Онъ же, оскаливши зубы улыбкой, держалъ тебя крѣпко
И разорвалъ твой хитонъ, съ плечъ и до пояса внизъ.

ОНА.

Вспыхнувъ, ты съ силой пустилъ въ него кубкомъ, и звонко о черепъ
Кубокъ ударилъ его, брызги вина расплескавъ.

ОНЪ.

Гнѣвъ и вино ослѣпили меня, но я все же замѣтилъ
Бѣлыя плечи твои, дивную, пышную грудь.

ОНА.

Что тутъ за шумъ поднялся, какое смятенье! Смѣшавшись,
Кровь и вино по лицу злого Тиманта текли.

ОПЪ.

Я же видѣлъ тебя лишь, какъ ты на колѣняхъ стояла,
Платье рукою собравъ, грудь прикрывая свою.

ОНА.

Ахъ, какъ летѣли тарелки въ тебя! Я дрожала при мысли,
Чтобы тебя не убилъ пущенный мѣтко металлъ.

ОНЪ.

Только тебя я и видѣлъ одну. Другою рукою
Ты поднимала цвѣты, ихъ собирая подъ стулъ.

ОНА.

Тутъ заслонилъ ты меня, чтобъ меня не обидѣли гости
Или хозяинъ, сердясь: мной былъ испорченъ весь пиръ.

ОНЪ.

Помню, какъ взялъ я коверъ, какъ боецъ, который выходитъ
Противъ быка и несетъ плащъ свой на лѣвой рукѣ.

ОНА.

Васъ успокоить старались друзья и хозяинъ; я жъ тихо
Прочь ускользнула, тебя взоромъ невольно слѣдя.

ОНЪ.

Ахъ, ты исчезла тогда! Напрасно искалъ я повсюду,
Домъ обыскавъ, обошелъ городъ и рынокъ. Вотще!

ОНА.

Спряталась я отъ стыда. Я дотолѣ была безупречна;
Прежде любимица всѣхъ, стала я притчею дня.

ОНЪ.

Видѣлъ я много цвѣтовъ, и вѣнковъ, и букетовъ не мало,
Только тебя не видалъ, городъ тебя былъ лишенъ.

ОНА.

Тихо сидѣла я дома. Увядшія розы роняли
Съ вѣтокъ свои лепестки, сохли гвоздики вокругъ.

ОНЪ.

Юноши такъ говорили: Увы, здѣсь цвѣты въ изобильи,
Только красавицы нѣтъ, чтобы связать ихъ въ вѣнки.

ОНА.

Дома я все же плела ихъ, и грустно они увядали.
Видишь, донынѣ еще эти вѣнки здѣсь висятъ.

ОНЪ.

Также завянулъ и первый вѣнокъ, твой подарокъ! Его я
Въ свалкѣ тогда не забылъ—дома, повѣсивъ, храню.

ОНА.

Вечеромъ плакала я, смотря, какъ вѣнки увядаютъ,
Краска за краскою въ нихъ тонетъ во мракѣ ночномъ.

ОНЪ.

Всюду бродилъ я и спрашивалъ, какъ бы найти, гдѣ живешь ты?
Но никто мнѣ не могъ дома того указать.

ОНА.

Не былъ никто у меня въ моемъ отдаленномъ жилищѣ;
Городъ великъ, вѣдь у насъ бѣднымъ скрываться легко.

ОНЪ.

Тщетно бродилъ я повсюду, взывалъ къ великому солнцу:
Гдѣ ты, сіяющій богъ, свѣтишь въ ея уголокъ?

ОНА.

Сильные боги не вняли мольбамъ, но Бѣдность—внимала;
Я принялась изъ нужды вновь за свое ремесло.

ОНЪ.

Но и другой возбуждалъ тебя богъ на поиски друга:
Оба Амура стрѣлой были вѣдь ранены мы!

ОНА.

Рынокъ былъ полонъ, тебя я искала и вдругъ — увидала!

ОНЪ.

И никакая толпа насъ не могла раздѣлить.

ОНА.

Быстро народъ растолкавъ, мы сошлись; ты стоялъ предо мною —

ОНЪ.

Ты—предо мною, мой другъ! Да, и мы были одни.

ОНА.

Были одни межъ людей: они мнѣ казались кустами...

ОНЪ.

Мнѣ же казался ихъ шумъ — тихимъ журчаньемъ ручья.

ОНА.

Да, влюбленные вѣчно одни средь толпы многолюдной;
Если жъ остались вдвоемъ—третій ужъ, смотришь, межъ нихъ.

ОНЪ.

Третій, Амуръ! Онъ себя украшаетъ своими вѣнками.
Встань же, оставимъ цвѣты: сбрось ихъ остатки съ колѣнъ.

ОНА.

Вотъ я ихъ сбросила прочь. Въ твоихъ объятьяхъ, мой милый,
Пусть и сегодня опять солнце взойдетъ для меня.

Н. Холодковскій.

ПОСЛАНІЯ.

I.

(1794).

Нынче, когда всѣ читаютъ, иные жъ спѣшатъ съ нетерпѣньемъ
Лишь перелистывать книгу, и сами, схвативши перо,
Цѣлую книжищу пишутъ о книжечкѣ малой проворно —
Хочешь ты, другъ, чтобъ и я, умножая число этихъ многихъ,
Высказалъ мнѣнье свое о писательствѣ; чтобы затѣмъ
Мнѣнье о мнѣньи моемъ написали и прочіе, чтобы
Дальше и дальше катилася, круговращаясь, волна.
Такъ въ безконечное море плыветъ и рыбакъ, если утро
Съ вѣтромъ попутнымъ ему улыбнется; свое ремесло
Бодро справляетъ онъ, если и сотни другихъ рыболововъ
Вдоль-поперекъ разсѣкаютъ блестящую искрами зыбь.

Другъ благородный, ты хочешь всему человѣчеству блага
И особливо германцамъ, согражданамъ близкимъ твоимъ!
Книгъ ты боишься зловредныхъ. Увы, мы ихъ часто видали!
Что́ же тутъ дѣлать должны и могли бы всѣ честные люди,
Да и правители сильные, всѣ воедино сплотясь?
Важенъ, серьезенъ вопросъ; но меня застаетъ онъ въ хорошемъ
Расположеніи духа. Сегодня тепло такъ и ясно!
Блещетъ обильемъ страна; по катящимся тихо волнамъ
Вѣтромъ несется ко мнѣ благовонная съ моря прохлада;
Свѣтлому духу весь міръ представляется свѣтлымъ; далёко
Съ облачкомъ легкимъ забота уносится въ синюю даль.

Что́ начертилъ карандашъ мой — не трудно стереть; да не очень
Глубже и оттиски литеръ, которые — какъ увѣряютъ —
Съ вѣчностью спорятъ. Конечно, столбецъ отпечатанный многимъ
Вдругъ говоритъ; но, вѣдь скоро, какъ каждый изъ насъ забываетъ
Образъ свой, видѣнный въ зеркалѣ — позабывается слово,
Если желѣзомъ бы даже оттиснуто было оно.

Рѣчи легко такъ снуютъ и туда, и сюда, когда разомъ
Много желающихъ есть говорить, когда каждый себя лишь
Слушаетъ и даже въ томъ, что́ другой передъ нимъ говоритъ,
Слышитъ свои лишь слова. Вѣдь и съ книгами то же бываетъ:
Каждый изъ книги себя одного только вычитать хочетъ;
Если же силы въ немъ много, то можетъ въ нее такъ вчитаться,

Что весь сливается съ нею, чужое присвоивъ себѣ.
И потому безполезно пытался бы ты письменами
Къ цѣли своей обратить направленье и склонность людей.
Но укрѣплять ихъ ты можешь въ ихъ мнѣньяхъ и образѣ мыслей,
Иль — если новъ человѣкъ — окунуть его въ тѣхъ и другихъ.

Если сказать, какъ я думаю — кажется мнѣ, что одна лишь
Жизнь образуетъ людей, что не многое значатъ слова.
Правда, охотно мы слушаемъ, что̀ съ нашимъ мнѣньемъ согласно,
Но не рождаетъ въ насъ мнѣнія слушанье только одно.
Въ томъ, что̀ намъ нелюбо — валимъ вину на витію,
Духъ же свободный спѣшитъ перейти на обычный свой путь.
Чтобы охотно мы слушали и увлекались тобою,
Долженъ ты льстить намъ. Къ толпѣ ль обращаешь ты рѣчь,
Или къ вождямъ-королямъ — ты разсказывай лучше исторьи,
Сказки, въ которыхъ представь имъ дѣйствительнымъ чѣмъ-то
То, чего жаждутъ они и что̀ нужно имъ въ жизнь провести.

Врядъ ли Гомера бы слушали, врядъ ли бъ его всѣ читали,
Если бъ поддѣлаться онъ не умѣлъ — кто бы слушатель ни былъ —
Къ духу его, и когда бы въ высокихъ чертогахъ дворца,
Иль въ королевскомъ шатрѣ «Иліада» не льстила пріятно
Слуху героя-вождя; вѣдь бродячую мудрость Улисса
Всѣ не охотнѣе ль слушали на площадяхъ, гдѣ сбирались
Граждане? Тамъ, во дворцѣ, каждый воинъ въ доспѣхахъ,
Здѣсь — каждый нищій въ лохмотьяхъ дырявыхъ своихъ
Облагороженнымъ видѣлъ себя въ пѣснопѣніи дивномъ.

Такъ-то однажды, на гладко-мощеномъ морскомъ берегу
Этого града Нептуна, гдѣ чествуютъ львовъ окрыленныхъ,
Слышалъ я сказку. Густая толпа окружала рапсода.
«Разъ — говорилъ онъ — меня занесла непогода на островъ,
Что̀ называютъ Утопіей. Былъ ли на островѣ этомъ
Кто-нибудь изъ предстоящихъ мнѣ здѣсь — я не знаю. Лежитъ онъ
Въ морѣ, лѣвѣе столповъ Геркулеса. Радушно былъ принятъ
Я населеньемъ; мнѣ въ лучшей гостинницѣ лучшую пищу,
Лучшія вина, прислугу и мягкую дали постель.
Быстро прошелъ цѣлый мѣсяцъ. Забылъ я и горе, и нужду;
Но вотъ явилась забота: какой-то мнѣ счетъ подадутъ
Послѣ роскошнаго пира? Карманы мои были пусты.
«Меньше давайте!» просилъ я хозяина; онъ же — все больше.
Сталъ разбирать меня страхъ, да и пища-то въ ротъ мнѣ не шла.
Вотъ наконецъ говорю я хозяину: «Счетъ мнѣ подайте,
Только не слишкомъ большой». Промолчавъ, онъ взглянулъ на меня
Мрачно, дубину схватилъ и какъ началъ безъ всякой пощады
По головѣ меня бить и по плечамъ — чуть-чуть не на смерть!
Бросился въ ужасѣ спѣшно бѣжать я къ судьѣ — и къ допросу
Тотчасъ хозяина грознаго въ судъ привели. Онъ спокойно
Передъ судьею предсталъ и съ достоинствомъ сталъ говорить:
«То же случиться должно и со всѣми, которые право

Гостепріимства на островѣ нашемъ нарушить хотятъ
И такъ безбожно потребуютъ счетъ за пріютъ и за пищу
Отъ человѣка, чтб съ ними учтивымъ хозяиномъ былъ.
Могъ же ли въ домѣ моемъ потерпѣть я такую обиду?
Нѣтъ, если бъ я оскорбленье подобное этому снесъ,
Губка была бы въ груди у меня, а не честное сердце!»

Выслушавъ это, судья мнѣ сказалъ: «Позабудьте побои:
Вы заслужили вполнѣ ихъ — и бо́льшіе даже еще.
Если жъ остаться и жить вы хотите на островѣ нашемъ,
Слѣдуетъ вамъ гражданиномъ достойнымъ себя показать!»
«Ахъ!» отвѣчалъ я судьѣ: «не охочъ, не привыкъ я къ работѣ;
Нѣтъ у меня дарованій, которыя могутъ легко
Хлѣбъ приносить человѣку; меня — хоть и въ шутку —
Прозвали Гансомъ Безпечнымъ и выжили изъ дому вонъ.»

— «О!» отвѣчалъ мнѣ судья: «такъ прими же поклонъ мой нижайшій:
Долженъ на первомъ ты мѣстѣ сидѣть за столомъ въ засѣданьи
Общины: мѣсто достойное должепъ въ Совѣтѣ занять.
Но берегись, чтобъ постыдное снова къ работѣ влеченье
Не воротилось къ тебѣ и чтобъ въ домѣ твоемъ не нашли
Заступа или весла: навсегда ты въ общественномъ мнѣньи
Былъ бы потерянъ, остался бъ безъ хлѣба и чести у насъ.
Праздно на рынкѣ сидѣть, сложа бѣлыя руки на толстомъ,
Пухломъ брюшкѣ неподвижно, да слушать веселыя пѣсни
Нашихъ пѣвцовъ, любоваться на пляски пригожихъ дѣвицъ
Или на игры мальчишекъ — вотъ долгъ твой прямой и первѣйшій!
Клятву ты дай намъ теперь же охотно исполнить его!»
Этимъ окончилъ разсказчикъ — и чела у всѣхъ прояснились:
Всѣмъ захотѣлось дожить до такихъ благодатныхъ временъ,
Выискать рѣдкихъ хозяевъ такихъ и подставить имъ спины.

А. Яхонтовъ.

II.

(1794).

Другъ мой достойный, чело ты нахмурилъ: тебѣ неумѣстны
Кажутся шутки; вопросъ твой серьезенъ — и требуешь ты
Зрѣло-обдуманной рѣчи въ отвѣтъ. Я не знаю, ей-Богу,
Чтб за бѣсенокъ такой поселился внезапно во мнѣ!
Буду впередъ осторожнѣе. Ты говоришь: «Какъ умѣетъ,
Пусть тамъ справляется съ жизнью и съ чтеніемъ книжекъ толпа!»
Но ты подумай: дѣвицы есть, дочери юныя въ домѣ:
Ихъ-то знакомитъ со зломъ вольнодумецъ-писатель зачѣмъ?

Этому легче помочь — я скажу — чѣмъ иному бъ казалось:
Дѣвушки въ домѣ готовы на всякій практическій трудъ.
Дай изъ нихъ старшей отъ погреба ключъ, чтобъ заботу имѣла
Только о винахъ отцовскихъ, когда, съ виноградника прямо

Иль отъ купца принесенныя, тѣсно наполнятъ они
Погребъ съ широкими сводами. Дѣла ей будетъ не мало,
Если держать въ чистотѣ и порядкѣ захочетъ ряды
Бочекъ пустыхъ и бутылокъ. Затѣмъ приходиться ей будетъ
То наблюдать за броженіемъ влаги шипящей порой,
То подливать, гдѣ въ сосудѣ пустое окажется мѣсто,
Чтобъ пузыри, поднимаяся, легче къ отверстію бочки
Доступъ имѣли, чтобы благородный, живительный сокъ
Сдѣлался чисто-прозрачнымъ и годнымъ на многіе годы.
Неутомимо потомъ она черпаетъ и наполняетъ
Имъ всѣ бутылки, чтобъ полный янтарной игрою напитокъ
Всѣхъ оживлялъ за веселымъ и гостепріимнымъ столомъ.

Кухню — другой предоставь: вѣдь и тамъ, право, много работы —
Вкусный обѣдъ каждый день приготовить, зимою и лѣтомъ,
Такъ, чтобъ притомъ для кармана не слишкомъ было тяжело.
Ранней весною она ужъ заботится то о цыплятахъ,
То о кормленьи гогочущихъ утокъ; все цѣликомъ,
Что время года даетъ ей, на столъ своевременно ставитъ,
Блюда умѣя притомъ ежедневно мѣнять за столомъ.
Лѣтомъ же, только лишь спѣть начинаютъ плоды въ огородѣ,
Ужъ о запасахъ на зиму впередъ помышляетъ она.
Киснетъ капуста подъ влажными сводами; овощи въ уксусъ
Спущены — и кладовая дары сберегаетъ Помоны.
Съ радостью слышитъ она похвалы отъ отца и сестеръ;
Если же что не удастся ей — большее это несчастье,
Чѣмъ если, вексель оставивъ, бѣжалъ бы должникъ отъ тебя.
Такъ занята всегда дѣвушка; тихо домашнія зрѣютъ
Въ ней добродѣтели, чтобы потомъ осчастливить супруга.
Если жъ читать наконецъ пожелаетъ — навѣрно, возьметъ
Книгу о кухонномъ дѣлѣ, какихъ ежегодно усердно
Цѣлыя сотни пекутъ типографскіе наши станки.

Третья сестра пусть завѣдуетъ садомъ, который, конечно,
Не обреченъ лишь на то, чтобы сыростью домъ окружать,
Но, раздѣленный на гряды прилично, какъ кухни предверье,
Овощь обязанъ давать, молодые плоды приносить.
Самъ для себя создавай, такимъ образомъ, въ малыхъ размѣрахъ,
Патріархальное царство, надежное въ жизни тягло.

Если имѣешь еще дочерей ты, которыя любятъ
Больше за женской работой сидѣть, то и лучше еще:
Круглый годъ въ домѣ всегда для иголки найдется работа.
Но — работящія дома — онѣ же не прочь показаться
Въ обществѣ праздными дамами — и между тѣмъ какъ шитье,
Штопанье, стирка и глаженье все умножаются въ домѣ,
Дѣвушкѣ любо порою, въ аркадски опрятной одеждѣ
Съ сотнями складокъ, гулять, бѣлой юбкой и шлейфомъ своимъ

Улицу, садъ подметая, иль, въ залѣ кружась танцовальной,
Пыль поднимать. Не шутя, если бъ въ домѣ моемъ родовомъ
Съ дюжину было дѣвицъ, никогда бы найти имъ работу
Не затруднился бъ я — сами ее измышляютъ онѣ —
И ни одной тогда книгѣ, въ теченіе цѣлаго года,
Черезъ порогъ мой конечно не удалось бы пройти.

А. Яхонтовъ.

I.

Жизнью украсилъ язычникъ свои саркофаги и урны:
Въ пляскѣ съ вакханками страстными кружатся пестрой толпой
Фавны, сатиры на нихъ; неуклюжій толстякъ козлоногій
Сиплый изъ мѣднаго рога извлечь домогается звукъ...
Слышны рога и тимпаны; ты видишь и слушаешь мраморъ.
Птицы, какъ вкусенъ—смотрите—порхающимъ вамъ этотъ плодъ!
Шумъ не пугаетъ ни васъ, ни—того еще меньше—Амура,
Радость впервые несущаго съ факеломъ вѣрнымъ своимъ.
Такъ побѣждается смерть полнотою веселою жизни!
Мнится мнѣ, радъ ей и пепелъ, что̀ мирно внутри тамъ лежитъ.
Такъ обовьется пускай и вокругъ саркофага поэта
Дивный тотъ свитокъ, въ который онъ жизнь молодую вдохнулъ.

II.

Только лишь въ яркой лазури увидѣлъ я пышное солнце,
Вьющійся, внизъ со скалы ниспадающій весело плющъ
И виноградаря, гибкой лозою обвившаго тополь—
Отъ колыбели Виргилія вѣтеръ подулъ на меня;
Музы затѣмъ собрались и меня подарили привѣтомъ,
Съ новымъ пришельцемъ порой благосклонно бесѣду ведя.

III.

Въ жадныхъ объятьяхъ я милую дѣву держу постоянно,
И прижимается крѣпко къ груди ея сердце мое:
Цѣлые дни я, склоняяся къ ней головой на колѣна,
Вверхъ на прелестныя губки и въ темныя очи гляжу.
«Нѣженка!» другъ попрекаетъ: «такъ вотъ какъ ты дни здѣсь проводишь?»
Ахъ, провожу я ихъ плохо! Узнай, что̀ творится со мной!
Я обращаюсь спиною къ единственной радости жизни:
Двадцать ужъ дней въ колымагѣ куда-то далеко тащусь.
Мнѣ веттурины грубятъ, улыбается льстиво прислуга,
А лонъ-лакей норовитъ, какъ надуть бы получше меня.
Только отъ нихъ отвяжусь, какъ приходитъ почтовый смотритель!

Здѣсь веттурины, доганы и весь этотъ людъ—господа!
«Не понимаю! Противорѣчишь себѣ самому ты: казалось,
Ты какъ въ раю отдыхаешь и, словно Ринальдо, блаженъ».
Я понимаю себя: мое тѣло трясется въ каретѣ,
Въ страстныхъ обятьяхъ же милой покоится только мой духъ!

IV.

Эту ль Италью знавалъ я? По прежнему пыльны дороги;
Вкругъ надуваютъ, какъ прежде, пришельца изъ чуждой земли;
Тщетно здѣсь всюду искалъ бы ты честности нашей нѣмецкой,
Жизнь и движенье—вездѣ, лишь порядка ни въ чемъ не видать;
Всякій здѣсь самъ по себѣ, недовѣрчивъ къ другимъ и тщеславенъ;
Власти—пекутся исправно о выгодахъ только своихъ.
Очаровательный край; но—увы!—нѣтъ ужъ здѣсь Фаустины!
Эту ль Италью когда-то я съ сердцемъ больнымъ покидалъ?

V.

Лежа въ гондолѣ, я плылъ, пробираясь между судами,
Что на Каналѣ Большомъ, нагруженные, тѣсно стоятъ.
Много тамъ разныхъ товаровъ для разныхъ потребностей жизни:
Зелень, вино, и пшеница, и южныхъ растенія странъ.
Мимо стрѣлой пронеслись мы—и листикъ, отъ лавра отпавшій,
Грубо хлестнулъ меня. «Дафна», вскричалъ я, воспрянувъ: «за что?
Ждалъ я награды скорѣй!» И, смѣяся, шепнула мнѣ нимфа:
«Тяжко поэтъ не грѣшитъ—и легко наказанье. Плыви!»

VI.

Слезъ удержать я не въ силахъ, когда пилигрима встрѣчаю:
О, какъ понятіе ложное духъ возбуждаетъ людей!

VII.

Зналъ лишь одну я любовь — и всего мнѣ была она слаще;
Но ея нѣтъ уже больше... Молчи и неси свой удѣлъ!

VIII.

Эта гондола сходна съ колыбелью, качаемой тихо;
Черный же ящикъ на ней — точно объемистый гробъ.
Такъ то плывемъ мы чрезъ жизнь по Большому Каналу безпечно,
Межъ колыбелью и гробомъ качаемы мощной волной.

IX.

Съ нунціемъ видимъ мы дожа въ торжественномъ шествіи рядомъ:
Оба Христа погребаютъ; прелатъ прилагаетъ печать.
Что себѣ думаетъ дожъ — я не знаю; прелатъ же навѣрно
Внутренно самъ же смѣется надъ видомъ серьезнымъ своимъ.

X.

Что такъ шумитъ, суетится народъ? Ему надобно пищи,
Нужно дѣтей прижить — и кормить, по возможности, ихъ.
Пусть это знаетъ туристъ, чтобы дѣйствовать также и дома:
Какъ человѣкъ ни мудри, это — цѣль его жизни, увы!

XI.

Какъ раззвонились монахи — и какъ они дружно хлопочутъ,
Чтобы сегодня болтать къ нимъ опять собрались, какъ вчера!
Не осуждайте ихъ — знаютъ потребность они человѣка:
Радъ онъ и завтра опять, какъ сегодня, болтать языкомъ.

XII.

Учениковъ у фанатиковъ много — какъ раковинъ въ морѣ...
Будь моимъ перломъ единственнымъ, мудрый и добрый мой другъ!

XIII.

Любо весною бродить, попирая молоденькій клеверъ,
И ощущать подъ рукою волну мягкорунной овцы;
Любо глядѣть, какъ цвѣтами полны вновь ожившія вѣтки,
Какъ зеленѣющій лѣсъ покрывается свѣжей листвой;
Слаще жъ — цвѣтами украсить здоровыя перси пастушки.
И этихъ благъ всѣхъ желанныхъ я маемъ непастнымъ лишенъ!

XIV.

Землю сравню съ наковальнею; съ молотомъ тяжкимъ — владыку,
Съ бѣднымъ народомъ — желѣзо, что гнется межъ той и другимъ.
Горе желѣзу, когда произвольно, безъ толку удары
Гнутъ его, падая сверху, а дѣло — ни шагу впередъ!

XV.

Массу адептовъ находитъ фанатикъ, толпу ублажая,
Мудрый — считаетъ немногихъ приверженцевъ вѣрныхъ своихъ.
Такъ образа чудотворные всѣ — преплохія картины:
Лучшихъ твореній искусства цѣнить не умѣетъ толпа.

XVI.

Сдѣлайся тотъ властелиномъ, кто выгоду въ этомъ находитъ:
Мы избираемъ того лишь, кто выгоды наши поймётъ.

XVII.

Учитъ молиться нужда — говорятъ намъ; кто вѣрить не хочетъ,
Пусть побываетъ въ Италіи: встрѣтитъ, навѣрно, нужду.

XVIII.

Экая давка у лавочки! Вѣшаютъ тюки усердно,
Деньги считаютъ и быстро въ толпу отпускаютъ товаръ.

Тертый табакъ продаютъ здѣсь. Какъ знаетъ народъ свою пользу!
Зелья нанюхавшись всласть, онъ чихаетъ безъ спросу врача.

XIX.

Каждый изъ сонмища побилей можетъ здѣсь сдѣлаться дожемъ;
Вотъ отчего онъ, дитей еще, важно-степененъ и гордъ.
Не оттого ль такъ въ Италіи нѣжны и тонки облатки,
Что изъ того жъ матерьяла святыню прелатъ раздаетъ?

XX.

Два старогреческихъ льва сторожатъ главный входъ арсенала;
Мелки, въ сравненіи съ ними ворота, и мостъ, и каналъ.
Если бы матерь боговъ низошла, запряглись бы навѣрно
Оба они въ колесницу богини; теперь же стоятъ,
Молча, уныло, затѣмъ-что здѣсь новый мурлыкаетъ всюду
Съ крыльями котъ — и патрономъ его венецьянцы зовутъ!

XXI.

Ревностно ходитъ босой пилигримъ; но найдетъ ли святого
И удостоится ль слышать того, кто творилъ чудеса?
Время умчало святыхъ! Здѣсь найдутся одни лишь останки:
Черепъ да пара еще сохраненныхъ вѣками костей.
Всѣ мы, что ищемъ Итальи — такіе же всѣ пилигримы:
Кости лишь членовъ разрозненныхъ чествуемъ съ вѣрою мы.

XXII.

Дождь посылая, Юпитеръ, ты сталъ благодѣтельнымъ духомъ;
Щедро, въ мгновенье одно, разсыпаешь ты многимъ дары:
Ты напояешь Венецію, въ зелень весь край одѣваешь
И матерьялу достаточно этой книжонкѣ даешь.

XXIII.

Лейся же, дождь, продолжай напоять краснокожихъ лягушекъ *)!
Влагу дай жаждущей нивѣ, чтобъ брокколи **) намъ принесла!
Не промочи лишь книжонки моей: пускай чистымъ аракомъ
Будетъ, изъ коего каждый по вкусу варитъ себѣ пуншъ!

XXIV.

Вотъ эту церковь «Святымъ Іоанномъ въ грязи» называютъ...
Какъ же Венецію «Маркомъ Святымъ во грязи» не назвать?

XXV.

Ежели Байю ты видѣлъ, то море и рыбъ его знаешь:
Видя Венецію, ты созерцаешь лягушекъ и грязь.

---

*) Кардиналовъ.
**) Спаржа, на мѣстномъ нарѣчіи.

XXVI.

«Ты еще спишь?» — «Дай понѣжиться мнѣ!» — «Просыпаюсь —
Что же я буду тутъ дѣлать? постель широка, но пуста.
Видно, Сардинія — всюду, гдѣ спятъ по почамъ одиноко,
Тибуръ — вездѣ, гдѣ тебя твоя милая будитъ отъ сна.»

XXVII.

Часто манили меня дружелюбно всѣ девять — я музъ разумѣю;
Я же — не шелъ къ нимъ: я милую крѣпко въ объятьяхъ сжималъ.
Съ нею разстался, увы! я; меня позабыли и музы.
Косо глядѣлъ я, безпутный, ножа иль веревки ища...
Но вѣдь богами весь полонъ Олимпъ: ты явилась спасеньемъ,
Мрачная скука. Нижайшій поклонъ тебѣ, матери музъ!

XXVIII.

Знать вы хотите, какую имѣть я желалъ бы подругу?
Я ужъ имѣю желанную: въ маломъ я много нашелъ.
Здѣсь, на широкомъ прибрежьѣ, въ простѣйшей изъ раковинъ моря
Перлъ я нашелъ — и сокровище въ сердцѣ своемъ берегу.

XXIX.

Многое пробовалъ я: рисовалъ, на мѣди даже рѣзалъ,
Масломъ картины писалъ и фигуры изъ глины лѣпилъ.
Непостоянецъ я былъ, ничему не сумѣлъ научиться,
До мастерства же почти я довелъ лишь единственный даръ:
Это — писать по-нѣмецки. И вотъ, я, несчастный пінта,
Трачу и жизнь, и искусство на этотъ пустѣйшій предметъ!

XXX.

Носите чудныхъ дѣтей и, заботливо лица скрывая,
Просите вы подаянья: вотъ доступъ вашъ къ сердцу мужчинъ.
Каждый изъ нихъ пожелалъ бы такого, какъ вашъ, мальчугана
И красоту, что̀ мечтаетъ подъ этимъ покровомъ найти.

XXXI.

Просишь съ чужимъ ты ребенкомъ и трогаешь сердце; какъ былъ бы
Тронутъ я тою, которая мнѣ бы дитя принесла!

XXXII.

Встрѣтясь со мной, ты зачѣмъ облизала свой маленькій ротикъ?
Прямо мнѣ твой язычекъ указалъ на болтливость твою.

XXXIII.

Учится многимъ искусствамъ и ихъ практикуетъ германецъ,
Въ каждомъ являя талантъ, если не шутитъ притомъ.

Только искусству поэзіи онъ научиться не хочетъ:
Вѣчный онъ въ немъ дилетантъ. Знаемъ мы это, друзья!

XXXIV.

Часто друзьями поэта себя признавали вы, боги:
Дайте жъ что̀ нужно ему! Онъ умѣренъ, но нуждъ у него
Много: во-первыхъ — жилище пріятное, сносная пища;
Выпить привыкъ хорошо — какъ и вы, знаетъ въ нектарѣ толкъ.
Нужны приличное платье, друзья — было бъ съ кѣмъ покалякать —
Ночи подруга затѣмъ, но чтобъ только по сердцу была.
Въ этихъ естественныхъ благахъ нуждаюся прежде всего я.
Чтобы я по̀нялъ народовъ бытописанья и жизнь,
Дайте къ тому жъ обладанье мнѣ древней и новою рѣчью,
Тонкое дайте чутье, чтобъ искусство достойно цѣнить;
Дайте въ народѣ почетъ и вліянье предъ сильными міра,
И что̀ тамъ нужно еще при сношеніяхъ въ жизни съ людьми.
Благодарю васъ, о, боги! Готовъ у васъ скоро счастливецъ!
Бо̀льшую часть этихъ благъ даровали ужъ прежде вы мнѣ.

XXXV.

Спору нѣтъ, малъ межъ князьями германскими мой повелитель,
Невелики его земли, умѣренна сила его;
Но если бъ каждый, какъ онъ, обращалъ эту силу на пользу,
Можно бы именемъ нѣмца намъ было гордится вездѣ.
Но для чего похвалы? Говорятъ за себя лишь дѣянья.
Ты не подкупленъ ли, скажутъ, чтобъ принца усерднѣй хвалить?
Правда, онъ все даровалъ мнѣ, что̀ рѣдко даруютъ владыки:
Дружбу, досугъ и довѣренность, домъ, и сады, и поля.
Всѣмъ благодаренъ ему я — а многое нужно мнѣ было,
Мнѣ, стихотворцу, который не мастеръ копить и беречь.
Пусть восхваляла Европа меня! Что̀ жъ дала мнѣ Европа?
Да ничего! Дорогонько платилъ я за пѣсни мои!
Мнѣ подражала Германія, Франція мной увлекалась;
Англія жъ — та дружелюбно, какъ гостя, меня приняла.
Но что же пользы мнѣ въ томъ, что Шарлотту и Вертера робко
Даже китаецъ малюетъ на легкомъ фарфорѣ своемъ?
Вѣдь обо мнѣ короли, императоры думали мало:
Августомъ и Меценатомъ моимъ былъ всегда только *онъ*.

XXXVI.

Жизнь человѣка — не Богъ знаетъ что, а вѣдь тысячи могутъ,
Вкривь да и вкось толковать о дѣлахъ и поступкахъ его.
Меньше значенья въ поэмѣ, а тысячи ею плѣняться
Иль порицать ее могутъ. Живи же, мой другъ, и твори!

XXXVII.

Какъ я усталъ каждый день — то и дѣло — смотрѣть на картины,
Эти сокровища венеціанскаго вѣка искусствъ:

Вѣдь наслажденье духовное отдыха требуетъ также!
Взглядъ мой усталый, блуждая, здѣсь образовъ ищетъ живыхъ.
Встрѣтилъ въ тебѣ я, волшебница, типъ окрыленныхъ Амуровъ,
Что Джіовани Беллини волшебною кистью писалъ,
Съ кубками слалъ Веронезъ къ новобрачному юношѣ въ Канѣ,
Гдѣ сонмъ гостей разгулявшихся воду сочелъ за вино.

XXXVIII.

Точно искусной рукою изваяна эта шалунья,
Мягкая вся, безъ костей — ну, вотъ точно моллюскъ водяной.
Все у ней — члепъ, и суставъ, и все такъ хорошо и изящно,
Создано въ мѣру и движется по произволу ея.
Зналъ я людей и животныхъ, пернатыхъ и рыбъ разновидныхъ,
Много видалъ на вѣку своемъ разныхъ природы чудесъ,
А удивляюсь тебѣ, мое рѣдкое чудо, Беттина!
Ты совмѣщаешь все это и — ангелъ къ тому же еще!

XXXIX.

Не поднимай высоко своихъ ножекъ, дитя мое, къ небу:
Видитъ тебя сластолюбецъ Юпитеръ, ревнивъ Ганимедъ.

XL.

Ну, не бѣда! Беззаботно тяни къ небесамъ свои ножки:
Тянемъ же руки мы къ нимъ—далеко не безгрѣшно, какъ ты.

XLI.

Шейка твоя наклонилась: не диво! вѣдь всю тебя носитъ
Часто она; ты легка, но для шейки подчасъ тяжела.
Мнѣ не противно ничуть положенье головки такое:
Шея ничья не сгибалась подъ бременемъ милымъ такимъ.

XLII.

Съ толку сбиваетъ, порою, насъ мрачно-настроенный Брейгель
Рядомъ широко задуманныхъ образовъ адскихъ своихъ:
Мозгъ потрясаетъ намъ Дюреръ картиной изъ Апокалипса,
Изображая людей, заодно съ измышленьемъ мечты;
Слухъ упоительно нѣжатъ поэты, въ строфахъ воспѣвая
Сфинксовъ, сиренъ и центавровъ. Во снѣ безпокойномъ, порой,
Думаешь что-то схватить, простираешь стремительно руку,
Но еще мигъ — все исчезло безслѣдно и спуталось все.
Съ толку собьетъ и Беттина, ломая, кружа свои члены,
Но и порадуетъ тотчасъ, какъ на ноги встанетъ опять.

XLIII.

Мѣломъ начертанный кругъ не предѣлъ мнѣ; когда же «боттегу»
Чертитъ *она*, то меня оттѣсняетъ любезно назадъ.

XLIV.

«Ахъ, что̀ онъ дѣлаетъ съ этими душами, Матерь святая!
Это — мѣшки для бѣлья: ихъ къ колодцу для стирки несутъ.
Право, она упадетъ — я боюсь. О, уйдемъ! Какъ красива!
Взглянь, какъ стоитъ — какъ легка — и съ веселой улыбкой еще!»
Ты, старушонка, не даромъ дивишься Беттинѣ: сама ты
Стала, любуяся ею, краспвѣй, моложе на взглядъ.

XLV.

Всѣмъ я любуюсь въ тебѣ, но люблю всего болѣе видѣть,
Какъ твой отецъ чрезъ тебя же проворно бросаетъ тебя;
Ты же повиснешь съ размаху и, послѣ прыжка удалого,
Прямо стоишь на ногахъ, какъ ни въ чемъ не бывало, опять.

XLVI.

Лица у всѣхъ прояснились; морщины труда и заботы
Сгладились съ каждаго лба — и какъ счастливы кажутся всѣ!
Передъ тобою смягчился морякъ; по щекѣ тебя треплетъ,
И, хоть скупенекъ, однако открылся его кошелекъ.
Житель лагунъ, изъ-подъ мантіи высунувъ руку, радушно
Денегъ даетъ тебѣ — точно молилась ты вслухъ за народъ
Ранамъ Христа, иль Антонія чудотворящему лику,
Иль сердцу Дѣвы святой, или образу огненныхъ мукъ.
Каждый мальчишка, торгашъ и оборванный нищій, Беттина,
Рвется къ тебѣ, ненаглядная: радъ, что дитя онъ, какъ ты.

XLVII.

Любо мнѣ здѣсь ремесло стихотворца, да дорого стоитъ:
Книжка ростетъ моя — правда, но съ ней и цехины плывутъ.

XLVIII.

Что̀ за безумье постигло тебя, празднолюбецъ? Уймися!
Все лишь о милой поешь ты! Разумную рѣчь поведи!
Стойте: великихъ земли, королей славословить я буду,
Только лишь дѣло ихъ лучше себѣ уясню, чѣмъ теперь;
А между тѣмъ, я Беттину пою: вѣдь поэтъ съ акробатомъ
Близко сродни, и другъ съ другомъ охотно водились всегда.

XLIX.

«Козлища, встаньте налѣво!» промолвитъ Судья всемогущій:
«Вы же, овечки, извольте по правую руку стоять!»
Ладно! Надѣюсь однако, что скажетъ потомъ Онъ разумнымъ:
Какъ передъ Истиной, прямо вы встанете противъ Меня.

L.

Если желаете, чтобъ эпиграммъ я напекъ вамъ съ полсотни,
Дальше вы только меня увлеките отъ милой моей.

LI.

Всякій апостолъ свободы бывалъ мнѣ всегда не по сердцу:
Лучшій изъ нихъ подконецъ произвола и власти искалъ.
Хочешь дать многимъ свободу — служить за то многимъ придется!
Дѣло опасное, милый! а хочешь узнать — испытай!

LII.

Блага желаютъ творить короли и равно — демагоги,
Но заблуждаются тѣ и другіе: всѣ люди они, какъ и мы.
Чернь понимать неспособна; чего она хочетъ — мы знаемъ.
Тотъ, кто за всѣхъ насъ умѣетъ хотѣть — покажи это намъ!

LIII.

Подъ тридцать лѣтъ распинать бы мечтателя каждаго надо:
Свѣтомъ и жизнью обманутый, будетъ навѣрно онъ — плутъ.

LIV.

Надо бы лицамъ высокимъ подумать о горькой судьбинѣ
Франціи; малымъ же — слѣдуетъ больше подумать еще!
Пали высокія лица; но кто жъ былъ защитникомъ массы
Противъ толпы? Не толпа ли тираномъ народу была?

LV.

Смутно-безумныя я пережилъ времена, да и самъ-то —
Вѣка безпутнаго сынъ — то и дѣло безумцемъ бывалъ.

LVI.

Развѣ — скажи — мы неправы? Обманывать массу должны мы:
Вотъ, посмотри, какъ она безтолкова, груба и дика!
Да, безтолковая, дикая чернь поддается обману:
Правдой одной къ человѣчности можно ее привести.

LVII.

Часто владыки свой образъ чеканятъ на бронзѣ, едва лишь
Посеребренной — и долго обманутъ бываетъ народъ,
А шарлатаны нелѣпость и ложь на словахъ отчеканивать любятъ,
Такъ-что сочтешь безъ осёлка за чистое золото ихъ.

LVIII.

«Люди всѣ эти безумны», ты скажешь о ярыхъ трибунахъ,
Что мы на улицахъ, рынкахъ, во Франціи слышимъ вездѣ.
Правда, но мудрое слово порой изречетъ на свободѣ
Ярый безумецъ, а мудрость рабовъ угнетенныхъ — молчитъ!

LIX.

Долго высокія лица держались нарѣчья французовъ,
Чтя вполовину того, чьи уста не болтали на немъ;
Нынче жъ народъ восхищенный лепечетъ нарѣчіемъ франковъ.
Сильные міра, свершилось, чего домогалися вы!

LX.

«Ахъ, эпиграммы, не будьте такъ дерзостны вы!» Почему-же?
Мы — лишь заглавія; книгѣ жъ даетъ содержаніе свѣтъ.

LXI.

Гадами полный платокъ опустился къ апостолу съ неба...
Смѣсью нечистаго съ чистымъ и книжечка эта полна.

LXII.

Можешь ли ты разрѣшить: хороша ли, дурна ль эпиграмма?
Кто ее, шельму, узнаетъ, что̀ тамъ разумѣла она?

LXIII.

Чѣмъ эпиграмма пошлѣе и къ зависти ближе, къ злословью —
Вѣрь, тѣмъ скорѣе постигнешь ты смыслъ сокровенный ея.

LXIV.

Хлоя въ любви мнѣ клянется. Не вѣрю! «Она тебя любитъ!»
Шепчетъ знатокъ мнѣ. Да, только повѣрь я—и пѣснѣ конецъ!

LXV.

Ты, не любя никого, горячо такъ меня полюбила:
Развѣ иного пути, чтобъ вполнѣ овладѣть мною, нѣтъ?

LXVI.

Тайна великая, что̀ ль, въ божествѣ, человѣкѣ и мірѣ?
Нѣтъ, изучать не хотятъ ихъ — и тайной пребудутъ они!

LXVII.

Много могу я стерпѣть, и не мало вещей непріятныхъ,
По повелѣнью небесъ, я съ спокойствіемъ духа сношу.
Только немногія вещи, какъ ядъ и змѣя, мнѣ противны,
Только четыре: клопы, дымъ табачный, чеснокъ и — ...

LXVIII.

Съ вами давно говорить я хотѣлъ о звѣрькахъ быстроногихъ,
Что̀ такъ красиво и весело шмыгаютъ взадъ и впередъ.
Съ змѣйками схожи они, но четыре ноги у нихъ; лазятъ,
Бѣгаютъ, ползаютъ, тащутъ извилистый хвостъ свой легко.

Вотъ, они здѣсь; посмотрите—вотъ тамъ! вотъ исчезли! Куда же?
Въ щель, или траву убѣжали? Лацертами *) ихъ называть
Вы мнѣ позвольте впередъ; вѣдь, они еще мнѣ пригодятся:
Грація ихъ и проворство напомнятъ мнѣ образъ живой.

LXIX.

Кто изъ васъ видѣлъ лацерту, тотъ вспомнитъ о граціяхъ рынка,
Вѣчно снующихъ по площади быстро такъ взадъ и впередъ.
Ловки, подвижны онѣ—и скользятъ, и стоятъ, и болтаютъ;
Платье ихъ тащится сзади виляющимъ, гибкимъ хвостомъ.
Вотъ, посмотри—она здѣсь, а теперь, вотъ и тамъ! Потеряешь
Разъ лишь ее—не найдешь: ужъ не выползетъ скоро она.
Если жъ тебѣ не претятъ переулки, углы и лазейки,
Слѣдуй за ней, когда манитъ въ «спелонку» съ собою она.

LXX.

Что же за слово «спелонка?» Хотите узнать? Да вѣдь, право,
Книжка моихъ эпиграммъ обратится почти въ лексиконъ.
Темные это дома, въ переулочкахъ узкихъ; въ кофейню
Тащитъ красотка тебя и хлопочетъ тамъ больше, чѣмъ ты.

LXXI.

Двѣ первосортныя граціи были всегда неразлучны:
Слишкомъ одна велика была, слишкомъ другая—мала.
Ежели вмѣстѣ ихъ встрѣтишь ты, выборъ тебѣ невозможенъ,
Порознь увидишь ихъ—каждая кажется лучше другой.

LXXII.

Вотъ, говорятъ, что желаютъ всѣмъ грѣшникамъ, грѣшницамъ блага
Люди святые! И я имъ отъ сердца желаю того жъ.

LXXIII.

«Если бъ была домовитой женой я и все, что мнѣ нужно, имѣла,
Какъ бы вѣрна я была, и какъ мужа бы я берегла!»
Такъ, между прочимъ, сказала въ Венеціи мнѣ разъ потаскушка—
И никогда не слыхалъ я святѣе мольбы на землѣ.

LXXIV.

Диво ль, что люди такъ псовъ предпочтительно холятъ и любятъ?
Вѣдь человѣкъ, какъ и песъ, жалкая тварь и бѣднякъ.

LXXV.

Дерзкимъ я сталъ — что за диво? Вамъ, боги Олимпа, извѣстно —
И не однимъ вамъ—что я вѣренъ и кротокъ душой.

*) Ящерица.

LXXVI.

— Знать, не видалъ ты хорошаго общества? Въ книжкѣ твоей лишь
Чернь, да шуты и фигляры, да есть и похуже еще!
— Видѣлъ не разъ: вѣдь то общество всѣ называютъ хорошимъ,
Повода къ пѣснѣ которое чтителю музъ не даетъ.

LXXVII.

Что изъ меня ты, судьба, предназначила сдѣлать — скажи мнѣ?
Дерзкій вопросъ: съ большинствомъ вѣдь немного хлопочетъ она.
Сдѣлать поэта? Быть можетъ, оно бъ удалось, не представься
Неодолимаго столько въ нашемъ родномъ языкѣ.

LXXVIII.

Ты изучаешь ботанику, попусту время теряя;
Развѣ не лучше занятіе —нѣжныя трогать сердца?
Охъ, ужъ сердца эти нѣжныя! Тронетъ ихъ всякій писака;
Мнѣ же блаженство одно: тронуть, природа, тебя!

LXXIX.

Бѣлое сдѣлалъ Ньютонъ изъ всѣхъ красокъ. Онъ многое даже
Бѣлымъ самъ сдѣлалъ, чему вы столѣтія вѣрить могли *).

LXXX.

«Все уяснилось», повѣдалъ мнѣ школьникъ, «изъ этихъ теорій,
Что излагалъ намъ такъ мудро великій учитель не разъ:
Если изъ дерева крестъ вами сдѣланъ однажды, какъ должно,
Для наказанья придется и тѣло живое къ нему.»

LXXXI.

Ежели въ трудной дорогѣ сближается юноша съ дѣвой,
Будь эта книжка при немъ, тотчасъ утѣшитъ она.
Если же дѣва ждетъ милаго, пусть эту книжку читаетъ,
И лишь когда онъ придетъ, броситъ ненужную прочь.

LXXXII.

Дѣвѣ подобно, которая, мимо идя, торопливо
Руку украдкою мнѣ пожимаетъ отъ сердца всего —
Музы! пошлите вы путнику краткій лишь мигъ вдохновенья,
Но сберегите для друга и высшую милость потомъ!

LXXXIII.

Въ пасмурный день, когда солнце въ туманѣ за облакомъ скрыто,
Какъ подвигаемся медленно мы по тропинкѣ впередъ!

---

*) Непереводимая игра словъ: weiss machen — сдѣлать бѣлымъ, убѣлить и weiss machen — сдѣлать мудрымъ, научить кого. Смыслъ эпиграммы слѣдующій: Ньютонъ доказалъ, что изъ всѣхъ цвѣтовъ можно сдѣлать бѣлый. Многому еще научилъ онъ людей, чему они вѣрятъ въ продолженіе столькихъ вѣковъ. *Перев.*

Если промочитъ дождемъ — какъ пріятна намъ сельская крыша,
Какъ безмятежно подъ нею въ ненастную ночь отдохнешь!
Но ужъ опять просіяла богиня. Скорѣй же туманы
Прочь отгони отъ чела, какъ природа — великая мать!

LXXXIV.

Хочетъ ли благомъ любви наслаждаться безъ смутнаго чувства?
О, такъ гони же изъ сердца безстыдство и строгость: одно
Хочетъ Амура изгнать; его цѣпью опутать — другая;
Той и другому на зло плутовски усмѣхается богъ.

LXXXV.

Тщетно, Морфей, разсыпаешь кругомъ ты снотворные маки:
Глазъ не сомкнется, пока богъ любви не закроетъ его.

LXXXVI.

Страсть ты влила въ мое сердце — и, чувствуя это, горю я!
Влей же теперь ты въ меня твердую вѣру въ себя.

LXXXVII.

Знаю тебя хорошо я, Амуръ! Ты приносишь свой факелъ,
И въ темнотѣ онъ горитъ, и живительнымъ грѣетъ лучомъ.
Но ты съ прямого пути насъ сбиваешь, къ несчастію, скоро:
Кстати бы факелъ теперь, а измѣнникъ какъ разъ и потухъ.

LXXXVIII.

Ночь лишь одну на груди твоей! Объ остальномъ не забочусь.
Насъ раздѣляетъ еще, средь тумана и ночи, Эротъ;
Но доживу я до утра, когда насъ увидитъ Аврора
Сердце на сердцѣ — и ранній пробудитъ насъ, любящихъ, Фебъ.

LXXXIX.

Ежели вправду ты любишь, не мучь меня, сдѣлай счастливцемъ!
Если шутила — довольно, о, милая, шутокъ такихъ!

XC.

Горько тебѣ, что молчу я? О чемъ говорить? Не хотѣла
Тихаго ты краснорѣчія взглядовъ и вздоховъ понять.
Сниметъ печать съ монхъ устъ лишь Аврора, предвѣстница утра,
Если она на груди твоей рано пробудитъ меня.
О, тогда гимнъ мой раздастся навстрѣчу богинѣ разсвѣта,
Какъ изъ статуи Мемнона таинственный звукъ на зарѣ.

XCI.

Въ мельницу любо играть: то изъ рукъ у тебя ускользаетъ,
То возвращается кверху обмотанный нитью кружокъ...

Такъ и со мной: льнетъ то къ той, то къ другой красотѣ мое сердце,
Но возвращается снова на старое мѣсто свое.

XCII.

О, какъ, бывало, цѣнилъ я четыре всѣ времени года!
Чествовалъ пѣснью весну, осени ждалъ золотой.
Нынче же — лѣто ль, зима ли — не все ли равно мнѣ? Счастливецъ,
Вѣчной весной окруженъ я, подъ бога Амура крыломъ.

XCIII.

Другъ, какъ живешь ты? — Живу! Если бъ длилася жизнь человѣка
Сотни лѣтъ, каждый бы день я желалъ все вчерашняго дня.

XCIV.

Боги, какъ я благодаренъ глубоко вамъ! Все вы мнѣ дали,
Что̀ человѣкъ у васъ проситъ; на дѣлѣ жъ — почти ничего.

XCV.

Быстро взобраться тропинкой на горную высь предъ разсвѣтомъ,
Чтобъ поклониться звѣздѣ, предвозвѣстницѣ радостной дня,
Ждать съ нетерпѣньемъ лучей въ торжествѣ восходящаго Феба —
Юная радость! Какъ часто ты ночью будила меня!
Вѣстники дня, вы теперь мнѣ блеснули, небесныя очи
Милой моей; о, зачѣмъ же такъ рано ты, солнце, встаешь?!

XCVI.

На̀ море мнѣ ты, дивясь, указалъ: какъ въ огнѣ оно блещетъ,
Искряся, ходятъ валы вкругъ одѣтаго мглой корабля.
Дива тутъ нѣтъ: не изъ моря ль на свѣтъ родилась Афродита?
Не отъ него ли же родомъ и свѣточъ любви — ея сынъ?

XCVII.

Видѣлъ я: море горѣло, сверкала волна голубая,
Полные вѣтромъ попутнымъ, тянулися вдаль паруса,
Но не рвалось туда сердце — и взглядъ мой, съ тоскливымъ желаньемъ,
Все обращался назадъ, къ моимъ снѣжнымъ, роднымъ высотамъ.
Много сокровищъ на югѣ! Одно есть на сѣверѣ только.
Но, какъ могучій магнитъ, оно сердце влечетъ къ себѣ въ даль.

XCVIII.

«Ахъ! далекò моя милая, сѣвъ на корабль, отплываетъ!
Мощный Эолъ, удержи дуновеніе бури твоей!»
— «Бури, безумецъ», воззвалъ ко мнѣ богъ: «не страшися:
Тихаго вѣянья бойся отъ крыльевъ Амура скорѣй!»

XCIX.

Бѣдной, прикрытой едва, я на улицѣ дѣвочку встрѣтилъ —
И полюбилъ обнаженную такъ, какъ люблю и теперь.

C.

Я заблуждался не разъ и опять выходилъ на дорогу,
Но не бывалъ я счастливѣй: ты, милая — счастье мое!
Если жъ опять въ заблужденье я впалъ — пощадите, о, боги!
И образумьте меня лишь за хладною гранью земной.

CI.

Что̀ съ тобой сталось, Мидасъ! Превращенною въ золото пищу,
Алчущій старецъ, ты чувствовалъ въ трепетныхъ, жадныхъ рукахъ.
Мнѣ — веселѣй, чѣмъ тебѣ: до чего я коснуся — все мигомъ
Въ жаркихъ рукахъ у меня обращается въ образъ и звукъ.
Музы, доволенъ я жребіемъ, лишь бы, когда прижимаю
Милую къ сердцу, не сдѣлалась духомъ безплотнымъ она.

CII.

«Ахъ, мое горло вспухаетъ!» сказала съ испуганнымъ видомъ
Дѣвочка милая. — «Тише, дитя мое, тише — послушай:
Нѣжной рукою коснулась тебя наслажденій богиня!
Преобразитъ она скоро твой дѣвственный чудно-роскошный
Образъ и стройныя формы ребяческихъ персей испортитъ:
Все наливается; вотъ ужъ и новое платье тѣснитъ.
Но не тужи! возвѣщаетъ весною садовнику цвѣта паденье,
Что, наливаясь, созрѣетъ природой взлелѣянный плодъ.

CIII.

Что̀ за блаженство — держать молодое созданье въ объятьяхъ,
Слушать впервые признанье дрожащаго сердца въ любви!
Больше блаженство — движенья едва зарожденнаго слышать,
Въ лонѣ любимомъ себѣ находящаго пищу и кровъ.
Юныя силыя пытая, уже съ нетерпѣньемъ онъ бьется,
Къ свѣту небесному всѣмъ существомъ порываясь своимъ.
Выжди немного лишь дней! На путяхъ неиспытанныхъ жизни
Строго тебя поведутъ и богиня Временъ, и Судьба.
Что̀ бъ ни случилось съ тобою, любимецъ двухъ связанныхъ сердцемъ,
Ты — порожденье Любви, и удѣлъ твой да будетъ — любовь!

CIV.

Такъ-то блаженно бездѣйствовалъ здѣсь я, въ разлукѣ съ друзьями,
Въ градѣ Нептуна, ловя быстролетные дни и часы.
Все, пережитое здѣсь, вкоренилося въ сердцѣ надеждой,
Воспоминаніемъ сладкимъ: вотъ лучшіе корни души.

А. Яхонтовъ.

ИСКУССТВО.

СТРАННИКЪ.

(1771).

СТРАННИКЪ.

Благослови Господь
Тебя, младая мать,
И тихаго младенца,
Приникшаго къ груди твоей!
Здѣсь, подъ скалою,
Въ тѣни оливъ твоихъ пріютныхъ,
Сложивши ношу, отдохну
Отъ зноя близь тебя.

ПОСЕЛЯНКА.

Скажи мнѣ, странникъ,
Куда въ палящій зной
Ты пыльною идешь дорогой?
Товары ль городскіе
Разносишь по селеньямъ?..
Ты улыбнулся, странникъ,
На мой вопросъ.

СТРАННИКЪ.

Товаровъ нѣтъ со мной.
Но вечеръ холодѣетъ...
Скажи мнѣ, поселянка,
Гдѣ тотъ ручей,
Въ которомъ жажду утоляешь?

ПОСЕЛЯНКА.

Взойди на верхъ горы;
Въ кустарникѣ, тропинкой,
Ты мимо хижины пройдешь,
Въ которой я живу;
Тамъ близко и студеный ключъ,
Въ которомъ жажду утоляю.

СТРАННИКЪ.

Слѣды создательной руки
Въ кустахъ передо мною.
Не ты сіи образовала камни,
Обильно-щедрая природа!

ПОСЕЛЯНКА.

Иди впередъ.

СТРАННИКЪ.

Покрытый мохомъ архитравъ!
Я узнаю тебя, творящій геній!
Твоя печать на этихъ мшистыхъ камняхъ.

ПОСЕЛЯНКА.

Все далѣ, странникъ.

СТРАННИКЪ.

И надпись подъ моей ногою!
Ее затерло время:
Ты удалилось,
Глубоко-вырѣзанное слово,
Рукой творца нѣмому камню
Напрасно ввѣренный свидѣтель
Минувшаго богопочтенья.

ПОСЕЛЯНКА.

Дивишься, странникъ,
Ты этимъ камнямъ?
Подобныхъ много
Близь хижины моей.

СТРАННИКЪ.

Гдѣ? гдѣ?

ПОСЕЛЯНКА.

Тамъ, на вершинѣ,
Въ кустахъ.

СТРАННИКЪ.

Что вижу? Музы и харпты!

ПОСЕЛЯНКА.

То—хижина моя.

СТРАННИКЪ.

Обломки храма!

ПОСЕЛЯНКА.

Вблизи бѣжитъ
И ключъ студеный,
Въ которомъ воду мы беремъ.

СТРАННИКЪ.

Не умирая, вѣешь
Ты надъ своей могилой,
О, Геній; надъ тобою
Обрушилось во прахъ
Твое прекрасное созданье,
А ты — безсмертенъ.

ПОСЕЛЯНКА.

Помедли, странникъ: я подамъ
Кувшинъ напиться изъ ручья.

СТРАННИКЪ.

И плющъ обвѣсилъ
Твой ликъ божественно-прекрасный!
Какъ величаво
Надъ этой грудою обломковъ
Возносится чета столбовъ!
А здѣсь ихъ одинокій братъ.
О, какъ они —
Въ печальный мохъ одѣвъ главы священны —
Скорбя величественно, смотрятъ
На раздробленныхъ
У ногъ ихъ братій!
Въ тѣни шиповниковъ зеленыхъ,
Подъ камнями, подъ прахомъ
Лежатъ они — и вѣтеръ
Травой надъ ними шевелитъ.
Какъ мало дорожишь, природа,
Ты лучшаго созданья своего
Прекраснѣйшимъ созданьемъ!
Сама святилище свое
Безчувственно ты раздробила
И тернъ посѣяла на немъ.

ПОСЕЛЯНКА.

Какъ спитъ младенецъ мой!
Войдешь ли, странникъ,
Ты въ хижину мою,
Иль здѣсь на волѣ отдохнешь?
Прохладно. Подержи дитя,
А я кувшинъ водой наполню.
Спи, мой малютка, спи!

СТРАННИКЪ.

Прекрасенъ твой покой!
Какъ тихо дышетъ онъ,
Исполненный небеснаго здоровья!
Ты, на святыхъ остаткахъ
Минувшаго рожденный—
О, будь съ тобой его великій Геній!
Кого присвоитъ онъ,
Тотъ въ сладкомъ чувствѣ бытія
Земную жизнь вкушаетъ.
Цвѣти жъ надеждой,
Весенній цвѣтъ прекрасный!
Когда же отцвѣтешь,
Созрѣй на солнцѣ благодатномъ
И дай богатый плодъ!

ПОСЕЛЯНКА.

Услышь тебя Господь! А онъ все спитъ.
Вотъ, странникъ, чистая вода
И хлѣбъ, даръ скудный, но отъ сердца.

СТРАННИКЪ.

Благодарю тебя.
Какъ все цвѣтетъ кругомъ
И живо зеленѣетъ!

ПОСЕЛЯНКА.

Мой мужъ придетъ
Черезъ минуту съ поля
Домой. Останься, странникъ,
И ужинъ съ нами раздѣли.

СТРАННИКЪ.

Жилище ваше здѣсь?

ПОСЕЛЯНКА.

Здѣсь, близко этихъ стѣнъ
Отецъ намъ хижину построилъ
Изъ кирпичей и каменныхъ обломковъ —
Мы въ ней и поселились.
Меня за пахаря онъ выдалъ
И умеръ на рукахъ у насъ.
Проснулось ты, мое дитя?
Какъ веселъ онъ! какъ онъ играетъ!
О, милый!

СТРАННИКЪ.

О, вѣчный сѣятель, Природа!
Даруешь всѣмъ ты сладостную жизнь;

Всѣхъ чадъ своихъ, любя, ты надѣлила
Наслѣдствомъ хижины пріютной.
Высоко на карнизѣ храма
Селится ласточка, не зная,
Чье пышное созданье застилаетъ,
Лѣпя свое гнѣздо.
Червякъ, заткавъ живую вѣтку,
Готовитъ зимнее жилище
Своей семьѣ.
А ты среди великихъ
Минувшаго развалинъ
Для нуждъ своихъ житейскихъ
Шалашъ свой ставишь, человѣкъ —
И счастливъ надъ гробами.
Прости, младая поселянка!

ПОСЕЛЯНКА.

Уходишь, странникъ?

СТРАННИКЪ.

Пусть Богъ благословитъ
Тебя и твоего младенца!

ПОСЕЛЯНКА.

Прости же, добрый путь!

СТРАННИКЪ.

Скажи, куда ведетъ
Дорога этою горою?

ПОСЕЛЯНКА.

Дорога эта—въ Кумы.

СТРАННИКЪ.

Далекъ ли путь?

ПОСЕЛЯНКА.

Три добрыхъ мили.

СТРАННИКЪ.

Прости!
О, будь моимъ вождемъ, Природа!
Направь мой странническій путь!
Здѣсь надъ гробами
Священной древности скитаюсь —
Дай мнѣ найти пріютъ,
Отъ хладовъ сѣвера закрытый,
Чтобъ зной полдневный
Тополевая роща
Веселой сѣнью отвѣвала!

Когда-жъ въ вечерній часъ
Усталый возвращусь
Подъ кровъ домашній,
Лучомъ заката позлащенный —
Чтобъ на порогъ моихъ дверей
Ко мнѣ навстрѣчу вышла
Подобно милая подруга
Съ младенцемъ на рукахъ!

В. Жуковскій.

УТРЕННЯЯ ПѢСНЬ ХУДОЖНИКА.

(1774).

Вамъ, музы чистыя, давно
Воздвигнутъ пышный храмъ,
Въ которомъ жертвой вамъ горитъ
Священный ѳиміамъ.

Когда, разбуженный зарей,
Я подымаю взоръ,
Уже витаетъ надо мной
Вашъ свѣтозарный хо́ръ.

И гимнъ мой мчится къ небесамъ,
И тамъ васъ славитъ онъ,
И гимнъ тотъ лиры золотой
Сопровождаетъ звонъ.

Я приступаю къ алтарю
Съ алкающей душой —
И мнѣ божественный Гомеръ
Плѣняетъ духъ собой.

И онъ влечетъ меня туда,
Гдѣ, словно львы, толпой
На колесницахъ, на коняхъ
Герои мчатся въ бой.

И ни друзей, ни злыхъ враговъ
Марсъ грозный не щадитъ:
Вездѣ потокомъ льется кровь;
Повсюду смерть царитъ.

Съ мечомъ пылающимъ въ рукахъ,
Смерть сѣетъ вкругъ герой,
Пока не ляжетъ самъ, сраженъ
Божественной рукой.

И вотъ, лежитъ онъ на кострѣ,
Зажженномъ имъ самимъ —

И врагъ ругается, кичась,
Надъ бездыханнымъ имъ.

И я кидаюсь храбро въ бой:
Оружьемъ служитъ мнѣ
Древесный уголь — и я имъ
Сражаюсь на стѣнѣ.

Впередъ! впередъ! Кругомъ враги!
Пусть щитъ гремитъ о щитъ,
Пусть мечъ раздваиваетъ шлемъ
И смерть за смерть разитъ.

Я мчусь грозою на враговъ;
Мы бьемся вкругъ него —
И наши храбрые друзья
Отмщаютъ за него.

Спасемъ хоть прахъ его святой,
На одръ его снесемъ,
Бальзамомъ чистымъ умастимъ,
Слезами обольемъ.

Я возвращаюся — и ты
Приходъ встрѣчаешь мой
Съ любовью, милая... Ахъ, нѣтъ!
Не ты, а образъ твой!

О, какъ сгоралъ и трепеталъ
Отъ страсти прежде я,
Когда склонялась ты ко мнѣ,
Красавица моя!

Какъ страстно очи и уста
Твои я цѣловалъ
И, словно богъ, эдемъ земной
Въ груди своей вмѣщалъ!

О, возвратись, мой милый другъ,
Въ объятія мои!
Не надо мнѣ кровавыхъ битвъ:
Я жажду лишь любви!

О, дорогая, для меня
Ты свѣтъ и бытіе,
Мадонна, первенецъ-дитя
Любимое мое!

О, какъ бы я обнять хотѣлъ
Тебя въ глуши лѣсной!

Не избѣгай же ласкъ моихъ,
Прекрасный ангелъ мой!

Какъ Марсъ съ богинею Любви,
Хотѣлъ бы я лежать
Съ тобою, сѣтью насъ закрывъ,—
И весь Олимпъ созвать,

Чтобъ боги, если захотятъ,
Завидовать пришли,
И съ мѣста, ревностью томясь,
Сойти ужъ не могли.

Н. Гербель.

ВЕЧЕРНЯЯ ПѢСНЬ ХУДОЖНИКА.

(1774).

Пусть творческимъ огнемъ горитъ
Мое воображенье!
Рука пусть образы чертитъ
По волѣ вдохновенья!

Ты мнѣ ясна, природа-мать!
И я горю желаньемъ
Твой дивный образъ воплощать
Всегда въ моихъ созданьяхъ.

Лишь постепенно постигалъ
Мой духъ твою святыню,
Ключи живые обрѣталъ
Въ самихъ пескахъ пустыни.

Къ тебѣ, природа, всей душой
Стремлюсь я и страдаю:
Всѣ мнѣ ключи свои открой —
Я жаждою сгораю!

Ты просвѣтишь мой мрачный духъ,
Ты миръ мнѣ дашь пріятный,
И жизнь представится мнѣ вдругъ,
Какъ вѣчность — необъятной.

Ѳ. Миллеръ.

КАПЛЯ НЕКТАРА.

(1781).

Въ часъ, когда Минерва
Къ другу Прометею
Съ нектаромъ спѣшила,

Чтобъ въ его созданьяхъ
Поселить влеченье
И любовь къ искусству —
На главѣ богини
Чаша золотая
Тихо пошатнулась,
И она на землю
Влаги драгоцѣнной
Каплю уронила.

Пчелы и другія
Маленькія твари
Тотчасъ поспѣшили
Капелькой завѣтной
Утолить свой голодъ;
Даже и малютка-
Муравей на долю
Получилъ немножко.

Избранныя твари,
Счастливыя твари,
Хорошо вамъ было!
Вы, подобно людямъ,
Унесли съ собою
Даръ благого неба,
Даръ неоцѣненный,
Что̀ зовутъ искусствомъ!

А. Струговщиковъ.

АМУРЪ-ЖИВОПИСЕЦЪ.

(1787).

Утромъ рано сидѣлъ я на дикой скалѣ, неподвижно
Взоръ устремивъ на влажный туманъ: безпредѣльный и сѣрый,
Какъ нагрунтованный холстъ, отъ меня закрывалъ онъ окрестность.
Въ эти минуты малютка ко мнѣ подошелъ и сказалъ:
«Удивляюсь, пріятель, что̀ тебѣ за охота
Такъ прилежно часъ цѣлый смотрѣть на пустую холстину?
Развѣ навѣкъ потерялъ ты любовь къ рисованью и полнымъ
Жизни картинамъ?» Я думалъ, смотря на ребенка:
Крошка хочетъ учителемъ быть, даетъ мнѣ совѣты!
«Если ты будешь всегда безпеченъ и грустенъ», сказалъ мнѣ
Мальчикъ: «увянетъ, исчезнетъ навѣки твое дарованье.
Вотъ, поучись у меня рисовать картинки — я тотчасъ
Нарисую тебѣ красивый ландшафтъ, для примѣра».
И, протянувши ручонку, на сѣромъ коврѣ беззаботно
Началъ писать онъ картинку, пальчикъ поднявши румяный.
Прежде всего начертилъ онъ янтарно-румяное солнце
Такъ натурально, что вдругъ въ глазахъ у меня заблестѣло;

Послѣ разсыпалъ гряду облаковъ въ поднебесьѣ,
Поднялъ холмы одинъ за другимъ — и душистыя липы
Къ злачному скату горы нагнулись густыми кудрями.
Дальше провелъ онъ рѣку такъ живо, легко, что, казалось,
Звонкія во́ды плескались и солнце сквозь нихъ проникало,
Яркій рубинъ и смарагдъ онъ разсыпалъ въ лугу благовонномъ,
Пологъ тумана согналъ съ глубоколазурнаго неба
И открылъ мнѣ цѣпь горъ, увѣнчанныхъ сиими льдами.
И восхищенный нежданной картиной и возрожденный,
То на художника, то на картину смотрѣлъ я безмолвно.
«Вотъ теперь ты узналъ, что я понимаю искусство»,
Мальчикъ сказалъ: «но картина еще не готова». И послѣ,
Тамъ, гдѣ солнце роняло сквозь вѣтви на ясныя воды
Дождь лучей золотыхъ, представилъ онъ стройную дѣву.
Тонкая ткань обвивала ея лилейные члены,
А каштановыхъ кудрей каскадъ, волнуемый свѣжимъ
Утра дыханьемъ, бросалъ на лицо ея зыбкія тѣни.
«Чудный мальчикъ!» вскричалъ я: «скажи, ради Бога,
Кто тебя научилъ такъ вѣрно, умно и проворно
Мысли свои отражать на холстѣ, оживлять ихъ перстами?»
И, пока говорилъ я, подулъ вѣтерокъ, закачались
Яркіе листья деревъ, зашумѣла рѣка, распахнулся
Вуаль, закрывавшій красы плѣнительной дѣвы —
И, едва касаяся волнъ бѣлоснѣжною ножкой,
Тихо она приближалась къ скалѣ, на которой сидѣлъ я,
Нѣмъ и недвижимъ, какъ камень, взоръ устремивъ на картину.

И. Крешевъ.

ПѢСНЬ ХУДОЖНИКА.

(1816).

Чтобъ творить — въ уединенье,
О, художникъ, уходи!
Довершать свое творенье
Въ кругъ другихъ людей иди!
Только тамъ найдешь познанье
Жизни собственной своей:
Многихъ лѣтъ воспоминанья
Оживутъ въ кругу друзей.

Размышленье, созерцанье,
Сотни лицъ, ихъ жизнь и связь —
Все въ могучее созданье,
Все ты вложишь, вдохновясь.
Мыслью, силой вдохновенья,
Формы дивной красотой
Міръ приводитъ въ изумленье
Даръ художника святой.

Какъ въ природѣ безконечной
Богъ единый намъ открытъ,
Такъ въ искусствѣ съ силой вѣчной
Вѣчно мысль одна царитъ.
Это истина святая,
Что́, въ союзѣ съ красотой,
Къ солнцу, глазъ не прикрывая,
Смѣло взоръ возводитъ свой.

Какъ оратору даръ прозы,
Риѳмы даръ тебѣ, поэтъ —
Розы жизни, юной розы
Живописцу нуженъ цвѣтъ.
Пусть стоитъ она, сверкая
Несравненной красотой,
Мысль о жизни возбуждая
Свѣжей прелестью живой!

Формъ красою упивайся,
Созидай ихъ безъ конца,
Человѣкомъ восхищайся:
Онъ — подобіе Творца.
Долгъ велитъ соединиться
Всѣмъ, жрецы искусства, вамъ:
Дружно къ Небу пусть курится
Вашъ союзный ѳиміамъ!

Н. Холодковскій.

ВЪ АНТИЧНОЙ ФОРМѢ.

УЕДИНЕНІЕ.

(1782).

Вы, что̀ живете въ горахъ и лѣсахъ, благотворныя нимфы —
Кто чего жаждетъ душою, каждому дайте свое!
Грустному дайте утѣху, въ сомнѣньи бродящему—выходъ,
Кто же любовью горитъ—счастье пошлите ему.
Боги вѣдь дали вамъ то, въ чемъ намъ отказано, смертнымъ:
Всѣмъ, кто довѣрится вамъ, сладкою помощью быть.

Н. Холодковскій.

СЕЛЬСКОЕ СЧАСТЬЕ.

(1782).

Добрые геніи лѣса, кроткія нимфы рѣчныя,
Вспомните тѣхъ, кто вдали, радуйте тѣхъ, кто при васъ!
Тѣ въ отдаленьѣ своемъ пусть въ тиши вашъ праздникъ справляютъ;
Мы жъ у родныхъ очаговъ счастье вкушаемъ свое.
Царствуй надъ нами, Амуръ, и своею божественной силой
Здѣшнимъ любовь ниспошли, дальнихъ приблизь къ нимъ душой.

Н. Холодковскій.

СВЯЩЕННОЕ МѢСТО.

(1782).

Въ часъ, когда нимфъ хороводы въ сіяніи мѣсяца пляшутъ,
Граціи жъ, тайно спустившись съ Олимпа, приходятъ къ подругамъ —
Жадно внимаетъ поэтъ, притаившися, пѣснямъ чудеснымъ,
Жадно слѣдитъ за движеньями плавными пляски волшебной.
Все, что̀ на небѣ есть дивнаго, что̀ на землѣ всего краше,
Все на яву, какъ во снѣ, мечтатель восторженный видитъ.
Музамъ разскажетъ онъ все, и, чтобъ боги на то не сердились,
Музы научатъ его о тайнахъ разсказывать скромно.

Н. Холодковскій.

ПАРКЪ.

(1782).

Что̀ за божественный садъ возникъ изъ пустыни безплодной:
Свѣжею жизнью живетъ, пышною блещетъ красой!
Какъ научились Творцу подражать вы, боги земные:
Горы, озера, кусты, птицы, и рыбы, и дичь!
Да, уголокъ вашъ чудесный совсѣмъ бы равнялся Эдему —
Нѣтъ лишь счастливаго въ васъ, чуждъ вамъ въ субботу покой.

Н. Холодковскій.

БРАТЬЯ.

(1782).

Сонъ и Дремоту, двухъ братій, служенью боговъ обреченныхъ,
Съ неба низвелъ Прометей роду людскому служить.
Что̀ было въ пору богамъ, человѣку пришлось не по силамъ:
Стала Дремота ихъ сномъ, смертію сталъ намъ ихъ Сонъ.

М. Михайловъ.

СОЗНАННОЕ СЧАСТЬЕ.

(1782).

Все, чѣмъ благая природа порознь людей надѣлила,
Все украшаетъ одну. Зевсомъ клянуся, судьба,
Твой приговоръ справедливъ, и ты не ошиблась въ расчетѣ:
Щедро взыскавши ее — другомъ взыскала меня!

А. Струговщиковъ.

ИЗБРАННЫЙ УТЕСЪ.

(1782).

Здѣсь, въ одинокой тиши, о милой думалъ любовникъ.
Радостно молвилъ онъ мнѣ: «Будь мнѣ свидѣтель, утесъ!
Но не гордись черезчуръ: у тебя соучастниковъ много.
Каждому камню полей, въ счастьѣ питавшихъ меня,
Каждому дереву лѣса, гдѣ, свѣтелъ душою, блуждаю,
Весело я говорю: памятью счастія будь!
Голосъ же только тебѣ я даю. Такъ, муза средь многихъ
Выберетъ вдругъ одного и поцѣлуетъ въ уста».

М. Михайловъ.

СЛАДКІЯ ЗАБОТЫ.

(1782).

Прочь отъ меня вы, заботы! Но, смертныхъ, насъ покидаютъ
Наши заботы тогда, какъ покидаетъ и жизнь.

Если жъ иначе нельзя, заботы любви приходите
И, всѣ иныя изгнавъ, сердце займите мое!

М. Михайловъ.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЦУ.

(1782).

Тонкимъ слоемъ земля покрываетъ зерно золотое;
Глубже въ ней будутъ лежать мирныя кости твои.
Бодро паши ты и сѣй! Здѣсь выростетъ пища живая;
А надежда живетъ даже у самихъ могилъ.

М. Михайловъ.

ФИЛОМЕЛА.

(1782).

Видно, Амуромъ вскормлена, всхолена ты, о, пѣвица!
Богъ шаловливый тебя, видно, кормилъ со стрѣлы.
Ядомъ пропитаннымъ горломъ поешь ты безпечныя пѣсни
И заражаешь сердца жгучею силой любви.

М. Михайловъ.

МОГИЛА АНАКРЕОНА.

(1782).

Гдѣ роза юная въ тиши благоухаетъ,
Гдѣ горделивый лавръ и цѣпкій виноградъ
Сплелися дружески, гдѣ горлица вздыхаетъ
И слышенъ въ зелени пріятный крикъ цикадъ,
Кого изъ смертныхъ здѣсь могила пріютила?
Кому надгробный холмъ такъ пышно расцвѣтила
Рука боговъ? Тутъ спитъ Анакреонъ — пѣвецъ!
Счастливецъ! И весну онъ видѣлъ молодую,
И лѣто жаркое, и осень золотую,
И отъ сѣдой зимы здѣсь скрылся наконецъ!

М. Михайловъ.

ИЗВИНЕНІЕ.

(1783).

Ты упрекаешь жену—зачѣмъ льнетъ то къ тому, то къ другому:
Нѣтъ, она ищетъ себѣ вѣрнаго мужа — повѣрь!

Н. Гербель.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.

(1784).

Спитъ онъ, маленькій богъ? Оставь, не буди, и скорѣе
Дѣломъ займися, а онъ ждать не заставитъ себя.

Такъ молодая хозяйка, покуда сынокъ почиваетъ,
Временемъ тѣмъ дорожитъ — скоро проснется дитя!

А. Струговщиковъ.

МѢРА ВРЕМЕНИ.

(1784).

— Ты ли это, Эротъ? Съ часами песочными въ каждой
Ручкѣ? Ты, вѣтреный богъ, дважды считаешь часы?
— Тихо течетъ изъ однихъ влюбленнымъ время разлуки,
Сладкій свиданія срокъ быстро бѣжитъ изъ другихъ.

И. Холодковскій.

НЕРАВНЫЙ БРАКЪ.

(1785).

Равенства нѣтъ и въ небесныхъ союзахъ: Психея съ годами
Стала умна, но Амуръ тотъ же ребенокъ, что̀ былъ.

М. Михайловъ.

УЧИТЕЛИ.

(1785).

Въ бочкѣ своей Діогенъ, суету презирая, ютился,
Съ бодрой душою Каланъ радостно шелъ на костеръ.
Что̀ за примѣры прекрасные быстрому сыну Филиппа,
Если бы даже для нихъ не былъ онъ слишкомъ великъ!

Н. Холодковскій.

САКУНТАЛА́.

(1791).

Чтобъ и весеннихъ цвѣтовъ, и осеннихъ плодовъ изобилье,
Все, что̀ намъ нѣгу, восторгъ, сытость и пищу даетъ,
Чтобы и небо, и землю, весь міръ чтобъ объять однимъ словомъ —
Стоитъ тебя лишь назвать, дивная Сакунтала!

Н. Холодковскій.

АПОЛЛОНЪ И ГЕРМЕСЪ.

(1798).

Съ славнымъ властителемъ Делоса спорилъ сынъ Майи лукавый;
Оба награды одной вмѣстѣ искали они:
Лиры хотѣлъ Аполлонъ, ея жъ домогался и Гермесъ;
Но обманулись они оба въ надеждахъ своихъ.

Мощный Арей имъ предсталъ и, внезапно ударомъ желѣза
Лиру златую разбивъ, распрю боговъ порѣшилъ.
Съ злобною радостью Гермесъ смѣялся, но Фебу и музамъ
Тяжкой на сердце тоской эта потеря легла.

Ѳ. Миллеръ.

ЗЕРКАЛО МУЗЫ.

(1799).

Утренній свой совершая нарядъ, напрасно искала
Муза въ шумящемъ ручьѣ зеркальнаго тихаго мѣста.
Рѣзвою зыбью своей искажали бѣгущія волны
Образъ прелестный—и гнѣвно свой взоръ отвратила богиня.
Прядая съ камня на камень, ручей лепеталъ, насмѣхаясь:
«Вѣрно, боишься ты истину въ зеркалѣ чистомъ увидѣть?»
Но далеко отъ него, наклоняся надъ озеромъ свѣтлымъ,
Въ воду смотрѣлась прекрасная, гордо вѣнецъ поправляя.

Н. Холодковскій.

КИТАЕЦЪ ВЪ РИМѢ.

(1799).

Въ Римѣ китайца я видѣлъ. Всѣ зданія вѣчнаго града
Древнихъ и новыхъ временъ ему тяжелы показались.
«Ахъ!» говоритъ онъ: «бѣдняжки, имъ непонятно, какъ могутъ
Столбика три деревянныхъ поддерживать цѣлую кровлю!
Нѣтъ! рѣзная работа, съ своей пестротой, позолотой,
Лишь образованный глазъ, утонченное чувство чаруетъ».
Мнѣ показался китаецъ похожимъ на тѣхъ фантазёровъ,
Что ихъ паутину воздушную съ вѣчною тканью
Вѣчной природы равняютъ, больными зовутъ всѣхъ здоровыхъ,
Чтобы однихъ только ихъ — недужныхъ — здоровыми звали.

М. Михайловъ.

БОГЪ И МІРЪ.

МЕТАМОРФОЗА РАСТЕНІЙ.

(1798).

Тысячью разныхъ цвѣтовъ мой обширный цвѣтникъ разукрашенъ:
Разнообразіемъ ихъ, милая, ты смущена.
Слышишь названій безчисленный рядъ—и варварскимъ звукомъ
Множества странныхъ именъ твой поражается слухъ.
Въ каждомъ цвѣточкѣ есть сходство съ другими, но есть и различье:
Ясно, что въ цѣломъ сокрытъ дивный, могучій законъ,
Дивная скрыта загадка. О, если бы милой подругѣ
Мнѣ удалося теперь слово разгадки найти!
Взоръ обрати, дорогая, на жизнь растенія: мѣрно
Въ немъ развивается все, цвѣтъ происходитъ и плодъ.
Сѣмя—зародышъ его; съ материнскаго нѣжнаго лона
Матери дивной—земли, къ свѣту выходитъ ростокъ.
Свѣта святая, подвижная вѣчно, могучая сила
Листиковъ нѣжную ткань будитъ отъ долгаго сна.
Въ сѣмени сила сокрыта была; въ оболочкѣ согнувшись,
Члены растенія всѣ были готовы давно:
Корень, и стебель, и листъ, но безцвѣтны и полуразвиты;
Скрытую, тайную жизнь зерна сухія хранятъ;
Лишь орошенные влагой живительной всходятъ посѣвы,
Новую силу вдохнувъ, мракъ покидаютъ они.
Но сперва несложно растеніе, простъ его образъ:
Нѣжный зеленый ростокъ—малое только дитя.
Вскорѣ, покорный стремленію новому, стебель восходитъ,
Узелъ ростетъ надъ узломъ, новые листья несетъ.
Но не всѣ одинаковы листья: различія много
Можешь ты въ нихъ отыскать, если разсмотришь ты ихъ.
Верхніе листья длиннѣе, яснѣе въ нихъ разныя части:
Въ нижнихъ онѣ сращены, въ верхнихъ раздѣльны онѣ.
Такъ достигается здѣсь совершенства первая степень,
Степень, которая насъ часто плѣняетъ собой.
Листья зубчатые, съ крѣпкими жилками, полные сокомъ—
Кажется, стебель готовъ вѣчно рождать и рождать;
Но природы рука умѣряетъ развитіе это:
Высшее хочетъ она дать совершенство ему.

Соки умѣреннѣй движутся въ болѣе тонкихъ сосудахъ;
Стала изящнѣй, нѣжнѣй листиковъ новыхъ семья;
Стали края ихъ ровнѣе, и самые листики меньше;
Главныя жилки ровнѣй стали очерчены въ нихъ.
Быстро затѣмъ стебелекъ подымается нѣжный, безлистный—
Дивной картиной тогда нашъ восхищается взоръ:
Стройнымъ, красивымъ колечкомъ становятся листья-малютки
Или въ числѣ небольшомъ, или безъ счету вокругъ;
Внѣшніе чашечкой станутъ, цвѣточную ось окруживши,
Внутренній рядъ лепестковъ вѣнчикъ роскошный родитъ.
Нынѣ блистаетъ растеніе полной своей красотою:
Члены за членами въ немъ въ стройномъ порядкѣ идутъ.
Сочными листьями стебель покрытъ—и, пышно качаясь,
Дивно-прекрасный цвѣтокъ гордо вѣнчаетъ его.
Чудо одно совершилось—готовится новое чудо:
Дѣйствіе силы святой чуютъ цвѣтка лепестки;
Форму они измѣняютъ: двоякія нѣжныя формы
Въ лонѣ душистомъ цвѣтка въ брачный вступаютъ союзъ.
Межъ лепестковъ возвышаяся, бракъ совершая священный,
Дружно вокругъ алтаря нѣжныя пары стоятъ.
Мирно надъ ними паритъ Гименей, и сладостно вѣетъ
Чудный отъ нихъ ароматъ, все оживляя вокругъ.
Вскорѣ затѣмъ сѣмена развиваются въ завязи сочной,
Въ лонѣ плодовъ наливныхъ зрѣютъ и спѣютъ они.
Такъ завершается кругъ, но за нимъ начинается новый,
Чтобы во всѣ времена дивная длилася цѣпь,
Чтобы созданіе каждое жизни источникомъ было
Многимъ созданьямъ другимъ въ вѣчномъ кругу бытія.
Взоръ обрати, дорогая, теперь на пышный цвѣтникъ мой:
Нынѣ его пестрота больше тебя не смутитъ.
Въ каждомъ растеньѣ ты видишь вліяніе вѣчныхъ законовъ,
Громче и громче съ тобой каждый цвѣтокъ говоритъ.
Нынѣ раскрыта тебѣ сокровенная книга природы:
Тотъ же повсюду законъ, лишь въ измѣненныхъ чертахъ.
Тихо ползетъ червячекъ, а бабочка мчится на крыльяхъ:
Часто мѣняется такъ даже и самъ человѣкъ.
Милая, помнишь ли ты незабвенную первую встрѣчу,
Какъ зародилось тогда наше сближенье съ тобой,
Какъ изъ ничтожнаго сѣмени выросло дерево дружбы,
Послѣ же нѣжный Эротъ далъ и цвѣты, и плоды?
Встрѣча, сближеніе, дружба, любовь: постепенно мѣнялось
Чувство за чувствомъ у насъ, вѣчный свершая законъ.
Радуйся жъ, милая, этому дню! Святою любовью
Сходство въ желаніяхъ всѣхъ нынѣ даровано намъ;
Наши и взгляды тождественны: въ этой гармоніи дивной
Мы, дорогая, съ тобой высшее счастье найдемъ!

Н. Холодковскій.

МІРОВАЯ ДУША.

(1803).

Покинувъ разомъ этотъ міръ священный,
Летите вы толпой,
И весь необозримый кругъ вселенной
Наполните собой.

Ужъ вы колеблетесь въ туманной дали,
Какъ будто дивный сонъ;
Плеядой новыхъ звѣздъ вы засверкали,
Усѣявъ небосклонъ.

То вдругъ кометами явясь изъ бездны
Свершая вѣчный путь,
Въ огнѣ сквозь лабиринтъ плывете звѣздный,
Чтобъ снова потонуть.

На мертвыя далекія планеты
Вамъ стоитъ лучъ пролить —
И вашимъ творческимъ огнемъ согрѣты
Онѣ готовы жить.

Вы облаковъ летучаго сіянья
Рисуете узоръ,
И вы на вѣкъ даете очертанья
Незыблемыя горъ.

Подъ дуновеньемъ творческимъ природы,
Блестя въ ея лучахъ,
Безплодныя вдругъ зацвѣтаютъ воды,
И оживаетъ прахъ.

Изъ влажной ночи быстро возникая,
Сложиться міръ спѣшитъ,
Весь одѣвается цвѣтами рая,
Сверкаетъ и горитъ.

Ко свѣту все спѣшитъ нетерпѣливо,
Покинувъ ночи тѣнь,
Полно любовью знойной и счастливой,
Какъ будто въ первый день...

Когда же стихнетъ бурное стремленье,
Устанете желать,
Отъ Цѣлаго принявъ и наслажденье,
И жизнь—къ нему опять!

Кн. Д. Цертелевъ.

ОРФИЧЕСКІЯ СЛОВА.

(1817).

ΔΑΙΜΩΝ, демонъ.

Какимъ ты былъ, когда на свѣтъ явился,
Планетъ и звѣздъ согласно положенью,
Такимъ ты послѣ выросъ и развился,
Во всемъ согласно предопредѣленью.
Таковъ законъ, и ты бъ напрасно тщился
Наперекоръ пойти судебъ велѣнью:
Развитье формы, разъ запечатлѣнной,
Чтобъ измѣнить, нѣтъ силъ во всей вселенной.

ΤΥ̓ΧΗ, случай.

Хоть грани строги — не стѣсняясь ими,
Мѣняются вся жизнь и всѣ созданья;
Ты не одинъ живешь, но межъ другими,
Въ дѣлахъ своихъ не чуждъ ты ихъ вліянья;
Волненьями случайными, пустыми
Полны всегда житейскія скитанья.
Такъ зрѣешь ты, борьба не можетъ стихнуть,
И свѣточъ твой ждетъ лишь огня, чтобъ вспыхнуть.

ΕΡΩΣ, любовь.

Не станетъ дѣло за огнемъ! Могучій,
Онъ быстро мчится съ неба, какъ стрѣла,
Во дни весны, ласкающій и жгучій,
Витаетъ онъ вкругъ сердца и чела:
То отлетитъ, то близокъ вновь, горючій.
Жизнь мукъ полна — и сладостно мила;
Сердцамъ ты многимъ чувства расточаешь,
Но лучшія — лишь одному вручаешь.

ΑΝΑΓΚΗ, необходимость.

И вотъ, опять могучихъ звѣздъ велѣнье
Вступаетъ въ силу, вновь царитъ законъ;
Твоя вся воля — лишь судьбы рѣшенье,
И произволъ той волей побѣжденъ;
Суровый долгъ велитъ терпѣть лишенье,
Сладчайшее изъ сердца вырвать вонъ;
И такъ, подъ маской призрачной свободы,
Насъ все сильнѣй стѣсняютъ жизни годы.

ΕΛΠΙΣ, надежда.

Но этихъ граней мощные затворы
Не устоятъ: ихъ срокъ — не безконечный!

Не вѣчны даже каменныя горы.
Надежды геній свѣтлый и безпечный
Подъемлетъ насъ, намъ просвѣтляетъ взоры
И окрыляетъ радостью сердечной.
Онъ всѣмъ знакомъ отрадой неземною:
Взмахъ крыльями — и вѣчность за спиною!

Н. Холодковскій.

МЕТАМОРФОЗА ЖИВОТНЫХЪ.

(1820).

Если рѣшаетесь нынѣ на высшую точку подняться
Этой вершины, то дайте мнѣ руку и бросьте свободный
Взоръ на широкое поле природы. Щедрой рукою
Сыплетъ богиня повсюду дары, не заботясь, однако,
Робко, какъ смертная мать, о надежномъ и вѣрномъ питаньѣ
Милыхъ дѣтей; не къ лицу ей такая забота: двоякій
Ею дарованъ законъ для всякой жизни на свѣтѣ:
Есть границы потребностямъ, средствамъ же нѣту границы,
Даннымъ матерью дивной къ довольству стремящимся дѣтямъ,
Чтобы взростали они, своему назначенью покорны.
Всѣ существа — самимъ себѣ цѣль; совершенны выходятъ
Вѣчно изъ лона священной природы; дѣтей совершенныхъ
Также и сами рождаютъ они; по вѣчнымъ законамъ
Члены ихъ тѣла всегда образуются; даже и въ формахъ
Самыхъ причудливыхъ первоначальная форма таится.
Ротъ устроенъ у нихъ удобно къ принятію пищи,
Тѣлу потребной: то слабый, нѣжный, беззубый, то сильный,
Крѣпкій, съ зубами могучими; то и другое устройство
Члены другіе питаетъ успѣшно, съ равною пользой.
Такъ и нога—то короткой бываетъ, то длинной; но звѣрю
Служитъ на пользу она, отвѣчая потребностямъ жизни.
Такъ отъ божественной матери полную чашу здоровья
Дѣти ея получаютъ—и всѣ ихъ члены, всѣ части
Въ мирномъ согласьѣ находятся, свѣтлой содѣйствуя жизни.
Всюду мѣняются способы жизни, согласно устройству,
Всюду устройство мѣняется, способу жизни согласно;
Вѣчный порядокъ божественный правитъ созданьями всѣми,
Вѣчно они измѣняются, внѣшнимъ покорны вліяньямъ.
Но и среди совершеннѣйшихъ между созданьями міра
Грани извѣстнаго круга никто нарушить не можетъ:
Эти границы никто не раздвинетъ, чтитъ ихъ природа,—
Только до этихъ границъ совершенство въ мірѣ возможно.
Но въ душѣ человѣка порою бореніе духа
Рвется за этотъ кругъ перейти и вѣчныя формы
Хочетъ по волѣ своей измѣнить. Но тщетны попытки!
Члены то тѣ, то другіе исправить старается смертный,
Формы онъ ихъ округляетъ, но прочіе члены при этомъ

Онъ искажаетъ невольно: погибло въ нихъ равновѣсье,
Прежняя прелесть пропала, пропала свобода движеній.
Если въ созданьи одномъ ты видишь хорошаго больше
Противъ другихъ, то спроси самъ себя: какой недостатокъ
Можно найти у него — и ищи того недостатка.
Ключъ найдешь ты тогда ко всему созданію міра,
Ибо нѣтъ звѣря на свѣтѣ, который бы въ челюсти верхней
Зубы имѣлъ въ совершенномъ числѣ—и снабженъ былъ рогами;
Также точно и льву не могла бы вѣчная матерь
Дать оленьи рога, хотя бы того и хотѣла;
Нѣтъ, у нея вещества недостаточно, чтобы и зубы
Вырастить въ полномъ числѣ, и украсить звѣря рогами.
Эта чудесная мысль о силѣ и силы границахъ,
О произволѣ, законѣ, свободѣ и мѣрѣ, порядкѣ,
О недостаткахъ, достоинствахъ—душу твою да возвыситъ,
Муза святая тебя да научитъ гармоніи дивной!
Высшей мысли достигнуть не можетъ ни скромный мыслитель,
Ни практическій мужъ, ни мечтатель-поэтъ; и властитель,
Если достоинъ онъ сана высокаго, ею живетъ лишь.
Радуйся жъ нынѣ, созданіе высшее матери вѣчной!
Высшую мысль, до которой природа, творя, воспарила,
Ты угадалъ! Спокоенъ и гордъ, съ душою пытливой
Вѣчно изслѣдуй и сравнивай. Истина эта — не грезы:
Въ этомъ увѣренность сладкую нынѣ даетъ тебѣ Муза.

Н. Холодковскій.

ЗАВѢЩАНІЕ.

(1829).

Распасться Сущее не можетъ
Въ Ничто; ничто не уничтожитъ
Въ немъ скрытой вѣчности зерна!
Знай: вѣчно Бытіе! Законы
Хранятъ, сурово непреклонны,
Все, чѣмъ вселенная полна.

Давно та истина открылась
И въ тѣхъ умахъ укоренилась,
Кто ищетъ истинъ бытія;
И ею, смертный, ты обязанъ
Тому, кѣмъ вѣчный путь указанъ
Землѣ и спутнику ея.

Затѣмъ направь ты взоръ пытливый
Во глубь души твоей правдивой,
Чтобъ въ ней рѣшимость почерпнуть;
Тамъ высшихъ правилъ сводъ и повѣсть:
Самостоятельная совѣсть
Во всѣхъ путяхъ твой свѣточъ будь!

Вѣряйся чувствамъ непреложно
Знай: ихъ свидѣтельство не ложно,
Пока не спитъ умъ свѣтлый твой;
Вперяй въ природу взоръ свой ясный
И вдаль по пажити прекрасной
Иди увѣренной стопой.

Средь изобилья будь умѣренъ,
Повсюду разуму будь вѣренъ,
Гдѣ въ жизни радость суждена;
Тогда царишь надъ прошлымъ властно,
Въ грядущемъ путь свой видишь ясно,
Въ мгновеньѣ — вѣчность вся дана.

И если ты свой умъ устроилъ
И твердо лозунгъ свой усвоилъ:
«Что́ плодотворно, только въ томъ
Есть истина», — то безъ волненья
Толпы выслушивай всѣ мнѣнья
И соглашайся — съ меньшинствомъ.

И, какъ отъ древности далекой
Любимый трудъ свой одиноко
Творилъ философъ иль поэтъ —
Такъ предвкушай душой свободной
Открытья мысли благородной;
Вотъ жребій: краше въ мірѣ нѣтъ!

Н. Холодковскій.

ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВАНЪ.

ТАЙНА.

(1814).

Взоръ моей подруги милой
Всѣхъ приводитъ въ восхищенье;
Мнѣ жъ, и только мнѣ, понятны
Смыслъ его, его значенье.

Онъ гласитъ: его люблю я,
Не другихъ, въ томъ нѣтъ сомнѣнья.
Позабудьте жъ, всѣ другіе,
Свой восторгъ, свои стремленья.

Всѣмъ очей ея понятны
Сила, блескъ и совершенства,
Но лишь милому тѣ очи
Возвѣщаютъ часъ блаженства.

Н. Холодковскій.

КЪ ЗЮЛЕЙКѢ.

(1815).

Чтобъ извлечь благоуханья,
Чтобы твой восторгъ возросъ,
Жаръ терзалъ до изсыханья
Почки многихъ тысячъ розъ;

Чтобъ сберечь тебѣ гостинецъ—
Драгоцѣнный тотъ эѳиръ—
Во флаконѣ съ твой мизинецъ—
Радость! сгубленъ цѣлый міръ,

Цѣлый міръ надежды дивной,
Сладкой нѣги бытія
Подъ раскаты переливной
Страстной пѣсни соловья...

Розы гибли для отрады—
Сожалѣть ли намъ о томъ?
Развѣ душъ не миріады
Погубилъ Тимуръ мечомъ?

Н. Холодковскій.

КЪ ЗЮЛЕЙКѢ.

(1815).

Случай—не союзникъ вора,
Самъ онъ всѣхъ воровъ хитрѣй!
Всю любовь укралъ онъ скоро,
Что̀ жила въ душѣ моей.

И весь даръ мой заповѣдный
Онъ вручилъ тебѣ—владѣй!
И съ тѣхъ поръ живу я, бѣдный,
Только милостью твоей.

Но въ очахъ твоихъ прекрасныхъ
Блещетъ жалость ужъ къ рабу,
Я жъ въ твоихъ объятьяхъ страстныхъ
Вновь хвалю свою судьбу.

Н. Холодковскій.

* * *

(1815).

Приди, мой другъ, и роскошью тюрбана
Чело мое, красавица, обвей!
Аббасъ на тронѣ гордаго Ирана
Имѣлъ чалму, не лучшую моей.

Тюрбанъ сіялъ красою несравненной
Надъ Александра царственнымъ лицомъ,
И всѣхъ вождей, властителей вселенной,
Онъ украшалъ сіяющимъ вѣнцомъ.

Пусть ту чалму, что̀ царь нашъ носитъ властно,
Зовутъ короной... что̀ намъ имена!
Пусть блещетъ перлъ! Ничто такъ не прекрасно,
Какъ кисея, прозрачна и нѣжна.

Красу ея сребристаго убора
Обвей, мой другъ, вкругъ головы моей!
Зачѣмъ мнѣ власть? Привѣтливаго взора
Довольно мнѣ—и царь я всѣхъ царей!

Н. Холодковскій.

ЗЮЛЕЙКА ГАТЕМУ.

(1815).

Нѣтъ, ты мой—и мой навѣчно.
Отъ любви любовь крѣпка:
Прелесть страсти, другъ сердечный,
Краше перстня и вѣнка.
Гордо я подъемлю брови
Отъ твоихъ высокихъ думъ:
Бытіе мое въ любови,
А душа любови—умъ.

А. Бестужевъ.

ЗЮЛЕЙКА И ГАТЕМЪ.

(1815).

ЗЮЛЕЙКА.

По Евфрату разъ плыла я,
И съ руки подарокъ твой
Уронила я, играя,
Въ воду—перстень золотой.

Такъ мнѣ снилось—сводъ небесный
Былъ ужъ утромъ озаренъ...
Мой пророкъ, поэтъ любезный,
Разгадай мнѣ этотъ сонъ.

ГАТЕМЪ.

Милый другъ, его значенье
Объяснить не трудно мнѣ:
Съ моремъ дожа обрученье
Я разсказывалъ тебѣ...

Такъ теперь Евфрата волны
Поглотили перстень мой.
Я пою, восторга полный:
«Дѣва, сонъ прекрасенъ твой!»

Я пришелъ изъ Индостана
И къ Дамаску на пути
Ожидаю каравана
Къ морю Красному итти.

Но ужъ связанный вѣнчаньемъ
Съ этой рощей и рѣкой,
До послѣдняго лобзанья
Навсегда останусь твой.

Ѳ. Миллеръ.

* * *

(1815).

На гроздъ плодовъ зеленый,
Краса моя, взгляни:
На вѣткѣ отягченной
Качаются они.

И спѣетъ молчаливо
На солнцѣ каждый плодъ,
И вѣтка терпѣливо
Тяжелый сноситъ гнетъ.

Но въ немъ зерно таится,
Ростетъ и зрѣетъ тамъ,
И къ воздуху стремится,
И къ солнечнымъ лучамъ.

И въ землю сѣмя это,
Созрѣвъ, уронитъ плодъ:
Такъ пѣсня съ устъ поэта
Въ грудь милой западетъ.

Н. Холодковскій.

ПОЭТЪ И ВИНОЧЕРПІЙ.

(1815).

ПОЭТЪ.

Мальчикъ! дай еще мнѣ кубокъ!

ВИНОЧЕРПІЙ.

Господинъ, ты пилъ довольно!
Прослывешь, смотри, кутилой.

ПОЭТЪ.

Развѣ падалъ я невольно?

ВИНОЧЕРПІЙ.

Пить пророкъ намъ запрещаетъ!

ПОЭТЪ.

Кто жъ то слышалъ? Такъ ли, полно?

ВИНОЧЕРПІЙ.

Говори, не стану спорить;
Слушать буду я безмолвно.

ПОЭТЪ.

Слушай! Трезвыми велѣлъ онъ
Быть всѣмъ прочимъ мусульманамъ,
Самъ же, въ ревности священной,
Онъ хотѣлъ одинъ быть пьянымъ.

Н. Холодковскій.

* * *

(1816).

Будь любезная далеко
Такъ, какъ западъ отъ востока ..
Но любви чего нельзя?
Степь и море—ей стезя,
Сердце всюду—стражъ и плата:
Къ милой шагъ и до Багдата!

А. Бестужевъ.

КЪ ГАФИЗУ.

(1818).

О, Гафизъ! Съ тобой сравниться
Можно ль слабымъ намъ?
Вотъ корабль, шумя, стремится
По морскимъ волнамъ,

Напрягаетъ парусъ бѣлый,
Гордъ и смѣлъ на видъ—
Но нагрянетъ вихрь—и смѣлый
Въ щепки весь разбитъ.

Пѣснь твоя то нѣжно льется
И прохладу льетъ,
То, какъ пламя, вдругъ взовьется
И, какъ пламя, жжетъ.

Но тщеславье—родъ недуга;
Буду жъ въ пѣсняхъ смѣлъ!
Вѣдь и я подъ солнцемъ юга
Жилъ и страстью млѣлъ.

Н. Холодковскій.

* * *

(1818).

Чтобъ всѣ относились къ тебѣ осторожно,
Съ почтеньемъ, являйся щетиной грозя.
На все съ соколами охотиться можно,
На вепря жъ—нельзя.

Н. Холодковскій.

* * *

(1818).

Похвалъ герою не жалѣетъ,
Кто самъ боролся и страдалъ.

Лишь тотъ людей цѣнить умѣетъ,
Кто самъ и жаръ, и холодъ испыталъ,

Н. Холодковскій.

* * *

(1818).

Отчего вездѣ, повсюду посреди людей,
Столько умныхъ, столько глупыхъ слышимъ мы рѣчей?
Молодые повторяютъ стариковъ слова
И воображаютъ, что ихъ мысль нова.

Н. Холодковскій.

СЛОВА ТИМУРА:

(1827).

Какъ, вы браните взрывъ могучихъ силъ,
Жрецы, всѣмъ лгущіе безмѣрно?
Когда бъ Аллахъ желалъ, чтобъ червь я былъ,
Червемъ меня и сòздалъ бы онъ, вѣрно!

Н. Холодковскій.

* * *

(1827).

«Ты говоришь, что такъ утратилъ много
Съ годами: чувствъ волненье и тревога,
Мечтательныя странствія, скитанья
И милыхъ мелочей воспоминанья,—
Все надоѣло; даже почесть, слава
И дружба высшихъ—сердцу не забава;
Не такъ мила любимая работа,
И мысль чужда отважнаго полета.
Но что жъ тебѣ осталось?» «О, себѣ я
Найду исходъ! Мнѣ есть любовь, идея!»

Н. Холодковскій.

ПѢСНИ ВЪ ДРУЖЕСКОМЪ КРУГУ.

КОФТСКАЯ ПѢСНЯ.

(1789).

Пусть всѣ ученые спорятъ, бранятся,
Силясь ученье свое навязать!
Мудрые будутъ надъ ними смѣяться
И втихомолку имъ только кивать.
Глупо ждать было бъ глупцовъ исправленья.
Мудрости дѣти, вамъ нѣтъ опасенья
Глупыхъ, какъ должно, глупцами считать!

Старецъ Мерлинъ изъ могилы на это
Далъ мнѣ отвѣтъ, когда въ юныя лѣта
Сталъ я о томъ же его вопрошать:
«Глупо ждать было бъ глупцовъ исправленья!»
Мудрости дѣти, вамъ нѣтъ опасенья
Глупыхъ, какъ должно, глупцами считать!

И на заоблачныхъ высяхъ индійскихъ,
И въ глубинѣ усыпальницъ мемфисскихъ
Слово мнѣ то же случалось слыхать:
«Глупо ждать было бъ глупцовъ исправленья!»
Мудрости дѣти, вамъ нѣтъ опасенья
Глупыхъ, какъ должно, глупцами считать!

Θ. Миллеръ.

ЗАСТОЛЬНАЯ ПѢСНЯ.

(1802).

Я объятъ, не знаю самъ,
Что̀ за восхищеньемъ:
Точно къ звѣзднымъ небесамъ
Радостнымъ стремленьемъ!
Но, по чести вамъ сказать,
Лучше здѣсь остаться,
За столомъ здѣсь попивать,
Пѣть и наслаждаться.

Не дивитеся, друзья,
На мои причуды:
Право, такъ мила земля,
Жить совсѣмъ не худо!
Я торжественно клянусь —
И сдержу, безспорно —
Что отсель не уберусь.
Не сбѣгу позорно.

Случай вмѣстѣ насъ собралъ:
Опѣните жъ это!
И пускай звенитъ бокалъ
Вслѣдъ стихамъ поэта.
Намъ разлука предстоитъ,
Хоръ нашъ разлетится:
Пусть же каждый поспѣшитъ,
Чокаясь, проститься.

Жизнедателя хваля,
Кубокъ осушаю!
Вслѣдъ—за здравье короля
Тостъ провозглашаю.
Внѣ страны и въ ней самой
Онъ враговъ сражаетъ,
Край хранитъ родимый свой
И пріумножаетъ.

Этотъ полный кубокъ—*ей*
Съ нѣжною любовью!
Каждый думай о своей,
Пей ея здоровье!
Если та меня пойметъ,
На кого я мѣчу —
Пусть и мнѣ она кивнетъ
Ласково на встрѣчу.

Этотъ кубокъ вамъ, друзья,
Двое или трое,
Съ кѣмъ не разъ былъ веселъ я
Въ сладостномъ покоѣ;
Съ кѣмъ не разъ переживалъ
Мракъ временъ суровыхъ;
Славлю васъ, поднявъ бокалъ,
Старыхъ или новыхъ!

Шире льется вдаль потокъ
Съ пѣной волнъ бурливыхъ.
Слава вамъ, друзей кружокъ
Вѣрныхъ и правдивыхъ!
Дружонъ онъ, и твердъ, и прямъ:

Въ немъ царитъ согласье, —
Счастья ль солнце свѣтитъ вамъ,
Иль грозитъ ненастье.

Въ честь другихъ кружковъ друзей
Кубокъ поднимаю
И удачи ихъ затѣй
Громко имъ желаю!
Мельницъ тьма—числа имъ нѣтъ—
Вдоль рѣки до устья:
Да блаженствуетъ весь свѣтъ—
Тѣмъ сказать стремлюсь я!

Н. Холодковскій.

VANITAS! VANITATUM VANITAS!

(1806).

Я прахомъ пустилъ свои всѣ дѣла,
Ай да!
И весель я сталъ, и жизнь мнѣ мила!
Ай да!
Кто другъ мнѣ, кому моя дружба нужна,
Тотъ чокнись со мною и кружку вина
Пей въ бесѣдѣ до дна...

Пустилъ въ оборотъ я свой капиталъ,
Ай да!
И все растерялъ, всѣхъ золъ попыталъ,
Бѣда!
Катилися деньги мои тамъ и тутъ;
Тутъ, смотришь порой, ко мнѣ прибыли льнутъ,
Тамъ — совсѣмъ мнѣ капутъ.

И съ бабами я вязался не разъ,
Ай да!
А клялъ своего рожденія часъ,
Бѣда!
Фальшивыхъ, измѣнницъ я скоро терялъ,
Отъ вѣрныхъ, со скуки, я самъ удиралъ,
Лучшихъ — вовсе зналъ.

Пустился я въ путь съ отважной душой,
Ай да!
Покинулъ свой край, свой уголъ родной,
Бѣда!
Нигдѣ не пришлось по душѣ мнѣ тогда:
Постель холодна, непривычна ѣда,
Да и рѣчь мнѣ чужда.

За славою я погнался, гляди!
Ай да!
Другіе и тутъ вездѣ впереди,
Бѣда!
Какъ сталъ пробиваться немножко впередъ,
Стотрю: на меня ужъ косится народъ...
Кто ихъ всѣхъ разберетъ!

Рѣшилъ попытать я счастья въ войнѣ,
Ай да!
Побѣдъ увидать пришлось много мнѣ,
Ай да!
Никто намъ перечить не смѣй, не моги!
Терпѣли отъ насъ и друзья, и враги, —
Я жъ лишился ноги.

И прахомъ пустилъ свои я дѣла,
Ай да!
Мнѣ милъ бѣлый свѣтъ, и жизнь мнѣ мила,
Ай да!
Приходитъ и пѣснѣ конецъ, и вина
Осталась всего только кружка одна:
Пей, пріятель, до дна!

Н. Холодковскій.

ERGO BIBAMUS.

(1810).

Собрался, о, други, нашъ радостный хоръ
Для братскаго ergo bibamus!
Звенятъ лишь стаканы; умолкъ разговоръ —
И лозунгъ нашъ: ergo bibamus!
Ведется тотъ лозунгъ отъ дѣдовскихъ лѣтъ:
Исполнимъ же, братья, старинный завѣтъ —
И громкое эхо отгрянетъ въ отвѣтъ
Торжественнымъ ergo bibamus!

Къ возлюбленной съ ласкою я подошелъ
И думалъ я: ergo bibamus!
Отвергнутый милой, отраду нашелъ
Въ божественномъ ergo bibamus.
И станетъ ли милая васъ цѣловать,
Иль, очи нахмуривъ, отринетъ опять —
Крѣпитесь, старайтесь себя ободрять
Торжественнымъ ergo bibamus!

Иду я, иду отъ друзей далеко:
О милое — ergo bibamus!

И съ ношею скудной иду я легко —
Дружнѣе же: ergo bibamus!
Сюртукъ мой непроченъ и плохо зашитъ;
Но бодрый нуждою не будетъ убитъ:
Веселый веселому въ долгъ одолжитъ —
Такъ пойте же: ergo bibamus!

О чемъ намъ, друзья, говорить въ этотъ часъ?
Я знаю одно лишь: bibamus!
Особенный праздникъ сегодня у насъ —
Дружнѣе же: ergo bibamus!
Безпечная радость ведетъ къ небесамъ —
И тучки златыя разсѣются тамъ,
И рая картина предстанетъ очамъ:
Такъ чокнувшись грянемъ: bibamus!

Н. Холодковскій.

ПАРАБОЛИЧЕСКОЕ

И

ЭПИГРАММАТИЧЕСКОЕ.

РАЗЛИЧНЫЯ УГРОЗЫ.

(1768).

Однажды въ рощу я забрелъ
За милою во слѣдъ,
Догналъ и обнялъ, а она:
«Я крикну» — мнѣ въ отвѣтъ.

А я: «Пусть сунутся — убью!»
И вновь припалъ на грудь —
И слышу: «Тише, милый мой:
Услышитъ кто-нибудь!»

Н. Гербель.

ПРИЧИНА.

(1768).

Когда читаетъ наставленье
Своей влюбленной дочкѣ мать
Про домъ, и тактъ, и поведенье,
А дочь не хочетъ ей внимать,
И рвется пылкое созданье
Въ объятья къ намъ, и пышетъ кровь —
Тутъ и упрямство, и любовь
Имѣютъ равное вліянье.

Когда же мать своимъ успѣхомъ
По справедливости горда,
И дочь бѣжитъ съ надменнымъ смѣхомъ
Отъ пылкихъ юношей — тогда
Maman не знаетъ молодежи;
Нѣтъ, ошибается она:
Не добродѣтель лишь одна,
Здѣсь и капризъ вліяетъ тоже.

Н. Холодковскій.

ДИЛЛЕТАНТЪ И КРИТИКЪ.

(1773).

У мальчика былъ голубокъ — такая
Красивенькая, пестренькая птичка! Онъ
Въ нее безъ памяти, по-дѣтски, былъ влюбленъ,
Дни проводилъ, ее и холя, и лаская,
Кормилъ изъ собственнаго рта,
И ею такъ была душа въ немъ занята,
Что наслажденьями своими
Не подѣлиться онъ не въ силахъ былъ съ другими.

Въ сосѣдствѣ съ нимъ жила одна
Лисица старая — полна
Житейской мудрости, при этомъ и на диво
Ученая, а потому болтлива.
Съ ней мальчикъ проводилъ занятные часы:
Вранья хвастливаго и всякихъ побасенокъ
Запасъ большой былъ у лисы...
«Снесу-ка — говоритъ ребенокъ —
Къ пріятелю я голубка;
Пусть полюбуется!» Бѣжитъ, нашелъ лисицу,
И ей показывая птицу,
Кричитъ: «Смотри, какого я дружка
Добылъ себѣ! Вотъ прелесть-то, вотъ чудо!
Голубчиковъ такихъ когда-нибудь, скажи,
Видалъ ли ты?» — «Ну, покажи!»

Беретъ онъ птичку.—«Да, не худо...
По есть еще не малые грѣшки.
Вотъ перья, напримѣръ, ужъ слишкомъ коротки...»
И начинаетъ онъ бѣдняжку на жаркое
Себѣ ощипывать. «Всадить должно въ сюда
Длиннѣе, крѣпче перья... Да!..
А то нехорошо—да и крыло такое
Не полетитъ...»
И оголенъ,
Въ какого-то урода превращенъ
Несчастный голубь вскорѣ...

Нашъ мальчикъ въ несказанномъ горѣ.

Кто въ мальчикѣ себя узнаетъ — отъ меня
Тому совѣтъ: лисицъ бояться, какъ огня.

П. Вейнбергъ.

РЕЦЕНЗЕНТЪ.

(1774).

Здѣсь у меня на этихъ дняхъ
Одинъ молодчикъ былъ въ гостяхъ...

Пришелъ, когда какъ разъ обѣдать я собрался,
И за моимъ столомъ нажрался
Онъ до отвала, какъ свинья, всего.
А послѣ чортъ понесъ его
Въ домъ моего сосѣда —
Порезонировать на счетъ обѣда,
Который слопалъ онъ:
«Гусь не совсѣмъ былъ ладно запеченъ,
Похлебка быть пряннѣй могла бы,
И вина какъ-то слабы...»
Ахъ, тысяча чертей тебѣ въ презентъ!
Бить пса до смерти!.. Это рецензентъ.

П. Вейнбергъ.

ПИСАТЕЛИ.

(1774).

Вдоль ручья, на зеленомъ лужкѣ,
У себя въ цвѣтникѣ,
Онъ срываетъ цвѣты молодые, и въ немъ
Отъ тревогъ ожиданья сердце полно огнемъ:
Вотъ она!.. О, блаженство, верхъ всякихъ отрадъ!..
Юноша! Дашь всѣ цвѣты за одинъ ея взглядъ!

Садовникъ-сосѣдъ чрезъ заборъ видитъ это:
«Ахъ, какъ мы глупы въ юныя лѣта!
Вотъ я — я усердно цвѣты возращаю свои,
Смотрю, чтобъ плодовъ не летали клевать воробьи;
Но только созрѣли — пожалуйте денежки мнѣ, господа:
Не тратить же даромъ труда!»

Вотъ наши писатели (вѣрное, я полагаю, сравненье):
Одинъ разсыпаетъ повсюду свое вдохновенье,
Друзьямъ своимъ, публикѣ въ даръ —
Другому извольте платить гонораръ.

П. Вейнбергъ.

ЛЕГЕНДА.

(1815).

Когда-то жилъ въ пустынѣ мужъ святой.
Разъ дикій фавнъ съ козлиною ногой
Пришелъ къ нему и молвитъ со смиреньемъ:
«Ахъ, помолитесь, чтобъ Господь открылъ
Мнѣ доступъ къ свѣтлымъ райскимъ наслажденьямъ,
Чтобъ фавновъ Онъ на небѣ пріютилъ».
Тутъ мужъ святой отвѣтилъ съ удивленьемъ:

«Странна твоя мнѣ просьба, милый мой!
И какъ могу я за тебя молиться?
Прилично ль будетъ фавну поселиться
Межъ ангеловъ съ козлиною ногой?»
«Чтб вамъ за-дѣло до ноги козлиной?»
Вскричалъ дикарь —«когда я вижу самъ.
Какъ удается многимъ господамъ
Всходить на небо съ головой ослиной!»

Н. Холодковскій.

ПРИМѢЧАНІЯ

КЪ

ЛИРИЧЕСКИМЪ СТИХОТВОРЕНІЯМЪ.

Европейская критика, въ лицѣ лучшихъ представителей своихъ, давно и единогласно признала Гёте величайшимъ лирическимъ поэтомъ Германіи, давно согласилась, что творчество лирическое въ области его геніальнаго творчества вообще занимаетъ первое мѣсто; одинъ изъ нѣмецкихъ критиковъ замѣчаетъ даже, что «если можно безъ преувеличенія сказать, что произведенія Гёте составляютъ большую часть фундамента нашего нынѣшняго образованія, то значительная доля этой славы принадлежитъ именно поэзіи лирической».

Эта поэзія (какъ все, вышедшее изъ-подъ пера Гёте) имѣетъ и историко-литературное, и чисто художественное значеніе.

Въ лирическихъ произведеніяхъ Гёте (которыя онъ не переставалъ писать во все продолженіе своей жизни) нѣмецкая поэзія впервые приняла реалистическій характеръ, въ лучшемъ смыслѣ этого термина. Это произошло отъ присутствія въ поэтической натурѣ Гёте необходимости непосредственнаго опыта, личнаго переживанія— для воспроизведенія этихъ ощущеній словами. Отъ этого въ его лирикѣ натура его выражается самымъ непосредственнымъ образомъ: самъ онъ заявилъ, что все, говорившееся имъ въ стихахъ — «только отрывки большой исповѣди». Въ этомъ смыслѣ поэзію свою называлъ онъ «поэзіею на извѣстные случаи» (Gelegenheitsgedichte); но художественная объективная натура его позволяла ему здѣсь пользоваться *случайнымъ*, какъ поэтическимъ матеріаломъ, изъ совершенно иногда несущественнаго, частнаго творить *общее* и художественное цѣлое. Въ этомъ отношеніи онъ представляетъ собою сходство и различіе съ другими истинными поэтами. Сходство понятно. Различіе же, по замѣчанію одного критика, заключается въ томъ, что далеко не всякій поэтъ можетъ уходить такъ *глубоко* въ то, что его волнуетъ и что онъ высказываетъ стихомъ, и въ тоже время стоять такъ *высоко* надъ этимъ. Знаменитый историкъ литературы Гервинусъ проводитъ параллель въ этомъ отношеніи между Гёте съ одной стороны и Виландомъ и Клопштокомъ съ другой, отдавая безусловное первенство Гёте, ибо Виландъ и его послѣдователи, если также воспроизводили дѣйствительно переживавшееся ими, то при этомъ играли со своими

ощущеніями; Клопштокъ же впадалъ въ другую крайность — слишкомъ сильнаго подчиненія тому, что̀ переживала его душа. «Достоинство Гётевской лирики—такъ характеризуетъ Гнадъ — заключается въ томъ, что онъ высказываетъ свои ощущенія такимъ образомъ, что мы всѣ можемъ сами переживать ихъ, что его личность, опредѣленный поводъ къ выраженному настроенію отходятъ на задній планъ, что ощущенія его изъ индивидуальныхъ становятся какъ бы общечеловѣческими, однимъ словомъ, въ объективности его, служившей и служащей предметомъ стольких толковъ и споровъ... Для стихотвореній Гёте характеристично то, что въ самомъ дикомъ упоеніи страстью, въ самомъ сильномъ возбужденіи духа онъ остается господиномъ надъ своими чувствами. Лихорадочная поспѣшность, страстная пылкость, заставляющія многихъ лириковъ съ большимъ трудомъ подыскивать надлежащее словесное выраженіе и говорить то слишкомъ мало, то слишкомъ много — чужды лирикѣ Гёте. Правда, тревожное и страстное состояніе всегда является у него стимуломъ къ созданію того или другого стихотворенія, но оно дисгармоніею своихъ криковъ и воплей не врывается въ область высоко мелодическихъ звуковъ... Съ той самой объективностью, съ которой Гёте въ своей автобіографіи развертываетъ передъ нами свою жизнь, какъ жизнь постороннаго человѣка — онъ въ своихъ лирическихъ стихахъ изображаетъ свои собственныя ощущенія какъ бы отрѣшившимися отъ него, какъ бы принадлежащими другому. Вотъ почему у него, при всей бурѣ чувствъ, всюду та удивительная ясность и прозрачность выраженія, которыхъ не достигалъ никто и до, и послѣ него. Душная атмосфера страсти, которая всегда застилаетъ туманомъ словесное выраженіе, у Гёте уступаетъ лучезарной сторонѣ его духа; но сама страсть, вызывающая на свѣтъ его стихотворенія, тихо звучитъ тутъ же и придаетъ имъ теплоту и жизнь. Это свойство сообщаетъ стихотвореніямъ Гёте нѣчто въ родѣ той манеры, по которой греческіе скульпторы творили образы своихъ боговъ. И они часто изображаютъ намъ безсмертныхъ въ сильномъ возбужденіи, но позади гнѣвно двигающихся чертъ Аполлона Бельведерскаго царятъ то величіе и то спокойствіе, которыми свидѣтельствуется о вѣчномъ мирѣ, живущемъ въ душѣ боговъ. Возвышенное спокойствіе, олимпійское величіе, съ которыми Гёте паритъ надъ бушующимъ моремъ своихъ страстей, обращая дикую стихію въ гладкое зеркало, составляютъ чудный даръ, отличающій его поэтическое творчество точно также, какъ его жизнь, и объясняютъ обаяніе, производимое его пѣснями точно также, какъ его личностью...»

Выше упомянуто объ *искренности* Гёте въ выраженіи его личныхъ чувствъ. Дѣйствительно, онъ имѣлъ полное право называть огромное большинство своихъ лирическихъ стихотвореній «отрывками большой исповѣди», ибо не скрывалъ ничего дурного и ничего хорошого и былъ чуждъ всего, хотя мало-мальски похожаго на аффектацію. Этой искренности, этой правды, «живой красоты», по его выраженію, онъ требовалъ и отъ другихъ въ своихъ теоретическихъ статьяхъ, рецензіяхъ и т. п., великолѣпными иллюстраціями къ которымъ служили его собственныя произведенія.

Эти достоинства Гётевской лирики, къ которымъ надо присоединить еще ея *здоровость*, «напоминающую здоровость зелени луговъ, аромата лѣса» и ясно чувствуемую даже въ скорбныхъ изліяніяхъ поэта, такъ какъ поэзія была для его души однимъ изъ средствъ очищенія, успокоенія — эти достоинства нашли себѣ выраженіе во множествѣ самыхъ разнообразныхъ формъ. Въ этой лирикѣ мы находимъ всѣ такъ называемые «жанры», или, вѣрнѣе (по замѣчанію Шюре) всякая пѣсня есть новый жанръ. «Тутъ прочувствовано, пережито, воспѣто все — все, начиная съ простыхъ любовныхъ пѣсенъ до пантеистическихъ гимновъ въ честь Бога и природы, съ веселыхъ застольныхъ мотивовъ до страстныхъ элегій, съ

наивной легенды до философской баллады, съ разгульныхъ студенческихъ пѣсенъ до орфическихъ изреченій индо-европейскаго мудреца. Цѣлая книга понадобилась бы, чтобы прослѣдить, какимъ образомъ отразились въ его лирикѣ лейпцигскій студентъ, страсбургскій мечтатель, веймарскій герой, поклонникъ Италіи и Греціи, естествоиспытатель и космополитъ...» И для каждаго «настроенія» поэтъ находитъ свое опредѣленное выраженіе; въ его распоряженіи безконечное разнообразіе тоновъ, соотвѣтствующее разнообразію ощущеній всего человѣчества, взятаго вмѣстѣ; поэтому каждое стихотвореніе его — самостоятельное поэтическое созданіе, которое, хотя и имѣетъ съ другимъ одинаковый источникъ («настроеніе»), но обособляется по тону чувства, выраженію и формѣ. Вслѣдствіе этого изслѣдовать эти произведенія критически можно только по «группамъ», на которыя разбилъ ихъ самъ авторъ и названія которымъ (удержанныя и въ нашемъ изданіи) даны тоже самимъ авторомъ.

Между этими группами самая выдающаяся по своему поэтическому достоинству — *пѣсни*, между которыми на первомъ планѣ стоятъ пѣсни *любви*, вслѣдствіе, между прочимъ, важной роли, которую играло это чувство въ жизни поэта, и которымъ не уступаютъ въ достоинствѣ пѣсни *сочувствія къ природѣ*. Тутъ Гёте является вполнѣ великимъ мастеромъ, творцомъ новой «пѣсни» (Lied), и тутъ блистательнѣйшимъ образомъ проявляется его значеніе, какъ поэта народнаго — народнаго и по духу, и по мотивамъ, и по формѣ. Уже отъ природы получилъ онъ то, что составляетъ прелесть народной пѣсни: непосредственность и богатство ощущеній, первобытную живость и задушевность языка. Всѣ эти качества были еще развиты въ немъ изученіемъ нѣмецкой народной поэзіи (подъ вліяніемъ Гердера), и у нея заимствовалъ онъ также прелесть формы, гармоническое сочетаніе формы съ содержаніемъ; благодаря ей, сообщилъ *своимъ* произведеніямъ ту *музыкальность*, которая заставляла многихъ композиторовъ состязаться въ сочиненіи музыки на пѣсни Гёте и по поводу которой, въ соединеніи съ другими вышеупомянутыми достоинствами, другой великій мастеръ въ области пѣсни, Гейне, замѣчалъ: «Невыразимая прелесть присуща этимъ стихамъ. Чудные стихи охватываютъ твое сердце, какъ ласка любимой женщины; слово обнимаетъ тебя, мысль цѣлуетъ.» Конечно, какъ справедливо замѣчаетъ Шюре (въ своемъ превосходномъ этюдѣ «Исторія нѣмецкой пѣсни»), «между пѣснями Гёте и народными та же разница, какъ между первоклассным умомъ и простою натурой, между вполнѣ развитымъ художникомъ и деревенскимъ пѣвцомъ, но за то между тѣмъ и другимъ существуетъ та невидимая связь, которая всегда сближаетъ истиннаго генія съ истинною простотою. Гёте есть какъ бы народный импровизаторъ, поставленный только въ иную обстановку—въ среду блестящаго, высоко образованнаго общества. Поэтическій даръ бьетъ въ немъ неизсякаемымъ ключемъ: онъ высыпаетъ стихи изъ своего сердца такъ же легко, какъ фокусникъ — цвѣты изъ рукава...»—«Голубое небо Италіи—говоритъ тотъ же писатель,—ея мраморныя статуи, величественные храмы и артистическое населеніе послужили Гёте, какъ извѣстно, новымъ откровеніемъ (т. е. послѣ путешествія его туда). Другимъ человѣкомъ вернулся онъ оттуда—уже не нѣмцемъ, а эллиномъ, или, вѣрнѣе, воскресшимъ человѣкомъ античнаго міра. Объ этомъ свидѣтельствуютъ его *Римскія Элегіи*. Но народная муза все же была его первой любовью, и къ ней возвращался онъ неизмѣнно. Какая-нибудь старинная задушевная мелодія, привѣтливый взглядъ дѣвичьихъ глазъ, цвѣтокъ на опушкѣ лѣса, всякій самый ничтожный поводъ порождали въ этомъ богатомъ поэтическомъ духѣ все новые и новые стихи, дышавшіе благородной простотой народной пѣсни... Поэтическій даръ этотъ Гёте сохранилъ до глубокой старости. Онъ перепробовалъ всѣ струны лиры, какъ древней, такъ и новой, подра-

жалъ Пиндару, Катуллу, даже Гафизу (въ «Западно-Восточномъ Диванѣ»), но въ моменты сильнаго внутренняго возбужденія всегда возвращался къ простой пѣснѣ...»

Иногда — и нерѣдко — «пѣсня» утрачиваетъ у Гёте этотъ простой, чисто пѣсенный характеръ, и принимаетъ, какъ по содержанію своему, такъ и по формѣ, тотъ видъ, который самъ авторъ называлъ «одой», и въ которой передъ нами уже не выразитель простаго, непосредственнаго ощущенія, минутнаго, единичнаго настроенія, а «человѣкъ грядущихъ вѣковъ, ведущій свою вдохновенную и пламенную рѣчь.» Это—тѣ стихотворенія, въ которыхъ выражается сочувствіе поэта къ природѣ, связь души поэта съ нею, дѣйствіе ея на эту душу,—или ощущенія, вызываемыя созерцаніемъ остатковъ древности и обусловливаемыя одною изъ характеристическихъ чертъ Гёте: умѣньемъ легко и живо переноситься въ прошедшее,—или религіозное міросозерцаніе поэта. Таковы «Зимняя поѣздка на Гарцъ», «Пѣснь Духовъ надъ водою», «Границы человѣчества», «Ганимедъ», «Странникъ» и много другихъ въ этомъ же родѣ.

Къ первой категоріи «пѣсенъ», т. е. пѣсенъ въ истинномъ значеніи этого термина, самымъ близкимъ образомъ примыкаетъ группа *балладъ и романсовъ*, и именно того отдѣла ихъ, который тѣсно соприкасается съ поэзіею народною, будучи отчасти заимствованъ изъ чисто народныхъ легендъ, сказаній и т. п., отчасти самостоятельно сочиненъ въ томъ же народномъ духѣ (см. ниже примѣчанія къ балладамъ). Другой отдѣлъ этой группы составляютъ баллады искусственныя, философскія, каковы: «Богъ и Баядера», «Коринѳская Невѣста», «Парія». Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ «прелесть и глубина идеи соединяются съ простотою и живостью формы. Въ нихъ воскресаетъ предъ нами цѣлый міръ, полный жизни и движенія. Веселость и даже юморъ, глубокое чувство, философскія идеи, фантастичность—всѣ эти элементы встрѣчаются въ его балладахъ. *Чудесный Цвѣтокъ*— полная идиллія; *Баллада объ изгнанномъ и возвратившемся графѣ* — полная драма; *Лѣсной Царь* превосходитъ по впечатлѣнію ужаса и демонизма всѣ творенія народа; *Коринѳская Невѣста* и *Богъ и Баядера* трактуютъ въ легкой формѣ о глубоко философскихъ вопросахъ». Но при этомъ разнообразіи всѣ баллады имѣютъ то общее между ними, которое очень существенно отличаетъ ихъ отъ балладъ другихъ современныхъ поэтовъ, именно Шиллера и Бюргера, и которое, по мнѣнію критика Гецингера, заключается въ ихъ чисто-поэтическомъ дѣйствіи, благодаря чему онѣ возбуждаютъ фантазію или чувство, не стремясь, какъ это имѣетъ мѣсто въ балладахъ Шиллера и Бюргера, производить дѣйствіе *нравственно* поэтическое. «Между балладами Гёте — говоритъ Гецингеръ — нѣтъ ни одной, согрѣтой огнемъ Бюргера, ни одной, въ которой была бы скрыта такая глубокая основная идея, какая лежитъ почти во всѣхъ Шиллеровскихъ балладахъ. Но всѣ онѣ отличаются безконечною ясностью сюжета, такъ сказать, играющею легкостью обработки, кроткимъ спокойствіемъ изображенія, прелестною прозрачностью языка, и если мы не находимъ въ нихъ пламени Бюргера и глубины Шиллера, то съ другой стороны не шокируетъ насъ въ нихъ безпредѣльность перваго и темнота второго».

Другая высокопоэтическая сторона лирическаго творчества Гёте — та, въ которой проявляется его «эллинская» натура, гдѣ все вѣетъ античнымъ духомъ и гдѣ идея чистой красоты побѣдоносно царитъ надъ всѣмъ въ своей, если можно такъ выразиться, олимпійской пластичности, олимпійскомъ величіи — нашла себѣ выраженіе въ его антологическихъ стихотвореніяхъ («Въ античной формѣ»), нѣкоторыхъ изъ вышеупомянутыхъ «одъ», и, главнымъ образомъ, въ его «элегіяхъ», особенно тѣхъ, которыя составляютъ первую книгу этой группы и извѣстны подъ

именемъ «Римскихъ». Прекрасную характеристику ихъ представилъ знаменитый критикъ и дѣятель «романтической школы», Августъ Шлегель, усматривающій особенную прелесть этихъ произведеній въ томъ, что они совершенно оригинальны и при этомъ, однако, истинно античны. «Присутствующій въ нихъ геній — говоритъ онъ—привѣтствуетъ древнихъ съ свободнымъ почтеніемъ. Весьма далекій отъ желанія заимствовать у нихъ, онъ приноситъ свои собственные дары и обогащаетъ римскую поэзію нѣмецкими стихотвореніями. Если бы тѣни безсмертныхъ тріумвировъ между пѣвцами любви (Проперцій, Тибуллъ, Овидій) вернулись въ покинутую ими жизнь, они, конечно, съ изумленіемъ бы смотрѣли на чужеземца изъ германскихъ лѣсовъ, присоединившагося къ ихъ компаніи чрезъ восемнадцать столѣтій, но охотно поднесли бы ему вѣнокъ изъ тѣхъ миртовыхъ вѣтвей, которыя для него зеленѣютъ еще теперь такъ же свѣжо, какъ зеленѣли нѣкогда для нихъ...» А Шиллеръ, получивъ отъ своего знаменитаго друга его «Римскія Элегіи» для напечатанія въ журналѣ «Horen», писалъ ему: «За «Элегіи» всѣ мы крѣпко благодаримъ васъ. Въ нихъ господствуютъ теплота, нѣжность и истинный поэтическій духъ, отъ которыхъ чудесно становится на сердцѣ среди порожденій пыпѣшняго міра поэзіи. Онѣ—истинное проявленіе добраго поэтическаго генія». И много лѣтъ спустя, онъ еще говорилъ объ этихъ произведеніяхъ ихъ автору: «Я не знаю ничего выше, даже между вашими собственными сочиненіями (надо имѣть въ виду, что Шиллеръ самъ въ это время былъ весь пропикнутъ древне-классическимъ духомъ); чище и полнѣе вы нигдѣ не высказали вашу личность и міръ (reiner und voller haben Sie Ihr Individuum und die Welt nicht ausgesprochen)». Многое изъ этихъ замѣчаній, повторяемъ, примѣняется и къ другимъ элегіямъ и антологическимъ сочиненіямъ нашего поэта.

Если затѣмъ, въ дополненіе ко всему вышесказанному, мы упомянемъ о Гёте, мыслителѣ—въ той группѣ стихотвореній, которую онъ озаглавилъ «Богъ и Міръ», въ такихъ балладахъ, какъ «Коринѳская Невѣста» и «Богъ и Баядера», во множествѣ афоризмовъ и изреченій въ стихахъ (не вошедшихъ въ настоящее изданіе) и друг. стихотвореніяхъ; если въ области его лирики отведено еще почетное мѣсто воспроизведенію восточной жизни и восточной поэзіи («Западно-Восточный Диванъ»),—то самыя крупныя и самыя существенныя черты лирической поэзіи Гёте, въ ихъ общей характеристикѣ, могутъ считаться представленными. Нижеслѣдующія отдѣльныя примѣчанія къ каждой группѣ порознь послужатъ необходимымъ дополненіемъ къ этой характеристикѣ.

•

ПОСВЯЩЕНІЕ (стр. 53).

Это стихотвореніе, написанное Гёте въ 1784 г., было напечатано имъ въ видѣ вступленія къ тому изданію его сочиненій (не только лирическихъ стихотвореній), которое онъ выпустилъ въ свѣтъ въ 1786 г. Аллегорическая „жена“, появляющаяся въ 4-ой строфѣ—*поэзія*, какъ олицетвореніе красоты и правды.

ПѢСНИ.

Стр. 59. Брачная ночь. „Еслибы это стихотвореніе—замѣчаетъ Фигофъ—было помѣщено между стихотвореніями классическаго періода Гёте, т.-е. въ 1795, 1796

году, то не легко было бы выдѣлить его оттуда, какъ продуктъ 1768 года (т.-е. первой поры дѣятельности). Композиція здѣсь такая образцовая, нѣсколько щекотливая тема обработана такъ благородно-поэтически, мысль, образъ такъ чисто и нѣжно обставлены словеснымъ выраженіемъ, что это стихотвореніе можетъ быть поставлено на ряду съ „Алексисъ и Дора“, „Новый Паузіасъ“ и т. п. произведеніями лучшаго времени.

Стр. 60. Обманчивая смерть. Въ самомъ первомъ изданіи пѣсенъ Гете („Leipziger Liederbuch“—1770 г.) это стихотвореніе озаглавлено „Гробница Амура“ съ прибавкою „Nach dem Französischen“.

Стр. 60. Свиданіе и Разлука. Вызвано любовью Гёте къ Фредерикѣ Бріонъ (дочери Зезенгеймскаго пастора) и относится къ первому времени ихъ сближенія.

Стр. 61. Когда я былъ въ Саарбрюкенѣ. Написано тоже къ Фредерикѣ Бріонъ.

Стр. 62. Осеннее чувство. Изъ пѣсенъ, посвященныхъ Лили Шенманъ. У насъ оно по ошибкѣ отнесено къ 1771 г., слѣдуетъ помѣтить его 1775-мъ (уже послѣ разрыва съ Лили).

Стр. 62. Степная Розочка. Переработка народной пѣсни, записанной Гердеромъ и сообщенной этимъ послѣднимъ Гёте въ Страсбургѣ. Существенное отступленіе отъ текста народной пѣсни сдѣлано нашимъ поэтомъ въ строфѣ 3-й; именно въ народной пѣснѣ читаемъ: „Но дикій мальчишка сломалъ розочку степную; розочка оборонялась и колола его, но онъ такъ наслаждался, что забывалъ боль“.

Стр. 63. Привѣтствіе духа. Въ этомъ стихотвореніи (написанномъ при созерцаніи поэтомъ развалинъ средневѣковаго замка Ланека) явилось какъ бы олицетвореннымъ то стремленіе Гёте, которое онъ самъ характеризовалъ „стремленіемъ сливать во едино чувство прошедшаго и настоящаго“ (die Empfindung der Vergangenheit und Gegenwart in Eins), которое нашло себѣ мѣсто и въ нѣсколькихъ другихъ стихотвореніяхъ его. Источникъ „Привѣтствія Духа“—вызванное видомъ развалинъ воспоминаніе объ особенностяхъ жизни средневѣковаго рыцарства. „Ладья“, о которой говорится въ предпослѣднемъ стихѣ, въ подлинникѣ—„Menschen-Schifflein“, т.-е. *человѣческая* ладья, иносказательно—идущее впередъ человѣчество.

Стр. 63. Новый Амадисъ. Изъ біографіи Гете извѣстно, что въ самые ранніе годы поэта, въ возбужденіи и развитіи его фантазіи играло очень важную роль чтеніе и слушаніе разныхъ сказокъ и собственное сочиненіе такихъ вещей. Этотъ фактъ надо имѣть въ виду для оцѣнки той вѣрности, съ которою Гете изобразилъ въ „Новомъ Амадисѣ“ первое движеніе и дальнѣйшій ходъ, въ эту пору, своего поэтическаго генія. Примѣнительно къ этому факту онъ называетъ себя здѣсь *новый Амадисъ*, намекая на озаглавленное точно также стихотвореніе Виланда и вмѣстѣ съ тѣмъ на тѣхъ героевъ романтической рыцарской поэзіи — Амадисовъ Гальскаго, Греческаго, Трапезунтскаго—приключенія которыхъ составляютъ содержаніе читавшихся поэтомъ въ дѣтствѣ испанскихъ и французскихъ романовъ.

Стр. 64. Блаженство Грусти. Написано послѣ разрыва съ Лили Шенманъ.

Стр. 64. Вечерняя Пѣсня Охотника. Тоже.

Стр. 65. Новая Любовь, Новая Жизнь. Изъ того же цикла пѣсенъ, но написано скоро послѣ перваго знакомства съ Лили, когда поэтъ, благодаря житейской шумной обстановкѣ этой дѣвушки, самъ зажилъ совершенно новою, шумно-свѣтской жизнью.

Стр. 65. На озерѣ. Относится къ той порѣ любви Гете къ Лили Шенманъ, когда онъ отправился путешествовать въ Швейцарію съ графами Штольбергами (см. автобіографію „Правда и Вымыселъ“).

Стр. 65. Съ Горы. Написано въ томъ же путешествіи въ Швейцарію, когда сочинено и предыдущее стихотвореніе.

Стр. 66. Къ Белиндѣ. Подъ именемъ „Белинды“ фигурируетъ здѣсь та же Елисавета Шенманъ. Белинда—очень распространенное въ то время имя, благодаря роману m-lle Скюдери. Касательно настроенія, выраженнаго въ этомъ стихотвореніи, см. подлежащее мѣсто въ автобіографіи „Правда и Вымыселъ“.

Стр. 67. Къ золотому сердечку, носившемуся на шеѣ. Это „сердечко“—подарокъ Лили Шенманъ. См. о вызвавшемъ это стихотвореніе эпизодѣ въ автобіографіи то мѣсто, гдѣ говорится о путешествіи съ друзьями по Швейцаріи въ 1775 г.

Стр. 68. Ночная Пѣсня Странника (1-я). Написана скоро послѣ пріѣзда Гете въ Веймаръ и подъ вліяніемъ новой любви—къ г-жѣ Штейнъ.

Стр. 69. Ноябрьская Пѣсня. О „Стрѣльцѣ“ упоминается здѣсь потому, что, какъ извѣстно, въ ноябрѣ солнце вступаетъ въ созвѣздіе Стрѣльца. Этому послѣднему противопоставленъ богъ любви.

Стр. 70. Ночная Пѣсня Странника (2-я). Это стихотвореніе (сдѣлавшееся у насъ знаменитымъ по переводу Лермонтова) было написано Гете на деревянномъ ставнѣ герцогскаго лѣтняго домика въ Ильменау. Сорокъ восемь лѣтъ спустя (въ 1831 г.) онъ пріѣзжалъ туда наканунѣ своего послѣдняго дня рожденія, нашелъ эти стихи сохранившимися въ цѣлости, снова обвелъ всѣ буквы ихъ карандашомъ, прочелъ вслухъ, заплакалъ и сказалъ: „Ja, warte nur, balde ruhest du auch!“ („Да, подожди немного, скоро отдохнешь и ты!“).—Сохранился ли этотъ знаменитый ставень съ его автографомъ до сихъ поръ—не знаемъ.

Стр. 70. Счастье и Сонъ. Просимъ исправить ошибку, замѣченную уже послѣ отпечатанія листа. Стихотвореніе это относится не къ 1788, а къ 1768 году, и написано подъ вліяніемъ любви поэта къ Кетхенъ Шенкопфъ, дочери трактирщика, фигурирующей въ автобіографіи Гете подъ именемъ Энхенъ или Аметты.

Стр. 71. Къ Отсутствующей. Хотя это стихотвореніе появилось въ печати только въ 1789 г., но полагаютъ, что оно написано гораздо раньше, а именно немедленно послѣ разлуки съ Фредерикою Бріонъ.

Стр. 71. Первая Потеря. Перенесено авторомъ въ отдѣлъ „пѣсенъ“ изъ оставшейся отрывкомъ „пьесы съ пѣніемъ“ (Singspiel)—„Die Ungleichen Hausgenossen“, гдѣ его поетъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ.

Стр. 72. Морская Тишь и Счастливое Плаваніе. Имѣя въ виду заявленіе самого Гёте, что природа не создала его поэтомъ чисто-описательнымъ, т. е. что его картины природы всегда имѣютъ отношеніе къ какому-нибудь нравственному вопросу, идеѣ и т. п.,—Фигофъ находитъ въ этихъ двухъ стихотвореніяхъ аллегорическій смыслъ, примѣнительно къ внутреннему состоянію поэта. „У него часто бывали дни и недѣли, когда прекращалась всякая поэтическая производительность. Душа его походила въ это время на неподвижное море, на которомъ озабоченный пловецъ усматриваетъ только гладкую поверхность и видитъ себя какъ бы заключеннымъ въ тюремныя стѣны. Такое состояніе представлялось Гёте необходимымъ продуктомъ закона природы, и онъ постоянно подчинялся ему съ покорностью. Онъ выжидалъ тихо, безропотно, часа, когда разсѣется туманъ, когда богъ вѣтра разорветъ тягостныя цѣпи. Но послѣ этого пловецъ быстро и живо подымалъ паруса и бодро мчался къ желанной цѣли“.

Стр. 74. Ночная Пѣснь. Поводомъ къ сочиненію ея послужила итальянская народная пѣсня на такой же мотивъ и каждый куплетъ которой оканчивается стихомъ: „Dormi, che vuoi di più?“ (т. е. „Спи, чего тебѣ еще хотѣть?“)

Стр. 75. Горный Замокъ. См. примѣчаніе къ стихотворенію „Привѣтствіе Духа“, примѣняемое и къ „Горному Замку“.—Тонъ стихотворенія—народный.

Стр. 76. Утѣшеніе въ Слезахъ. Переработка нѣмецкой народной пѣсни.

Стр. 77. Подмастерье Ювелира. Существуетъ предположеніе, что и къ этому стихотворенію мотивомъ послужила народная пѣсня (на основаніи вполнѣ народнаго тона ея); но точныхъ доказательствъ покамѣсть нѣтъ.

СМѢШАННЫЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.

Стр. 81. Пѣснь Странника въ бурю. Стихотвореніе это, какъ свидѣтельствуетъ Гёте въ своей автобіографіи, написано скоро послѣ окончательной разлуки съ Фре-

дерикою Бріонъ, когда поэтъ, полный раскаянія, угрызеній совѣсти, печали и т. п. чувствъ, часто бродилъ въ окрестностяхъ Франкфурта по долинамъ, горамъ, лѣсамъ—отчего близкіе и прозвали его „Странникомъ“. Въ одну изъ такихъ прогулокъ, застигнутый бурею, онъ сочинилъ, или вѣрнѣе, „пропѣлъ“ экспромптомъ это стихотвореніе. При такомъ *фактическомъ* основаніи оно несомнѣнно имѣетъ и высшій, символическій смыслъ: „буря“ здѣсь не только дѣйствительная буря въ природѣ, но и та, которая бушуетъ въ душѣ поэта. „Илистая дорога“, по которой онъ идетъ, есть въ тоже время и грязь жизни, высоко надъ которою парятъ геній; такое же переносное значеніе и въ нѣкоторыхъ другихъ подробностяхъ.

Стр. 83. Пѣсня Магомета. Это стихотвореніе первоначально предназначалось авторомъ для вставки въ проэктированную имъ и оставшуюся ненаписанною драму „Магометъ“ (изъ *лирическихъ* частей ея сохранилась только эта „пѣснь“, да еще „гимнъ“, долженствовавшій открывать собою пьесу).—Напечатанная здѣсь „пѣсня“ (ее долженъ былъ пѣть Али во славу своего учителя и пророка) есть, какъ вѣрно объясняетъ Фигофъ, „аллегорическій гимнъ“, воспѣвающій „высокую судьбу, высокое назначеніе тѣхъ великихъ, боговдохновенныхъ геніевъ, которые становятся на столѣтія и тысячелѣтія свѣточами народовъ“.

Стр. 86. Дядѣ Кроносу. Стихотвореніе это съ явнымъ отпечаткомъ духа „бури и натиска“, въ оковахъ котораго находился въ то время Гёте. — Кроносъ (Время) представленъ здѣсь возницею колесницы жизни поэта, и во всемъ стихотвореніи эта жизнь изображается въ видѣ быстрой скачки.

Стр. 87. Паркъ Лили. Эта Лили — Елисавета Шенманъ, которой въ отдѣлѣ „Пѣсенъ“ посвящено столько стихотвореній. „Паркъ Лили“ относится къ тому мѣсту автобіографіи Гёте, гдѣ онъ говоритъ о шумной обстановкѣ этой дѣвушки (во время ярмарки), объ ея кокетничаньи со многими и т. п. Выставленіе имъ себя въ этихъ стихахъ медвѣдемъ находится въ связи со словами автобіографіи: „личность моя была въ то время уже ославлена за свою нелюдимость, меня звали медвѣдемъ“, — и съ однимъ письмомъ его, писаннымъ къ Іоганнѣ Фальмеръ скоро послѣ бѣгства въ Швейцарію съ графами Штольбергами, и гдѣ онъ говоритъ о себѣ, какъ о „медвѣдѣ, разбившемъ свою цѣпь, но котораго по возвращеніи ожидаетъ судьба еще печальнѣе“.

Стр. 91. Плаваніе. Это аллегорическое стихотвореніе, независимо отъ примѣненія къ человѣческой жизни вообще, имѣетъ близкую связь и съ жизнью Гёте— именно съ тою порою ея, когда онъ, по окончаніи курса въ Страсбургскомъ университетѣ, жилъ нѣкоторое время въ Франкфуртѣ, полный всяческихъ плановъ и связанный внѣшними обстоятельствами,—и когда затѣмъ онъ получилъ приглашеніе въ Веймаръ и отправился туда. Это-то и есть „отплытіе“, изображенное въ стихотвореніи. Стихи „Но, по волѣ Бога измѣняясь“ и слѣдующіе представляютъ намѣреніе герцога Веймарскаго призвать Гёте къ служебнымъ занятіямъ, и опасеніе поэта и его друзей, что *эта* дѣятельность стѣснитъ его независимость и послужитъ въ ущербъ творчеству поэтическому. Послѣдняя строка выражаетъ увѣренность, что этого не будетъ—тѣмъ болѣе, когда поведеніе герцога не оправдало такихъ опасеній.

Стр. 92. Зимняя поѣздка на Гарцъ. Въ 1820 г., т. е. черезъ сорокъ три года послѣ сочиненія этихъ стиховъ, появился отдѣльной брошюркой коментарій на нихъ проф. Каннегисера. Гёте отнесся къ нему съ большимъ одобреніемъ, но сдѣлалъ при этомъ отъ себя нѣсколько замѣчаній, поясненій и т. п., которыя, какъ вышедшія изъ-подъ пера самаго автора, имѣютъ большой интересъ. Вслѣдствіе этого мы и даемъ имъ здѣсь мѣсто.

Назвавъ пору, къ которой относится это стихотвореніе, одною изъ важныхъ въ его жизни, поэтъ продолжаетъ:

„Поѣздка (о которой здѣсь говорится) была предпринята въ концѣ ноября 1877 г. Совершенно одинъ, верхомъ, въ снѣгу, пустился авторъ въ путешествіе, которое можно бы назвать весьма страннымъ, но мотивы котораго слегка намѣчены

въ самомъ стихотвореніи: „Какъ соколъ въ небѣ“ и т. д.—Раннимъ зимнимъ утромъ оставляетъ путешественникъ свой, въ данную минуту уютно-гостепріимный Тюрингенскій пріютъ, онъ ѣдетъ вверхъ по горѣ, по направленію къ сѣверу; на встрѣчу ему развертывается тяжелое, грозящее снѣжною мятелью небо:

„Вѣчный Творецъ указалъ
Каждому смертному путь.
Быстро счастливый
Къ радостной цѣли стремится...“

„Начатое исполненіе опаснаго и труднаго предпріятія укрѣпляетъ отвагу и развеселяетъ духъ. Поэтъ вспоминаетъ о своей жизни до сихъ поръ — жизни, которую онъ считаетъ себя въ правѣ назвать счастливою, которой можетъ обѣщать самый блистательный успѣхъ.

„Тотъ же, чье сердце несчастьемъ
Тягостнымъ сковано —
Борется вѣчно безплодно;
Хода во вѣкъ не измѣнитъ онъ
Жизненной нити своей:
Парка одна безпощадно
Нить разорветъ.

„Но немедленно вслѣдъ затѣмъ онъ вспоминаетъ о несчастномъ, недовольномъ, ради котораго собственно и предпринята имъ эта поѣздка.

„Когда авторъ написалъ своего „Вертера“, чтобы по крайней мѣрѣ лично себя освободить отъ господствовавшей въ ту пору болѣзни чувствительности (Empfindsamkeits-Krankheit“), ему пришлось пережить то крупное неудобство, что его именно считали сочувствующимъ этому болѣзненному настроенію. На долю его выпало множество письменныхъ приставаній, между которыми особенно кидались ему въ глаза письма одного молодого человѣка *), который оказывается въ нихъ до такой степени серіозно охваченнымъ раздраженностью и самомстязаніемъ, что невозможно было даже представить себѣ личность, къ которой могли бы подойти эти душевныя разоблаченія. Всѣ его неоднократныя и настойчивыя признанія были привлекательнаго и въ тоже время отталкивающаго свойства, такъ что наконецъ, при постоянно возбуждавшемся и тутъ же ослабѣвавшемъ участіи, родилось наконецъ любопытство узнать, какое тѣло выработало для себя такой странный духъ? Я захотѣлъ повидать этого юношу, но такъ, чтобъ онъ не зналъ, кто я, и потому-то и пустился въ этотъ путь.

„Въ тѣнистой чащѣ
Таиться любитъ звѣрь лѣсной . . .“

„Путешественникъ достигаетъ ближайшихъ горныхъ высотъ; пейзажъ принимаетъ все болѣе и болѣе зимній видъ; все вокругъ пусто и мертво, только перелетная дичь свидѣтельствуетъ о жалкомъ существованіи своемъ. Онъ видитъ замерзшіе пруды, озера; попадается ему на встрѣчу и городъ.

„И вмѣстѣ съ воробьями
Давно уже богачи
Погрузились въ свои болота . . .“ **)

---

*) Нѣкоего Плессинга, какъ объясняетъ Гете въ другомъ мѣстѣ, характеризуя его, какъ „молодого, школами и университетами образовавшагося человѣка, которому однако все, имъ выученное, не могло доставить внутренняго, нравственнаго успокоенія“.

**) Въ переводѣ г. Холодковскаго, напечатанномъ въ нашемъ изданіи, эти стихи переведены: „А журавли и цапли — Въ своемъ болотѣ — Селятся и живутъ“. Эта невѣрность (замѣченная нами уже по отпечатаніи листа, произошла оттого, что

„Кто жертвуетъ своими удобствами, тотъ презрительно относится къ людямъ, предающимся комфорту. Охотники, солдаты, съ трудомъ путешествующіе, нуждаются въ отвагѣ, которая легко переходитъ въ гордое презрѣніе ко всякимъ препятствіямъ Нашъ путешественникъ отказался отъ всѣхъ удобствъ и презрительно смотритъ на горожанъ, положеніе которыхъ онъ выставляетъ здѣсь въ унизительномъ видѣ посредствомъ сравненія . . .

Легко за фортуной птти
Во слѣдъ за ея колесницей,
Какъ свитѣ придворныхъ легко
По гладкой дорогѣ
За поѣздомъ царскимъ спѣшить".

„Авторъ снова возвращается къ своей собственной счастливой порѣ жизни, не ставя этого себѣ въ заслугу; напротивъ, о своихъ благахъ въ данное время онъ говоритъ даже съ пренебреженіемъ.

„Но кто въ сторонѣ
Отсталъ, заблудившися въ чащѣ"? и т д.

„Образъ одинокаго, враждебнаго людямъ и жизни юноши снова приходитъ ему на мысль, онъ рисуетъ себѣ его.

„Увы, кто излечитъ отъ скорби
Того, кому жизни цѣлебный бальзамъ" и т. д.

„Онъ продолжаетъ сѣтовать о немъ.

„Отецъ всемогущей любви! и т. д.

„Его сердечное участіе изливается въ молитвѣ.

„Радость Ты всѣмъ посылаешь..." и т. д.

„Здѣсь поэтъ обращаетъ свои мысли къ жизни и дѣятельности, вспоминаетъ о своихъ задушевныхъ друзьяхъ, которые какъ разъ въ это время года и при такой погодѣ отправляются на охоту, чтобы уничтожать размножающихся въ извѣстныхъ мѣстностяхъ хищныхъ животныхъ. Именно ради этой partie de plaisir уѣхалъ изъ города нашъ интимный кружокъ, доставивъ этимъ автору случай и возможность пуститься въ свою поѣздку. Онъ разстался съ ними, давъ обѣщаніе скоро опять присоединиться къ нимъ.

„Но одинокаго Ты окружи
Тучей своей золотой,
И, въ ожиданіи розы весенней,
Зимнею вѣткой увядшей укрась, о любовь,
Влажныя кудри,
Кудри поэта, пѣвца твоего!"

„Но вотъ онъ возвращается къ самому себѣ, обсуждаетъ свое затруднительное положеніе и проситъ любовь не покидать его.

„Здѣсь мѣсто замѣтить, что при комментированіи поэтовъ всегда должно держаться средины между дѣйствительнымъ и идеальнымъ. Въ шестой строфѣ *любовь* является неудовлетворенною, правда, живущею въ душѣ человѣка, но извнѣ отталкиваемою потребностью; въ седьмой строфѣ подъ „отцемъ любви" понимается суще-

---

г. Холодковскій переводилъ съ того изданія, въ которомъ, по винѣ типографіи или корректора (на которую указываетъ и Гете) слово „die Reichen" (богачи) было замѣнено словомъ „die Reiher" (цапля). Послѣ въ другихъ изданіяхъ эта ошибка уже исправлена. Только при такомъ исправленіи получаетъ смыслъ то, что Гете говоритъ здѣсь о горожанахъ.

Ред.

ство, которому всѣ остальныя должны быть обязаны живущею въ нихъ взаимною склонностью другъ къ другу; здѣсь, въ девятой, любовь представляется поэту, какъ благороднѣйшая потребность духовнаго, быть можетъ, и тѣлеснаго единенія, которая приводитъ въ движеніе отдѣльные индивидуумы и доставляетъ имъ постоянное удовлетвореніе въ прекраснѣйшихъ формахъ—дружбы, супружеской вѣрности, дѣтскаго почтенія, и еще сверхъ того—цѣлыми сотнями нѣжныхъ проявленій.

„Мерцающій факелъ
Несешь ты предъ нимъ“... и т. д.

„Онъ изображаетъ отдѣльныя затрудненія и невзгоды, которыя обрушиваются на него въ эти минуты, но съ радостною отвагою преодолѣваются имъ при мысли о находящихся далеко милыхъ людяхъ.

„И ставитъ тебѣ онъ алтарь благодатный
На снѣжной вершинѣ горы;
Холодную эту вершину,
Какъ духовъ жилище,
Издревле въ преданьяхъ вѣнчаетъ народъ“.

„Важный, вполнѣ идеальный, даже представляющійся фантастическимъ пунктъ, на счетъ реальности котораго автору пришлось пережить уже не одно сомнѣніе, но въ пользу котораго въ этомъ отношеніи онъ имѣетъ въ своихъ рукахъ очень цѣнный документъ.

„Десятаго декабря, въ полдень, я дѣйствительно стоялъ на вершинѣ Брокена, окруженный безпредѣльными снѣгами. Надо мною разстилалось совершенно чистое небо, съ котораго солнце посылало такіе палящіе лучи, что въ шерстяной подкладкѣ пальто распространялся запахъ гари. Подъ собою видѣлъ я неподвижное море облаковъ, тянувшееся во всѣ стороны, и только повышеніями и пониженіями облачныхъ слоевъ обнаруживавшее находившіяся подъ нимъ горы и долины.

„Великолѣпная игра разноцвѣтныхъ тѣней, при захожденіи солнца, подробно описана въ моемъ „Ученіи о краскахъ“ (Farbenlehre) § 75.

„Стоишь ты, Гарцъ, со своей неизвѣданной грудью“

и т. д. до конца.

„Здѣсь легкій намекъ на строеніе горы. „Неизвѣданная“ внутренность главной вершины Гарца противопоставлена остальнымъ вершинамъ хребта, изъ которыхъ уже извлекаются драгоцѣнные металлы.

„Желаніе получить наглядное понятіе объ этой важной работѣ природы—желаніе, осуществленіе котораго не удалось автору—послужило отчасти побужденіемъ къ странному предпріятію, котораго таинственные, правда, съ трудомъ объясняемые, слѣды заключаются въ настоящемъ стихотвореніи.

„Такимъ образомъ, тему его можно бы выразить слѣдующимъ образомъ. Поэтъ, имѣя двоякую цѣль: непосредственно познакомиться со строеніемъ горы и посѣтить молодого, крайне ипохондрическаго самоистязателя, пользуется тѣмъ, что его близкіе друзья отправляются на охоту, чтобы на короткое время разстаться съ ними.

„Какъ они не обращаютъ вниманія на суровую зимнюю погоду, такъ и онъ, со своей стороны, пускается одинъ въ эту причудливую поѣздку. Ему удается не только видѣть исполненіе своихъ желаній, но и, благодаря цѣлому ряду поводовъ блужданій и случайностей, достигнуть покрытой снѣгомъ вершины Брокена. Все, что въ это время проходило въ его умѣ, онъ записываетъ потомъ коротко, отрывочно, таинственно, въ духѣ и тонѣ всего предпріятія, неправильными ритмическими строками“.

Изъ другихъ—послѣдующихъ—писемъ и замѣчаній Гёте можно сдѣлать выводъ, что въ этой поѣздкѣ на Гарцъ, кромѣ указываемыхъ имъ двухъ фактическихъ внѣшнихъ поводовъ, играло роль болѣе глубокое, чисто внутреннее побужденіе.

Какъ очень хорошо замѣчаетъ одинъ коментаторъ (Schöll), тутъ руководили имъ „его не легкое усиліе ограничить себя, и въ ограниченіи найти безграничное; его стремленіе—при связи съ аристократическимъ обществомъ оставаться вѣрнымъ простой натурѣ, вырабатывать въ себѣ чисто человѣческое; та религія его существа, чрезъ посредство которой то, что въ мірѣ природы занимало его и кротко улыбалось ему, становилось для него символомъ и залогомъ его душевнаго настроенія, а то, что охватывало и возвышало его на свободномъ и дикомъ просторѣ — предзнаменованіемъ исполненія самыхъ личныхъ желаній его. На этотъ разъ онъ кинулся въ морозъ, чтобы вполнѣ чувствовать потомъ согрѣваніе, окунулся въ ночную тьму, чтобы радостно подняться изъ нея къ свѣту, въ усталость и голодъ — чтобы благословить прелесть утоленія и отдыха... И то обстоятельство, что его желаніе подышать воздухомъ высшей точки горы, желаніе хотя дерзкое, осуществилось какъ бы само собой—это обстоятельство, какъ отрадное дуновеніе Отца природы, наполнило его самымъ мягкимъ набожнымъ настроеніемъ. Эта сладость награжденной устойчивости и увѣнчаннаго успѣхомъ довѣрія слилась съ сознаніемъ такой же устойчивости его любви, такой же вѣры въ будущее:

„И, въ ожиданіи розы весенней,
Зимнею вѣткой увядшей укрась, о любовь,
Влажныя кудри,
Кудри поэта, пѣвца твоего!“

Стр. 94. Ганимедъ. Заглавіе не совсѣмъ правильное. Слѣдовало бы озаглавить „*Новый* Ганимедъ“ (какимъ представляетъ себя привѣтствующій наступившую весну поэтъ)—какъ напримѣръ въ пѣснѣ (см. выше) „Новый Амадисъ“.

Стр. 94. Пѣснь духовъ надъ водами. Написано послѣ посѣщенія поэтомъ водопада Штауббахъ около Лаутербрунна.

Стр. 100. Лидь. Изъ стихотвореній, написанныхъ къ г-жѣ фонъ-Штейнъ (см. біографію).

Стр. 100. Ночныя мысли. Тоже.

Стр. 100. Кубокъ. Въ 1781 г. Гёте перевелъ пѣсню Анакреона „Къ Кузнечику“, и этотъ переводъ послужилъ ему поводомъ къ сочиненію, вслѣдъ за тѣмъ, ряда оригинальныхъ стихотвореній въ томъ же духѣ. Одно изъ первыхъ между ними по времени—„Кубокъ“, въ которомъ подъ „Лидою“ подразумѣвается г-жа фонъ-Штейнъ (см. выше, примѣчаніе къ стихотворенію „Лидѣ“). — Оно написано на мотивъ древне-греческаго, приписываемаго Анакреону, стихотворенія, въ которомъ авторъ заказываетъ Вулкану серебряный кубокъ съ изображеніями виноградниковъ, Бахуса, Эроса и т. п. Упоминаемый въ стихотвореніи Гёте „Ліей“—одно изъ названій Бахуса.

Стр. 101. Божественное. Написано уже въ ту пору, когда поэтъ познакомился съ ученіемъ Спинозы. Здѣсь выражено развитое въ немъ голландскимъ философомъ сознаніе существованія въ человѣкѣ свободной воли и нравственнаго благородства, какъ фундамента истинной религіозности — въ противоположность тому религіозному міровоззрѣнію, которое выражено въ написанныхъ прежде стихотвореніяхъ „Ганимедъ“ и „Границы человѣчества“ (стр. 94 и 99).

Стр. 102. Къ непреклонной. Коментаторы полагаютъ, что это написано на мотивъ итальянской народной пѣсни.

Стр. 103. Посѣщеніе и стр. 104. Утреннія Жалобы. Оба стихотворенія вызваны первымъ сближеніемъ поэта съ Христиною Вульпіусъ (впослѣдствіи его женою)—скоро послѣ его возвращенія изъ Италіи. Дюнцеръ называетъ эти два стихотворенія „предшественниками *Римскихъ Элегій*“ (см. ниже).

Стр. 106. Въ полночный часъ. Это стихотвореніе Гёте признавалъ однимъ изъ своихъ любимыхъ произведеній (оно написано экспромптомъ при возвращеніи поэта домой изъ гостей), и уже десять лѣтъ спустя, въ разговорахъ съ Эккерманомъ, сознавался, что продолжаетъ оставаться съ нимъ въ тѣсной душевной связи,

что оно, какъ и прежде, остается живою частью его самого, и т. п. Въ числѣ многихъ другихъ стихотвореній Гёте, и это положено на музыку извѣстнымъ композиторомъ и другомъ поэта, Цельтеромъ. Непонятно, почему авторъ не включилъ его въ отдѣлъ „пѣсенъ“, куда оно какъ нельзя больше подходитъ.

Стр. 106. Мысли при видѣ Шиллерова черепа. Въ мартѣ 1826 г. при очисткѣ такъ-назыв. Kassengewölbe на кладбищѣ св. Іакова въ Веймарѣ, былъ между прочими скелетами найденъ черепъ, принадлежавшій, по указаніямъ могильщика, Шиллеру. Вѣрность этого показанія подтвердилъ и Гёте, признавъ черепъ за дѣйствительно Шиллеровскій по прекрасному горизонтальному положенію зубовъ. Въ сентябрѣ, по приказанію Великаго Герцога, черепъ былъ торжественно поставленъ въ герцогской библіотекѣ на пьедесталѣ бюста поэта, работы знаменитаго Деннекера.—Въ стихотвореніи ясно видно отраженіе склонности Гёте къ френологическому ученію Галля, а также его собственныхъ естественно-научныхъ воззрѣній. „Прекрасно сформированный черепъ умершаго друга, высокій духъ котораго создалъ себѣ столь достойную оболочку, вдругъ пробуждаетъ своимъ видомъ его естественно-научныя мысли, и онъ прославляетъ, какъ драгоцѣнное пріобрѣтеніе свое, получающееся здѣсь сознаніе внутренней тѣсной связи и взаимодѣйствія между духомъ и веществомъ“. — Описаніе „полутемной залы“, гдѣ поэтъ видитъ много череповъ и внезапно находитъ Шиллеровскій—поэтическая выдумка.—Стихотвореніе это интересно и потому, что оно единственное (кромѣ монолога Фауста во 2-й ч.), написанное терцинами,—такъ какъ въ эту пору Гёте занимался Дантомъ.

БАЛЛАДЫ.

Стр. 111. Невѣрный Юноша. Эта баллада предназначалась сперва авторомъ для его оперы „Claudine von Villa Bella“ и осталась неоконченною. Судя по той сценѣ, гдѣ эти стихи должно было пѣть одно изъ дѣйствующихъ лицъ, Гёте имѣлъ въ нихъ цѣлью отчасти осмѣять распространившуюся въ то время, благодаря Бюргеровой „Ленорѣ“, страсть публики къ „страшнымъ“ балладамъ съ духами, привидѣніями и т. п.

Стр. 112. Царь Ѳульскій. Написана для „Фауста“ въ 1774 г., но въ это произведеніе вошла уже въ нѣсколько измѣненномъ видѣ. Это одна изъ балладъ Гёте въ народномъ духѣ.

Стр. 112. Передъ судомъ. Находится въ связи съ разсказомъ такого же содержанія, составляющимъ 13-ю главу I книги „Ученическихъ годовъ Вильгельма Мейстера“; баллада написана въ томъ же году (1778), когда окончена первая редакція этой части романа. Отчасти этотъ мотивъ и въ 73-й изъ „Венеціанскихъ Эпиграммъ“ (стр. 205 настоящаго тома).

Стр. 113. Крысоловъ. Переработка народной пѣсни о „Крысоловѣ изъ Гамельна“, содержаніе которой въ томъ, что пришедшій въ Гамельнъ таинственный незнакомецъ очищаетъ городъ отъ появившагося въ немъ безчисленнаго количества крысъ и мышей, но въ отмщеніе за то, что городской совѣтъ отказываетъ ему въ уплатѣ выговоренныхъ за это денегъ — прибѣгаетъ къ помощи своей волшебной флейты для того, чтобы игрою на ней увести изъ города всѣхъ дѣтей. По поводу переработки этой легенды (она помѣщена и въ одной старой хроникѣ 13-го ст.) Гёте, Фигофъ замѣчаетъ: „Когда вспоминаешь тогдашнія (т. е. въ первые годы веймарской жизни) отношенія Гёте къ его окружающимъ, то готовъ это изображеніе крысолова примѣнить къ самому поэту, въ которомъ въ ту пору жизнь кипѣла съ такою юношескою силой. Одною изъ тогдашнихъ задачъ его было — помогать очищенію своего новаго мѣстопребыванія отъ многихъ вредныхъ и скверныхъ вещей, издавна свившихъ себѣ тамъ гнѣздо; онъ, другъ дѣтей, какъ извѣстно, любившій устраивать для нихъ маленькіе праздники (есть предположеніе, что „Крысоловъ“ написанъ для дѣтскаго балета) и умѣвшій разсказывать для нихъ „золотыя сказки“, сразу

завоевывалъ ихъ сердца; а что онъ въ тоже время „ловилъ“ и дѣвушекъ — это извѣстно всякому“.

Стр. 114. Лѣсной Царь. Совершенно свободная, съ измѣненіемъ всей обстановки и основной мысли, переработка датской народной баллады „Рыцарь Олафъ“, съ которою Гёте познакомился въ переводѣ Гердера. Русское заглавіе „Лѣсной Царь“ не совсѣмъ точно; нѣмецкое „Erlkönig“ значитъ „Царь ольхъ“ (die Erle — ольховое дерево).

Стр. 115. Рыбакъ. Переработка извѣстнаго народнаго сказанія объ увлеченіи русалкою на морское дно прекраснаго юноши, находящаяся въ связи съ высказаннымъ въ одномъ письмѣ Гёте (къ г-жѣ Штейнъ) замѣчаніемъ, что вода и отражающійся въ ней блескъ звѣздъ имѣютъ въ себѣ нѣчто „опасно-привлекательное, манящее туда человѣка“.

Стр. 115. Пряха. Передѣлка стихотворенія Фосса, но въ совершенно народномъ тонѣ, отъ котораго далеко произведеніе Фосса, которое Дюнцеръ справедливо называетъ „наивно болтливымъ“.

Стр. 116. Параболистическое стихотвореніе, которому, неизвѣстно почему, Гёте далъ мѣсто въ группѣ балладъ. Основная мысль ясна: счастье человѣку доставляетъ не матеріальное богатство, но энергическая, честная дѣятельность. Являющійся кладокопателю юноша—духъ добра (въ противоположность фигурирующему тутъ же дьяволу), ободряющій приходящаго въ отчаяніе бѣдняка и разъясняющій ему, что такое истинное счастье. Внѣшнимъ поводомъ написать это стихотвореніе послужила Гёте картинка при одномъ латинскомъ сочиненіи Петрарки, изображавшая мальчика, который подноситъ читающему человѣку чашу, откуда льются яркіе лучи, между тѣмъ, какъ вокругъ стоятъ заклинатели, волшебники, кладокопатели и самъ сатана. Въ „Дневникѣ“ Гёте находится по этому поводу замѣтка: „Милая (artige) идея, что дитя приноситъ кладокопателю ярко блистающую чашу“. Эту идею онъ, по своей привычкѣ, тотчасъ же облекъ въ поэтическую форму.

Стр. 117—124. Молодой Дворянинъ и Мельничиха. Подмастерье и Мельничный Ручей. Измѣна Мельничихи. Раскаяніе Мельничихи. Въ 1797 г. Гёте писалъ Шиллеру: „Посылаю вамъ при этомъ маленькую шутку... За этимъ введеніемъ (Introduction) послѣдуютъ еще три пѣсни въ нѣмецкомъ, французскомъ и испанскомъ родѣ, и всѣ онѣ вмѣстѣ составляютъ маленькій романъ“. Эти четыре стихотворенія—вышепоименованныя четыре баллады (скорѣе романсы), гдѣ главное дѣйствующее лицо—мельничиха (вообще играющая важную роль въ народныхъ пѣсняхъ разныхъ народовъ). При различіи дѣйствующихъ лицъ (кромѣ мельничихи) въ этихъ балладахъ, обстановки, подробностей, относящихся къ обстоятельствамъ, не имѣющимъ между собой ничего общаго, признать ихъ въ совокупности „маленькимъ романомъ“, какъ выразился Гёте, можно только въ томъ отношеніи, что предметъ любви всѣхъ выводимыхъ здѣсь мужчинъ—мельничиха. Въ первомъ изданіи этихъ стихотвореній подъ первымъ изъ нихъ было авторомъ приписано: „altenglisch“, подъ вторымъ—„altdeutsch“, подъ третьимъ—„altfranzösisch“, подъ четвертымъ—„altspanisch“. Извѣстенъ подлинникъ (являющійся, впрочемъ, у Гёте въ совершенно переработанномъ видѣ) только третьяго („Измѣна Мельничихи“); это—старая французская пѣсня, начинающаяся словами: „En manteau, manteau sans chemise“. Но несомнѣнно—даже если бы и не было вышесказанныхъ приписокъ Гёте—что и для остальныхъ мотивомъ послужили народныя пѣсни (хотя Дюнцеръ и старается увѣрить, что слова „altenglisch“, „altdeutsch“ и т. д. означаютъ только: въ старо-англійскомъ, старо-нѣмецкомъ и т. д. *духѣ*, согласно вышеприведеннымъ словамъ Гёте въ письмѣ къ Шиллеру). Самъ же Дюнцеръ указываетъ на поразительное сходство Гётевскаго „Молодой Дворянинъ и Мельничиха“ съ пѣснью одного изъ старѣйшихъ провансальскихъ трубадуровъ Маркобрёна; а переодѣванье, имѣющее мѣсто въ „Раскаяньи Мельничихи“, встрѣчается во многихъ народныхъ пѣсняхъ, напр., въ англійской балладѣ „The friar of orders gray“; одна нѣмецкая народная пѣсня прямо выводитъ на сцену „дворянина“ и „дочь мельника“, изъ коихъ первый предлагаетъ второй свою любовь, на

что она отвѣчаетъ: „дворянина мнѣ не надо, отъ моего славнаго парня я не откажусь“. Зналъ ли Гёте эти произведенія, или только слышалъ о нихъ (кромѣ вышеупомянутой французской пѣсни)—указаній нѣтъ; но, конечно, и при заимствованіи мотива, всѣ его баллады о мельничихѣ являются совершенно самостоятельными созданіями.

Стр. 124. Ученикъ Чародѣя.—Сюжетъ заимствованъ изъ „Друга Лжи“ римскаго писателя Лукіана.

Стр. 126. Богъ и Баядера.—Сюжетъ этой баллады (относящейся, какъ и послѣдующая—„Коринѳская Невѣста“—къ разряду „философскихъ“) заимствованъ изъ помѣщеннаго въ „Путешествіи по Остъ-Индіи и Китаю“ Зоннерата разсказа о дѣвушкѣ-баядерѣ (служительницѣ въ пагодѣ), влюбившейся въ бога Девендрена, который явился на землю въ видѣ прекраснаго юноши, и рѣшившейся сжечь себя послѣ его смерти, но въ награду за это уведенной богомъ въ рай. Основная мысль баллады Гёте—что и величайшій грѣшникъ возвращается къ добру посредствомъ лежащей въ немъ божественной искры, и что божество не различаетъ сословій и нравственнаго уровня, когда предъ нимъ существо, способное услышать и понять божественный голосъ.

Стр. 128. Коринѳская Невѣста. Въ основаніи сюжета этой баллады лежитъ находящійся у Флегона Тралліануса, вольноотпущенника императора Адріана, въ его сочиненіи „Объ удивительныхъ происшествіяхъ“ разсказъ объ умершей дѣвушкѣ, которая приходила на свиданіе съ гостемъ въ домѣ своихъ родителей. Но и здѣсь, какъ вездѣ у Гёте, совершенно самостоятельная обработка, измѣненія, добавленія разныхъ подробностей сообразно основной идеѣ стихотворенія. Что касается до этой послѣдней, то, имѣя въ виду „эллинство“ Гёте, можно согласиться съ Дюнцеромъ, что здѣсь греческій сюжетъ, пройдя сквозь горнило поэтическаго вдохновенія, принялъ форму мнѣнія о борьбѣ погибающаго греческаго язычества съ новымъ христіанствомъ (точно также какъ въ „Первой Вальпургіевой Ночи“ „Фауста“—протестъ язычества германскаго въ борьбѣ съ христіанствомъ). Основной мотивъ баллады (не имѣющій ничего общаго съ греческимъ разсказомъ)—принесеніе въ жертву житейскаго счастья дѣвушки преступному обѣту, источникъ котораго въ мрачномъ аскетизмѣ новой религіи, и побѣда язычества.

Стр. 133. Чудесный Цвѣтокъ. Поводомъ къ сочиненію этой баллады (собственно романса) послужилъ вычитанный поэтомъ въ Швейцарской хроникѣ (Chronicon Helveticum) Эгидіуса Тшуди разсказъ о томъ, что графъ Іоаннъ фонъ-Габсбургъ-Рапперсвиль, посаженный въ 1350 г. цюрихцами въ тюрьму за заговоръ противъ ихъ города, сочинилъ въ заточеніи пѣсню: „Я знаю голубой цвѣточекъ“, (Ich weiss ein blawes blümelein“). Тшуди привелъ только этотъ стихъ; въ другихъ хроникахъ, гдѣ повторялся этотъ фактъ, цитата ограничивалась тоже только первымъ стихомъ; но въ сборникѣ Уланда есть народная пѣсня, начинающаяся точно также и состоящая изъ нѣсколькихъ строфъ—вѣроятно, та самая, сочиненіе которой приписывается вышеупомянутому графу. Баллада Гёте—вся его сочиненія на мотивъ перваго стиха; въ ней онъ очень удачно схватилъ тонъ пѣсенъ миннезингеровъ и въ то же время—пѣсни народной, не впавъ въ искусственное подражаніе ни тому, ни другому.

Стр. 135. Свадебная пѣснь. Разсказъ о свадьбѣ карликовъ въ этой балладѣ заимствованъ изъ народной нѣмецкой легенды. Самая баллада, какъ видно уже изъ первыхъ стиховъ, написана для пѣнія на свадьбѣ одного изъ друзей поэта (первоначально Гёте включилъ ее въ отдѣлъ „пѣсенъ для дружескаго кружка“, и уже потомъ перенесъ въ группу „балладъ“).

Стр. 137. Странникъ и мызница. Источникъ неизвѣстенъ; вѣроятно, это стихотвореніе—сочиненіе поэта, хотя оно имѣетъ характеръ чего-то въ родѣ преданія, старой пѣсни и т. п.

Стр. 139. Свадебная поѣздка рыцаря Курта. Поводъ къ сочиненію этой баллады (тоже, какъ и „Свадебная Пѣснь“, первоначально помѣщенной въ отдѣлѣ

„пѣсенъ для дружескаго кружка“) — вычитанный поэтомъ въ мемуарахъ маршала Бассомпьера (18-й в.) разсказъ, какъ онъ одновременно запутался въ кляузный процессъ, большіе долги, любовную интригу съ замужнею женщиной и исторію съ дѣвушкой, которая была обольщена имъ, и какъ все это, благодаря разнымъ обстоятельствамъ, благополучно кончилось.

Стр. 140. Вліяніе издали. Дюнцеръ полагаетъ, что на мысль написать эту анекдотическую балладу (надо сознаться, довольно слабую) навело Гёте какое нибудь происшествіе въ этомъ родѣ при великогерцогскомъ веймарскомъ дворѣ.

Стр. 141. Пляска мертвецовъ. Матеріалъ для этой баллады Гёте заимствовалъ изъ народнаго преданія, слышаннаго имъ въ Богеміи. Но тамъ нѣтъ „пляски мертвецовъ“, а только исторія *одного* мертвеца съ звонаремъ.

Стр. 142. Блуждающій колоколъ. О происхожденіи этого стихотворенія Римеръ (другъ Гёте) разсказываетъ: „Здѣсь источникъ всего—шутка, продѣлывавшаяся мною и сыномъ Гёте (см. біографію) съ однимъ маленькимъ мальчикомъ, который приходилъ къ намъ по воскресеньямъ до обѣдни, и какъ только въ церкви начинался звонъ, особенно большого колокола, обнаруживалъ нѣкоторый страхъ. И вотъ мы убѣдили его, что этотъ колоколъ можетъ отдѣлиться отъ балки, на которой онъ виситъ, проковылять на своемъ языкѣ черезъ площадь и улицу, добраться до того мѣста, гдѣ сидитъ мальчикъ, и покрыть собою его. „Объ этомъ разсказали они Гёте, и—сообщаетъ Римеръ—„уже много лѣтъ спустя поэтъ удивилъ меня присылкою этого стихотворенія, которое дѣтскую шалость переработало въ поучительную басню для дѣтей“.

Стр. 143. Вѣрный Эккартъ. Переработка народнаго сказанія о Голлѣ или Гульдѣ, предводительницѣ волшебныхъ женщинъ (воздушныхъ, рѣчныхъ и т. п.), съ характеромъ фурій, которыя совершаютъ на землѣ между людьми разныя опустошенія, бѣды, проказы. Онѣ несутся обыкновенно толпою, а передъ ними шествуетъ съ бѣлымъ посохомъ „вѣрный Эккартъ“ (популярное лицо нѣмецкихъ народныхъ сказаній, нѣчто въ родѣ добраго волшебника), предостерегающій людей о приближеніи нечистовыхъ чудовищъ, для того, чтобы люди могли сторониться или прятаться въ домахъ. Судя по послѣдней строфѣ баллады, Гёте и здѣсь, какъ въ „Блуждающемъ колоколѣ“, имѣлъ въ виду поученіе для дѣтей; но мы склоняемся больше въ пользу объясненія Фигофа, что основная мысль стихотворенія такая: чудо, какъ и вѣра, отъ которой оно родится, должно быть хранимо безъ словъ въ глубинѣ души; разъ вы сдѣлали его достояніемъ слова, которое есть порожденіе разума, оно теряетъ свою силу и свое raison d'être.

Стр. 144. Баллада объ изгнанномъ и возвратившемся графѣ. Въ примѣчаніи къ этому стихотворенію авторъ говоритъ: „Поводомъ къ сочиненію послужила здѣсь понравившаяся мнѣ много лѣтъ тому назадъ древне-англійская баллада, съ которою, быть можетъ, познакомитъ скоро публику знатокъ той литературы. Сюжетъ ея до такой степени пришелся мнѣ по сердцу, что я сталъ перерабатывать его и въ оперу, но написалъ только планъ, который, какъ и многое другое у меня, остался невыполненнымъ. Быть можетъ, другой поэтъ воспользуется этимъ сюжетомъ, выдвинетъ лирическіе и драматическіе моменты на передній планъ, а эпическіе отодвинетъ назадъ. При живомъ, умномъ выполненіи со стороны какъ автора, такъ и композитора, такая пьеса могла бы имѣть хорошій успѣхъ“. Уже черезъ много лѣтъ послѣ появленія этой баллады Гёте говорилъ о ней Экерману: „Въ ней заключены цѣлые годы размышленія, и я три-четыре раза принимался писать ее, прежде чѣмъ удалось привести въ теперешній видъ“. Озаглавилъ онъ ее сперва (сообразно пѣснѣ): „И дѣти притихли, внимая“; потомъ было заглавіе: „Пѣвецъ и дѣти“.— Англійская баллада, о которой онъ упоминаетъ, какъ объ источникѣ—„Дочь нищаго изъ Беднель-Грина“, относящаяся къ времени Елизаветы и напечатанная въ извѣстномъ сборникѣ Перси; опера, въ которую поэтъ думалъ переработать этотъ сюжетъ—„Löwenstuhl“ (названіе замка, гдѣ должно было происходить дѣйствіе), и комментаторъ Лёперъ уже въ 1858 г. открылъ, что кромѣ древне-англійской баллады, Гёте

нашелъ въ этомъ случаѣ матеріалъ и въ новеллѣ Бокаччіо „Gualtieri Conte d'Anguersa". — Интересно сдѣланное другими комментаторами замѣчаніе, что баллада эта прославляетъ „легитимизмъ",—и, замѣчаетъ по этому поводу Фигофъ, „нельзя признать простою случайностью, что она окончена именно послѣ реставраціи Бурбоновъ во Франціи: старикъ не осуждаетъ негодованія своего зятя на обезчещеніе его рода неравнымъ бракомъ, онъ признаетъ это чувство, какъ совершенно справедливое и истинно благородное".

При всѣхъ поэтическихъ достоинствахъ баллады, она страдаетъ неясностью изложенія, такъ что часто не понимаешь сразу, кто говоритъ, о комъ говорится, и т. п. Это чувствовалъ и самъ Гёте; поэтому онъ, уже впослѣдствіи, сдѣлалъ подробное примѣчаніе, которое приводимъ уже потому, что оно принадлежитъ самому поэту и что въ немъ, независимо отъ разъясненія собственно баллады, заключаются нѣкоторыя теоретическія мысли автора:

„Баллада—говоритъ онъ—заключаетъ въ себѣ нѣчто таинственное, не становясь отъ того мистической; это послѣднее свойство стихотворенія обусловливается сюжетомъ, первое—обработкою. Таинственное баллады имѣетъ источникомъ манеру изложенія. Дѣло въ томъ, что у поэта такъ глубоко засѣдаютъ въ умѣ избранный имъ сюжетъ, его дѣйствующія лица, ихъ поступки и движенія, что онъ не знаетъ, какъ все это вывести на божій свѣтъ. Поэтому онъ пользуется всѣми тремя основными родами поэзіи, чтобы прежде всего выразить, что должно возбудить фантазію, занять умъ; онъ можетъ начинать лирически, эпически, драматически, и, измѣняя, по своему усмотрѣнію, формы, спѣшить кончить или отодвигать конецъ далеко. Припѣвъ, постоянное повтореніе одного и того же заключительнаго звука, придаетъ этому виду поэзіи рѣшительно лирическій характеръ.

„Когда съ нимъ вполнѣ свыкнешься (какъ это имѣетъ мѣсто у насъ, нѣмцевъ), тогда баллады всѣхъ народовъ становятся понятными, ибо умы въ извѣстные періоды, занимаясь современно или послѣдовательно одной и той же работой, всегда поступаютъ въ ней одинаковымъ образомъ. Впрочемъ, выборомъ такихъ стихотвореній можно бы иллюстрировать всю теорію поэзіи, такъ какъ тутъ элементы еще не разъединены, но лежатъ вмѣстѣ, какъ въ живомъ первородномъ яйцѣ, которое надо только высидѣть для того, чтобы его содержимое, какъ великолѣпнѣйшій феноменъ, вознеслось въ воздухъ на золотыхъ крыльяхъ.

„Къ этимъ соображеніямъ подала мнѣ поводъ настоящая баллада (т.-е. объ изгнанномъ графѣ). Она нисколько не таинственна, но, не смотря на это, я, при чтеніи ея вслухъ другимъ, имѣлъ часто случай замѣчать, что даже умные и опытные люди не сразу ясно понимали изображенное въ ней. Но такъ какъ измѣнить тутъ я уже ничего не могу, то, чтобъ сообщить стихотворенію больше ясности, считаю не лишнимъ притти на помощь изложеніемъ въ прозѣ.

„*Стр. 1.* Два мальчика, въ старомъ, окруженномъ лѣсами, замкѣ, пользуются тѣмъ, что отецъ ихъ на охотѣ, а мать занята молитвой, и впускаютъ въ залу, гдѣ, кромѣ ихъ, нѣтъ никого, стараго нѣвца.—*Стр. 2.* Онъ немедленно начинаетъ свое повѣствованіе въ стихахъ. Одинъ графъ, въ ту минуту, какъ враги отнимаютъ у него замокъ, бѣжитъ, зарывъ въ землю свои сокровища и унося подъ плащемъ свою маленькую дочь.—*Стр. 3.* Онъ ходитъ по свѣту въ видѣ нищаго нѣвца. Дочь, драгоцѣнная ноша, растетъ.—*Стр. 4.* Свидѣтельствомъ ухода годовъ одного за другимъ служитъ постепенное ветшаніе плаща, также и то, что дочь уже большая и красавица; защита плаща больше не нужна ей.—*Стр. 5.* Пріѣзжаетъ верхомъ рыцарь; вмѣсто того, чтобы въ протянутую къ нему благородно-прекрасную руку положить милостыню, онъ проситъ этой руки, и отецъ отдаетъ ему дочь. — *Стр. 6.* Обвѣнчавшись съ графомъ, она неохотно разстается съ отцомъ; онъ идетъ странствовать одинъ. Но теперь поющій балладу нѣвецъ выходитъ изъ своей роли, онъ становится самимъ собою; онъ говоритъ уже въ первомъ, а не третьемъ лицѣ, о томъ, какъ

онъ мысленно благословляетъ внуковъ и дочь *).—*Стр. 7.* Онъ хочетъ обнять дѣтей, и мы подозрѣваемъ, что передъ нами не только самъ графъ, о которомъ говорится въ пѣснѣ, но и его внуки, что ихъ мать — его дочь, что ушедшій на охоту знатный рыцарь — его зять. Мы надѣемся на самую благопріятную развязку, — но надежда скоро смѣняется страхомъ. Гордый, надменный, рѣзко-грубый отецъ возвращается; разсерженный тѣмъ, что нищій прокрался въ замокъ, онъ велитъ заточить старика въ тюрьму. Дѣти испуганы, прибѣгающая на шумъ жена ласково ходатайствуетъ за пѣвца.—*Стр. 8.* Слуги не рѣшаются прикоснуться къ почтенному старику; мать и дѣти молятъ; рыцарь только на минуту сдерживаетъ свое негодованіе. (На сценѣ это составило бы эффектную картину). Но давно зародившаяся злоба вырывается наружу; въ сознаніи своего древняго, рыцарскаго происхожденія, гордый человѣкъ тайно каялся, что женился на дочери нищаго.—*Стр. 9.* Позорная брань и упреки обрушиваются на жену и дочь. — *Стр. 10.* Старикъ, остававшійся до этой минуты неприкосновеннымъ въ своемъ достоинствѣ, заговорилъ и объявляетъ себя отцомъ и дѣдомъ, а также—прежнимъ владѣльцемъ этого замка, изгнаннымъ предками нынѣшняго владѣльца. — *Стр. 11.* Разъясняются остальныя подробности. Насильственный правительственный переворотъ повлекъ за собою изгнаніе законнаго короля, на сторонѣ котораго былъ и нашъ графъ, и всѣхъ его приверженцевъ. Теперь династія возстановлена, и всѣ изгнанные возвратились. Старый графъ доказываетъ подлинность своей личности тѣмъ, что можетъ указать мѣсто, гдѣ зарыты его сокровища; при этомъ онъ объявляетъ общую амнистію, какъ въ государствѣ, такъ и въ своемъ собственномъ домѣ, и все оканчивается благополучно и радостно".

Таковы разъясненія автора, хотя значительная часть ихъ, какъ видимъ, представляется излишнею, будучи только прозаическимъ пересказомъ стихотворнаго изложенія.

Стр. 116. Парія. Сюжетъ этой трилогіи-баллады заимствованъ изъ одного источника съ балладой „Богъ и Баядера" (см. выше), т. е. изъ путешествія Зоннерата въ Остъ-Индію и Китай. На связь этихъ двухъ произведеній, по ихъ основной мысли, указываютъ послѣдніе стихи „Молитвы", такъ что всѣ эти четыре части (три въ „Паріи" и „Богъ и Баядера") составляютъ вмѣстѣ, по замѣчанію Фигофа, какъ бы тетралогію. „Но—справедливо прибавляетъ тотъ-же коментаторъ—если сравнить, относительно внѣшней формы, эти двѣ баллады, то не трудно увидѣть, что „Богъ и Баядера" принадлежитъ періоду самой зрѣлой дѣятельности поэта (1797 г.), въ трилогіи-же (1821 г.) обнаруживается болѣе трудная работа старческаго возраста".—На счетъ основного мотива этой трилогіи высказался самъ Гёте въ одной изъ своихъ статей. Описавъ сперва положеніе касты паріевъ въ Индіи и разобравъ двѣ, появившіяся въ это время, трагедіи на эту тему: нѣмецкую—Мих. Беера и французскую—Казимира Делавиня, онъ въ заключеніе говоритъ: „Послѣ этого двойного, возведеннаго въ трагедію, изображенія печальнѣйшаго порядка вещей, пріятно будетъ, для отдыха и успокоенія, обратиться къ стихотворенію, которое построено на одной англійской легендѣ и напечатано въ первомъ томѣ моихъ сочиненій. Тутъ мы находимъ Парію, который не считаетъ своего положенія безнадежнымъ; онъ обращается къ богу боговъ и проситъ о ниспосланіи *посредничества*, которое затѣмъ и является, правда, въ сказочномъ видѣ. Но съ этихъ поръ отлученная отъ всего священнаго, отъ всякаго храма, каста имѣетъ свое собственное божество, въ которомъ высочайшее, привитое къ самому низкому, представляетъ страшное третье, благодарно дѣйствующее, однако, для посредничества и уничтоженія неравенства".

Стр. 151. Мужъ и Жена. Легкая передѣлка, даже почти переводъ народной

---

*) Такъ въ нѣмецкомъ подлинникѣ; нашъ переводчикъ, для ясности, оставилъ третье лицо. *Ред.*

шотландской баллады, о которой Гёте отзывался, какъ о „стоящей очень высоко, въ которой нельзя достаточно удивляться счастливому соединенію эпическаго и драматическаго элементовъ въ необыкновенно лаконическомъ изложеніи".

СОНЕТЫ.

Стр. 155. Могучая неожиданность. Комментаторы, ставящіе многіе сонеты Гёте въ связь съ извѣстными отношеніями поэта къ Беттинѣ фонъ Арнимъ, восторженной до фанатизма поклонницѣ его, и полагающіе, что многіе изъ этихъ сонетовъ вызваны письмами Беттины къ своему идолу — относятъ къ числу таковыхъ и сонетъ „Могучая неожиданность". Беттина будто бы написала ему о подробностяхъ бури, которая разразилась въ ея присутствіи, а онъ отвѣчалъ на это сонетомъ, гдѣ воспроизвелъ нѣкоторыя изъ этихъ подробностей (напр., сломанныя деревья, какъ преграды потоку), ибо „въ описанномъ Беттиною явленіи природы увидѣлъ изображеніе того, что́ онъ ощущалъ въ любви". Похожій на неудержимо несущійся, стремящійся слиться съ океаномъ потокъ,—нашъ поэтъ приближается уже быстрыми шагами къ старости, когда вдругъ неожиданно появляется на его пути любовь дѣвушки, едва вышедшей изъ дѣтскаго возраста (Беттина). И вотъ разомъ остановленъ бѣгъ потока къ отцу Океану. „Волна, колеблясь, брызжетъ, отступаетъ, бѣжитъ назадъ".... Она вернулась въ свое озеро — „и въ немъ снова отражаются небесныя звѣзды; глубокія чувства юности снова пробуждаются въ груди поэта; для него начинается новая жизнь"... — Другіе комментаторы отвергаютъ это объясненіе на счетъ *происхожденія* сонета; Дюнцеръ, напр., на основаніи хронологическихъ данныхъ, не допускаетъ связи этого стихотворенія съ письмомъ Беттины, и видитъ въ немъ просто „удачную аллегорію любви, на сколько эта послѣдняя внезапно творитъ новую чудную жизнь въ неудержимо и неустанно стремящейся впередъ душѣ человѣка".

Стр. 155. Милая встрѣча. Здѣсь та же тема, что́ и въ предшествующемъ стихотвореніи, только въ иной обработкѣ. Плащъ, въ который укутанъ поэтъ и который онъ потомъ сбрасываетъ — по всей вѣроятности, есть аллегорическое изображеніе зимней (старческой) оболочки поэта, которая спадаетъ отъ прикосновенія молодого чувства. А можетъ быть (какъ это безпрестанно имѣетъ мѣсто у Гёте)— тутъ просто описаніе дѣйствительно бывшаго случая.

Стр. 156. Дѣвушка. На счетъ происхожденія этого сонета Беттина (см. выше) разсказываетъ (уже въ 1849 г.) слѣдующую исторію, за справедливость которой, впрочемъ, нѣкоторые комментаторы — какъ и относительно многихъ другихъ разсказовъ Беттины—не ручаются, между тѣмъ какъ другіе называютъ ее просто нелѣпой выдумкой. Именно, по словамъ Беттины, она однажды была съ Гёте въ веймарской герцогской библіотекѣ, и поэтъ спросилъ ея мнѣнія о только что поставленномъ тамъ бюстѣ его. Она отвѣчала: „Видно, что это былъ когда-то очень красивый мужчина". Гёте будто бы надулся, разсердился и холодно отнесся къ ея стараніямъ успокоить, смягчить его. „Ну, въ такомъ случаѣ я буду цѣловать и обнимать холодный камень",—воскликнула она, и нѣжно прильнула къ бюсту. — При „переживаніи" Гёте почти всѣхъ его стихотвореній, мы опять-таки не находимъ ничего неправдоподобнаго въ связи этого сонета съ разсказомъ Беттины.

Стр. 156. Разлука. Этотъ сонетъ ставятъ также въ связь съ Беттиной, на основаніи одного изъ ея писемъ къ Гёте (хотя другіе комментаторы утверждаютъ, что многія изъ этихъ писемъ—напечатанныя уже по смерти поэта самою Беттиною — напротивъ того *сочинены* ею на основаніи его стихотвореній).

Стр. 157. Дѣвушка и поэтъ. Одно время Гёте сильно пристрастился къ формѣ сонета, и, шутя, называлъ (въ одномъ изъ стихотвореній) это пристрастіе наказаніемъ боговъ (Немезида) за его прежнее презрительное и несочувственное отношеніе ко всѣмъ искусственнымъ, построеннымъ на звуковыхъ сочетаніяхъ и т. п.,

формамъ; эта Немезида, говорилъ онъ, наслала на него, какъ болѣзнь—бѣшеную сонето-манію, преслѣдующую его, какъ въ древности Эриніи преслѣдовали величайшихъ преступниковъ. — Въ сонетѣ „Дѣвушка и поэтъ“ затрогивается тотъ-же вопросъ—о возможности выраженія искреннихъ чувствъ въ такой исскуственной формѣ, какъ сонетъ; дѣвушка сомнѣвается, поэтъ оправдывается посредствомъ сравненія—впрочемъ, не совсѣмъ удачнаго.

ЭЛЕГІИ.

Стр. 161—172. Римскія Элегіи. Эти элегіи написаны черезъ годъ послѣ возвращенія Гёте изъ Италіи, и если находятся, конечно, въ связи съ тѣмъ, что онъ дѣйствительно переживалъ въ Римѣ, то эти „пережитыя“ подробности не стоятъ здѣсь на первомъ планѣ (какъ въ „пѣсняхъ“ перваго періода его дѣятельности), а къ нимъ присоединяется очень много вымышленнаго, поэтически-созданнаго. На это находимъ указаніе у самого автора. По поводу одного письма къ нему отъ баварскаго короля, гдѣ была рѣчь о „Римскихъ Элегіяхъ“, поэтъ говорилъ Эккерману: „Да, элегіи любитъ онъ (король) особенно; сколько разъ приставалъ онъ ко мнѣ, чтобы я сказалъ ему, что̀ тамъ *фактическаго*, ибо все въ этихъ стихотвореніяхъ является такимъ задушевнымъ, что нельзя не принять его иначе, какъ за дѣйствительно бывшее. Но рѣдко принимается въ соображеніе, что поэтъ большею частью умѣетъ творить хорошее изъ ничтожнаго матеріала“.—Теплотою, спокойствіемъ и, если можно такъ выразиться, классическою ясностью тона „Римскія Элегіи“ обязаны въ очень значительной степени (какъ заявляетъ и самъ поэтъ) счастливо-безмятежной домашней жизни, которую онъ велъ въ пору сочиненія ихъ—именно въ самое первое время сожительства съ Христиною Вульпіусъ, впослѣдствіи его женою (см. біографію).—Отъ этихъ замѣчаній, относящихся къ „Римскимъ Элегіямъ“ вообще, переходимъ къ нѣкоторымъ частнымъ.

Стр. 162, 2-я эл. „Дорогую римлянку“, о которой говорится здѣсь и въ послѣдующихъ элегіяхъ, гдѣ она называется Фаустиной (быть можетъ, ея настоящее имя), знали и показывали въ Римѣ еще много лѣтъ спустя. Вильгельмъ Гумбольдтъ, видѣвшій ее лѣтъ двадцать послѣ того, писалъ, что она сильно отцвѣла, но слѣды прежней большой красоты все еще сохранились. Впослѣдствіи она вышла замужъ за одного англичанина, но и до брака, и повидимому послѣ него, отличалась достаточно легкимъ поведеніемъ. Вслѣдствіе этого и Гёте не долго жилъ съ нею.—„Пѣснь о Мальбругѣ“ („Мальбругъ въ походъ поѣхалъ“) въ то время была въ большой модѣ.

Стр. 162. 4-я Эл. „Богиня-Случайность“, одно изъ нѣсколькихъ божествъ, сочиненныхъ Гёте.

Стр. 163. 5-я Эл. „Молодые тріумвиры“ — три эротическихъ поэта древняго Рима: Катуллъ, Тибуллъ и Проперцій, которыхъ ученый Скалигеръ называлъ „triumviri amoris“ (Ихъ сочиненія большею частью издавались вмѣстѣ).

Стр. 164. 6-я Эл. Фалконьери — прелатъ, членъ знатной семьи, извѣстный своею безнравственностью. — Албани — кардиналъ, бывшій уже семидесятилѣтнимъ старикомъ въ то время, какъ писалась эта элегія.—Остіа—незначительный городокъ, въ близкомъ сосѣдствѣ отъ Рима, служившій обычнымъ мѣстомъ подобнаго рода свиданій.

Стр. 165. 7-я Эл. „Ксеній-Юпитеръ“ — какъ богъ гостепріимства. — „Чтобъ, оставивъ потомъ за собою памятникъ Цестія, въ Оркъ Гермесъ представилъ меня“,— т.-е. „чтобы послѣ того, какъ я умру и меня похоронятъ, Гермесъ (Меркурій, провожатый мертвыхъ) перенесъ меня въ Оркъ (подземное царство)“. О памятникѣ Цестія упомянуто здѣсь потому, что протестантское кладбище въ Римѣ находилось у снабженной мѣстами для гробовъ пирамиды, построенной въ древности К. Цестіемъ.

Стр. 166. 11-я Эл. „Бѣдные листки съ горстью распуколокъ—розъ“ – стихотворенія (именно эти элегіи), которыя поэтъ возлагаетъ на алтарь Грацій.

Стр. 167. 12-я Эл. Изображеніе Элевзинскихъ мистерій, какъ празднествъ въ честь соединенія Цереры и Язіона—выдумка Гёте, сообразно цѣли стихотворенія. На самомъ дѣлѣ, какъ извѣстно, они чествовали Цереру и ея дочь. Мифъ о соединеніи Цереры съ Язіономъ въ Критѣ, на трижды вспаханномъ полѣ, находится у Гомера; Гёте заимствовалъ это описаніе у Овидія.

Стр. 168. 15-я Эл. Первые пять стиховъ составляютъ намекъ на стихотворную переписку императора Адріана и поэта Флора. По поводу дальнихъ путешествій перваго по разнымъ частямъ римской имперіи, Флоръ писалъ ему: „Ни за что бы я не хотѣлъ быть императоромъ, странствовать по Британіи, переносить морозы Скиѳіи“,—а Адріанъ отвѣчалъ на это: „Ни за что бы я не хотѣлъ быть Флоромъ, странствовать по всѣмъ харчевнямъ, переносить круглыхъ блохъ“.—Назначеніе свиданія посредствомъ писанія пальцемъ по пролитому винѣ, Гете—если этого съ нимъ не было въ дѣйствительности—могъ найти у Тибула и Овидія.

Стр. 170. 19-я Эл. „Слава“ здѣсь въ смыслѣ молвы, разносящей по свѣту разные толки, сплетни и т. п. Элегія имѣетъ въ виду не римскія любовныя связи поэта, а его сожительство съ Христиною Вульпіусъ, которое на первыхъ порахъ вызвало въ веймарскомъ аристократическомъ кругу сильное негодованіе. По поводу поднявшагося изъ-за этой исторіи шума и написана 19-я Элегія. Образцемъ описанія штуки, сыгранной со Славою Амуромъ, послужило для Гете то мѣсто въ „Иліадѣ“, гдѣ разсказывается, какъ Гера перехитрила Зевса, хвалившагося предстоявшимъ рожденіемъ Геркулеса.

Стр. 172. 20-я Эл. Здѣсь опять рѣчь идетъ объ отношеніяхъ поэта къ Христинѣ Вульпіусъ, которыя онъ долженъ былъ хранить въ строгой тайнѣ, и дѣйствительно хранилъ, пока это возможно было. Нѣкоторыя частности въ этой элегіи навѣяны Тибулломъ, Проперціемъ и Персіемъ.

Стр. 173. Алексисъ и Дора. По сюжету, а отчасти и по тону это стихотвореніе (бывшее предметомъ восторженныхъ похвалъ Шиллера, Виланда и др.) имѣетъ значительное сходство съ поэмою „Германъ и Доротея“. Первоначально авторъ назвалъ его „идиллією“ и потомъ уже переименовалъ въ „элегію“—(на самомъ дѣлѣ она представляетъ соединеніе и того, и другого вмѣстѣ). Что въ основаніи этой элегіи лежало и субъективное чувство автора, видно изъ заявленія его (Шиллеру), что изображеніемъ чувствъ Алексиса поэтъ далъ облегченіе своему собственному, больному отъ любви, сердцу.

Стр. 176. Аминтъ. Поводомъ къ этой элегіи послужилъ (во время путешествія Гете по Швейцаріи) видъ яблони, обвитой плющемъ. Говоря объ этомъ обстоятельствѣ, Фигофъ дѣлаетъ интересное (хотя и могущее быть оспариваемымъ) замѣчаніе, которое, если принять его, можетъ быть примѣняемо и ко многимъ другимъ стихотвореніямъ этого (т.-е. болѣе поздняго) періода. „Если—говоритъ Фигофъ—эта элегія имѣетъ такое случайное происхожденіе, то она все таки не есть „стихотвореніе на случай“ (Gelegenheitsgedicht) въ смыслѣ столь многихъ стихотвореній первыхъ годовъ дѣятельности Гёте. Въ ту пору всякій значительный поводъ вызывалъ у него стихотвореніе по необходимости, имѣвшей источникъ въ его натурѣ (Naturnothwendigkeit); въ немъ существовала потребность—все, что́ охватывало и волновало его, высказывать поэтическимъ словомъ, чтобъ этимъ успокоивать и просвѣтлять себя. Въ то время онъ не *искалъ* сюжетовъ для своихъ пѣсень; онѣ расцвѣтали изъ его жизни сами собой, какъ цвѣты на деревѣ. Теперь онъ собственно старался *находить* сюжеты для различныхъ видовъ лирической поэзіи: ему нужно было, ему желалось что нибудь творить. „Великолѣпныя темы,—писалъ онъ въ эти годы Шиллеру—темы для идиллій и элегій, и всякихъ родственныхъ съ ними видовъ поэзіи, снова найдены мною, а иныя уже и обработаны“. Правда, онъ и теперь

не переставалъ изображать въ лирической поэзіи свою собственную жизнь и по прежнему не легко переносилъ себя въ совершенно чуждыя положенія: но теперь это уже часто не то, что̀ пережито имъ непосредственно предъ созданіемъ стихотворенія. Такъ и въ элегіи „Аминтъ“ онъ несомнѣнно выразилъ ощущенія, которыя нѣкогда пережилъ самъ, вслѣдствіе чего они и изображены съ такою правдою и теплотою; но мы не должны уже, какъ относительно стихотвореній перваго періода, отыскивать въ ближайшемъ настоящемъ, въ томъ напримѣръ, что̀ онъ встрѣтилъ на дорогѣ, *внутренняго* повода къ стихотворенію.—Въ „Аминтѣ“ Гете воспользовался началомъ одиннадцатой идилліи Теокрита, обращенной къ врачу Никію, гдѣ основная мысль та, что противъ любви единственное цѣлебное средство—музы. Имя „Аминтъ“ взято тоже у Теокрита.

Стр. 177. Евфрозина. Въ 1797 г. умерла въ Веймарѣ, девятнадцати лѣтъ отъ роду, актриса Христіана Бекеръ, обладавшая большимъ талантомъ, который старательно разрабатывалъ своими совѣтами и указаніями Гете, бывшій въ то время директоромъ веймарскаго театра. Смерть ея сильно поразила и огорчила поэта, и ея памяти посвятилъ онъ эту элегію, гдѣ изображается появленіе ея ему послѣ смерти. Евфрозиною (имя одной изъ трехъ грацій) названа она здѣсь потому, что послѣдняя роль, въ которой Бекеръ появилась на сценѣ, была роль Евфрозины въ волшебной оперѣ „Das Petermännchen“. Стихи, начиная отъ „Помнишь ли часъ тотъ, когда по дощатымъ подмосткамъ...“ до „Такъ говорилъ ты—и въ сердцѣ я рѣчи твои сохранила...“ составляютъ описаніе первой репетиціи, на которой Гете познакомился съ дарованіемъ Христіаны: она играла мальчика Артура въ трагедіи Шекспира „Король Джонъ“, самъ Гете—камергера Губерта. Чувства Евфрозины, влагаемыя въ ея уста поэтомъ, суть дѣйствительно тѣ, которыя Христіана Бекеръ питала къ Гете. Дѣйствіе элегіи происходитъ въ горахъ, потому что вѣсть о смерти актрисы поэтъ получилъ во время путешествія по Швейцаріи.—Изъ божественныхъ женщинъ Ефрозина упоминаетъ именно: о Пенелопѣ, Эваднѣ, Антигонѣ и Поликсенѣ, на томъ основаніи, что онѣ, послѣ смерти, прославлены поэтами, какъ прославитъ и ее самоё нашъ поэтъ.—Замѣтимъ еще, что нѣкоторыя мѣста этой элегіи заимствованы, конечно въ вольной переработкѣ, изъ Гомеровской „Одиссеи“.

Стр. 180. Новый Павзій и Цвѣточница. Здѣсь, въ высоко-поэтической формѣ, затронутъ и, пожалуй, рѣшенъ вопросъ о взаимныхъ преимуществахъ живописи и поэзіи, возбужденный и блистательно разобранный Лессингомъ въ его „Лаокоонѣ“ (который, какъ извѣстно—см. біографію Гете—имѣлъ на нашего поэта сильное вліяніе). Павзій—живописецъ IV ст. до Р. Х., прославившійся портретомъ своей возлюбленной цвѣточницы; поэтъ, изображенный у Гете „новымъ“ Павзіемъ, очевидно представленъ принадлежащимъ болѣе позднему времени.

ПОСЛАНІЯ.

Стр. 187. 1-е посланіе. Оно, какъ и второе, написано къ Шиллеру для журнала „Ноген“; предполагался цѣлый рядъ такихъ „посланій“ касательно того же предмета, но дѣло ограничилось только двумя.—„Градъ Нептуна, гдѣ чествуютъ львовъ окрыленныхъ“—Венеція; крылатый левъ, какъ извѣстно, считается патрономъ этого города, и изображеніе его находится тамъ всюду.

Стр. 189. 2-е посланіе. Высказанныя здѣсь мысли о занятіяхъ дѣвушекъ совершенно соотвѣтствуютъ воззрѣнію Гёте на женщину вообще, въ которой онъ выше всего цѣнилъ простую непосредственность, домовитость и т. п., предпочитая эти качества утонченной образованности, стремленью къ высшимъ умственнымъ интересамъ, возвышенью, однимъ словомъ, надъ обыкновеннымъ уровнемъ, выходу изъ пресловутой въ то время „натуры“.

ВЕНЕЦІАНСКІЯ ЭПИГРАММЫ.

Стр. 195. Эп. 1-я. „Дивный свитокъ“, о которомъ говорится въ послѣднемъ стихѣ—собраніе этихъ „эпиграммъ“; такимъ образомъ, эта первая есть какъ бы вступленіе къ остальнымъ, хотя тонъ послѣдующихъ (большей части) совершенно иной. „Эпиграммою“ она, какъ и часть другихъ въ этомъ собраніи, можетъ быть названа только въ томъ смыслѣ, въ которомъ терминъ „эпиграмма“ употреблялся у грековъ; надписи, изреченія, стихотворенія въ антологическомъ родѣ и т. п.;— всѣ же остальныя—эпиграммы, какъ мы ихъ понимаемъ.

Стр. 195. Эп. 3-я Здѣсь уже начало выраженій того недовольства разными особенностями итальянской жизни вообще и венеціанской въ частности, которое составляетъ главную черту „эпиграммъ“ и рѣзко отличаетъ ихъ, относительно настроенія поэта, отъ „Римскихъ Элегій“. Онѣ написаны въ 3-ю кратковременную поѣздку Гете въ Италію, когда онъ въ одномъ изъ писемъ своихъ (изъ Венеціи) къ герцогу Веймарскому говорилъ, что эта новая поѣздка нанесла его любви къ Италіи (конечно онъ имѣлъ здѣсь въ виду только бытовую сторону, не касаясь интересовъ искусства) смертельный ударъ, что первый цвѣтъ склонности къ ней или любопытства отпалъ и т. п. Ему теперь кидаются прежде всего въ глаза темныя стороны этой жизни; онъ сознаетъ, что общая любовь къ этой странѣ имѣетъ въ значительной степени источникомъ нѣчто въ родѣ набожной иллюзіи, по традиціи переходящей изъ вѣка въ вѣкъ... При случаѣ его недовольствіе (см. ниже) обрушивается и не на одну Италію. Фигофъ находитъ тутъ причины и болѣе общія, не только собственно итальянскія или венеціанскія. „Все—говоритъ онъ,—что̀ сердило и тревожило поэта со времени его возвращенія изъ Италіи (втораго),—тяжелое и непріятное впечатлѣніе, которое было произведено на него развитіемъ французской революціи,—досада на равнодушіе, непріязнь и т. п. чувства, съ которыми относились къ нему, какъ къ естествоиспытателю,—несочувствіе къ тогдашнему направленію въ нѣмецкой поэзіи,—недовольство аристократическимъ обществомъ и его претензіями,—негодованіе противъ оковъ, налагаемыхъ на человѣка приличіями, обычаями, догматами (какъ разъ въ это время онъ сошелся съ Христиною Вульпіусъ, возстановивъ этимъ противъ себя веймарскую аристократію)—все это отражается въ „эпиграммахъ“ болѣе или менѣе явственно“.—Упоминаемая въ 3-й элегіи „милая дѣва“—оставленная поэтомъ въ Веймарѣ, съ четырехмѣсячнымъ сыномъ, Христина Вульпіусъ, о которой онъ не перестаетъ думать. Ринальдо - герой „Освобожденнаго Іерусалима“ Т. Тассо, сладко покоящійся въ волшебныхъ садахъ Армиды; съ его блаженствомъ сравниваетъ Гете свое, какъ сожителя Христины (въ эти первые мѣсяцы ихъ сожительства).

Стр. 196. Эпигр. 4-я. Объ упоминаемой здѣсь Фаустинѣ см. выше, въ „Римскихъ Элегіяхъ“.

Стр. 196. Эпигр. 7-я. О любви къ какой женщинѣ здѣсь говорится — неизвѣстно. Вѣроятно, поэтъ вспомнилъ какую нибудь изъ своихъ первыхъ „страстей“ по поводу „заблужденія“, о которомъ онъ говоритъ въ предшествующей (6-й) эпиграммѣ.

Стр. 198. Эпигр. 20-я и 21-я. Крылатый левъ св. Марка—патронъ Венеціи, выставляется поэтомъ въ презрительномъ видѣ (оттого и названіе его „котомъ“) въ сравненіи съ привезенными въ 1687 г. изъ Аѳинъ львами изъ бѣлаго мрамора, древнегреческой работы – для указанія на упадокъ новаго искусства. Та же мысль и въ 21-й эпигр., гдѣ подъ „святыми“ разумѣются тѣ же произведенія искусства, а подъ „пилигримами“ – ревностные служители его.

Стр. 199. Эпигр. 26-я и 27-я. Выраженіе скорби о томъ, что Христина не съ нимъ. Сардинія — въ смыслѣ неживописной страны, въ противоположность гор. Тибуру, славившемуся прелестными окрестностями. У поэта Марціала есть стихъ, что когда къ нему придетъ смерть, то „среди Тибура сдѣлается Сардинія“.

Стр. 199. Эпигр. 28-я. Дюнцеръ и эту эпиграмму относитъ къ Христинѣ, думая, что дѣйствительно найденная поэтомъ въ раковинѣ жемчужина дала ему поводъ

радостно вспомнить о находкѣ, сдѣланной имъ въ лицѣ Христины. Мы думаемъ, что тутъ „жемчужина“ — въ метафорическомъ смыслѣ, обозначая на самомъ дѣлѣ дѣвушку изъ простаго сословія (см. послѣдующія эпиграммы), съ которою поэтъ— по своей натурѣ—сошелся на время, не смотря на свою любовь къ Христинѣ.

Стр. 199. Эпигр. 29-я. Свое осужденіе нѣмецкому языку, какъ крайне тяжелому, неблагозвучному и т. п. Гёте высказывалъ и въ своихъ письмахъ. Подъ „предметомъ“ здѣсь понимается именно языкъ;—только въ подлинникѣ онъ названъ „schlechteste“ (самый худой), а не „пустѣйшій“, какъ ошибочно передалъ нашъ переводчикъ (ошибка, замѣченная нами уже по отпечатаніи).

Стр. 199. Эпигр. 33-я. Направлена противъ распространившагося въ ту пору „натурализма“ въ поэзіи, которою не хотѣли заниматься серьезно и глубоко.

Стр. 200. Эпигр. 34-я и 35-я. Составлютъ одно цѣлое, выражая благодарность богамъ и герцогу Веймарскому за блага жизни, которыми пользуется поэтъ. Считаемъ лишнимъ пояснять, что при серіозномъ характерѣ этихъ стихотвореній, многое въ нихъ сказано въ шутку.

Стр. 200—202. Эпигр. 37-я—48-я. Всѣ онѣ относятся къ семьѣ уличнаго комедьянта, между дѣтьми котораго особенное вниманіе Гёте привлекала Беттина. Къ ней онъ возвращается и въ послѣдующихъ эпиграмахъ, и кажется, можно безошибочно заключить, что она-то и есть та „жемчужина“, обрѣтенная въ раковинѣ, о которой говорится въ 28-й эпигр.—если только выраженіе любви и страсти поэта не есть вымышленное.—ДжіованниБеллини (эп. 37)—глава старой венеціанской школы; стихъ, относящіяся къ Павлу Веронезе (тамъ-же), имѣетъ въ виду его большую картину „бракъ въ Канѣ Галилейской“, гдѣ питье жениху подаютъ маленькіе ангелы.— Брейгель (эп. 42)—живописецъ фламандской школы, любившій рисовать преимущественно адскія сцены, вслѣдствіе чего онъ и былъ прозванъ „Адскій Брейгель“. Альбрехтъ Дюреръ (тамъ-же) прославился, между прочимъ, изображеніемъ Апокалипсиса въ пятнадцати картинахъ.—„Дѣлать боттегу“ (far bottega) (эп. 43)—выраженіе уличныхъ комедьянтовъ въ Италіи, обозначающее, что они предъ началомъ представленія чертятъ на землѣ мѣломъ кругъ, опредѣляющій мѣсто для сцены, и за эту черту стараются не пускать зрителей, чтобы имъ не мѣшали представлять.

Стр. 203. Эпигр. 51-я. Намекъ на дѣятелей французской революціи.

Стр. 203. Эпигр. 52-я. Въ первоначальной редакціи первые два стиха были въ такомъ видѣ: „Чего хотѣлъ Іосифъ и чего будетъ хотѣть Леопольдъ? Они люди, какъ мы, мы люди, какъ они.“ Незадолго до поѣздки Гёте въ Венецію, на императорскій престолъ, послѣ Іосифа II, вступилъ Леопольдъ II, такой-же гуманный, какъ и его предшественникъ. На первыхъ порахъ онъ обнаруживалъ большой либерализмъ, но событія французской революціи заставили его измѣнить образъ дѣйствій.

Стр. 203. Эпигр. 55-я. Намекъ на ту пору, когда поэтъ былъ весь охваченъ духомъ „бури и натиска,“—когда онъ самъ въ своемъ „Гецѣ,“ своемъ „Вертерѣ“ явился восторженнымъ пѣвцомъ свободы.

Стр. 204. Эпигр. 59-я. Осужденіе распространившейся въ Германіи французоманіи.

Стр. 204. Эпигр. 60-я. Эпиграммы называютъ себя „лишь заглавіемъ“, имѣя въ виду значеніе греческаго слова „эпиграмма“ (надпись).

Стр. 204. Эпигр. 61-я. Ср. „Дѣянія Апостольскія“, ст. 10, 11 и слѣд.

Стр. 204. Эпигр. 67-я. Нѣсколько точекъ въ концѣ эпиграммы (въ подлинникѣ крестикъ) обозначаютъ слово, которое поэтъ счелъ неудобнымъ для печати и подъ которымъ подразумѣвается здѣсь вещество, воняющее еще сильнѣе, чѣмъ „клопы, дымъ табачный и чеснокъ“.

Стр. 204. Эпигр. 68-я. Подъ ящерицами подразумѣваются здѣсь (какъ видно и изъ послѣдующихъ эпиграмъ) женщины извѣстной профессіи. Объясненіе слова „спелонка“ (spèlonca) въ 69-й эпигр.

Стр. 206. Эпигр. 77-я. Касательно нѣмецкаго языка ср. эпигр. 29.

Стр. 206. Эпигр. 78-я. Противъ тѣхъ, которые упрекали поэта въ томъ, что

онъ не ограничивался въ это время стихотворствомъ, а сталъ усердно заниматься естественными науками.

Стр. 206. Эпигр. 79-я и 80-я. Выраженіе разногласія Гёте съ Ньютономъ, которое онъ высказывалъ и въ другихъ мѣстахъ своихъ произведеній—какъ стихотворныхъ, такъ и естественно-научныхъ (напр. Beiträge zur Optik, Tabulae Votivae и др.). Что касается первой изъ этихъ эпиграммъ, то примѣчаніе къ ней нашего переводчика см. въ текстѣ. Смыслъ второй тотъ, что человѣкъ, безусловно отдавшійся какой-нибудь теоріи, не замѣчаетъ, какъ при этомъ, для объясненія и подтвержденія ея, насилуются, уродуются явленія природы.—Просимъ читателя исправить опечатку въ этой (80-й) эпиграммѣ: кавычками долженъ заключаться второй стихъ, ибо послѣдующее говоритъ уже не школьникъ, а авторъ.

Стр. 208. Эпигр. 97-я. Очевидно, относится къ Христинѣ Вульпіусъ, тогда какъ во всѣхъ остальныхъ этой группы (съ 85-й до конца) рѣчь со всѣмъ не о ней.

Стр. 209. Эпигр. 99-я. Подтверждаетъ высказанное выше предположеніе, что возлюбленная, о которой говорится во всѣхъ этихъ эпиграммахъ (за исключеніемъ обращенныхъ къ Христинѣ Вульпіусъ), если и *сочинена* вообще, то во многихъ случаяхъ списана съ дѣйствительности (акробатка Беттина).

Стр. 209. Эпигр. 100-я. Преданіе о Мидасѣ вѣроятно извѣстно нашимъ читателямъ.

Стр. 209. Эпигр. 102-я и 103-я. Относятся къ Христинѣ Вульпіусъ.

ИСКУССТВО.

Стр. 213. Странникъ. Поводомъ къ созданію этого стихотворенія послужили впечатлѣнія, полученныя поэтомъ во время его поѣздки изъ Нидерброннa въ Страсбургъ въ 1771 г. „Здѣсь (въ Нидерброннѣ)—разсказываетъ онъ въ своей автобіографіи—въ этихъ, построенныхъ уже римлянами купальняхъ, повѣяло на меня духомъ древности, почтенные обломки которой чудно блистали для меня въ остаткахъ барельефовъ и надписей, капителей и завитковъ на колоннахъ, среди крестьянскихъ дворовъ и всякаго хозяйственнаго скарба".—Касательно содержанія стихотворенія, независимо отъ его отношенія къ „искусству", Фигофъ дѣлаетъ замѣчаніе, далеко не лишенное интереса и вѣрности, если принять въ соображеніе ту роль, которую играла въ ту пору вообще и въ міровоззрѣніи Гёте въ частности (это было время „Вертера") „натура".—„Стихотвореніе это—говоритъ именно Фигофъ—мы признаемъ за символическое, поколику оно наглядно представляетъ въ отдѣльномъ, прекрасно законченномъ образѣ противоположность между культурой и натурой. Сынъ культуры, или—спеціальнѣе—почитатель древняго искусства противопоставляется простому сыну природы; два совершенно противоположныхъ міровоззрѣнія являются здѣсь сперва, если и не враждебными другъ къ другу, то радикально отличными одно отъ другаго; но мало по малу они дружески сближаются и наконецъ вполнѣ примиряются—примиряются такимъ образомъ, что культурный человѣкъ принимаетъ простыя воззрѣнія сына природы, или по крайней мѣрѣ ставитъ цѣлью своихъ желаній и стремленій полное счастье, которымъ наслаждается тотъ".—Дѣйствіе перенесено въ Кумы для приданія стихотворенію болѣе античнаго колорита.

Стр. 218—220. Утренняя Пѣснь Художника. Вечерняя Пѣснь Художника. „Художникомъ" здѣсь является самъ Гёте, который въ это время особенно усердно занимался живописью и даже находился въ колебаніи—чему посвятить себя: этому искусству или поэзіи. Второе стихотвореніе было первоначально озаглавлено „Пѣснь рисовальщика физіономій" („Lied eines physiognomischen Zeichners"), такъ какъ въ ту пору, подъ вліяніемъ сношеній съ Лафатеромъ, Гёте занимался живописью преимущественно съ физіономической точки зрѣнія. Почему одна пѣснь названа „утреннею", а другая „вечернею"—понять трудно.

Стр. 221. Амуръ-Живописецъ. Стихотвореніе съ субъективнымъ характеромъ,

такъ какъ находится въ связи съ любовью Гёте къ одной итальянкѣ, во время его перваго пребыванія въ Римѣ — о чемъ онъ разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ.

Стр. 222. Пѣснь Художника. Написана для праздника берлинскаго „художественнаго кружка". „Очень желаю—писалъ Гёте—чтобы она помогла прогнать наконецъ мрачный духъ, наполняющій наши художественныя собранія и общества".

ВЪ АНТИЧНОЙ ФОРМѢ.

Стр. 227. Сельское Счастье. Относится къ парку въ Тифуртѣ, гдѣ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ жилъ другъ Гёте, Кнебель со своимъ воспитанникомъ, веймарскимъ принцемъ Константиномъ. Написано послѣ отъѣзда ихъ отсюда; они-то и суть „тѣ, кто вдали". А „тѣ, кто при васъ"—самъ Гёте, герцогиня и ея свита, переѣхавшіе въ этотъ паркъ.

Стр. 228. Паркъ. Вызвано прогулками по „англійскому парку" въ Готѣ, куда поэтъ ѣздилъ въ это время съ дипломатическимъ порученіемъ. Стихъ „нѣтъ лишь счастливаго въ васъ" намекаетъ на семейныя несогласія, омрачавшія тюрингенскій дворъ какъ разъ въ эту пору.

Стр. 228. Братья. Навѣяно мнѣніемъ о смерти и снѣ, какъ двухъ близнецахъ, какими они изображались въ произведеніяхъ древней скульптуры и поэзіи (а также и разсужденіями объ этомъ предметѣ Лессинга и Гердера). Превращеніе смерти и сна въ дремоту и сонъ, равно какъ принесеніе того и другого на землю Прометеемъ—измышленіе нашего поэта.

Стр. 228. Сознанное Счастье. Относится къ г-жѣ фонъ-Штейнъ.

Стр. 228. Избранный Утесъ. Тоже.—Эта эпиграмма вырѣзана на камнѣ въ его саду, гдѣ она сохраняется и теперь. Стихотвореніе находится въ связи съ слѣдующими строками изъ письма Гёте къ г-жѣ Штейнъ въ 1782 г.: „Подъ твоими окнами послалъ я тебѣ (они были на *ты*) привѣтъ и пошелъ къ твоему камню. Онъ теперь—единственное свѣтлое мѣсто въ моемъ саду".

Стр. 229. Филомела. Надпись на каменной группѣ въ Тифуртскомъ паркѣ, изображающей амура, который на своей ядовитой стрѣлѣ подаетъ пищу соловью.

Стр. 229. Предостереженіе. Въ одномъ письмѣ къ г-жѣ Штейнъ, Гёте говоритъ: „Прощай, и если могу я просить тебя о чемъ-нибудь—не буди Амура, когда неспокойный мальчикъ нашелъ себѣ подушку и дремлетъ". — Въ стихотвореніи заключается увѣщаніе поэта самому себѣ—не пренебрегать своими работами изъ тоски по своей возлюбленной.

Стр. 230. Мѣра Времени. Писано во время разлуки съ г-жею Штейнъ.

Стр. 230. Учители. Каланъ—индійскій браминъ, который, вопреки убѣжденіямъ Александра Македонскаго, сжегъ себя на кострѣ, когда заболѣлъ—чтобы не быть принужденнымъ вести вялую и бездѣйственную жизнь.

Стр. 230. Сакунтала. Вызвано наслажденіемъ, которое было доставлено Гёте чтеніемъ извѣстной индѣйской драмы Калидаса подъ этимъ заглавіемъ. Калидаса нашъ поэтъ цѣнилъ очень высоко, называя его „поэтомъ въ своемъ высшемъ проявленіи, представителемъ самаго природнаго состоянія человѣка, самаго утонченнаго образа жизни, самыхъ чистыхъ нравственныхъ стремленій, самаго почтеннаго величія и самаго серіознаго богопочитанія".

Стр. 231. Зеркало Музы. Эта муза — муза самого Гёте, которая въ 1794 г. (годъ сочиненія) оказывалась особенно непроизводительною вслѣдствіе множества постороннихъ житейскихъ обстоятельствъ, поглощавшихъ все время поэта. Онъ сознавалъ это, скорбѣлъ и скоро переѣхалъ на время изъ Веймара въ Іену, въ свое сельское уединеніе.

Стр. 231. Китаецъ въ Римѣ. Направлено (какъ объяснялъ самъ авторъ въ письмѣ къ Шиллеру) противъ извѣстнаго писателя Жанъ-Поля Рихтера, и вызвано

нападками этого послѣдняго (въ своихъ статьяхъ) на новое стремленіе въ поэзіи (главными представителями котораго были Гёте и Шиллеръ)—воспроизводить простую и величавую поэзію грековъ, имѣя въ виду—какъ находилъ Ж. П. Рихтеръ—только форму и не обращая никакого вниманія на содержаніе; Рихтеръ же требовалъ отъ поэзіи иного: близкаго отношенія къ дѣйствительности, болѣе смѣлой и легкой игры фантазіи, остроты, юмора, и т. п. Въ одномъ изъ писемъ, относящихся къ этой порѣ, Рихтеръ спеціально осуждаетъ и „Римскія Элегіи“ Гёте, замѣчая, что въ такіе бурные дни Германія нуждается больше въ Тиртеяхъ, чѣмъ въ Проперціяхъ. — Въ стих. „Китаецъ въ Римѣ“ Гёте противопоставляетъ причудливую, нарушающую законы „чистаго искусства“ манеру Рихтера и его послѣдователей простотѣ и величавости древняго искусства.

БОГЪ И МІРЪ.

Стр. 235. Метаморфоза Растеній. Находится въ тѣсной связи съ разсужденіемъ Гёте подъ тѣмъ же заглавіемъ, написаннымъ въ 1790 г. Вслѣдствіе недоброжелательнаго отношенія къ этой статьѣ со стороны людей науки, „не хотѣвшихъ (слова Гёте) допустить совмѣстимость науки и поэзіи, забывая, что наука развилась изъ поэзіи“, — равно и недовольства пріятельницъ поэта, „его абстрактнымъ садоводствомъ“, тѣмъ болѣе, что онѣ „уже и до этого охотно оторвали бы меня отъ уединенныхъ горъ, отъ созерцанія крутыхъ утесовъ“—вслѣдствіе этого „попытался я (разсказываетъ авторъ) возбудить въ этихъ благорасположенныхъ сердцахъ участіе къ моимъ занятіямъ посредствомъ стихотворенія... Въ высшей степени пріятно было оно той, которая и была собственно моя милая и имѣла право примѣнять къ себѣ самые милые образы; да и я почувствовалъ себя очень счастливымъ, когда эти живыя сравненія усилили и довершили нашу взаимную прекрасную склонность...“— Эта „милая“—Христина Вульпіусъ, въ ту пору еще не жена его (первая редакція стихотворенія относится къ 1790 г.), бывшая ему помощницей и компаніономъ въ его ботаническихъ занятіяхъ. По объясненію Римера (одного изъ близкихъ друзей поэта), это стихотвореніе „изображаетъ (между прочимъ) прекрасныя взаимныя отношенія Гёте къ Христинѣ, изображаетъ его, какъ поучающаго друга, ее—какъ любознательную подругу, которые уже теперь навѣки принадлежатъ одинъ другому“.—Для объясненія научной стороны этого стихотворенія наилучшимъ комментаріемъ служитъ вышеупомянутая статья, къ которой мы и отсылаемъ любознательнаго читателя (на русскій языкъ она не переведена).

Стр. 237. Міровая Душа. Стихотвореніе это, которое Фигофъ называетъ „восторженнымъ космогоническимъ гимномъ“, было написано — какъ основательно предполагаютъ—подъ вліяніемъ философіи Шеллинга, на что указываютъ и нѣкоторыя мѣста въ сочиненіяхъ и письмахъ Гёте,—и именно его ученія о „міровой душѣ“ (Weltseele). Надо, однако, замѣтить, что выражаемое въ этомъ стихотвореніи пантеистическое воззрѣніе составилось въ умѣ Гёте гораздо раньше, чѣмъ онъ познакомился съ Шеллингомъ, и даже до его знакомства съ Спинозой; „но, вѣроятно—замѣчаетъ коментаторъ—настоящій гимнъ былъ вызванъ въ немъ радостью, что въ тогдашней философской системѣ Шеллинга онъ нашелъ свои собственныя задушевнѣйшія убѣжденія высказанными еще опредѣленнѣе, чѣмъ у Спинозы“. Стихотвореніе это, по объясненію того же коментатора, „несомнѣнно имѣетъ цѣлью изобразить всемірную жизнь природы, какою она разливается по всѣмъ направленіямъ изъ общаго первобытнаго источника — божества, и въ этомъ смыслѣ тутъ было бы болѣе кстати прежнее заглавіе — „Созданіе Міра“ (Weltschöpfung). Но мы должны при этомъ представлять себѣ не первое, или за одинъ разъ совершившееся созданіе, а постоянный, непрерывно продолжающійся процессъ оживотворенія вселенной. Изъ центральнаго источника, сердца міра всѣ жизненные источники, пробѣгающіе по вселенной, получаютъ свою оживляющую силу. Поэтъ же находится въ средоточіи

міра, у источника, откуда исходитъ всякая жизнь, за столомъ, гдѣ жизненныя силы совершаютъ свой „священный пиръ“, и, какъ геральдъ божества, говоритъ за это послѣднее, повелѣвая тѣмъ силамъ распредѣлиться во вселенной по всѣмъ направленіямъ“.

Стр. 238. Орфическія Слова. Въ 1817 г. Гёте усердно занимался греческою миѳологіей,—преимущественно по сочиненіямъ знаменитыхъ эллинистовъ—Германа, Крейцера, Велькера и др. Тутъ онъ познакомился съ такъ называемымъ „орфическимъ“ воззрѣніемъ грековъ на природу и человѣка, яко бы идущимъ отъ поэта Орфея, хотя извѣстно, что онъ — лицо миѳическое и что всѣ стихотворенія, изреченія и т. п., дошедшія до насъ подъ названіемъ орфическихъ — подложныя. Гёте захотѣлось по своему выразить воззрѣнія древнихъ грековъ, особенно (какъ онъ писалъ одному изъ своихъ друзей) „первобытныя изреченія на счетъ человѣческой судьбы“, понятія древности о силахъ, которыя правятъ жизнью человѣка, обусловливаютъ собою такой или иной ходъ ея, именно: демона (духъ, геній человѣка), необходимости, случая и любви. Къ этимъ четыремъ нашъ поэтъ прибавилъ отъ себя и надежду. Весьма интересно, что и здѣсь нашелъ себѣ мѣсто субъективный элементъ: въ письмѣ къ Буасре Гёте заявилъ, что онъ попытался въ этихъ стихотвореніяхъ „освѣжить *на основаніи собственнаго опыта* вышеупомянутыя понятія о четырехъ силахъ“. Впослѣдствіи авторъ написалъ къ нимъ и объяснительныя примѣчанія, сдѣлавъ это, какъ онъ объяснилъ, для удовлетворенія желанію своихъ друзей, „чтобы то, о чемъ здѣсь только догадываешься (благодаря нѣкоторой темнотѣ и таинственности) было передано сообразно ясному смыслу и ясному пониманію“ (einem klaren Sinne gemäss und einer reinen Erkenntniss). Примѣчанія эти слѣдующія:

„*Демонъ* означаетъ здѣсь необходимую, непосредственно при рожденіи человѣка выраженную, извѣстными предѣлами ограниченную индивидуальность личности, то характеристическое, чѣмъ одинъ человѣкъ отличается отъ всякаго другого, какъ бы ни велико было сходство. Это свойство приписывали дѣйствію звѣзды, отъ которой и должна была зависѣть вся послѣдующая судьба человѣка. Вотъ почему эта строфа у насъ высказываетъ съ усиленною настойчивостью мысль о неизмѣняемости индивидуума. И это столь безусловно единичное можетъ, конечно, быть разрушено, но, пока не распалось его основное зерно, разбить его на части, раздробить—нельзя, даже въ чередованіи поколѣній. Это твердое, упорное, только само изъ себя могущее развиваться существо становится, правда, въ многоразличныя положенія и отношенія, которыми его первобытный характеръ сдерживается въ своихъ дѣйствіяхъ, ограничивается въ своихъ склонностяхъ; и то, что совершается подъ этими вліяніями, наша (т. е. древне-греческая) философія, называетъ—

„*Случай*. Случайное, однако, не въ томъ, что извѣстный человѣкъ происходитъ изъ той или иной націи, рода или семейства, ибо на распространенныя по свѣту націи, какъ и на ихъ многочисленныя развѣтвленія, надо смотрѣть, какъ на индивидуумы, и *случайность* можетъ дѣйствовать только при смѣшеніи и скрещиваніи. Важный примѣръ упорнаго сохраненія личности въ такихъ племенахъ мы видимъ на евреяхъ; европейскія націи, перенесенныя въ чужія части свѣта, не утрачиваютъ своего характера, и по истеченіи многихъ сотенъ лѣтъ вы сейчасъ же узнаете въ Сѣверной Америкѣ англичанина, француза, нѣмца. Но результаты Случая обнаруживаются при скрещиваніи націй; какъ напр. метиса можно узнать по болѣе свѣтлому цвѣту кожи. Также при воспитаніи, если оно не публичное и не національное, Случай сохраняетъ свои измѣняющіяся права. Кормилица и нянька, отецъ или опекунъ, учитель или надзиратель, равно какъ и вся первая обстановка—товарищи, сельская или городская мѣстность—все это обусловливаетъ особенность человѣка сравнительно раннимъ развитіемъ его, замедленіемъ или ускореніемъ развитія; но Демонъ, конечно, всюду и всегда удерживаетъ свое мѣсто, и вотъ это-то и есть собственно натура, старый Адамъ, или назовите, какъ хотите, который, какъ бы часто его ни изгоняли, непремѣнно вернется обратно, и еще неодолимѣе, чѣмъ

прежде... Въ этомъ смыслѣ необходимо сохраняющейся индивидуальности, каждому человѣку приписывали своего демона, который пашептываетъ ему, какъ собственно долженъ онъ поступить въ каждомъ данномъ случаѣ, и вотъ такимъ образомъ Сократъ выбралъ себѣ въ удѣлъ кубокъ съ ядомъ, потому что ему приличествовало умереть. Но Случай не переставалъ работать и дѣйствуетъ особенно на молодежь, которая со своими склонностями, играми, компаніями и вѣтренностью кидается то туда, то сюда и нигдѣ не находитъ себѣ ни постояннаго мѣста, ни удовлетворенія. И тутъ, по мѣрѣ возрастанія человѣка, появляются болѣе серіозныя тревоги, болѣе основательныя томленія; ожидается появленіе новаго божества—

„*Любовь*. Подъ этимъ словомъ понимается все, что только можно себѣ вообразить, отъ самаго тихаго влеченія до страстнаго бѣшенства; тутъ вступаютъ между собою въ союзъ индивидуальный Демонъ и соблазнитель Случай; человѣкъ, повидимому, повинуется только самому себѣ, позволяетъ дѣйствовать только своей волѣ, удовлетворяетъ только своимъ стремленіямъ, а на самомъ дѣлѣ, онъ жертва случайностей, его сбиваютъ съ дороги чуждыя вліянія и обстоятельства; онъ думаетъ, что ловитъ—и самъ попадаетъ въ плѣнъ; онъ воображаетъ, что выигралъ—и уже все потерялъ. И здѣсь Случай ведетъ свою игру, онъ заманиваетъ заблудившагося въ новые лабиринты, и нѣтъ тутъ предѣла блужданію, ибо весь путь есть заблужденіе. Но при этомъ для насъ явится опасность потеряться въ размышленіи о томъ, что назначенное, устроенное, повидимому, только для одного лица, можетъ дѣлаться достояніемъ многихъ, всѣхъ. Поэтому двѣ послѣднія строки спѣшатъ дать намъ рѣшительное указаніе, какъ избѣгнуть этихъ невѣрныхъ шаговъ и тѣмъ упрочить за собой на всю жизнь вѣрную и прямую дорогу.

„Ибо только теперь обнаруживается, на что способенъ Демонъ. Онъ, самостоятельный, эгоистичный, руководившійся во всемъ только своею безусловной волей и сердившійся, когда Случай тутъ или тамъ становился ему поперекъ дороги—онъ чувствуетъ теперь, что ему даетъ извѣстное назначеніе, накладываетъ на него печать не только натура; въ глубинѣ души онъ усматриваетъ, что можетъ самъ распоряжаться своимъ назначеніемъ, что доставляемый ему судьбою предметъ онъ можетъ не только насильственно схватить, но и присвоить, и—что еще важнѣе—можетъ вѣчною неразрушаемою склонностью охватить другое существо, точно также, какъ самого себя.

„Едва этотъ шагъ сдѣланъ, какъ свободнымъ рѣшеніемъ человѣкъ отрекся отъ своей свободы. Двѣ души должны умѣститься въ одномъ тѣлѣ, два тѣла—въ одной душѣ, и къ этой взаимной, добровольной *Необходимости* *) присоединяется затѣмъ еще третья: родители и дѣти должны въ свою очередь соединяться въ одно цѣлое, и велико общее довольство, но еще болѣе велики становятся потребности. Составленное изъ столькихъ членовъ тѣло, согласно земному закону, хвораетъ въ какой-нибудь части своей, и, между тѣмъ какъ въ цѣломъ ему слѣдовало бы наслаждаться, отдѣльныя части страдаютъ; и однако же, такое положеніе находятъ столько же желательнымъ, сколько и необходимымъ. Выгодная сторона привлекаетъ каждаго, и изъ-за нея охотно принимаютъ невыгоды Семейство присоединяется къ семейству, племя къ племени; образуется народъ, и для него становится ясно, что и для всѣхъ въ совокупности годится и полезно то, что рѣшено отдѣльнымъ человѣкомъ; это рѣшеніе онъ обращаетъ въ неизмѣнное посредствомъ закона; все, установленное добровольно сердечною взаимною склонностью, дѣлается теперь обязанностью, изъ которой развиваются тысячи другихъ, и для того, чтобы все это утвердилось на вѣчныя времена, у государства, церкви, традиціи нѣтъ недостатка въ различныхъ обрядахъ. Всѣ части тѣла обезпечиваютъ себя самыми обязательными

*) Вѣрнѣе было бы перевести въ этомъ случаѣ словомъ „принужденіе“, хотя собственный смыслъ греческаго „Αναγκη“ (которое и поставлено у Гёте вмѣстѣ съ нѣмецкимъ Nöthigung)—именно „необходимость“, т. е. нѣчто неотвратимое, судьбой непреложно предустановленное.

договорами и т. п. въ томъ, что цѣлое не можетъ ни на волосъ пострадать отъ шаткости воли, малодушія и произвола.

„Ни въ какихъ дальнѣйшихъ примѣчаніяхъ не нуждается эта строфа. Нѣтъ человѣка, которому собственный опытъ не далъ бы достаточныхъ объясненій къ такому тексту, нѣтъ и такого, который не испытывалъ бы чувства тягостнаго принужденія, переживая подобное положеніе хотя бы въ воспоминаніяхъ, и какъ много людей, готовыхъ приходить въ совершенное отчаяніе, когда имъ приходится переживать его въ настоящемъ! Вотъ почему радостно спѣшимъ мы къ послѣдней строфѣ (т. е. *Надежда*), и увѣрены, что всякое тонкое сердце охотно возьметъ на себя составленіе къ ней коментарія въ нравственномъ и религіозномъ смыслѣ".

Стр. 239. Метаморфоза Животныхъ. Въ біографіи Гёте мы говорили о занятіяхъ его остеологіей. Плодомъ ихъ было появившееся въ 1795 г. разсужденіе подъ заглавіемъ: „Первая редакція (erster Entwurf) общаго введенія въ сравнительную анатомію, исходя изъ остеологіи", за которымъ послѣдовали и другія работы по этому предмету. На стр. 24—25 біографіи мы изложили сущность остеологическихъ воззрѣній Гёте; стихотвореніе „Метаморфоза Животныхъ" является такою же поэтическою иллюстраціею этихъ научныхъ трудовъ, какую въ стихотвореніи „Метаморфоза Растеній" (см. выше) мы видѣли относительно его работъ по ботаникѣ.— Здѣсь онъ предполагаетъ знакомство читателя съ его прежними естественно-научными изслѣдованіями; на это указываютъ первые два стиха.

Стр. 240. Завѣщаніе. За шесть лѣтъ до появленія этого стихотворенія Гёте написалъ другое (у насъ не помѣщенное) подъ заглавіемъ: „Одно и все" (Eins und Alles), которое, выражая одно изъ философскихъ воззрѣній поэта на человѣческое бытіе, оканчивалось стихами: „Ибо все должно распасться въ ничто, когда оно упорно хочетъ продолжать существовать" (Denn Alles muss in Nichts zerfallen, wenn es im Sein beharren will). Эти стихи были неправильно истолкованы въ смыслѣ опроверженія поэтомъ его же собственной теоріи (отъ которой онъ и впослѣдствіи никогда не отказывался) о продолженіи человѣческаго существованія послѣ смерти. Вслѣдствіе этого толкованія берлинскіе друзья поэта, на съѣздѣ естествоиспытателей въ 1828 г., изобразили эти два стиха золотыми буквами на стѣнѣ залы. Гёте разсердился, ибо, какъ выразился онъ въ бесѣдѣ съ Эккерманомъ „эти стихи глупы" (т. е. отдѣльно взятые) — и въ опроверженіе ихъ написалъ „Завѣщаніе".

ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВАНЪ.

Стихотворенія, собранныя въ группѣ подъ этимъ заглавіемъ (и писавшіяся въ разное время), обязаны своимъ возникновеніемъ той склонности Гёте къ восточной поэзіи, которая развилась въ немъ въ самые ранніе годы, а въ старости приняла особенно значительные размѣры. Уже ребенкомъ онъ занимался еврейскимъ языкомъ и былъ усерднымъ чтецомъ библіи; въ 1772 г. переводилъ кое-что изъ Корана (по латинскому тексту); въ 1774 г. сдѣлалъ вольный переводъ „Пѣсни Пѣсней"; болѣе же близкое знакомство съ восточными поэтами началось въ Веймарѣ, чрезъ посредство Гердера, въ ту пору много переводившаго ихъ. Особенное вліяніе произвели на него стихотворенія знаменитаго поэта Гафиза (въ нѣмецкомъ переводѣ), полное собраніе которыхъ онъ получилъ уже въ 1813 г. и которыя, по его собственному заявленію, сдѣлались для него главнымъ стимуломъ самостоятельно поработать въ томъ же духѣ и на тѣ же мотивы. Съ этихъ поръ онъ на нѣкоторое время весь погрузился въ восточную поэзію, изучалъ ее, былъ въ сношеніяхъ со многими изъ самыхъ выдающихся оріенталистовъ,—и писалъ одно стихотвореніе за другимъ для своего „Дивана", который наконецъ и появился, какъ полное собраніе этихъ стихотвореній (оттого и слово „Диванъ"), но подъ заглавіемъ „западно-восточнаго", а не „восточнаго" только; прибавка „западный" обусловливалась тѣмъ, что чисто-восточный матеріалъ имѣлъ подъ собой фундаментъ современный, нѣмецкій, и притомъ субъективный;

„востокъ далъ основныя мысли, образцы, костюмы, формы, даже отчасти сюжеты; но собственно согрѣвающее содержаніе, душу могли вдохнуть въ эту поэзію только современное настоящее и дѣйствительная жизнь". Въ этомъ случаѣ сыграли роль нѣкоторыя обстоятельства жизни поэта въ эту пору, каковы, напр., его путешествіе по Рейну, „воскресившее въ немъ свѣжіе и задушевные тоны его юношеской лирики", пребываніе его въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ много страдалъ и любилъ въ молодые годы, и почти главнымъ образомъ—встрѣча съ женщиной, которую онъ, въ то время уже шестидесятипятилѣтній старикъ, полюбилъ со всѣмъ пыломъ молодой души. Это была жена тайнаго совѣтника Виллемера, сперва танцовщица и пѣвица въ опереткахъ, производившая обаятельное вліяніе на всѣхъ, вслѣдствіе чего женился на ней и Виллемеръ, для котораго этотъ бракъ былъ уже третьимъ. Маріанна Виллемеръ была дѣйствительно созданіе необыкновенное: рѣдкая красота соединялась въ ней съ рѣдкими внутренними достоинствами, очаровательная привлекательность нрава—съ артистическимъ дарованіемъ во всѣхъ областяхъ искусства и, между прочимъ, въ поэзіи, гдѣ ея талантъ былъ такъ оригиналенъ и значителенъ, что Гёте помѣстилъ въ своемъ „Диванѣ", на ряду со своими собственными, нѣсколько ея стихотвореній, составляющихъ украшеніе этого Сборника. Любовь поэта и Маріанны (бывшей моложе его на тридцать пять лѣтъ) осталась платоническою (тѣмъ болѣе, что она скоро уѣхала съ мужемъ), но произвела на Гёте сильное дѣйствіе (конечно, временное), въ „Диванѣ" выразившееся многими стихотвореніями, особенно тѣми, гдѣ фигурируетъ „Зюлейка", въ образѣ которой и воспѣта Маріанна.

Свой „Диванъ" Гёте раздѣлилъ на 12 книгъ: Книга Пѣвца, Книга Гафиза, Книга Любви, Книга Размышленій, Книга Недовольства, Книга Изреченій, Книга Тимура, Книга Зюлейки, Книга Виночерпія, Книга Притчъ, Книга Перса, Книга Рая. Большинство стихотвореній—самостоятельная переработка восточныхъ мотивовъ, или оригинальныя произведенія въ восточномъ духѣ и восточной формѣ; но есть и такія, которыя суть ничто иное, какъ довольно близкіе переводы и переложенія.

Стр. 245. Тайна (Изъ Книги Любви). Первый куплетъ—переработка стиховъ Гафиза: „Глазки моей дорогой приводятъ въ изумленіе всѣхъ неопытныхъ".

Стр. 245. Къ Зюлейкѣ (изъ Книги Тимура). На мысль посвятить въ „Диванѣ" особую книгу Тимуру, знаменитому завоевателю, навели Гёте опустошительныя войны Наполеона; но потомъ онъ оставилъ это намѣреніе и ограничился въ этой „книгѣ" всего двумя стихотвореніями, изъ которыхъ, впрочемъ, послѣднее („Къ Зюлейкѣ") не совсѣмъ тутъ у мѣста. Обращеніе къ Зюлейкѣ идетъ отъ лица Тимура. Для поясненія первыхъ куплетовъ надо припомнить, что изготовленіе небольшого флакона розовой эссенціи требуетъ нѣсколькихъ тысячъ розъ (о чемъ Гёте, какъ видно изъ его письма къ Риммеру, вычиталъ въ одномъ изъ касающихся востока сочиненій).

Стр. 246. Къ Зюлейкѣ (изъ Книги Зюлейки). Первое изъ стихотвореній, посвященныхъ Маріаннѣ Виллемеръ; написано оно отъ имени Гатема (фигурирующаго во всей этой книгѣ въ качествѣ возлюбленнаго Зюлейки); Маріанна отвѣчала на это очень милымъ стихотвореніемъ отъ имени Зюлейки, которое Гёте помѣстилъ немедленно вслѣдъ за своимъ.

Стр. 247. Зюлейка Гатему (изъ Книги Зюлейки). Эта Зюлейка—тоже Маріанна Виллемеръ,—и къ этому стихотворенію, къ послѣднимъ строкамъ его, относятся слова Гёте въ его примѣчаніяхъ къ Книгѣ Зюлейки *), въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ говоритъ объ отношеніяхъ Зюлейки къ Гатему (очевидно намекая на себя и Маріанну):

---

*) Свой „Диванъ" Гёте снабдилъ подробными объясненіями, которыя у насъ не нашли мѣста потому, что они касаются весьма мало отдѣльныхъ стихотвореній, а состоятъ почти исключительно изъ свѣдѣній историческихъ и историко-литературныхъ по отношенію къ поэзіи востока вообще. Притомъ, ихъ объемъ слишкомъ великъ.

„Она, умная, придастъ надлежащую цѣну духу, который рано дѣлаетъ зрѣлою юность и возвращаетъ молодость старости".

Стр. 247. Зюлейка и Гатемъ (изъ той же книги). На мотивъ одного восточнаго разсказа, но въ прямомъ отношеніи къ Маріаннѣ: „роща и рѣка", о которыхъ говорится въ послѣднемъ куплетѣ (въ подлинникѣ есть еще „терраса")—намекъ на ту дачу около Франкфурта, гдѣ жили Виллемеры и гдѣ гостилъ у нихъ Гёте.

Стр. 249. Будь любезная далеко (изъ той же Книги). Переработка стиховъ Кіатибъ Руми.

Стр. 249. Къ Гафизу (изъ Книги Гафиза). Гафиза (персидскаго поэта конца XIV в.) Гёте цѣнилъ высоко и въ своихъ примѣчаніяхъ къ „Дивану" отвелъ его характеристикѣ довольно значительное мѣсто. Упоминаніе (въ послѣднемъ куплетѣ) о „солнцѣ юга" относится къ пребыванію Гёте въ Италіи.

Стр. 249. Чтобъ всѣ относились къ тебѣ осторожно (изъ Книги Изреченій). Навѣяно вычитаннымъ въ одномъ изъ сочиненій о Востокѣ сообщеніемъ, что въ Персіи соколовъ, ястребовъ и т. п. пріучаютъ нападать на всѣхъ дикихъ звѣрей, исключая кабана, съ которымъ нельзя справиться.

Стр. 249. Похвалъ герою не жалѣетъ (изъ той же Книги). Заимствовано у Кіатибъ Руми.

Стр. 250. Слова Тимура (изъ Книги Недовольства). Основная мысль та, что не самъ человѣкъ создаетъ свою индивидуальность, но что это дѣлаетъ высшая сила—Богъ (мысль, и въ другихъ мѣстахъ высказываемая нашимъ поэтомъ). Влагая ее въ уста Тимура, Гёте и здѣсь имѣетъ въ виду Наполеона (см. выше), котораго какъ *личность*, онъ ставилъ недосягаемо высоко. Но, говоря о „лгущихъ жрецахъ", (verlogene Pfaffen), Гёте имѣетъ въ виду и себя, такъ какъ ему пришлось испытать не мало преслѣдованій отъ лицемѣрнаго протестантскаго духовенства за его яко бы безвѣріе и богохульство.

Стр. 250. Ты говоришь, что такъ утратилъ много (изъ Книги Размышленій). Написано уже въ глубокой старости.

ПѢСНИ ВЪ ДРУЖЕСКОМЪ КРУГУ.

Большинство этихъ пѣсенъ (въ подлинникѣ заглавіе ихъ „Gesellige Lieder") написано для основаннаго Шиллеромъ и Гёте и существовавшаго нѣкоторое время пріятельскаго „кружка"—нѣчто въ родѣ клуба. Сочиненію ихъ способствовала и дружба Гёте съ композиторомъ Цельтеромъ, который постоянно обращался къ нему за матеріаломъ для своего творчества и написалъ музыку для многихъ его произведеній.

Стр. 253. Кофтская Пѣсня. Написана была для оперы „Жертвы Мистификаціи" (Die Mystifizirten), которая осталась неоконченною и которую потомъ авторъ передѣлалъ въ комедію „Великій Кофта". Главную роль здѣсь игралъ знаменитый Каліостро, въ то время дурачившій своими шарлатанствами всю Европу. Онъ былъ выведенъ въ видѣ графа, объявляющаго себя потомъ Великимъ Кофтою; пѣснь эта пѣлась этимъ дѣйствующимъ лицомъ. Имя средневѣковаго волшебника Мерлина, героя многихъ легендъ, вѣроятно, извѣстно. Графъ-Великій Кофта сочиняетъ своимъ легковѣрнымъ слушателямъ (какъ поступалъ и Каліостро), что онъ былъ въ сношеніяхъ съ Мерлиномъ, равно какъ съ индѣйскими и египетскими мудрецами—и живыми, и давно умершими.

Стр. 255. Vanitas! Vanitatum Vanitas! Заглавіе—извѣстныя слова Соломона о „суетѣ суетъ". Само стихотвореніе—пародія на духовную пѣсню священника Паппуса (XVI ст.) „Надежда на Бога", начинающуюся словами: „Я предоставилъ себя на волю Господа,—пусть дѣлаетъ со мною, что пожелаетъ".

Стр. 256. Ergo bibamus! (т. е. „Поэтому будемъ пить!). Разбирая въ своемъ „Ученіи о краскахъ" теорію Ньютона касательно этого предмета, Гёте писалъ:

„При этомъ случаѣ намъ приходитъ на мысль, что Базедовъ (извѣстный педагогъ), любившій и умѣвшій много выпить и въ лучшіе свои годы очень оживлявшій общество веселымъ юморомъ своимъ, постоянно утверждалъ, что выводъ „ergo bibamus!“ приходится ко всякой посылкѣ. Сегодня хорошая погода—ergo bibamus! Погода отвратительна—ergo bibamus! Мы въ пріятельскомъ кругу—ergo bibamus! Въ нашъ кружокъ пробралась сволочь—ergo bibamus! Такъ и Ньютонъ приставлялъ свое ergo ко всякой посылкѣ“. Эти строки Гёте диктовалъ Римеру, и тотъ замѣтилъ, что слова „ergo bibamus“ представляются самымъ натуральнымъ, самымъ искусственнымъ припѣвомъ къ застольной пѣснѣ; надо только найти основательные мотивы къ тѣмъ посылкамъ, изъ которыхъ вытекаетъ это заключеніе. Мысль понравилась Гёте, и плодомъ этого обстоятельства явилась наша пѣсня.

ПАРАБОЛИЧЕСКОЕ И ЭПИГРАММАТИЧЕСКОЕ.

Стр. 261. Различныя Угрозы. Въ первомъ изданіи этого стихотворенія оно было озаглавлено „Подражаніе итальянскому“.

Стр. 262. Диллетантъ и Критикъ. При сочиненіи этой басни, имѣющей общій смыслъ и общее значеніе, авторъ вспоминалъ и приключеніе съ нимъ самимъ еще въ дѣтствѣ, о которомъ онъ разсказываетъ въ своей автобіографіи. Мальчикомъ, во Франкфуртѣ, онъ, подъ вліяніемъ своего знакомаго, актера Дерона, человѣка легкомысленнаго и болтливаго, сочинилъ на французскомъ языкѣ маленькую драму и снесъ ее на судъ Дерону. Тотъ принялся за „маленькія исправленія“, но они оказались такими, что, по выраженію Гёте, отъ пьесы камня на камнѣ не осталось; самозванный критикъ расноряжался такъ, съ такимъ „безумнымъ произволомъ“, что у мальчика-автора волосы на головѣ стали дыбомъ. „Я унесъ—разсказываетъ уже старикъ Гёте, вспоминая этотъ эпизодъ—мое растерзанное чадо домой, *какъ сдѣлалъ мальчикъ въ баснѣ*, и старался снова привести его въ надлежащій видъ, но напрасно...“

Стр. 262. Рецензентъ. Вѣроятно, имѣетъ отношеніе къ какому-нибудь дѣйствительному факту, касавшемуся самого Гёте, который (какъ многіе большіе поэты) былъ очень чувствителенъ ко всякимъ критическимъ мнѣніямъ о немъ.

Стр. 263. Писатели. Въ лицѣ „садовника“ Гёте намекаетъ на Геснера, объявившаго подписку на свои сочиненія, Базедова, сдѣлавшаго тоже самое, и нѣсколькихъ другихъ, прибѣгавшихъ къ такому же способу распространенія своихъ сочиненій. Подъ „юношею“ авторъ выводитъ самого себя, такъ какъ онъ раздавалъ свои первыя произведенія (стихотвореніе написано въ молодые годы) даромъ друзьямъ, знакомымъ, публикѣ (См. объ этомъ въ его автобіографіи).

Стр. 263. Легенда. Мы уже упоминали, что корифеи науки и естествознанія свысока смотрѣли на естественно-научныя работы Гёте, находя, что ему не слѣдовало заходить въ чужія области, а приличествовало ограничиваться стихотворствомъ. Это очень сердило поэта; „Легенда“ есть одно изъ выраженій этого недовольства. Подъ „святымъ мужемъ“ подразумѣвается одинъ изъ цеховыхъ ученыхъ; „фавнъ съ козлиной ногой“—нашъ поэтъ, котораго эти мужи науки не пускаютъ въ свое святилище, тогда какъ доступъ туда былъ открытъ многимъ ничтожествамъ.

КАПРИЗЫ ВЛЮБЛЕННАГО.

ПАСТУШЕСКАЯ ПЬЕСА ВЪ ОДНОМЪ ДѢЙСТВІИ.

ПЕРЕВОДЪ

АЛЕКСАНДРА СОКОЛОВСКАГО.

(1767 г.).

ВСТУПЛЕНІЕ.

Пьеса, или какъ она называется въ подлинникѣ, «пастушеская пьеса» (Schäferspiel),—то же, что «пастораль», — озаглавленная «Капризы Влюбленнаго» (Die Laune des Verliebten), находится въ тѣсной связи съ жизнью автора и имѣетъ потому, сверхъ литературнаго, біографическое значеніе.

Въ 1766 г., во время пребыванія своего въ лейпцигскомъ университетѣ, Гёте (о чемъ мы упоминали въ его біографіи) познакомился съ Анною-Екатериной Шенкопфъ, дочерью трактирщика, въ заведеніи котораго онъ постоянно обѣдалъ со своими друзьями. Кетхенъ (такъ звали ее въ интимномъ кружкѣ) была тремя годами старше Гёте, въ ту пору семнадцатилѣтняго юноши, и отличалась красотою, природнымъ умомъ, веселостью, живостью, естественностью—всѣми тѣми, однимъ словомъ, достоинствами, которыя Гёте всегда и уже съ этихъ поръ такъ высоко цѣнилъ въ женщинѣ. Пылкій юноша скоро влюбился въ очаровательную дѣвушку и, повидимому, пользовался ея взаимною любовью, хотя отношенія ихъ оставались платоническими, тѣмъ болѣе, что Гёте видѣлъ невозможность жениться на Кетхенъ, а она была не изъ тѣхъ, съ которыми завязываются и ведутся обыкновенныя любовныя интриги. Да нашъ поэтъ и былъ слишкомъ честный человѣкъ, чтобы соблазнять дѣвушку. Эти обстоятельства дѣйствовали на него очень раздражительно, къ нимъ присоединились и другія, напр., неудача его первыхъ поэтическихъ опытовъ, внутреннее недовольство поэта и человѣка «міровой скорби», и т. п.—и все это настроеніе онъ сталъ вымещать на ни въ чемъ неповинной дѣвушкѣ; на него, по его словамъ (въ автобіографіи) напала скверная охота «изъ мученій возлюбленной дѣлать себѣ забаву и платить за преданность дѣвушки ни на чемъ не основанными и тираническими причудами». Она долго переносила все это съ «невѣроятнымъ—какъ онъ самъ говоритъ—терпѣніемъ», но оно наконецъ лопнуло, ибо поэтъ сталъ переходить всякія границы—и совершился разрывъ. Всѣ попытки Гёте возвратить себѣ сердце Кетхенъ (въ автобіографіи она подъ именемъ Энхенъ или Анеты) остались безплодными. Эта развязка очень сильно повліяла на молодого поэта, который дѣйствительно любилъ—по крайней мѣрѣ въ это время—свою «дѣвушку»; онъ даже заболѣлъ съ горя, и тутъ явилось ему на выручку то средство, къ которому онъ, какъ къ лежавшему въ его поэтической натурѣ, прибѣгалъ и въ послѣдующіе годы своей жизни, при переживаніи сильныхъ ощущеній и потрясеній: къ освобожденію себя отъ гнета дѣйствительности поэтическимъ воспроизведеніемъ ея. Въ настоящемъ случаѣ пло-

домъ этого душевнаго состоянія явилась пьеса «Капризы Влюбленнаго», въ которой онъ, по его собственнымъ словамъ, принесъ въ драматической формѣ поучительное покаяніе въ своемъ грѣхѣ. Въ лицѣ Эридона изобразилъ онъ самого себя, перенеся въ это изображеніе даже нѣкоторыя такія частности своей жизни въ ту пору, какъ нелюбовь къ танцамъ (которые вообще онъ очень любилъ), игру на флейтѣ и т. п. Подъ Аминою выведена Кетхенъ. Что касается до другой четы — Ламона и Эглэ, то и эти лица списаны съ натуры; Ламонъ — другъ Гёте, Горнъ, Эглэ — Констанца Брейткопфъ, тоже влюбленные другъ въ друга, но жившіе въ полномъ мирѣ и согласіи, въ совершенную противоположность съ Гёте и Кетхенъ; эта противоположность, по заявленію самого Гёте, и побудила его сопоставить въ пьесѣ эти двѣ парочки.

«Пастораль» молодого поэта, сочиненная во второй половинѣ 1767 г., написана александринскимъ стихомъ, на французскій образецъ, такъ какъ въ ту пору нашъ поэтъ (см. біографію) находился еще въ значительной степени подъ французскимъ вліяніемъ. Образцомъ для него служила также — относительно главнаго мотива (т. е. неосновательной ревности), внѣшней постройки, нѣкоторыхъ подробностей — пастораль Геллерта «Das Band» (Лента). Но между пьесой Гёте, при всѣхъ ея художественныхъ недостаткахъ, и этими образцами — громадная разница, уже потому, что тамъ все выдумано, искусственно, маріонетно, здѣсь — все взято прямо изъ дѣйствительно «пережитого», и та «кипящая страсть», о которой говоритъ авторъ, вспоминая о своемъ первомъ произведеніи, дѣйствительно слышится во многихъ строкахъ этой пьесы.

Упомянемъ въ заключеніе, что въ печати «Капризы Влюбленнаго» появились только черезъ сорокъ лѣтъ послѣ ихъ сочиненія, именно въ 1806 г.; поставлены же на сцену въ тѣсномъ любительскомъ кружкѣ въ Веймарѣ — чрезъ двѣнадцать лѣтъ, въ 1779 г. Самъ Гёте (отличный актеръ) игралъ Эридона; роль Эглэ исполняла знаменитая Каролина Шрётеръ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

ЭГЛЭ.	ЭРИДОНЪ.
АМИНА.	ЛАМОНЪ.

ЯВЛЕНІЕ I.

Амина *и* Эглэ *сидятъ съ одной стороны сцены и плетутъ вѣнки.* Ламонъ *входитъ съ корзиной цвѣтовъ.*

ЛАМОНЪ *(ставя корзину на землю).*

Вотъ и мои цвѣты!

ЭГЛЭ.

Прекрасно!

ЛАМОНЪ.

Здѣсь въ корзинѣ
Гвоздики всѣхъ цвѣтовъ.

ЭГЛЭ.

А розы?

ЛАМОНЪ.

Я Аминѣ
Ихъ, первенцовъ весны плѣнительной, принесъ:
Имъ слѣдуетъ блистать въ извивахъ чёрныхъ косъ.

ЭГЛЭ.

Пріятна для меня разборчивость такая!

ЛАМОНЪ.

Какъ любишь ты давно, меня не понимая!
Я знаю хорошо, что милъ тебѣ лишь я,
А вмѣстѣ съ тѣмъ и то, что для одной тебя
Живу на свѣтѣ самъ. О чемъ же ты хлопочешь?
Зачѣмъ меня связать еще ты больше хочешь?
Чѣмъ дурно находить въ другихъ даръ красоты?
Я вовсе не сержусь, когда находишь ты,
Что тотъ иль этотъ милъ: я съ этимъ соглашаюсь,
Забывъ про ревность.

ЭГЛЭ.

Ей, повѣрь, не подчиняюсь
Я также, какъ и ты. Напротивъ, я люблю,
Когда любезно ты съ пастушками свою
Веселость тратить радъ въ игривыхъ прибауткахъ.
Для сердца нѣтъ обидъ въ пустыхъ, понятныхъ шуткахъ!
Нерѣдко вѣтренность намъ вѣрности залогъ —
И въ этомъ ревновать тебя никто бъ не могъ.

(Амину).

Смѣешься ты! О чемъ? Надъ нами? Что̀ запало,
Скажи, тебѣ на умъ?

АМИНА.

Не много.

ЭГЛЭ.

Какъ ни мало —
Довольно, чтобъ прочесть легко въ лицѣ твоемъ
Печаль и зависть къ намъ.

АМИНА.

Какъ такъ?

ЭГЛЭ.

Чуть вчетверомъ
Сойдемся вмѣстѣ мы, и радостное счастье
Готово озарить насъ всѣхъ, ты безъ участья
Къ нему относишься. Вѣдь, Эридона видъ
О горѣ объ одномъ тебѣ лишь говоритъ.
Я человѣка въ жизнь ни разу не встрѣчала
Упрямѣе его. Напрасно ты считала,
Что любитъ онъ тебя. О, нѣтъ, повѣрь, его
Я лучше поняла! Онъ любитъ лишь того,
Чьимъ сердцемъ, какъ тиранъ, онъ управляетъ силой.
Ты, только ставъ рабой, ему быть можешь милой!

АМИНА.

Онъ иногда и самъ склоняется...

ЭГЛЭ.

Затѣмъ,
Чтобъ вновь тираномъ стать. Не глухъ ли онъ и нѣмъ
На ласковый твой взглядъ? Чарующая сила,
Какой противъ мужчинъ природа одарила
Насъ, женщинъ, такъ что мы способны приводить
Въ восторгъ ихъ, бросивъ взглядъ — умѣла ль ты плѣнить
Той силою его? О, нѣтъ! ты ужъ считала
Наградой для себя, чуть только успѣвала
Въ немъ вызвать ласки тѣнь. Всегда суровый взглядъ,
Сомкнутыя уста, морщинъ глубокихъ рядъ —
Вотъ онъ каковъ всегда, и надо много, много
Просьбъ, жалобъ и любви, чтобъ холодъ этотъ строгій
Растаялъ въ немъ на мигъ.

АМИНА.

Тебѣ онъ незнакомъ:
Ты, не любя его, дурное видишь въ немъ.
Но гордость грудь ему печалью лютой гложетъ;
Угрюмый взглядъ на свѣтъ — вотъ что его тревожитъ
И радостную жизнь обоимъ портитъ намъ;
Но все жъ счастлива я по тѣмъ веселымъ днямъ,
Когда, въ отвѣтъ на мой веселый смѣхъ и счастье,
Выказываетъ онъ порою мнѣ участье.

ЭГЛЭ.

Немногое жъ тебѣ способно счастье дать!
Нѣтъ, лучше разскажи, чѣмъ онъ умѣлъ занять
Прелестную, тебя? Ты танцы такъ любила,
А онъ не терпитъ ихъ и радъ тебя бы силой
Изъ круга вывесть вонъ. На праздники съ тобой
Является ли онъ? Его цвѣтокъ лѣсной,
Растоптанный тобой, иль робкой птички пѣнье
Въ таинственномъ лѣсу способны въ нетерпѣнье
Привесть и разсердить: онъ видитъ даже въ нихъ
Соперниковъ себѣ; что жъ можетъ о другихъ
Подумать онъ, когда ты съ кѣмъ-нибудь за танцемъ
Отъ нѣжныхъ, острыхъ словъ зардѣешься румянцемъ?

АМИНА.

Несправедлива ты къ нему на этотъ разъ:
Онъ мнѣ позволилъ быть на праздникѣ у васъ.

ЭГЛЭ.

Постой еще!

АМИНА.

А что?

ЭГЛЭ.

Чего жъ онъ самъ остался?

АМИНА.

Не знаешь будто ты, что онъ всегда чуждался
И танцевъ, и забавъ?

ЭГЛЭ.

Тутъ умыселъ другой!
Когда вернешься ты веселая домой,
Онъ спроситъ у тебя, притворно улыбаясь:
«Довольна ты?» — «О, да!» — «Я въ томъ не сомнѣваюсь.
Играла?» — «Въ фанты». — «Былъ Дамотъ на этотъ разъ
И танцы были?» — «Да, подъ деревомъ». — «На васъ
Желалъ бы я взглянуть: онъ въ танцахъ знаетъ дѣло.
Чѣмъ наградить его, скажи мнѣ, ты успѣла?»

АМИНА (*смѣясь*).

Да, да!

ЭГЛЭ.

Смѣешься ты?

АМИНА.

Умѣешь вѣрно ты
Его передразнить. Есть тамъ еще цвѣты?

ЛАМОНЪ.

И лучшіе притомъ.

АМИНА.

Мнѣ вся отрада въ этомъ,
Что онъ мой каждый шагъ ревнуетъ передъ свѣтомъ.
Мнѣ ясно изъ того, какъ любитъ онъ меня —
И чувствомъ тѣмъ всегда гордиться буду я.

ЭГЛЭ.

Дитя, тебя мнѣ жаль! Ты гибнешь безъ спасенья.
Ты счастлива бѣдой: оковъ тяжелыхъ звенья
Въ ушахъ твоихъ гремятъ, какъ музыка.

АМИНА.

Мнѣ бантъ
Лишь надобенъ на шлейфъ!

ЭГЛЭ *(Ламону)*.

Ты изъ монхъ гирляндъ
Украдкой взялъ одну въ прошедшій майскій праздникъ.

ЛАМОНЪ.

Я принесу ее.

ЭГЛЭ.

Вернись скорѣй, проказникъ.
(Ламонъ уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ II.

Эглэ *и* Амина.

АМИНА.

Не цѣнитъ, кажется, твои подарки онъ.

ЭГЛЭ.

Самой не нравится подъ-часъ мнѣ, что Ламонъ
Мою привязанность не цѣнитъ, какъ бывало,
И къ ласкамъ мелочнымъ, которыя не мало
Намъ сердцу говорятъ, какъ-будто бы совсѣмъ
Склонять не хочетъ слухъ. Но, другъ мой, вмѣстѣ съ тѣмъ,
Признаюсь я тебѣ, что, право, легче пытка
Страдать отъ меньшихъ ласкъ, чѣмъ отъ любви избытка.
Хоть вѣрность я цѣню, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, она
Спокойствіе и миръ намъ оставлять должна.

АМИНА.

Нѣтъ, что ни говори, нельзя цѣнить довольно
Подобныя сердца! Хотя порой и больно
Терплю я отъ него, но грусть моя всегда
Разстрогаетъ его. Въ тѣхъ случаяхъ, когда
Меня онъ оскорбитъ, мнѣ стоитъ лишь два слова
Нѣжнѣй ему сказать, чтобъ жесткости суровой
Пропалъ въ немъ всякій слѣдъ. Когда заплачу я —
Онъ плачетъ горько самъ, старается меня
Утѣшить всей душой и молитъ о прощеньи.

ЭГЛЭ.

И ты прощаешь?

АМИНА.

Да.

ЭГЛЭ.

Такая жизнь мученье:
Прощать тому, кто самъ готовъ насъ оскорблять,
Заискивать любви и ничего не ждать
За-то себѣ въ замѣнъ.

АМИНА.

Его нельзя исправить.

ЭГЛЭ.

Мнѣ кажется, труда большого нѣтъ заставить
Его себя сломить.

АМИНА.

Какимъ путемъ?

ЭГЛЭ.

Тебя
Я тотчасъ научу. Повѣрь, бѣда твоя
Лишь въ томъ, что Эридонъ порою тяготится.

АМИНА.

Чѣмъ?

ЭГЛЭ.

Нѣжностью твоей.

АМИНА.

Мнѣ кажется, добиться
Взаимности въ любви не можемъ мы вѣрнѣй.

ЭГЛЭ.

Совсѣмъ не такъ: будь съ нимъ напротивъ холоднѣй
И строже. Пусть не ты, а онъ къ тебѣ приходитъ
За ласкою любви. Мужчина вѣдь находитъ
Пріятное лишь въ томъ, что̀ надобно добыть
Съ усильемъ и борьбой. Попробуй подразнить
Немножечко его. Онъ слишкомъ твердо знаетъ,
Что всякій шагъ его всегда въ тебѣ встрѣчаетъ
Радушье и привѣтъ. Соперниковъ ему
Бояться нѣтъ причинъ и это потому,
Что ты его нѣжнѣй, чѣмъ онъ тебя, ласкаешь.
Онъ счастливъ черезъ-чуръ и мнѣ, порою, знаешь,
Смѣшно глядѣть, какъ онъ, безъ горя и заботъ,
Сомнѣніемъ своимъ себѣ ихъ создаетъ.
Онъ видитъ, что его ты любишь слишкомъ сильно,
И въ томъ съумѣлъ найти источникъ онъ обильный
Сомнѣнью своему. Попробуй дать понять
Ему хоть разъ одинъ, что можетъ потерять
Онъ преданность твою! Пусть въ первое мгновенье
Онъ выйдетъ изъ себя; но это впечатлѣнье
Изгладится сейчасъ, лишь только на него
Ты нѣжно взглянешь вновь: онъ взгляда одного

Тогда оцѣнитъ сласть сильнѣй, чѣмъ поцѣлуя,
И счастье вновь найдетъ, все потерять рискуя.

АМИНА.

Легко такъ говорить, но не рѣшиться мнѣ
На дѣлѣ быть такой.

ЭГЛЭ.

Такъ думаютъ однѣ
Трусливыя душой. Ты слишкомъ слабодушна.
Смотри!

АМИНА.

Вотъ Эридонъ!

ЭГЛЭ.

Бѣдняжка, какъ послушно
Готова броситься ты радостно къ нему!
Коль хочешь привязать ты къ сердцу своему
Его на вѣкъ — забудь такіе знаки страсти,
Будь твердой.

АМИНА.

Такъ любить Амина не во власти.

ЯВЛЕНІЕ III.

Эридонъ *входитъ медленно со сложенными на груди руками.* Амина, *вскочивъ, бѣжитъ къ нему на встрѣчу.* Эглэ *продолжаетъ свое занятіе.*

АМИНА (*взявъ Эридона за руку*).

Мой милый Эридонъ!

ЭРИДОНЪ (*цѣлуя ея руку*).

Другъ милый!

ЭГЛЭ (*въ сторону*).

Какъ нѣжны!

АМИНА.

Кѣмъ эти розаны тебѣ подарены?

ЭРИДОНЪ.

Ты спрашиваешь, кѣмъ?

АМИНА.

Такъ, значитъ, мной? Ужели
Они за цѣлый день увянуть не успѣли?

ЭРИДОНЪ.

Мнѣ мило все, что̀ бъ ты ни вздумала принесть.
Но гдѣ жъ твои цвѣты?

АМИНА.

Я ихъ хочу заплесть
Въ мой праздничный вѣнокъ.

ЭРИДОНЪ.

Какъ онъ къ тебѣ пристанетъ!
Вся дѣвушекъ толпа, конечно, роемъ станетъ
Завидовать тебѣ, а юношей гурьбу
Погубишь ты въ конецъ.

АМИНА.

Благодари судьбу
За то, что вѣрная тебѣ твоя Амина
Злой зависти къ тебѣ есть главная причина.

ЭРИДОНЪ.

Быть общей зависти предметомъ — счастья я
Отнюдь не нахожу.

ЭГЛЭ.

Увѣренность твоя
Въ ея любви могла бъ смягчить твои заботы.

ЭРИДОНЪ (*Амин*ѣ).

Скажи: на праздникѣ увидимъ мы Дамота?

ЭГЛЭ (*прерывая*).

Онъ слово далъ свое навѣрное притти.

ЭРИДОНЪ (*Амин*ѣ).

Съ кѣмъ въ танцахъ время ты мечтаешь провести?
(*Не получивъ отвѣта отъ Амины, обращается къ Эглэ*).
Представь, пожалуйста, того, кто ей дороже.

АМИНА.

Вѣдь ты не будешь тамъ, сказалъ ты мнѣ, такъ что же
Объ этомъ хлопотать?

ЭГЛЭ.

Нѣтъ, слушай, Эридонъ,
Я больше выносить не въ силахъ этотъ тонъ,
Которымъ ты всегда преслѣдуешь Амину.
Когда не вѣрить ей дѣйствительно причину
Нашелъ ты наконецъ — вамъ лучше разойтись;
А вѣришь — такъ молчи: крѣпись и не сердись.

ЭРИДОНЪ.

Я вовсе не сержусь.

ЭГЛЭ.

Такъ портишь, безъ сомнѣнья,
Ты ревностью своей ея всѣ развлеченья,
Не вѣришь ей ни въ чемъ, сомнѣніемъ томимъ...

ЭРИДОНЪ.

Ты можешь клятву дать, что ею я любимъ?

АМИНА.

Любимъ ли мною ты?

ЭРИДОНЪ.

Тебѣ ли клясться въ этомъ?
А кто Дамону далъ съ себя прошедшимъ лѣтомъ
Сорвать вѣнокъ? Кто самъ вѣнокъ съ Тирсиса снялъ?

АМИНА.

Ахъ, Эридонъ!

ЭРИДОНЪ.

О, да! конечно, я солгалъ!
Какъ сладко, сверхъ-того, ты съ ними цѣловалась!

АМИНА.

Мой другъ, не знаешь ты...

ЭГЛЭ.

Молчи: вѣдь ты пыталась
Не разъ уже ему все это объяснять —
Онъ все выслушивалъ, чтобъ съизнова начать.
Что жъ пользы въ томъ, когда онъ вечеромъ мирится
Съ тобой лишь для того, чтобъ утромъ побраниться.

ЭРИДОНЪ.

За дѣло, можетъ быть.

АМИНА.

За дѣло? Ты ли могъ
Малѣйшій сдѣлать мнѣ въ невѣрности упрекъ?

ЭРИДОНЪ.

Я могъ, но не хотѣлъ.

АМИНА.

Чѣмъ подала я поводъ
Тебѣ такъ полагать?

ЭРИДОНЪ.

Я не одинъ бы доводъ
Тебѣ могъ привести.

АМИНА.

Такъ говори жъ — когда
Была я невѣрна?

ЭРИДОНЪ.

Вотъ въ томъ-то и бѣда,
Что въ важномъ упрекнуть тебя мнѣ нѣтъ предлога,
А что до мелочей, то ихъ ужъ слишкомъ много.
Всего же болѣе томитъ меня тоска,
Что ты къ бѣдѣ моей относишься слегка.

ЭГЛЭ.

А если бы и такъ, за что же тутъ сердиться?

ЭРИДОНЪ.

Извѣстно ей давно, что съ этимъ помириться
Я не могу.

ЭГЛЭ.

Но съ чѣмъ? Она умѣетъ такъ
Въ сношеніяхъ своихъ обдумать каждый шагъ.

ЭРИДОНЪ.

Чтобъ скрыться оть уликъ — пожалуй; но сомнѣнье
Мое безсмѣнно тутъ.

ЭГЛЭ.

Едва ль одно твореньe
Могло кого-нибудь любить сильнѣе всѣхъ,
Какъ ею ты любимъ.

ЭРИДОНЪ.

Веселье, танцы, смѣхъ
Любимы столько жъ ей.

ЭГЛЭ.

Съ такимъ унылымъ духомъ
Неси любовь свою ужъ лучше ты къ старухамъ.

АМИНА.

Довольно, Эридонъ: не огорчай меня!
Спроси своихъ друзей, какъ постоянно я
Въ отсутствіи твоемъ, среди толпы веселой,
Стремилась лишь къ тебѣ съ тоской въ душѣ тяжелой,
Какъ спрашивала я — зачѣмъ тебя тамъ нѣтъ;
А ежели тебѣ правдивый ихъ отвѣтъ
Покой не возвратитъ, пойдемъ сегодня съ нами
На новый праздникъ нашъ — тогда я не словами
Одними докажу, что дорогъ мнѣ лишь ты:
Я вечеръ посвящу, вдали отъ суеты,
Лишь одному тебѣ. Клянусь моей душою,
Въ прогулкѣ, въ танцахъ ли — я буду лишь съ тобою;
Къ упреку повода ничѣмъ клянусь не дать...

ЭРИДОНЪ.

Насильемъ надъ собой любви не доказать!

ЭГЛЭ.

Смотри: она въ слезахъ! Ты долженъ тѣмъ гордиться!
Не знала я, что ты способенъ такъ сердиться.
Ты сомнѣваться лишь привыкъ безъ всякихъ правъ.
Чѣмъ больше дать тебѣ, тѣмъ твой угрюмѣй нравъ.
Ее не любишь ты и такъ душою злобенъ,
Что даже радостей невинныхъ не способенъ
Терпѣть, которыя намъ молодость даетъ.
Тебя печаль ея не мало не гнететъ,
Любовь не трогаетъ; но я, любя сердечно
Ее, скажу тебѣ, что ежели безпечно
Ты будешь впредь ее все также обижать,
Безъ права и причинъ, то можешь ожидать,
Что какъ ни милъ ты ей, придется ей сознаться,
Что, чѣмъ страдать весь вѣкъ, пріятнѣе разстаться.

АМИНА (*въ сторону*).

О, боги! почему я такъ люблю его!

ЭРИДОНЪ.

(*робко подойдя къ Аминѣ и взявъ ее за руку*).
Амина, можешь ли ты друга своего
Простить на этотъ разъ?

АМИНА.

Я такъ же обѣщаюсь
И нынче, какъ всегда.

ЭРИДОНЪ.

Смотри: я преклоняюсь,
Мой другъ, передъ тобой.

АМИНА.

Встань, милый Эридонъ!

ЭГЛЭ.

Не будь горячь теперь, какъ былъ ты раздраженъ.
Чѣмъ проще преданность, тѣмъ, вѣрь, она прочнѣе.

ЭРИДОНЪ.

Горячностью любовь я докажу вѣрнѣе.

ЭГЛЭ.

Вы оба жили бы счастливѣй во сто кратъ,
Когда бъ горячностью ты не былъ такъ богатъ.

ЭРИДОНЪ.

Прости на этотъ разъ! Я буду впредь умнѣе.

АМИНА.

Нарви, пожалуйста, цвѣтовъ мнѣ поскорѣе:
Имѣть изъ рукъ твоихъ пріятнѣе ихъ мнѣ.

ЭРИДОНЪ.

Я вижу, у тебя и розы есть.

АМИНА.

Онѣ
Ламономъ мнѣ даны. Не правда ль, какъ пристали?

ЭРИДОНЪ.

О, да!

АМИНА.

Возьми же ихъ въ залогъ, что перестали
Мы ссориться.

ЭРИДОНЪ.

Бѣгу исполнитъ твой приказъ.
(*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ IV.

Амина *и* Эглэ, *потомъ* Ламонъ.

ЭГЛЭ.

О, милое дитя, такъ не пойдетъ у васъ
На ладъ вовѣкъ! Онъ гордъ и будетъ постоянно
Тѣмъ больше требовать, чѣмъ больше неустанно
Стараться будешь ты безумцу угождать:
Онъ у тебя готовъ послѣднее отнять!

АМИНА.

Его не потерять—вотъ все, что́ я желаю.

ЭГЛЭ.

Прекрасно: я тебя отлично понимаю.
Недавно любишь ты—и въ случаѣ такомъ
Всегда мы думаемъ единственно о томъ,
Кто дорогъ намъ и милъ. Читая въ эту пору
Какой-нибудь романъ, къ чувствительному вздору:
Какъ нѣжно тотъ любилъ, какъ вѣренъ былъ всегда,
Какъ двумъ любовникамъ легка была бѣда,
Какъ былъ чувствителенъ герой, иль какъ отваженъ —
Нашъ духъ въ подобный мигъ бываетъ такъ налаженъ,
Что мы къ прочтенному готовы прибавлять
Гораздо болѣе, лишь только бъ приравнять
Себя къ героямъ книгъ. Къ такимъ продѣлкамъ склонны

Мы въ юности своей, тѣмъ падче къ нимъ влюбленный.
Одно лишь жаль: придетъ нежданный опытъ къ намъ,
И, вмѣсто счастья, мы найдемъ лишь глупость тамъ.

АМИНА.

Я къ этому себя приравнивать не стану.

ЭГЛЭ.

Видали часто мы: больной, съ опасной раной,
Лежа въ жару, кричитъ, что онъ совсѣмъ здоровъ;
Но кто же вѣру дастъ значенью этихъ словъ?
Онъ все жъ лекарство пьетъ для утоленья боли:
Вотъ также и тебя лечу я противъ воли.

АМИНА.

Такъ можно поступать съ ребенкомъ, не со мной:
Я не дитя уже.

ЭГЛЭ.

Ты любишь!

АМИНА.

Я съ тобой
Схожуся въ этомъ.

ЭГЛЭ.

Да; но я другое дѣло:
Я пылъ горячности смирить въ себѣ успѣла,
И — смѣло говорю — что нѣжность быть должна
Спокойна и тиха.

Входитъ Ламонъ.

ЛАМОНЪ.

Вотъ роза.

АМИНА.

Какъ она
Душиста, хороша!

ЭГЛЭ.

Гдѣ долго такъ скрывался?

ЛАМОНЪ.

Я въ рощѣ подъ холмомъ съ Хлоридой повстрѣчался
И голову живой гирляндой ей убралъ.

ЭГЛЭ.

И что за это взялъ?

ЛАМОНЪ.

Лишь разъ поцѣловалъ.
Ужъ эти дѣвушки! Какъ съ ними ни дружу я,
А все съ нихъ не могу взять больше поцѣлуя.

Амина (*показывая Эглэ вѣнокъ съ гирляндой*).

Не правда ли — хорошъ?

ЭГЛЭ.

Дай мнѣ.

(*Надѣваетъ ей вѣнокъ такъ, что гирлянда приходится на правомъ плечѣ; затѣмъ продолжаетъ, обращаясь къ Ламону*).

Сегодня я
Жду много радости.

ЛАМОНЪ.

Еще бы! Для меня
Лишь былъ бы шумъ! А то не стоитъ веселиться,
Со скромными когда приходится возиться
И лишь заботиться, чтобъ милый, точно врагъ,
Что̀ бъ мы ни дѣлали, слѣдилъ нашъ каждый шагъ.

ЭГЛЭ.

Ты въ этомъ правъ.

ЛАМОНЪ.

О, да!

ЭГЛЭ.

Прошу, присядь, Амина.
(*Амина садится, Эглэ, убирая ей голову цвѣтами, продолжаетъ*).
Хлориды поцѣлуй однако ты, безчинный,
Изволь-ка мнѣ отдать.

ЛАМОНЪ (*цѣлуя ее*).

Охотно! На — бери!

АМИНА.

Нѣтъ, поглядѣть на васъ, то, такъ что ни говори,
Чудны вы оба!

ЛАМОНЪ.

Да, будь это съ Эридономъ,
Раскаялась бы ты.

АМИНА.

О, для него закономъ
Разъ установлено другихъ не цѣловать.

ЛАМОНЪ.

А роза гдѣ моя?

ЭГЛЭ.

Она должна отдать
Ее была ему въ знакъ мира и прощенья.

АМИНА.

Я уступить должна.

ЛАМОНЪ.

О, да, для примиренья!
Коль ты его простишь, то онъ проститъ тебя.
Толчете воду вы лишь только, вижу я.

ЭГЛЭ (*оканчивая убирать голову Амины*).

Ну, вотъ!

ЛАМОНЪ.

Прелестно!

АМИНА.

Жаль, что Эридонъ съ цвѣтами
Такъ долго къ намъ нейдетъ.

ЭГЛЭ.

Вѣдь онъ не за горами:
Дождешься здѣсь его. Пойдемъ, Ламонъ, со мной.
(*Амину*).

Хочу поправиться. Тебѣ безъ пасъ одной
Недолго здѣсь сидѣть: мы въ мигъ вернемся снова.
(*Ламонъ и Элэ уходятъ*).

ЯВЛЕНІЕ V.

Амина, *потомъ* Эридонъ.

АМИНА.

Какъ не завидовать при видѣ столь живого
Блаженства радости? О, еслибъ также я
Счастливымъ сдѣлала и друга, и себя!
Не давши надъ собой ему такъ много власти,
Счастливѣй я была бъ въ взаимной нашей страсти.
Его холодностью попробовать смирить
Удастся врядъ ли мнѣ. Я только раздражить
Могу сильнѣй его. Мнѣ страсть его извѣстна,
И притворяться мнѣ, я знаю, неумѣстно.
Но, впрочемъ, Эглэ вѣдь достигла жъ своего!
Вѣдь онъ смирилъ меня, такъ почему жъ его
И мнѣ не побѣдить? Вотъ онъ—счастливый случай—
Идетъ! Крѣпись, душа, предъ бурей неминучей.

ЭРИДОНЪ (*подавая ей цвѣты*).

Не очень хороши! Прости, мой другъ, меня:
Я ихъ спѣшилъ нарвать.

АМИНА

Всѣмъ тѣмъ, что отъ тебя,
Всегда довольна я.

ЭРИДОНЪ.

Съ Ламона розой чудной
Ихъ сравнивать нельзя.

АМИНА (*прикалывая цвѣты къ груди*).

Но помѣстить не трудно
Близъ мѣста ихъ, гдѣ ты живешь всегда одинъ.

ЭРИДОНЪ.

Жилище вѣрно ль то?

АМИНА.

Боишься ты?

ЭРИДОНЪ.

Причинъ
На то прямыхъ мнѣ нѣтъ; но страхъ порой сжимаетъ
Невольно сердце мнѣ. Какъ сильно ни пылаетъ
Любовью сердце въ насъ, но внѣшній шумъ утѣхъ,
Пировъ и праздниковъ, пустой безцѣльный смѣхъ
Нерѣдко совратить на путь невѣрный могутъ,
Гдѣ ни обязанность, ни долгъ намъ не помогутъ.
Охотно вѣрю я, что обо мнѣ одномъ
Всегда ты думаешь; но въ случаѣ такомъ
Зачѣмъ же вольности себѣ ты позволяешь?

Вся наша молодежь, когда ты ободряешь
Ихъ даже шуткою, способна возмечтать
Гораздо болѣе, чѣмъ ты даешь понять.
Ихъ самолюбіе способно и улыбку
Признать за знакъ любви.

АМИНА.

И тѣмъ впадетъ въ ошибку.
Чего жъ бояться тутъ? Пускай ихъ шумный рой
Меня преслѣдуетъ: я всей моей душой
Принадлежу тебѣ! Чего жъ ты хочешь болѣ?
Пусть эти бѣдняки въ своей печальной долѣ
Живутъ надеждой.

ЭРИДОНЪ.

Нѣтъ, ты не должна давать
Надежды имъ! Меня всего сильнѣй взорвать
Такая можетъ мысль. Пусть я увѣренъ твердо,
Что ты моя, а тутъ пустой мальчишка, гордый
Твоимъ вниманіемъ, пожалуй, въ умъ вобьетъ,
Что быть возлюбленнымъ твоимъ чреда придетъ,
Быть можетъ, и ему, а тамъ въ воображеньи
Онъ цѣловать тебя ужъ будетъ въ восхищеньи,
Что ты отбита имъ.

АМИНА.

Тебѣ легко разбить
Подобныя мечты: лишь стоитъ нынче быть
На праздникѣ со мной,—мечтатель всякій вздорный
Увидитъ, кѣмъ ты мнѣ.

ЭРИДОНЪ.

Благодарю покорно!
Я жертвы принимать, ты знаешь, не люблю;
Танцуя же съ тобой, я выставлю свою
Неловкость лишь на смѣхъ. Я знаю, что дѣвченкой
При танцахъ цѣнится умѣнье, голосъ звонкій,
Находчивость во всемъ. Тогда не тотъ имъ милъ,
Кто любитъ ихъ, а тотъ, кто ловче ихъ кружилъ.

АМИНА.

Сказалъ ты правду.

ЭРИДОНЪ.

Да? Готовъ любую бъ цѣну
Теперь я дать, чтобъ быть подобнымъ Дамарену!
Какъ ловокъ въ танцахъ онъ!

АМИНА.

Прелестенъ! лучше всѣхъ!

ЭРИДОНЪ.

Его вы...

АМИНА.

Цѣнимъ всѣ.

ЭРИДОНЪ.

И любите?

АМИНА.

Успѣхъ
За нимъ вездѣ.

ЭРИДОНЪ.

Вездѣ? Проклятье!

АМИНА.

Что съ тобою?

ЭРИДОНЪ.

Ты смѣешь спрашивать! смѣешься надо мною—
Я вижу ясно—ты.

АМИНА.

Сердитый Эридонъ.
За ссоры наши всѣ къ отвѣту привлеченъ
Быть долженъ ты одинъ. Какъ можно такъ сердиться?

ЭРИДОНЪ.

Я горячо люблю—и горемъ поплатиться
Пришлось за это мнѣ! Когда бы я тебя
Такъ страстно не любилъ, то, вѣрь, ты отъ меня
Угрозъ не слышала бъ! Я таю отъ блаженства
При мысли, что могу твои всѣ совершенства
Своими называть. Я всей душой боговъ
За то благодарю, но безъ излишнихъ словъ
Хочу, чтобъ я одинъ твоей владѣлъ судьбою.

АМИНА.

Къ чему весь этотъ шумъ? Кто споритъ въ томъ съ тобою?

ЭРИДОНЪ.

Ты ненависть должна ко всѣмъ другимъ питать.

АМИНА.

За что же ненависть?

ЭРИДОНЪ.

За то, что обожать
Тебя весь хочетъ свѣтъ.

АМИНА.

Прекрасная причина!

ЭРИДОНЪ.

Ты хочешь всѣхъ ласкать; въ твоихъ глазахъ мужчина
Достоинъ жалости быть долженъ лишь одной,
Иначе—чѣмъ ни будь—бѣда не за горой.

АМИНА.

Послушай, Эридонъ, ты, право, вздоръ городишь!
Послушавши тебя, невольно, вѣдь, приходишь
Къ такому мнѣнію, что, полюбивши разъ,
Возненавидѣть всѣхъ должны мы въ тотъ же часъ.
Возможно ль, чтобъ любовь, божественное чувство,
Рождала ненависть? Подобное искусство
Мнѣ, каюсь, не дано.

ЭРИДОНЪ.

Хлопочешь ловко ты
Въ защиту подвиговъ всей этой суеты,

Гдѣ двадцать дураковъ пустыя строятъ куры,
А къ нимъ на удочку такія жъ лѣзутъ дуры.
Сегодня для тебя великій будетъ день:
Богиней будешь ты, и за тобой, какъ тѣнь,
Толпа поклонниковъ гурьбою бѣгать станетъ.
На долю каждаго, пожалуй, не достанетъ
Вѣдь и улыбки такъ! Когда тебѣ они
Успѣютъ надоѣсть, прошу я—вспомяни
Меня, глупца изъ всѣхъ! Поди ты...

АМИНА (*въ сторону*).

Улетѣли
Надежды бѣдныя! Онъ побѣдилъ! Ужели
Живетъ однако онъ лишь только для того,
Чтобъ отравлять мечты веселья моего?
Ужели нѣтъ конца подобному томленью?
(*Эридону*).
Ты узы легкія любви умѣлъ въ мученье
И въ цѣпи обратить. Ты, какъ тиранъ, себя
Всегда со мной держалъ, а я люблю тебя,
Люблю еще. На гнѣвъ и всѣ твои угрозы
Я нѣжности въ отвѣтъ лишь проливала слезы.
Я уступила все—ты недоволенъ всѣмъ!
Чего жъ еще тебѣ, прошу, скажи мнѣ? Чѣмъ
Мнѣ жертвовать еще? Тебѣ давно желалось,
Чтобъ я отъ праздника сегодня отказалась.
Ну, вотъ — возьми его!

(*Срываетъ цвѣты съ головы и плечъ и бросаетъ ихъ въ сторону, затѣмъ продолжаетъ притворно-спокойнымъ голосомъ*).

Не правда ли, мой другъ,
Я такъ тебѣ милѣй? Твоихъ душевныхъ мукъ,
Причина кончена ль? Но что же значитъ это?
Не смотришь ты? Быть злымъ предлога больше нѣту.

ЭРИДОНЪ (*падая предъ нею на колѣни*).

Прости меня, прости: вѣдь я люблю тебя!
Поди на праздникъ.

АМИНА.

Нѣтъ, съ тобой останусь я!
Мы будемъ пѣть вдвоемъ, и станешь веселѣй ты.

ЭРИДОНЪ.

Прошу тебя, иди!

АМИНА.

Зачѣмъ съ тобой нѣтъ флейты?
Поди — сыщи ее.

ЭРИДОНЪ.

Ты хочешь?..
(*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ VI.

АМИНА.

Вижу я:
Онъ сильно огорченъ и ропщетъ на меня.
Уступчивость мою не цѣнитъ онъ ни мало—
Онъ видитъ въ ней лишь долгъ. Какъ много ты страдало,
О, сердце бѣдное! Ужели терпишь ты
Лишь заслуженное? Конечно, такъ! Мечты
Не хочешь бросить ты и любишь тѣмъ сильнѣе,
Чѣмъ онъ суровѣе съ тобою и мрачнѣе.
Такъ больше жить нельзя! Чу! вдалекѣ слышны
Ужъ звуки музыки. Какъ отдались они
Мнѣ радостно въ ушахъ! Туда, туда хочу я!
Что жъ держитъ здѣсь меня? Какъ горько, негодуя,
Я на себя смотрю! Огонь все жжетъ въ груди!
Мнѣ что-то говоритъ: «смѣлѣй, смѣлѣй иди!»
Ахъ, нѣтъ не въ силахъ я! О, бѣдное созданье!
За всю твою любовь наградой лишь страданье!
(*Бросается на траву и плачетъ, но, при видѣ входящихъ, быстро вскакиваетъ и отираетъ слезы*).
Идутъ. О, какъ смѣшна я буду въ ихъ глазахъ!

ЯВЛЕНІЕ VII.

Амина, Эглэ *и* Ламонъ.

ЭГЛЭ.

Скорѣй, иди скорѣй! Амина, ты въ слезахъ?

ЛАМОНЪ (*поднимая брошенные цвѣты*).

Вотъ твой вѣнокъ.

ЭГЛЭ.

Увы, что сдѣлалось съ цвѣтами?

АМИНА.

Я ихъ разорвала.

ЭГЛЭ.

Какъ, развѣ вмѣстѣ съ нами
На праздникъ ты нейдешь?

АМИНА.

Охотно бы пошла,
Пусть лишь позволятъ мнѣ!

ЭГЛЭ.

Кому ты дать могла
Подобныя права? Да полно же скрываться
Предъ нами! Иль тебѣ съ собой велѣлъ остаться
Твой милый другъ?

АМИНА.

Да, онъ.

ЭГЛЭ.

Я тотчасъ поняла.
Какая дурочка! Ужели не пошла
Тебѣ наука въ прокъ? Завидная утѣха —
Такой прекрасный день веселья, игръ и смѣха
Смѣнить на разговоръ со вздохами вдвоемъ!
Онъ—спору нѣтъ—счастливъ. Однако подъ вѣнкомъ
Была ты во сто кратъ прелестнѣй и милѣе.
Попробуй-ка надѣть опять его скорѣе,
Да и цвѣты къ нему. Ну, потрудись взглянуть
Сама, что лучше такъ.

(*Амина стоитъ неподвижно съ опущенными глазами, позволяя Эглэ убирать себя цвѣтами*).

Пора однако въ путь:
Насъ ждутъ, мой милый другъ.

ЛАМОНЪ.

Готовъ къ твоимъ услугамъ.

АМИНА (*печальнымъ голосомъ*).

Прощай!

ЭГЛЭ (*уходя*).

Амина, ну—скорѣй въ ряды къ подругамъ!
За нами! (*Амина печально молчитъ*).

ЛАМОНЪ (*взявъ Эглэ за руку и увлекая ее*).

Ахъ, оставь! Я этимъ всѣмъ взбѣшенъ —
И вечеръ буду весь печаленъ и смущенъ.
Въ искусствѣ танцовать никто съ ней не сравнится,
А тутъ пришла ей блажь съ хандрой своей возиться
И дома хмуриться. Идемъ! Съ ней больше я
Не стану толковать.

ЭГЛЭ (*Аминѣ*).

Бѣдняжка, какъ тебя
Сердечно жалко мнѣ! Ты танцовать не хочешь?
Плясать такъ весело.

(*Хочетъ поцѣловать Амину, но та падаетъ ей на плечо и плачетъ*).

АМИНА.

О, горе! Какъ ты точишь
Безжалостно меня!

ЭГЛЭ.

Ты плачешь?

АМИНА.

Нѣтъ, не я,
Хоть сердце бѣдное готово у меня
Разбиться на куски. Возненавидѣть, право,
Готова я его!

ЭГЛЭ.

И ты имѣешь право
На это, милый другъ. Но, впрочемъ, нѣтъ! зачѣмъ?
Люби его всегда, но только, вмѣстѣ съ тѣмъ,

Смиренно такъ ему впередъ не подчиняйся.
Я это ужъ давно твержу тебѣ. Сбирайся
Теперь за нами вслѣдъ.

ЛАМОНЪ.

На праздникъ танцовать.

АМИНА.

А Эридонъ?

ЭГЛЭ.

Иди — я съ нимъ потолковать
Останусь здѣсь одна. Увидишь, какъ поймаю
Прекрасно я его. За нами, увѣряю,
Онъ побѣжитъ и самъ. Довольна ль будешь ты?

АМИНА.

О, безъ конца!

ЛАМОНЪ.

Идемъ. Вотъ музыка, цвѣты —
И весь нашъ пиръ готовъ!

(*Хватаетъ Амину за руки, поетъ и танцуетъ*).

ЭГЛЭ (*поетъ*).

Возьметъ ли влюбленнаго ревность порой
И, съ ѣдкой насмѣшкой качнувъ головой,
Въ невѣрности васъ онъ упрекомъ кольнетъ —
Танцуйте и пойте въ отвѣтъ: «все пройдетъ!»

(*Ламонъ и Амина уходятъ, танцуя*).

АМИНА (*уходя*).

О! если бъ ты успѣла!

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Эглэ, *потомъ* Эридонъ *съ флейтой и нотами.*

ЭГЛЭ.

Посмотримъ! Ужъ давно, признаться, я хотѣла
На правый путь вернуть сердечнаго дружка.
Съ умѣньемъ приступя теперь изподтишка,
Авось успѣю я. Узнаешь ты, проказникъ,
Что значитъ такъ хандрить и портить свѣтлый праздникъ!

Входитъ Эридонъ.

ЭГЛЭ.

Ага! Эй, Эридонъ!

ЭРИДОНЪ.

Но гдѣ жъ она?

ЭГЛЭ.

Взгляни:
Съ Ламономъ тамъ вдвоемъ блаженствуютъ они.

ЭРИДОНЪ (*бросая на землю флейту и разрывая ноты*).

Измѣнница!

ЭГЛЭ.

Ты золъ?

ЭРИДОНЪ.

Еще бы мнѣ не злиться!
Давно ль, сорвавъ вѣнки, съ улыбкой побожиться
Рѣшилась здѣсь она весь день со мной пробыть!
Я ль это требовалъ—и что жъ...
(*Топаетъ въ бѣшенствѣ ногой и разбрасываетъ изорванные листки*).

ЭГЛЭ.

Позволь спросить,
Однако, мнѣ тебя: съ чего ты запрещаешь
Веселье, танцы ей, точь-въ-точь воображаешь,
Что счастье быть тобой любимой для нее
Способно замѣнить безъ исключенья все!
Ужель ты думаешь, что, полюбивъ однажды,
Мы къ прочимъ радостямъ не ощущаемъ жажды?
Доволенъ будь ужъ тѣмъ, что лучшіе она
Тебѣ даритъ часы; что будь она одна
Иль въ обществѣ—одинъ ты ей всего дороже,
Одинъ изъ всѣхъ ей милъ. Скажи мнѣ, изъ чего же
Ты вѣчно сердишься и все несешь свое?
Любить веселье, шумъ и танцы для нее,
Повѣрь мнѣ, помѣшать ни на волосъ не можетъ
Быть преданной тебѣ.

ЭРИДОНЪ (*всплеснувъ руками и взглянувъ на небо*).

Ахъ!

ЭГЛЭ.

Что жъ тебя тревожитъ?
Ужель не видишь ты, что цѣлый вѣкъ держать
Такъ при себѣ ее не значитъ доказать
Ей преданность твою? Тутъ рабство только видно.
На праздникахъ она, съ покорностью обидной,
Должна съ тобой лишь быть. Захочешь ты уйти —
Она идетъ съ тобой, не смѣя завести
И рѣчь—остаться тамъ. Ты хмурымъ знакомъ взгляда
Ей это запретишь, хотя она и рада
Была бъ потанцовать.

ЭРИДОНЪ.

Да, рада, и всегда!

ЭГЛЭ.

А что въ смиренья томъ, когда къ нему нужда
Одна лишь нудитъ насъ? Гдѣ стѣснена свобода,
Тамъ гибнутъ радости, не зная даже всхода.
Возьми въ примѣръ дѣтей: они такъ любятъ пѣть;
Но стоитъ это разъ имъ силою велѣть —
Они сконфузятся и больше пѣть не станутъ.
Такъ точно женщины любить не перестанутъ,
Пока не стѣснены; иначе же какъ разъ
Любовь на ненависть въ нихъ смѣнится тотчасъ.

ЭРИДОНЪ.

На ненависть ко мнѣ?

ЭГЛЭ.

Тутъ нечему дивиться!
Старайся жъ во время любви ея добиться
Совсѣмъ инымъ путемъ. Привязанность прочна,
Когда свободно намъ даруется она.
Подумай, будетъ ли своей покорна долѣ
Пичужка въ клѣткѣ?

ЭРИДОНЪ.

Нѣтъ.

ЭГЛЭ.

А ежели на волѣ
По долямъ носится она, съ свободой пѣть—
Нерѣдко и въ окно случится ей влетѣть.

ЭРИДОНЪ.

Я это знаю все.

ЭГЛЭ.

Не съ большей ли охотой
Ты будешь самъ желать подобнаго прилета
Свободной ласточки? Ей вѣрно дорогъ тотъ,
Кто волѣ предпочтенъ. Когда къ тебѣ придетъ,
Вернувшись съ праздника, Амина съ блескомъ взгляда,
Въ которомъ ясно ты прочтешь, что какъ ни рада
Она съ гостями быть, по счастье для нея
Не можетъ полнымъ быть, когда съ ней нѣтъ того,
Кто ей дороже всѣхъ; когда, съ огнемъ румянца,
Сверкнувшаго въ щекахъ, признается, что танцы
Твой жаркій поцѣлуй не замѣняютъ ей—
Не зависть ли къ себѣ вселишь ты въ кругъ друзей?

ЭРИДОНЪ.

О, Эглэ!

Эглэ.

Иначе тебѣ страшиться надо
Навлечь безсмертныхъ месть за то, что ты награду,
Которая дана тебѣ, не бережешь.
Оставь все прежнее—и ты не навлечешь
Тогда ихъ грозный гнѣвъ за пролитыя слезы
Аминой чрезъ тебя!

ЭРИДОНЪ.

О, если бъ злыя грезы
Мои всегдашнія умѣлъ я побѣждать!
Когда бъ я видѣть могъ и, вмѣстѣ, не страдать,
Когда ея рука кому нибудь другому
Жметъ руку иль въ лицо сопернику пустому
Съ улыбкою глядитъ! Во мнѣ готова грудь
Распасться на куски!

ЭГЛЭ.

Э, полно: въ томъ ничуть
Еще дурного нѣтъ! Смѣшно смотрѣть такъ злобно
На вздорный поцѣлуй!

ЭРИДОНЪ.

Какъ! Поцѣлуй способна
Считать ты вздоромъ?

ЭГЛЭ.

Да, когда съ нимъ сердца нѣтъ.
Однако, кончимъ споръ. Когда не хочешь бѣдъ,
Простить ты долженъ ей; иначе поступая,
Ты ей не угодишь.

ЭРИДОНЪ.

Ахъ, Эглэ дорогая!

ЭГЛЭ.

Не хочешь? Ну, прощай! Быть можетъ, какъ нибудь
Иначе сладите. (*Беретъ его за руку*).
Разстроенъ ты?

ЭРИДОНЪ.

Вся грудь
Во мнѣ горитъ огнемъ.

ЭГЛЭ.

Ужель отъ раздраженья?
Ну, полно! Что за вздоръ! Въ твоихъ глазахъ прощенье
Читаю ясно я. Я къ ней пойду теперь.
Съ какимъ волненіемъ въ крови она, повѣрь,
Стоитъ и ждетъ меня, въ надеждѣ доброй вѣсти!
Шепну ль я ей: «онъ добръ!»—она, скажу безъ лести,
Отъ счастья расцвѣтётъ—и станешь ты для ней
Дороже въ этотъ мигъ.
(*Взглянувъ на него съ чувствомъ*).
Когда жъ, кружокъ гостей
Покинувши, она найдетъ тебя и станетъ
Ласкать и цѣловать, ужель твоя не канетъ
Угрюмость безъ слѣда?
(*Прижимается къ Эридону и кладетъ ему голову на плечо. Онъ беретъ и цѣлуетъ ея руку.*)
Подумай, что за мигъ!
Подобной радости не выразитъ языкъ:
Отъ танцевъ горячо зардѣвшіяся щёки;
Улыбка на устахъ; взглядъ нѣжный и глубокій;
Въ разбросѣ волоса; трепещущая грудь,
Избыткомъ юныхъ силъ спѣшащая вздохнуть;
Во всѣхъ чертахъ лица желанья трепетъ пылкій
И страстный жаръ любви, разлитый въ каждой жилкѣ.
(*Съ притворнымъ восторгомъ склоняется къ нему на грудь; онъ обхватываетъ ея станъ*).
Что выше этого блаженства можетъ быть?
А ты всегда одинъ... Но такъ возможно ль жить?

ЭРИДОНЪ.

Здѣсь, на твоей груди, я чувствую все это!
(*Цѣлуетъ Эглэ. Она, быстро выпрямившись, отскакиваетъ*).

ЭГЛЭ (*насмѣшливымъ тономъ*).
Амину любишь ты?

ЭРИДОНЪ.
О, какъ себя!

ЭГЛЭ.
Такъ гдѣ ты
Слыхалъ, гдѣ видано другихъ такъ цѣловать,
Любя одну? Постой, за это наказать
Тебя съумѣемъ мы, измѣнникъ.

ЭРИДОНЪ.
Такъ меня
Считаешь ты...

ЭГЛЭ.
Судить всегда привыкла я
По видѣннымъ дѣламъ. Меня ты очень страстно,
Мой другъ, поцѣловалъ. Я этимъ не несчастна:
Но сладко ль прозвучалъ мой поцѣлуй тебѣ?
Я думаю что—да! Амина, я судьбѣ
Твоей сочувствую. О, если бы при этомъ
Была, бѣдняжка, ты!

ЭРИДОНЪ.
Она была бъ предметомъ
Тогда и этихъ ласкъ.

ЭГЛЭ.
О, не криви душой!
Тебѣ нейдетъ хитрить.

ЭРИДОНЪ.
Права ты, что со мной
Поссорилась она бъ. Но ты меня—я вѣрю—
Не выдашь ей. Къ тому какую же потерю
Амина понесла? Поцѣловавъ тебя,
Цѣнить ея любовь могу не меньше я.

ЭГЛЭ.
Спроси у ней самой.

ЯВЛЕНІЕ IX.

Амина, Эглэ *и* Эридонъ.

ЭРИДОНЪ.
О, я несчастный!

АМИНА.
Милый!
Гдѣ ты, гдѣ ты? Скажи, меня вѣдь Эгла силой
Заставила итти и слово преступить.
Я каюсь въ томъ: клянусь теперь съ тобой пробыть
Вдвоемъ весь день!

ЭРИДОНЪ (*въ сторону*).
О, я измѣнникъ!

АМИНА.

Неужели
Еще ты сердишься? Лицо скрываешь?

ЭРИДОНЪ.

Мнѣ ли
Ей отвѣчать, и какъ?

АМИНА.

Заслуживаю ль я
За эту малость гнѣвъ? Конечно, у тебя
На то права; но все жъ...

ЭГЛЭ.

Но онъ сейчасъ украдкой
Меня поцѣловалъ.

АМИНА.

Тебя?

ЭГЛЭ.

И очень сладко.

АМИНА.

О, это черезъ-чуръ! Ужели разлюбить
Успѣлъ такъ скоро онъ! Покинутою быть
Возлюбленнымъ! Тотъ, кто съ другими начинаетъ
Быть ласковымъ, навѣкъ, конечно, забываетъ
О той, кого любилъ! Чѣмъ поводъ подала
Къ обидѣ я такой? Не только не была
Тебѣ невѣрной я, но даже поцѣлуя
За шутками средь игръ, рѣзвясь или танцуя,
Изъ юношей никто съ меня не получалъ!
О, сколько горя ты почувствовать мнѣ далъ
Обидою такой! Но все же я готова
Простить тебя опять, лишь только бы ты снова
Сталъ прежнимъ другомъ мнѣ!.. Но, кажется, что я
Теряю лишь слова. Ты разлюбилъ меня
Совсѣмъ съ минуты той, когда обиженъ мною
Ты былъ въ послѣдній разъ. Я, кажется, не стою
Ни на волосъ уже любви въ душѣ твоей.

ЭРИДОНЪ.

Какая преданность! Какъ стыдно мнѣ предъ ней!

АМИНА.

О, Эглэ, если бъ ты меня съ нимъ помирила!

ЭГЛЭ.

Не плачь: все кончится! Не знаешь ты, другъ милый,
Какъ нѣженъ Эридонъ и любитъ какъ тебя.

АМИНА.

Но все же онъ...

ЭГЛЭ.

Ну, да, поцѣловалъ меня!
Я знаю лучше васъ, какъ это все случилось,
И—не хитря—скажу, чтобъ ты съ нимъ помирилась;
Помѣхи жъ въ этомъ нѣтъ: онъ кается душой.

ЭРИДОНЪ (*падая къ ногамъ Амины*).

Амина, милый другъ, вина на ней одной!
Я въ сѣти хитрыя такъ ловко къ ней попался,
Что, право, невзначай совсѣмъ поцѣловался.
Но эта легкая забава, вѣрь, ничуть
Моей къ тебѣ любви не можетъ пошатнуть.

ЭГЛЭ.

Амина, поцѣлуй его за эти рѣчи. (*Эридону*)
Ты видишь самъ теперь, что дружескія встрѣчи
За танцами отнюдь предлогомъ быть для ссоръ
Не могутъ никогда! Забудь же этотъ вздоръ:
«Когда ея рука кому нибудь другому
Жметъ руку, и въ лицо сопернику пустому
Съ улыбкою глядитъ...» повѣрь, что тутъ бѣды
Еще серьезной нѣтъ. Надѣюсь, что вражды
Ты больше чувствовать не будешь къ ней и съ нами
На праздникъ нашъ пойдешь.

АМИНА.

О, да!

ЭРИДОНЪ.

Пойти мнѣ съ вами
Теперь ужъ надобно. Мнѣ Эглэ поцѣлуй
Лекарствомъ былъ.

ЭГЛЭ (*Амин*ѣ).

Прости—и насъ ты не ревнуй.
Когда жъ тебѣ впередъ онъ старое помянетъ,
Напомни поцѣлуй—онъ мигомъ перестанетъ.
А вы, ревнивцы всѣ, чѣмъ камнемъ въ насъ кидать,
Себя припомните—придется замолчать.

СОВИНОВНЫЕ.

КОМЕДІЯ ВЪ ТРЕХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ.

ПЕРЕВОДЪ

АЛЕКСАНДРА СОКОЛОВСКАГО.

ВСТУПЛЕНІЕ.

На пятнадцатомъ году жизни, т.-е. еще въ родительскомъ домѣ, во Франкфуртѣ, Гёте влюбился въ молодую дѣвушку, фамилія которой такъ и осталась для насъ неизвѣстною и которую мы знаемъ только подъ тѣмъ именемъ, какимъ называетъ ее поэтъ въ своей автобіографіи—именемъ Гретхенъ. Кто была эта дѣвушка—съ точностью тоже неизвѣстно; Гёте говоритъ о ней, какъ о жившей у своихъ родныхъ въ независимомъ положеніи, а по сохранившемуся во Франкфуртѣ преданью она была кельнерша въ одномъ изъ мѣстныхъ трактировъ. Отношенія поэта къ Гретхенъ остались чисто платоническими, она даже держала себя относительно его болѣе какъ любящая старшая сестра или подруга, чѣмъ возлюбленная, да и вообще, сколько извѣстно, отличалась безукоризненною нравственностью. Но у нея было нѣсколько родственниковъ, молодыхъ людей, съ весьма сомнительными нравственными правилами, которыя они практиковали на дѣлѣ, и Гёте, сойдясь съ ними, попалъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и въ кружокъ ихъ товарищей, принадлежавшихъ къ среднему и даже низшему классу общества и державшихся такихъ же моральныхъ воззрѣній и такого же практическаго примѣненія ихъ. Эта компанія, не отступавшая даже предъ такими вещами, какъ подлоги, воровство и т. п., запутала было и нашего поэта въ процессъ крайне подозрительнаго свойства, изъ котораго онъ, конечно, вышелъ вполнѣ оправданнымъ, но который значительно увеличилъ долю его житейской опытности уже въ такіе молодые годы. Въ это время и при этомъ случаѣ познакомился онъ съ изнанкою медали гражданскаго общества. «Религія, нравственность, законъ, обычай, все это—говоритъ онъ въ своей автобіографіи, разсказывая эпизодъ съ Гретхенъ—царитъ только на поверхности городской жизни. Проложенныя между великолѣпными домами улицы содержатся въ чистотѣ, и каждый ведетъ себя на нихъ достаточно прилично; но тѣмъ болѣе безобразія часто внутри ихъ». Онъ упоминаетъ тутъ же о совершавшихся на его глазахъ «банкротствахъ, разводахъ, обольщеніяхъ дѣвушекъ, убійствахъ, воровствахъ, отравленіяхъ», заявляетъ (какъ ни удивительно это кажется, когда сообразимъ, что ему въ это время не было и пятнадцати лѣтъ), что бывали случаи, когда ему самому приходилось спасать или выручать людей, попадавшихся въ такія дѣла, и заключаетъ этотъ разсказъ словами о томъ, что и на самомъ себѣ и на другихъ испыталъ онъ въ этомъ случаѣ много плачевнаго... Никакихъ дальнѣйшихъ фактическихъ извѣстій о связи Гёте съ подобными дѣлами и людьми—

кромѣ вышеупомянутаго процесса — мы не находимъ ни въ автобіографіи, ни въ тѣхъ біографическихъ свѣдѣніяхъ, которыя до сихъ поръ собраны (а число ихъ — легіонъ); но упоминаніе о нихъ самимъ Гёте, и притомъ съ такою опредѣлительностью, не позволяетъ признавать ихъ выдуманными. Во всякомъ случаѣ, пьеса «Совиновные» есть плодъ воспоминаній поэта объ этихъ эпизодахъ его юношеской жизни, хотя неизвѣстно, какой именно фактъ легъ въ основаніе ея фабулы, да и вообще—имѣетъ ли эта послѣдняя опредѣленное фактическое основаніе. Вспомнилъ онъ о нихъ черезъ два года послѣ того, вспомнилъ съ горькимъ чувствомъ, которое вообще наполняло его душу въ эту пору, ибо то была пора, непосредственно слѣдовавшая за его разрывомъ съ Кетхенъ Шенкопфъ и сочиненіемъ пасторали «Капризы Влюбленнаго» (см. выше, вступленіе къ этой пьессѣ). «И вотъ—разсказываетъ онъ въ своей автобіографіи, — чтобы освободиться отъ давившихъ меня чувствъ (um mir Luft zu verschaffen—извѣстный уже намъ пріемъ въ поэтическомъ творчествѣ Гёте), я задумалъ нѣсколько пьесъ и написалъ экспозиціи къ большей части ихъ. Но такъ какъ почти всѣ онѣ грозили окончиться трагически, то я кидалъ одну за другою,—и отдѣланною и оконченною оказалась только одна—*Совиновные*».

Изъ этихъ послѣднихъ словъ ясно, что авторъ не хотѣлъ допустить въ это произведеніе никакого трагическаго элемента; для него (какъ это видно и изъ другихъ его заявленій въ письмахъ и т. п.) главное было—вызывать смѣхъ, представить всѣ положенія чисто-комическими. Но такъ какъ (опять по его собственнымъ словамъ), все дѣйствіе здѣсь построено на «мрачномъ семейномъ фундаментѣ», то цѣль поэта не осуществилась, и чисто-комическое, несмотря на несомнѣнное искусство въ исполненіи этой стороны пьесы, все-таки отодвигается на второй планъ нравственно-отталкивающимъ, вслѣдствіе чего получается по большей части впечатлѣніе анти-эстетическое съ моральной точки зрѣнія. Къ этому главному недостатку (который впрочемъ впослѣдствіи сознавалъ и самъ Гёте, хотя и старался—правда не совсѣмъ удачно—оправдать его) присоединяются въ пьесѣ—нѣкоторые другіе, естественно объясняемые крайнею молодостью автора; но эта же молодость дѣлаетъ еще болѣе изумительными достоинства ея, между которыми мы ставимъ на первомъ планѣ основную мысль, высказанную авторомъ въ слѣдующихъ словахъ, относящихся какъ къ «Совиновнымъ», такъ и къ «Капризамъ Влюбленнаго»: «Обѣ пьесы, безсознательно для самого меня, написаны съ болѣе высокой точки зрѣнія: онѣ указываютъ на необходимость осторожной терпимости при обсужденіи нравственной вины и воспроизводятъ нѣсколько рѣзкими и жесткими чертами извѣстное, въ высшей степени христіанское изреченіе: «Кто чувствуетъ себя безъ грѣха, пусть кинетъ первый камень!»—Если эта основная мысль выполнена и не совсѣмъ удовлетворительно, то во всякомъ случаѣ она заслуживаетъ серіознаго вниманія, тѣмъ болѣе, когда исходитъ отъ семнадцатилѣтняго юноши, «воззрѣніе котораго въ этомъ случаѣ—какъ замѣчаетъ одинъ критикъ—согласуется притомъ съ теоріями новѣйшихъ юристовъ, такъ что онъ и тутъ опередилъ свое время». Къ этому главному достоинству прибавимъ еще такія, какъ живость дѣйствія, истинная комичность нѣкоторыхъ положеній, несомнѣнное —и удивляющее въ такомъ молодомъ авторѣ—знаніе нѣкоторыхъ сторонъ человѣческаго сердца, которое обнаруживается даже при значительной маріонетности дѣйствующихъ лицъ; наконецъ—прекрасный и вполнѣ жизненный языкъ, несмотря на тяжелую форму александрійскаго стиха.—Примемъ въ соображеніе все это, и мы должны будемъ согласиться, что если значеніе этой комедіи въ настоящее время главнымъ образомъ историко-литературное, то совсѣмъ отрицать въ ней достоинство чисто-художественное — нельзя.

Вышеупомянутый александрійскій стихъ свидѣтельствуетъ, что при сочиненіи «Совиновныхъ» (черезъ годъ послѣ «Капризовъ Влюбленнаго») авторъ еще не освободился — по крайней мѣрѣ относительно внѣшней формальной стороны — отъ французскаго вліянія; но тутъ самостоятельность его сдѣлала уже значительные шаги впередъ, причемъ отчасти подчинился онъ другому вліянію, гораздо болѣе благотворному — вліянію Лессинга. «Лессингъ — говоритъ Гёте, разсказывая о томъ, какъ онъ нѣсколько разъ передѣлывалъ экспозицію «Совиновныхъ» — Лессингъ въ двухъ первыхъ дѣйствіяхъ «Минны» представилъ недостижимый примѣръ, какъ слѣдуетъ дѣлать экспозицію пьесы, и для меня не могло быть ничего пріятнѣе, какъ проникать въ его духъ и его цѣль».

Замѣтимъ еще въ заключеніе, что эта комедія была въ первый разъ представлена въ 1777 г. на любительскомъ спектаклѣ въ Веймарѣ, причемъ авторъ игралъ роль Алцеста,—а затѣмъ обошла многія нѣмецкія сцены и сдѣлалась одною изъ очень видныхъ въ современномъ репертуарѣ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

ХОЗЯИНЪ ГОСТИННИЦЫ.	АЛЬЦЕСТЪ.
СОФЬЯ, его дочь.	КЕЛЬПЕРЪ.
ЗЕЛЛЕРЪ, ея мужъ.	

Мѣсто дѣйствія — гостинница.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

ЯВЛЕНІЕ I.

Комната въ гостинницѣ. Въ глубинѣ сцены столъ съ чернильницей, перьями и бумагой. Возлѣ — большое кресло.

Зиллеръ, *въ чорномъ домино, сидитъ у стола за бутылкой вина;*
Софья *противъ него прикалываетъ на шляпу бѣлое перо.*

Входитъ Хозяинъ Гостинницы.

ХОЗЯИНЪ.

Ужъ онъ опять на балъ! Ну, милый мой зятекъ,
Невольно на языкъ мнѣ просится упрекъ.
Я дочь тебѣ отдалъ не для того, конечно,
Чтобъ денежки мои моталъ ты такъ безпечно.
Я думалъ, что въ тебѣ я на закатѣ дней
Помощника найду для старости своей,
А ты помочь лишь мнѣ желаешь разоряться.
(*Зеллеръ начинаетъ насвистывать пѣсню*).
Да, да, свищи себѣ! Съ тобою разсчитаться
Съумѣю я! Тебѣ лишь было бы вино,
Табакъ да карты! Да, тобой заведено
Всю ночь кутить, а день блаженствовать въ постелѣ!
Взгляни-ка на себя: ну что ты, въ самомъ дѣлѣ?
Шутъ глупый,—а живетъ хотя бы въ самый разъ
Любому королю!.. И ухомъ не ведешь.

ЗЕЛЛЕРЪ (*пьетъ*).

Папаша, пью за васъ!

ХОЗЯИНЪ.

Желанья мнѣ твои тошнѣй, чѣмъ лихорадка.

СОФЬЯ.

Папаша, не сердись.

ЗЕЛЛЕРЪ (*пьетъ*).

Пью за тебя, касатка!

СОФЬЯ.

Желаешь мнѣ добра, такъ будь ко мнѣ добрѣй!

ХОЗЯИНЪ.

Дождешься этого, пока своихъ затѣй
Не броситъ онъ; а мнѣ ужъ право не подъ силу!
Поживши этакъ съ нимъ, готовъ я хоть въ могилу!
Онъ человѣкъ дрянной, безъ чувства, безъ души.
Не помнитъ онъ, чѣмъ былъ: я кровные гроши
Пожертвовалъ, долги чтобъ заплатить лѣнтяя,
А онъ живетъ себѣ спокойно, припѣвая.
Его раскаянье на волосъ не беретъ!
Жилъ дрянью цѣлый вѣкъ, такимъ же и умретъ!

СОФЬЯ.

Онъ перемѣнится.

ХОЗЯИНЪ.

А долго ль дожидаться?

СОФЬЯ.

Все это молодость.

ЗЕЛЛЕРЪ (*пьетъ*).

Да, съ нею жаль разстаться!

ХОЗЯИНЪ.

Съ нимъ что ни говори, онъ въ ухо впуститъ рѣчь,
Въ другое выпуститъ: ему бъ лишь дѣло съ плечъ.
Да что жъ я, наконецъ, по твоему? Хозяинъ
Въ своемъ дому иль нѣтъ? Жилъ двадцать лѣтъ, измаянъ
Заботой и трудомъ; такъ думаешь, теперь
Дамъ вынести тебѣ добро свое я въ дверь?
Нѣтъ, другъ-зятекъ, шалишь! Такого сраму въ свѣтѣ
Еще не видано! И старики, и дѣти —
Всѣ знаютъ мой трактиръ вотъ скоро двадцать лѣтъ,
«Трактиръ Медвѣдя!» Да! Медвѣдь же — цѣлый свѣтъ
То знаетъ хорошо — не глупая скотина.
Дай выкрасить лишь домъ, такъ будетъ мнѣ причина
Гостинницей впередъ трактиръ мой называть.
Гостей прибудетъ полкъ; деньжонки наживать
Начнемъ не такъ, какъ встарь; но надобно трудиться,
Вставать до пѣтуховъ и за̀ полночь ложиться.
Такъ дѣло дѣлаютъ!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Ну, намъ до этихъ дней
Покамѣстъ далеко. Лишь не было бъ сквернѣй,

Чѣмъ нынче мы живемъ. Пройти въ любомъ этажѣ,
Взглянуть на нумера — въ нихъ пустота все таже.

ХОЗЯИНЪ.

Теперь не та пора и не великъ пріѣздъ.
Вверху двѣ комнаты однако взялъ Альцестъ.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Что до него, то онъ жилецъ, конечно, вѣрный;
Но все же онъ одинъ — вотъ что, папаша, скверно.
А сверхъ того вѣдь мнѣ извѣстно, для чего
Онъ здѣсь живетъ.

ХОЗЯИНЪ.

А что?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Папаша, à propos,
Сегодня поутру я слышалъ, будто много
Изъ молодыхъ людей сбираются въ дорогу
Въ Америку; что весь ихъ храбрый, шумный рой
Туда навѣрное отправится весной.

ХОЗЯИНЪ.

Да, я слыхалъ о томъ. Нерѣдко за стаканомъ
Мысль по душѣ была подобная буянамъ.
Свобода! храбрость! честь! Ну, мало ль что орутъ.
А утро чуть пришло — всѣ остаются тутъ.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Ну, нѣтъ: вы знаете, на новость люди падки,
А молодежь у насъ, когда зачешетъ пятки
Ей бѣсъ, тогда прощай. Заманчивъ вѣдь предметъ:
Такъ лобъ свой очертя, объѣхать цѣлый свѣтъ.

ХОЗЯИНЪ.

А тотъ, кто укатилъ, вѣдь могъ бы догадаться,
Пріѣхавши туда, вѣстями намъ сказаться:
Узнали бъ что нибудь.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Далекъ вѣдь берегъ тотъ.

ХОЗЯИНЪ.

Ну, что жъ! письмо идетъ, да, наконецъ, дойдетъ.
Пойду-ка поглядѣть на картѣ: въ самомъ дѣлѣ
Такъ точно ль далеко, какъ мнѣ о томъ напѣли?

(*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ II.

Софья *и* Зеллеръ.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Съ нимъ на дому еще есть средство толковать.

СОФЬЯ.

Ты уступай ему.

ЗЕЛЛЕРЪ.

За счастье почитать
Онъ долженъ то, что я уступчивъ и незлобенъ,
А то, вѣдь разозлить онъ всякаго способенъ.

СОФЬЯ.

Ну, ужъ пожалуйста!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Ей-Богу, средства нѣтъ!
Не спорю, что тому назадъ немного лѣтъ
Я прощалыгой былъ, въ долгахъ сидѣлъ по шею...

СОФЬЯ.

Голубчикъ, не сердись!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Когда жъ свою затѣю
Онъ броситъ такъ меня позорить и ругать?
Вѣдь ты меня тогда рѣшилась же избрать!

СОФЬЯ.

Съ твоей угрюмостью покоя я не знаю.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Мнѣ кажется, тебя вѣдь я не упрекаю;
Напротивъ: счастье намъ хорошая жена.
Да ну, Богъ съ нимъ совсѣмъ! На свѣтѣ ты одна
Мнѣ, Софья, дорога. Я сдѣланъ не изъ камня,
А ты — красавица и Господомъ дана мнѣ,
И я люблю тебя.

СОФЬЯ.

Зачѣмъ же ты всегда
Со мною ссоришься?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Не велика бѣда!
А почему, мой другъ — тебѣ сейчасъ все это
Могу я объяснить, чтобъ сразу суть предмета
Ты, вникнувъ, поняла. Альцестъ тебя любилъ
И счастливъ тожъ твоей взаимностію былъ.

СОФЬЯ.

Ахъ!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Что жъ дурного тутъ — ей-Богу, я не знаю!
Растетъ же деревцо, свободно расцвѣтая,
А только дастъ плоды, то ихъ срываетъ тотъ,
Кто близъ него стоитъ. Промчится лишній годъ —
И новые плоды достанутся другому.
Тебя жъ достаточно я знаю, чтобъ къ дурному
Способною считать. Смѣшно!

СОФЬЯ.

Альцестъ любилъ
Меня дѣйствительно и тоже счастливъ былъ
Моей взаимностью — и что же тутъ смѣшного?
Что жъ дальше?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Ничего! На это я сурово
Не стану возражать. Когда дѣвчонка въ насъ
Влюбляется, она, конечно, въ первый разъ
Порядочно сама не знаетъ, въ чемъ тутъ дѣло.
Въ игрѣ поцѣловать насъ робко и несмѣло
Рѣшается сперва, а тамъ, чѣмъ дальше въ лѣсъ,
Тѣмъ больше дровъ. Въ числѣ другихъ любви чудесъ,
Становится ей вдругъ желанно и пріятно
Дружка поцѣловать; но все жъ ей непонятно,
Зачѣмъ ее за то мамаша все бранитъ.
Въ паденіи самомъ ея наивенъ видъ;
Когда же опытность въ чемъ дѣло ей подскажетъ,
За умную жену спасибо всякій скажетъ.

СОФЬЯ.

Меня не знаешь ты.

ЗЕЛЛЕРЪ.

О, тутъ ты всѣмъ равна!
Вамъ то же поцѣлуй, что намъ стаканъ вина.
Два-три вольются такъ, съ четвертымъ — будешь пьянымъ;
А хочешь трезвымъ быть — скажи прощай стаканамъ.
Но баста! Ты моя! Вѣдь, кажется, прошло
Три года съ хвостикомъ съ тѣхъ поръ, какъ унесло
Альцеста въ дальній путь. Какъ долго онъ скитался?

СОФЬЯ.

Три года.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Болѣе. Зачѣмъ онъ навязался
Къ намъ снова на житье ужъ вотъ недѣли двѣ?

СОФЬЯ.

Къ чему ведешь ты рѣчь?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Такъ, глупость въ головѣ!
Съ женой вѣдь толковать—слова на перечетѣ.
Такъ для чего онъ здѣсь?

СОФЬЯ.

Ну, просто по охотѣ!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Ты, кажется, одна причиною тому.
Начнетъ ухаживать — что скажешь ты ему?

СОФЬЯ.

Любовь — нѣтъ словъ — сильна; но долгъ еще сильнѣе.
Боишься ты?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Кто? я? Ни мало. Мужъ нужнѣе,
Чѣмъ всякій изъ такихъ пустѣйшихъ свистуновъ.
Послушать ихъ—найдешь наборъ лишь звучныхъ словъ,
И больше ничего; словами жъ сытъ не будешь.

СОФЬЯ.

Да, хороши слова! Но ты когда забудешь
Меня своими такъ словами оскорблять?
Съ твоей хандрой тебя вѣдь нынче не узнать:
Бранишься цѣлый день, насъ всѣхъ кругомъ порочишь.
Будь самъ любезнѣе, коль быть любимымъ хочешь!
Способенъ ли меня ты счастьемъ подарить?
Нашелъ ли въ чемъ нибудь причину укорить
Меня ты по-дѣломъ? Весь домъ нашъ въ безпорядкѣ,
А ты стараешься лишь только безъ оглядки
Изъ дома убѣжать. Живешь день изо дня:
Нѣтъ денегъ—въ долгъ берешь; на нужды жъ у меня
Одной копѣйки нѣтъ. О деньгахъ мнѣ на платья
Не спросишь ты, гдѣ ихъ должна была достать я.
Желаешь честную жену имѣть, такъ будь
Сначала честенъ самъ: что нужно ей—добудь.
Кто женщину нуждой всегдашней не тревожитъ,
Одинъ тотъ за нее и быть спокойнымъ можетъ.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Ты попроси отца...

СОФЬЯ.

Просила я его,
Да много нужно намъ, а нѣту ничего.
Просила дать вчера на нужные предметы,
А онъ въ отвѣтъ: «ступай! твой мужъ беретъ кареты!»
И не далъ ничего, да сталъ еще кричать.
Скажи же, наконецъ, гдѣ денегъ мнѣ достать,
Коль самъ ты о женѣ заботиться не хочешь?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Терпѣнье, мой дружокъ! О чемъ ты такъ хлопочешь?
Взаймы пріятель дастъ.

СОФЬЯ.

Да, если онъ дуракъ.
О, деньги занимать готовъ охотно всякъ;
Но кто бы далъ въ займы — такихъ я не видала.
Нѣтъ, долѣе такъ жить не въ силахъ я, устала.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Что нужно—есть у насъ.

СОФЬЯ.

Такъ что же изъ того?
Имѣя, не желать намъ развѣ ничего?
Чѣмъ болѣе судьба даровъ намъ посылаетъ,
Тѣмъ болѣе имѣть ихъ родъ людской желаетъ.
Конечно, прихоти иныя позволять
Могу себѣ и я, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, желать
Могу и больше ихъ. Да вотъ хотя бъ собранья.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Съ тобой итти туда я жду лишь приказанья.

СОФЬЯ.

Не правда ли — затѣмъ, чтобъ послѣ первыхъ двухъ
Иль трехъ такихъ баловъ мы разорились въ пухъ?
Нѣтъ, если такъ — сидѣть я буду лучше дома!
Ты мотъ, а мнѣ давно умѣренность знакома.
Отецъ мой ужъ давно любви тебя лишилъ
И лишь въ моей любви отраду находилъ.
Такъ стану ль помогать ему я проживаться,
Когда его добро должно же мнѣ достаться?

Входитъ КЕЛЬНЕРЪ.

КЕЛЬНЕРЪ.

Геръ Зеллеръ?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Ну, что тамъ?

КЕЛЬНЕРЪ.

Васъ ищетъ Тиринетъ.

СОФЬЯ.

Картежникъ тотъ?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Пусть чортъ его заплюетъ слѣдъ.

КЕЛЬНЕРЪ.

Онъ хочетъ видѣть васъ.

СОФЬЯ.

О чемъ онъ тамъ хлопочетъ?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Онъ ѣдетъ. Я сейчасъ. Со мной проститься хочетъ.
(*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ III.

СОФЬЯ (*одна*).

Онъ оберетъ его. Мой мужъ увязъ въ долгахъ,
А я нести должна все это на плечахъ!
Вотъ привели къ чему мечты мои о счастьи!
Ждала ль я отъ судьбы такой печальной части!
Куда умчались тѣ плѣнительные дни,
Когда у ногъ моихъ лежали всѣ они,
Всѣ юноши толпой, мнѣ вѣря, какъ богинѣ,
И ждали отъ меня рѣшенья ихъ судьбинѣ?
Пустѣйшій мой капризъ закономъ общимъ былъ:
Кому бы головы вздоръ этотъ не вскружилъ?
Попасть въ просакъ легко въ подобной обстановкѣ.
Какъ не увлечь толпу хорошенькой плутовкѣ!
Съ другой же стороны подобный рой похвалъ

Кого, скажите мнѣ, изъ насъ не увлекалъ?
Мужчинамъ вѣримъ мы довѣрчиво на слово;
Они жъ — суди ихъ Богъ — желаютъ лишь дурного.
Чуть только приласкай — мы первый ихъ предметъ,
О свадьбѣ жъ намекни — пропалъ сейчасъ и слѣдъ.
Обманутъ двадцать насъ мужчинъ такого сорта,
Наклюнется жъ одинъ: вѣдь былъ двадцать четвертый
Мой Зеллеръ. Какъ тутъ быть? Его пришлося взять!
Онъ человѣкъ дрянной, но все жъ могу сказать,
Что онъ мнѣ мужъ. И вотъ, съ тѣхъ поръ терплю я муки!
Конечно, завести не трудно бъ, ради скуки,
Дружка мнѣ было бы; но ссли взять глупца,
То прежней скукѣ съ нимъ не будетъ и конца,
А умнаго завесть мнѣ вовсе нѣтъ разсчета,
Затѣмъ что съ умнымъ жить — не радость, а забота;
Жить просто жъ безъ любви теперь ужъ мнѣ не въ мочь:
Чѣмъ отгоню тогда тоску отъ сердца прочь?
Альцестъ мой снова здѣсь, какъ поводъ для мученій;
А прежде... О, часы любовныхъ наслажденій!
Какъ дорогъ былъ онъ мнѣ! Что жъ, впрочемъ, и теперь
Онъ нѣжно такъ глядитъ, такъ тихо входитъ въ дверь...
Мнѣ страшно съ нимъ вдвоемъ и право не напрасно!
О, если бы онъ зналъ, какъ это сердце страстно!..
Но вотъ и онъ! Гляжу — и грудь моя въ огнѣ.
Не знаю, что хочу и что тутъ дѣлать мнѣ!

ЯВЛЕНІЕ IV.

Софья *и* Альцестъ.

АЛЬЦЕСТЪ (*безъ шляпы и шпаги*).

Простить меня прошу: меня вы здѣсь не ждали.

СОФЬЯ.

Бѣды тутъ, сударь, нѣтъ: мы съ вами въ общей залѣ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Да, чувствую: для васъ теперь я равенъ всѣмъ.

СОФЬЯ.

Вамъ недовольнымъ быть не знаю, право, чѣмъ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Жестокая, тебѣ ль не знать и такъ глумиться?

СОФЬЯ.

Прошу простить меня: должна я удалиться.

АЛЬЦЕСТЪ.

Куда? скажи, куда? Ты отвращаешь взоръ,
Руки не хочешь дать... Скажи, съ которыхъ поръ
Такою стала ты, что больше не внимаешь?

СОФЬЯ.

О, сердце бѣдное! Какъ сильно ты страдаешь!

АЛЬЦЕСТЪ.

Когда ты прежняя — останься.

СОФЬЯ.

Я должна
Уйти. Идите прочь!

АЛЬЦЕСТЪ.

О, какъ ты холодна!
«Уйди! уйди!» вотъ все; а я, подъ гнетомъ страсти,
Мечталъ, что ты одна — и встрѣтить думалъ счастье.
Поговорить хотѣлъ я дружески съ тобой,
А ты велишь уйти! Не въ этой ли со мной
Ты комнатѣ любовь въ былые дни дѣлила?
Не здѣсь ли въ первый разъ ты сердце мнѣ открыла?
Здѣсь! здѣсь! вотъ мѣсто то! Ты помнишь ли тотъ часъ
И клятву вѣрной быть?...

СОФЬЯ.

Нѣтъ жалости у васъ.

АЛЬЦЕСТЪ.

То былъ вечерній часъ: онъ памятенъ мнѣ вѣчно!
Твой взоръ горѣлъ, а я былъ счастливъ безконечно;
Твой жаркій поцѣлуй на розовыхъ устахъ
Дрожалъ, а я блаженъ былъ, словно въ небесахъ!
Со мною быть тогда ты радостью считала,
Теперь же мигъ пробыть со мной не пожелала.
Ты видишь, какъ я слабъ, и какъ несчастливъ я!
Иди, обманщица: не любишь ты меня!

СОФЬЯ.

Ахъ, полно! Иль меня совсѣмъ ты не жалѣешь?
Ты дорогъ не былъ мнѣ — сказать ты это смѣешь?
Ты былъ мнѣ всѣмъ, Альцестъ — одной моей мечтой!
Твоею я была и тѣломъ, и душой!
Кому же предалась однажды я сердечно,
Того, повѣрь, Альцестъ, я не забуду вѣчно.
Какъ горько вспоминать блаженство дней былыхъ!
Да, я люблю тебя, какъ въ дни утѣхъ живыхъ!

АЛЬЦЕСТЪ.

О, ангелъ мой! (*Хочетъ ее обнять*).

СОФЬЯ.

Постой: идетъ какъ будто кто-то!

АЛЬЦЕСТЪ.

Ну, такъ! всегда вотъ такъ! Ни мига безъ заботы!
Вѣдь эдакъ, наконецъ, невыносимо жить:
Я двѣ недѣли здѣсь, и не могу пробыть
Съ тобой наединѣ и часу. Да, конечно,
Я любъ тебѣ, мой другъ; но страсть свою сердечно
Съ тобою раздѣлить не можемъ мы никакъ:
Жди, что отецъ войдетъ, не то, самъ мужъ-дуракъ.
Мнѣ здѣсь не долго быть—вотъ что меня терзаетъ;
А сдѣлать можно все, кто этого желаетъ.

Могла жъ ты прежде такъ устранивать дѣла,
Чтобъ даже ревность къ намъ придраться не могла.
Когда бъ хотѣла ты...

СОФЬЯ.

Чего?

АЛЬЦЕСТЪ.

Пойми же, Софья,
Что, наконецъ, притти въ отчаянье готовъ я!
Устрой, безцѣнная, ты такъ свиданья часъ,
Чтобъ не смутилъ никто, какъ было нынче, насъ.
Послушай, нынче въ ночь твой мужъ уйдетъ изъ дома.
Я также объявлю, что звалъ меня знакомый
Къ себѣ на балъ. Ключи отъ задней двери я
Возьму съ собой въ карманъ, чтобы никто меня
Не могъ увидѣть здѣсь. И такъ — ты мнѣ позволишь?

СОФЬЯ.

Альцестъ, дивлюся я!

АЛЬЦЕСТЪ.

Иль ты меня неволишь
Себѣ признаться въ томъ, что ты черства душой?
Вѣдь средствъ иныхъ намъ нѣтъ увидѣться съ тобой!
Альцеста знаешь ты — гдѣ жъ видишь ты помѣху?
Часокъ ночной пробыть вдвоемъ намъ на утѣху
Довольно. Ночью жди меня наединѣ;
А лучше бы еще, чтобъ ты пришла ко мнѣ.

СОФЬЯ.

Ну, это слишкомъ!

АЛЬЦЕСТЪ.

Какъ! Вотъ мнѣніе какое!
Проклятье тѣмъ часамъ, когда, не знавъ покоя,
Я жилъ напрасно здѣсь! Что держитъ здѣсь меня?
Не хочешь быть моей — уѣду завтра жъ я.

СОФЬЯ.

Голубчикъ! милый!

АЛЬЦЕСТЪ.

Нѣтъ! Когда мои мученья
Тебя не трогаютъ — бѣгу безъ сожалѣнья.

ЯВЛЕНІЕ V.

Тѣ же *и* Хозяинъ.

ХОЗЯИНЪ.

Письмо — и важное должно быть — есть для васъ:
Печать огромная, бумага какъ атласъ.
(*Альцестъ быстро беретъ письмо изъ рукъ хозяина*).
Хотѣлось страшно мнѣ узнать бы содержанье.

АЛЬЦЕСТЪ (*пробѣжавъ письмо*).

Я ѣду завтра же. Отдайте приказанье
Мнѣ приготовить счетъ.

ХОЗЯИНЪ.

Ужели скоро такъ?
Въ такой непастный день?.. Должно быть, важный шагъ
Вамъ сдѣлать предстоитъ. Узнать нельзя ль примѣрно?

АЛЬЦЕСТЪ.

Нельзя!

ХОЗЯИНЪ (*Софьѣ*).

Спроси его: тебѣ онъ скажетъ вѣрно.

(*Отходитъ къ столу, открываетъ книги и принимается за составленіе счета*).

СОФЬЯ.

Альцестъ, ужели?

АЛЬЦЕСТЪ.

Ты смѣешься, вижу я.

СОФЬЯ.

Альцестъ — прошу тебя — не покидай меня!

АЛЬЦЕСТЪ.

Согласенъ, только съ тѣмъ, чтобъ почью увидаться.

СОФЬЯ (*въ сторону*).

Какъ быть? что дѣлать мнѣ? Онъ долженъ здѣсь остаться:
Онъ счастье все мое! (*Громко*). Какъ ты не разсчиталъ,
Что все жъ я замужемъ?

АЛЬЦЕСТЪ.

Чтобъ мужа чортъ побралъ
И стала ты вдовой! Не упускай минуты:
Быть можетъ, встрѣтишь лишь подобную одну ты.
Рѣшись—и въ полночь мы увидимся съ тобой.

СОФЬЯ.

Вѣдь комната моя съ отцомъ стѣна съ стѣной.

АЛЬЦЕСТЪ.

Тогда приди ко мнѣ! О чемъ тутъ торговаться?
Съ такимъ сомнѣньемъ намъ нельзя за дѣло браться.
Бери же ключъ — вотъ онъ!

СОФЬЯ.

Подходитъ къ двери мой.

АЛЬЦЕСТЪ.

Приди же, милый другъ: вѣдь, страхъ напрасенъ твой.
Что жъ — хочешь?

СОФЬЯ.

Я хочу ль?

АЛЬЦЕСТЪ.

Такъ какъ же?

СОФЬЯ.

Я рѣшилась.

АЛЬЦЕСТЪ (*хозяину*).

Я остаюсь у васъ.

ХОЗЯИНЪ.

Вотъ какъ! (*Софьѣ*). Ты допросилась?

СОФЬЯ.

Онъ не хотѣлъ сказать.

ХОЗЯИНЪ.

Ужель?

ЯВЛЕНІЕ VI

Тѣ же *и* ЗЕЛЛЕРЪ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Гдѣ шляпа?

СОФЬЯ.

Тамъ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Я ухожу теперь.

ЗЕЛЛЕРЪ!

Веселья много вамъ!

АЛЬЦЕСТЪ.

Прощайте, душечка!

СОФЬЯ.

Прощайте!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Вашъ нижайшій!

АЛЬЦЕСТЪ.

Я вверхъ еще зайду.

ЗЕЛЛЕРЪ (*въ сторону*).

Нахалъ онъ величайшій!

ХОЗЯИНЪ (*взявъ свѣчу*).

Позвольте посвѣтить.

АЛЬЦЕСТЪ (*прощаясь рукой*).

Не нужно, милый мой!

(*Уходитъ*).

СОФЬЯ.

Ну, Зеллеръ, ты идешь? Пойду ли я съ тобой?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Ага, ты просишься!

СОФЬЯ.

Нѣтъ, нѣтъ, ступай: я въ шутку...

ЗЕЛЛЕРЪ.

Да, да, разсказывай! Я знаю, какъ вамъ жутко
Смотрѣть, какъ кто нибудь сбирается на балъ,
А вамъ итти въ постель. Да я вѣдь обѣщалъ
Тебя въ другой взять разъ.

СОФЬЯ.

Отсрочить это можно.
А ты не увлекись, смотри, игрой картежной.
(*Обращаясь къ отцу, который стоитъ, задумавшись*).
Прощай, папа! Пора: давно ужь время сна.

ХОЗЯИНЪ.

Прощай!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Спи хорошо. (*Смотритъ ей вслѣдъ*).
Вѣдь право, не дурна!
(*Бѣжитъ за ней и цѣлуетъ ее въ дверяхъ*).
Прощай, ягненокъ мой.
(*Хозяину*). И вы на боковую?

ХОЗЯИНЪ (*въ сторону*).

Узнать что̀ за письмо, ужасно какъ хочу я.
(*Зеллеру*).
Прощай, кутила: спать пора.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Благодарю.

ХОЗЯИНЪ.

Пойдешь, такъ не забудь дверь запереть свою.
(*Уходитъ*).

ЗЕЛЛЕРЪ.

Не бойтесь, присмотрю.

ЯВЛЕНІЕ VII.

Зеллеръ (*одинъ*).

ЗЕЛЛЕРЪ.

Да, дѣло какъ ни взвѣсить,
Всему виной игра! Мошенника бъ повѣсить!
Онъ явно плутовалъ, а мнѣ пришлось молчать.
Подлецъ, какъ ловко онъ умѣетъ все скрывать!
Какъ быть? Альцестъ богатъ; добро его въ шкатулкѣ
Онъ не привыкъ вѣдь самъ класть на̀ руку охулки,
Когда до женъ чужихъ добраться случай есть;
Такъ отъ чего жъ къ нему на шею мнѣ не сѣсть?
Попасться въ воровствѣ—прескверная задача;
Но я въ такой нуждѣ... Что жъ дѣлать мнѣ иначе?
Игрокъ присталъ съ ножемъ: подай ему мой долгъ...
Эй, Зеллеръ, не робѣй! Весь домъ заснулъ, умолкъ...
А если попадусь—и въ этомъ горя мало!
Жена-красавица не разъ воровъ спасала.
(*Уходитъ*).

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Комната Альцеста. Альковъ; на одной сторонѣ сцены столъ съ бумагами и шкатулкой. Въ глубинѣ—большая дверь, противъ алькова—маленькая.

ЯВЛЕНІЕ I.

Зеллеръ *входитъ въ маленькую дверь въ домино и маскѣ, безъ сапогъ; въ рукахъ у него потайной фонарь. Робко осмотрѣвъ комнату, онъ приближается къ авансцепѣ.*

ЗЕЛЛЕРЪ.

Напрасно говорятъ, что храбрость намъ нужна:
И съ хитростью одной бываетъ жизнь красна.
Одинъ вооруженъ, съ ножемъ и пистолетомъ,
Поставивъ деньги брать себѣ однимъ предметомъ,
Кричитъ: «эй, кошелекъ! безъ лишнихъ словъ, скорѣй!»
Спокойно, словно онъ пришелъ къ кружокъ друзей.
Другой же, навострясь искусною снаровкой,
Часы съ васъ стянетъ такъ проворно и такъ ловко,
Что, даже если бъ вамъ въ лицо онъ закричалъ:
«Смотри, я воръ!»—вашъ глазъ того бъ не замѣчалъ.
Подобной ловкости судьба мнѣ не послала:
Я головой не храбръ, проворства въ пальцахъ мало.
Но случай мнѣ такой нельзя же прозѣвать:
Вѣдь деньги каждый день намъ надо выдавать.
Коль разъ сюда вошелъ, то пятиться не надо!
Всѣ думаютъ, что я брожу средь маскарада.
Альцестъ пошелъ кутить, жена легла въ постель:
Удобнѣе нельзя свою обставить цѣль!
(*Подходя къ шкатулкѣ*).
О, вещь прелестная! Кто по тебѣ не плачетъ?
Монархи безъ тебя—и тѣ немного значутъ.
Отмычка здѣсь моя пусть служитъ мнѣ теперь,
А деньги отомкнутъ мнѣ въ свѣтѣ счастья дверь.
(*Пробуетъ отворить шкатулку*).
Въ судѣ секретаремъ когда-то я считался,
Хотя дѣлами тамъ я мало занимался.
Надежды никакой: весь день пиши, пиши,
Да зарабатывай насущные гроши.
Лишь только разъ съ ключомъ поддѣльнымъ воръ неловко
При мнѣ былъ взятъ—и вмигъ былъ вздернутъ на веревку:
Уплата за процессъ была взята судомъ,
А я, какъ мелкій чинъ, остался лишь съ ключомъ.
Я взялъ его. Къ чему бъ такая дрянь, казалось?
Но службу сослужить ему теперь досталось.
(*Ломаетъ замокъ*).

Ага! О, видъ какой! Да сколько жъ денегъ тутъ!
(*Набиваетъ карманы деньгами*).
Восторгъ стѣсняетъ духъ! Карманы врозь ползутъ!
Чего же я дрожу? Причинъ вѣдь страха нѣту!
Возьму еще! Опять! Фу, срамъ какой! Что это?
(*Прислушивается*).
Иль шутитъ чортъ со мной; послышалось—идутъ.
Вотъ скверность-то была бъ! Ужъ кошки нѣтъ ли тутъ?
Нѣтъ, кажется. Бѣда! Какъ въ щи куръ попался!
Въ дверяхъ замокъ визжитъ...
(*Бросается въ альковъ*).

ЯВЛЕНІЕ II.

Входитъ Хозяинъ *съ восковой свѣчей.*

ЗЕЛЛЕРЪ (*изъ-за занавѣски*).
Самъ тесть сюда забрался!

ХОЗЯИНЪ.
Кто совѣстливымъ въ свѣтъ родился черезъ-чуръ,
Бѣда: дурная мысль не для такихъ натуръ!
Не оказался бъ я настолько любопытенъ,
Не будь съ своимъ письмомъ онъ такъ ненужно скрытенъ.
Въ газетахъ новостей не сыщешь цѣлый годъ,
Да что-то сталъ и тѣхъ запаздывать приходъ.
Что можетъ быть скучнѣй, какъ разлетѣться съ вѣстью
И получить въ отвѣтъ: «Ужъ все успѣлъ прочесть я»!
Будь важнымъ я лицомъ—намѣстникъ иль министръ—
О, былъ тогда бъ приходъ извѣстій очень быстръ!..
Но гдѣ жъ письмо? Ужель онъ взялъ его съ собою,
И мой прекрасный планъ затѣянъ тщетно мною?

ЗЕЛЛЕРЪ (*въ сторону*).
О, старый, глупый шутъ! Богъ сплетень и воровъ
Щедрѣе на тебя излилъ потокъ даровъ.

ХОЗЯИНЪ.
Не сыщется нигдѣ! Но это что? тамъ въ залѣ
Какъ будто...

ЗЕЛЛЕРЪ.
Не меня ль пронюхалъ?

ХОЗЯИНЪ.
Прозвучали
Тамъ женскіе шаги.

ЗЕЛЛЕРЪ.
Ну, значитъ, не меня!

ХОЗЯИНЪ (*Бросается къ двери, задувъ свѣчу, причемъ роняетъ ее, пытаясь отворить замокъ*).
А тутъ еще замокъ испорченъ.
(*Отворяетъ дверь толчкомъ и уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ III.

Софья *робко входитъ въ заднюю дверь со свѣчей въ рукахъ.*

ЗЕЛЛЕРЪ (*въ сторону*).

Вижу я
Знакомое лицо! Супруга. Ба!

СОФЬЯ.

Дрожу я,
Рѣшась на этотъ шагъ.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Ее, ее живую
Я вижу! Здѣсь пришла съ нимъ видѣться она;
Но какъ мнѣ выскочить? задача мудрена.

СОФЬЯ.

Послушайся любви—какъ нѣжно и какъ сладко
Она васъ завлечетъ...

ЗЕЛЛЕРЪ.

Со мною лихорадка,
А надобно молчать.

СОФЬЯ.

А заблудившись разъ—
Тяжелѣ бремени на свѣтѣ нѣтъ для насъ!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Въ болотѣ для тебя привольнѣй жить бы было.

СОФЬЯ.

На свѣтѣ, кажется, все для меня постыло:
Мой мужъ сошелъ съ ума. Измучилъ онъ меня
Такъ, что его теперь лишь ненавижу я.

ЗЕЛЛЕРЪ.

О, вѣдьма!

СОФЬЯ.

Отдала ему мою я руку,
Но сердце взялъ Альцестъ.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Прошла ты, знать, науку,
Какъ отравлять людей.

СОФЬЯ.

Меня онъ научилъ,
Какъ слѣдуетъ любить.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Пусть онъ бы проклятъ былъ!

СОФЬЯ.

Онъ превратить съумѣлъ мнѣ зиму сердца въ лѣто!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Мужья, слыхали ль вы подобные секреты?

СОФЬЯ.

Какъ онъ меня любилъ!

Но та пора прошла.

СОФЬЯ.

И какъ любила я!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Дурацкія дѣла!

СОФЬЯ.

Судьба расторгла насъ и — по грѣхамъ несчетнымъ
Моимъ — судила мнѣ прожить всю жизнь съ животнымъ.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Со мною то-есть. Да, я скотъ и, сверхъ того,
Рогатый!

СОФЬЯ.

Это что?

ЗЕЛЛЕРЪ.

А?

СОФЬЯ.

Свѣчка моего
Отца! Какимъ путемъ она сюда попала?
Подслушать захотѣлъ?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Знать, совѣсть мучить стала!

СОФЬЯ.

Какъ здѣсь она — понять я не могу никакъ!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Она и предъ отцомъ не попадетъ въ просакъ.

СОФЬЯ.

Все, кажется, молчитъ, и домъ давно улегся.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Но, видно, отъ грѣха никто не убережся!

СОФЬЯ.

Отецъ навѣрно спитъ. Смущенъ мой разумъ весь.
Да ну: что̀ будетъ — будь!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Ай, ай!

СОФЬЯ.

Альцестъ, ты здѣсь?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Вотъ я тебя!

СОФЬЯ.

Я въ немъ еще все сомнѣваюсь:
Любя, его боюсь.

ЗЕЛЛЕРЪ.

А я его пугаюсь,
Какъ бѣса — и предстань здѣсь дьяволъ предо мной,
Я бъ отдалъ все ему, лишь сгинулъ бы съ тобой.

СОФЬЯ.

О, сердце, право, ты ужъ что то слишкомъ честно!
Клялось ты вѣрнымъ быть; но вѣдь тебѣ жъ извѣстно,

Что тотъ, съ кѣмъ глупо ты сошлась на утрѣ дней,
И глупъ, и грубъ, и подлъ!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Все я-то?

СОФЬЯ.

Вѣдь ей-ей,
Чѣмъ съ пугаломъ такимъ на цѣлый вѣкъ связаться,
Готова хоть сейчасъ я дьяволу отдаться!
Онъ хуже чорта!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Чортъ — и пугало? Нѣтъ, я
Не вытерплю.

(*Хочетъ выскочить изъ-за занавѣски, но появленіе Альцеста заставляетъ его остановиться*).

ЯВЛЕНІЕ IV.

Входитъ Альцестъ *въ шляпѣ, со шпагой и въ плащѣ, который онъ тотчасъ же сбрасываетъ.*

АЛЬЦЕСТЪ.

Давно-ль красавица моя
Пришла?

СОФЬЯ.

Ты опоздалъ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Дрожишь ты?

СОФЬЯ.

Сердце сжало!

АЛЬЦЕСТЪ.

Не бойся!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Ужъ на *ты* — и это лишь начало!

СОФЬЯ.

Ты чувствуешь, какъ я страдала для тебя!
Скажи же мнѣ теперь, простишь ли ты меня?

АЛЬЦЕСТЪ.

О, Софья!

СОФЬЯ.

Лишь прости, чтобъ кончить мнѣ мученье!

ЗЕЛЛЕРЪ.

А у меня просить не будешь ты прощенья?

СОФЬЯ.

Зачѣмъ и какъ я здѣсь — все непонятно мнѣ!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Ну, это знаю я.

СОФЬЯ.

Я брежу, какъ во снѣ.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Когда-бъ то такъ!

СОФЬЯ.

Душа тоску тебѣ вѣряетъ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Другъ, горе раздѣля, тоску намъ услаждаетъ.

СОФЬЯ.

Ты симпатичнѣйшій изъ всѣхъ моихъ друзей.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Зѣвать вдвоемъ весь вѣкъ — вотъ все, что̀ нужно ей
Въ симпатіи.

СОФЬЯ.

Суди жъ, какъ дорогъ ты мнѣ, милый,
Когда сдержать къ тебѣ любовь во мнѣ нѣтъ силы!
Вѣдь что ни говори, а я въ душѣ честна.

АЛЬЦЕСТЪ.

Я знаю.

ЗЕЛЛЕРЪ.

О, и я!

СОФЬЯ.

И все жъ, не будь полна
Моя душа теперь отчаяньемъ холоднымъ,
Стараніе твое осталось бы безплоднымъ.
Но, увидавши разъ, какъ пусто все кругомъ,
Какъ мой несносенъ мужъ, какъ гибнетъ цѣлый домъ,
Какъ нелюбима я, какъ даромъ лью я слезы...
А тутъ еще отецъ гремитъ свои угрозы,
И что ни встанетъ день, то новая печаль...

ЗЕЛЛЕРЪ (*тронутый по своему*).

А, право, вѣдь ее становится мнѣ жаль!

СОФЬЯ.

Мой мужъ порядочно и жить-то не умѣетъ!
Какъ ни просила я, меня онъ не жалѣетъ:
Пьетъ только цѣлый день, да дѣлаетъ долги.
Ему все ни почемъ, хоть домъ ему сожги;
Всѣ выходки его безсмысленны и глупы,
А шутки и слова, какъ плоскій камень, тупы.
Обманщикъ, лжецъ и мотъ...

ЗЕЛЛЕРЪ.

Готово у нея,
Какъ вижу, слово ужъ надгробное мое!

СОФЬЯ.

Я смерть бы предпочла тоскѣ неутолимой,
Не знай я лишь...

ЗЕЛЛЕРЪ.

Чего?

СОФЬЯ.

Что я тобой любима.

АЛЬЦЕСТЪ.

Люблю и чувствую.

СОФЬЯ.

Тобой любимой быть
Достаточно, чтобъ все на свѣтѣ позабыть!
Альцестъ, клянись своей мнѣ вѣрною рукою,
Что будешь вѣчно мнѣ ты преданъ всей душою.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Ого! Куда зашло!

СОФЬЯ.

Отъ одного тебя
Могу еще я ждать отрады для себя!

АЛЬЦЕСТЪ.

Но чѣмъ тебѣ помочь—скажи?

(*Обнимаетъ Софью и цалуетъ ее*).

ЗЕЛЛЕРЪ.

О, я несчастный!
Ужели надъ моей судьбиною злосчастной
Не сжалится никто?

СОФЬЯ.

Мой другъ!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Ну, да! вотъ такъ!
Подобной дружбѣ, другъ, повѣритъ лишь дуракъ.
И я повѣрилъ бы, когда бъ ты увѣряла
Его въ любви своей, но все жъ не цѣловала.

АЛЬЦЕСТЪ.

О, ангелъ мой!

СОФЬЯ.

Еще тебя цѣлую разъ,
Затѣмъ—прощай.

АЛЬЦЕСТЪ.

Идешь?

СОФЬЯ.

Долгъ разлучаетъ насъ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Ты любишь и идешь?

СОФЬЯ.

Люблю—затѣмъ иду я!
Я друга потерять, оставшись здѣсь, рискую.
Излить свою печаль—для страждущей души
Пріятнѣе тайкомъ, среди ночной тиши;
Но какъ ни сладостно намъ другу довѣряться,
Все жъ женщина должна беречь себя стараться.
Порой довѣрчивость къ опасности ведетъ.
Въ такой счастливый часъ нерѣдко завлечетъ
Насъ сердце до того, что друга поцѣлуешь;
Но другъ мужчина вѣдь!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Да, да! Ты это чуешь!

АЛЬЦЕСТЪ.

Прощай и помни то, что я навѣки твой!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Прошла на этотъ разъ гроза надъ головой!

(*Софья уходитъ, Альцестъ провожаетъ ее въ среднюю дверь*).

Счастливо обошлось! Теперь давай Богъ ноги,
Пока тебѣ опять не заперли дороги.

(*Выскакиваетъ изъ алькова и быстро убѣгаетъ въ боковую дверь*).

ЯВЛЕНІЕ V.

Альцестъ (*возвращаясь*).

Что хочешь, сердце, ты? Не странно ли, что видъ
Любимой женщины всегда насъ веселитъ?
Мы благодарность къ ней питаемъ, безъ сомнѣнья,
За прошлыя любви плѣнительной мгновенья.
Что перечувствовалъ въ минуты эти я,
И сколько счастья въ нихъ былого для меня!
Душа до сей поры полна благословенья,
Едва ея любви я вспомню выраженья!
Какъ иначе теперь я чувствую себя!
Я бъ уважалъ ее и даже погубя!
Съ намѣреньемъ дурнымъ конечно я явился!
Но мигъ одинъ прошелъ—и снова я влюбился.
Пустая вѣтренность и замыслы прошли:
Гдѣ вольныя слова и глупости мои?
Душа моя ее невольно уважаетъ.
Такая женщина насъ первая поймаетъ:
Таковъ удѣлъ людской! Чѣмъ больше разсуждать
О разныхъ случаяхъ, тѣмъ ихъ труднѣй понять.
Но къ дѣлу! Софьѣ мнѣ, во что бы то ни стало.
Придется подарить и, кажется, не мало.
Судьба ея меня гнететъ и тяготитъ,
Затѣмъ-что мужъ такой жизнь можетъ отравить.
Чтобъ дать ей, у меня отыщется довольно.
Судьба ея смягчитъ вѣдь всякаго невольно,
Тѣмъ болѣе меня: я такъ привязанъ къ ней!
Къ тому жъ бѣда ея—все жъ плодъ моихъ затѣй.
Такъ свыше сужденo! Съ судьбой нельзя бороться;
А въ чемъ невластны мы—пусть будетъ, что придется.

(*Отворяетъ шкатулку*).

Что вижу! Здѣсь былъ воръ—въ шкатулкѣ былъ моей—
И четверти того, что было, нѣту въ ней!
Хоть золото при мнѣ! Я ключъ ношу въ карманѣ,
И въ полночь вышелъ вѣдь: воръ, значитъ, былъ не ранѣ.
Но кто? Не Софья ль? Нѣтъ! Ее ль подозрѣвать!
Мой-камердинеръ? Нѣтъ!—онъ легъ давно ужъ спать.
И честенъ былъ всегда—онъ такъ бы не попался!
Но кто жъ? Ей-богу я въ догадкахъ потерялся.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Комната въ гостинницѣ.

ЯВЛЕНІЕ I.

Хозяинъ *сидитъ въ халатѣ, за столомъ съ нагорѣвшей свѣчей. На столѣ кофейникъ, трубка и газеты.*

ХОЗЯИНЪ.

Проклятое письмо! Съ нимъ сонъ ушелъ мой прочь.
Да и продѣлки всѣ, что̀ были въ эту ночь,
Такъ изумительны, что я въ нихъ сбился съ толка;
Конечно, въ лѣсъ итти—бояться надо волка;
Кто шаритъ по ночамъ, тому за дѣло—страхъ;
Но вѣдь хозяину не слѣдъ же впопыхахъ
Бросаться такъ, едва заслышалъ шумъ иль шорохъ.
Съ ворами чортъ живетъ въ однѣхъ, слыхалъ я, нбрахъ;
А тутъ вмѣшался чортъ. И кельнеръ, и мой зять,
И самъ Альцестъ давно легли въ то время спать.
Но вотъ что: утромъ въ три часа или четыре
Я слышалъ легкій шумъ у дочери въ квартирѣ.
Ужь не она ль была меня спугнувшій духъ?
Я слышалъ женскій шагъ; мой не ошибся слухъ.
Но что ей дѣлать тамъ? Она не безъ привычки
Разсматривать бѣлье и разныя вещички
Пріѣзжихъ къ намъ гостей. Быть-можетъ, въ томъ вся суть.
Какъ не пришло на умъ ее мнѣ припугнуть
И посмѣяться съ ней? Тогда бы отыскала
Она мнѣ и письмо; теперь же все пропало.
Досадно! Вѣчно такъ! Благая мысль придетъ
Всегда намъ въ голову, когда пора пройдетъ.

ЯВЛЕНІЕ II.

Хозяинъ *и* Софья.

СОФЬЯ.

Представь, папà ..

ХОЗЯИНЪ.

Сказать вѣдь «съ добрымъ утромъ» надо

СОФЬЯ.

Прости, папà! Ей-ей и утру я не рада!

ХОЗЯИНЪ.

А что?

СОФЬЯ.

Вѣдь деньги тѣ, которыя досталъ
Альцестъ, пропали.

ХОЗЯИНЪ.

Да? Зачѣмъ же онъ игралъ?
Въ игрѣ конецъ одинъ.

СОФЬЯ.

Не это — ихъ украли.

ХОЗЯИНЪ.

Какъ?

СОФЬЯ.

Ночью...

ХОЗЯИНЪ.

Залѣзать къ намъ черти видно стали?
Но кто?

СОФЬЯ.

Богъ вѣсть!

ХОЗЯИНЪ.

Но какъ и гдѣ стянуть онъ могъ!

СОФЬЯ.

Да изъ шкатулки взялъ, сломавши въ ней замокъ.

ХОЗЯИНЪ.

Когда же?

СОФЬЯ.

Нынче въ ночь.

ХОЗЯИНЪ (*про-себя*).

Вотъ мнѣ за посѣщенье!
Найдутъ мою свѣчу — возникнетъ подозрѣнье.

СОФЬЯ (*про-себя*).

Онъ сильно пораженъ! Ужель онъ это самъ?..
Онъ въ комнату входилъ; свѣча стояла тамъ...

ХОЗЯИНЪ (*про-себя*).

Не Софья ль, чортъ возьми? Вотъ былъ бы случай скверный!
Сегодня жъ ночью тамъ была она навѣрно...
(*Громко*).
Преглупо, какъ взгляну! Съ тобой бѣда намъ тутъ!
На всю гостинницу теперь поклепъ взведутъ.

СОФЬЯ.

О, да, какъ ни верти, въ такихъ дѣлахъ на свѣтѣ
Всегда въ концѣ концовъ хозяева въ отвѣтѣ.

ХОЗЯИНЪ.

Я знаю это самъ. Все глупо, какъ ни взять!
Коль то домашній воръ, то какъ его искать —
Вотъ въ чемъ забота мнѣ.

СОФЬЯ.

Я въ совершенномъ горѣ.

ХОЗЯИНЪ (*про-себя*).

Ага! боишься ты!
(*Громко, съ печалью въ голосѣ*).

Когда бъ нашлось при ворѣ
Все то, что̀ взято имъ!

СОФЬЯ (*про-себя*).

Онъ каяться готовъ.

(*Громко*).

Будь это такъ, то мы должны безъ дальнихъ словъ
Отдать Альцесту все—и дѣло въ шляпѣ будетъ.

ХОЗЯИНЪ (*про-себя*).

Она! Иначе пусть самъ чортъ меня засудитъ.

(*Громко*).

Послушай, Софьюшка, я такъ былъ убѣжденъ...
Постой! (*Подходитъ къ дверямъ и запираетъ ихъ*).

СОФЬЯ (*про-себя*).

О, Господи! признаться хочетъ онъ.

ХОЗЯИНЪ.

Я знаю хорошо, что лгать ты не умѣешь.

СОФЬЯ.

Тѣмъ больше предъ тобой; и ты не пожалѣешь,
Довѣрясь мнѣ вполнѣ.

ХОЗЯИНЪ.

Ну, безъ сомнѣнья такъ!
Ты дочь моя, а тамъ все прочее—пустякъ.

СОФЬЯ.

И честный человѣкъ подъ-часъ споткнуться можетъ.

ХОЗЯИНЪ.

И глупъ, кто такъ себя за прошлое тревожитъ.
Я знаю хорошо: ты въ комнатѣ была.

СОФЬЯ (*испуганно*).

Ты знаешь?

ХОЗЯИНЪ.

Видѣлъ самъ, какъ тихо ты вошла;
Но не узналъ и прочь удралъ, не взвидя свѣта.

СОФЬЯ (*про-себя*).

Да, да, сомнѣнья нѣтъ: да, онъ все сдѣлалъ это.

ХОЗЯИНЪ.

Сегодня поутру узналъ лишь я тебя.

СОФЬЯ.

Представь при томъ: свѣчу твою нашла вѣдь я.

ХОЗЯИНЪ.

Ужели?

СОФЬЯ.

Я одна.

ХОЗЯИНЪ.

Вотъ случай благодатный!
Но какъ же деньги намъ отдать ему обратно?

СОФЬЯ.

Ты долженъ у него прощенья попросить,
Сказать, что воръ открытъ, что ты ужъ удалить
Его велѣлъ; что насъ порою бѣсъ смущаетъ;

Что вора горькое раскаянье терзаетъ;
Что деньги найдены, что ты отдать ихъ радъ...
Альцестъ, повѣрь, проститъ — и все пойдетъ на ладъ.

ХОЗЯИНЪ.

Гдѣ надобно схитрить, ты, вижу, просто чудо!

СОФЬЯ.

Отдай же деньги.

ХОЗЯИНЪ.

Я? А мнѣ ихъ взять откуда?

СОФЬЯ.

Они не у тебя?

ХОЗЯИНЪ.

Да ихъ-то далъ мнѣ кто жъ?

СОФЬЯ.

Кто далъ тебѣ?

ХОЗЯИНЪ.

Ну, да — ты, что ли?

СОФЬЯ.

У кого жъ
Они?

ХОЗЯИНЪ.

Какъ — у кого?

СОФЬЯ.

Вѣдь у тебя же?

ХОЗЯИНЪ.

Шутки?

СОФЬЯ.

Куда жъ ты ихъ дѣвалъ?

ХОЗЯИНЪ.

Да брось же прибаутки:
Не ты ли ихъ взяла?

СОФЬЯ.

Я?

ХОЗЯИНЪ.

Ты?

СОФЬЯ.

Какимъ путемъ?

ХОЗЯИНЪ.

Э, просто!
(*Дѣлаетъ движенье рукой, какъ будто что-то беретъ*).

СОФЬЯ.

Не пойму!

ХОЗЯИНЪ.

Крѣпка ты, вижу, лбомъ!
Велѣла ихъ отдать, а запираться хочешь!
Вѣдь ты призналась мнѣ, такъ что жъ меня порочишь?

СОФЬЯ.

Нѣтъ, это черезъ-чуръ! Онъ клеплетъ на меня.
Да ты вѣдь самъ же взялъ все дѣло на себя!

ХОЗЯИНЪ.

Какъ я? Ахъ, ты змѣя! Ты этакимъ укоромъ
Въ лицо грозишь отцу! Меня зовешь ты воромъ,
Укравъ сама.

СОФЬЯ.

Отецъ!

ХОЗЯИНЪ.

Изволь мнѣ отвѣчать:
Была ты въ комнатѣ?

СОФЬЯ.

Была.

ХОЗЯИНЪ.

Такъ кто же взять
Могъ деньги?

СОФЬЯ.

Знаю.

ХОЗЯИНЪ.

Кто жъ?

СОФЬЯ.

Вѣдь вы сказали сами,
Что были тоже тамъ.

ХОЗЯИНЪ.

Молчать! Иль съ волосами
Сейчасъ разстанешься!

(*Софья, плача, уходитъ*).

Да, шутку завела
Ужъ слишкомъ далеко, негодница! Ушла!
Вѣдь вотъ надуть отца родного захотѣла!
Но деньги у нея—сказать могу я смѣло.

ЯВЛЕНІЕ III.

Входитъ Альцестъ *въ раздумьи.*

ХОЗЯИНЪ (*плаксивымъ тономъ*).

Ахъ, добрый господинъ, какъ мы огорчены!
Я плачу самъ, что такъ дѣла у насъ дурны.
До времени, прошу, вы только помолчите.
Я все устрою вмигъ; а то — вы посудите —
Узнаютъ въ городѣ завистники о всемъ —
И вымѣстится злость на мнѣ, на мнѣ одномъ.
Я вижу, что вашъ воръ есть просто воръ домашній;
Но мы, повѣрьте, всѣ его откроемъ шашни.
Что̀ взято имъ у васъ?

АЛЬЦЕСТЪ.

Сто талеровъ!

ХОЗЯИНЪ.

Шути!

АЛЬЦЕСТЪ.

Сто цѣлыхъ талеровъ!

ХОЗЯИНЪ.

Въ грязи ихъ не найти.

АЛЬЦЕСТЪ.

Но, право, я отъ нихъ готовъ бы отказаться,
Лишь только бъ удалось до вора мнѣ добраться.

ХОЗЯИНЪ.

По мнѣ, лишь деньги бы могли мы возвратить,
А кто ихъ взялъ — сй-ей, не стоитъ говорить.

АЛЬЦЕСТЪ (*про-себя*).

Ужель старикъ-слуга? Нѣтъ, онъ на это дѣло
Никакъ бы не пошелъ, могу сказать я смѣло.

ХОЗЯИНЪ.

Напрасно станете вы голову ломать!
Я деньги возвращу.

АЛЬЦЕСТЪ.

Вы?

ХОЗЯИНЪ.

Только помолчать
Прошу я васъ о томъ. Мы не чужіе съ вами;
Я деньги возвращу — и будемъ вновь друзьями.

АЛЬЦЕСТЪ.

Вы, значитъ, знаете?

ХОЗЯИНЪ.

Я деньги возвращу.

АЛЬЦЕСТЪ.

И скажете, кто воръ?

ХОЗЯИНЪ.

Ни за душу свою.

АЛЬЦЕСТЪ.

Откройтесь, я прошу.

ХОЗЯИНЪ.

Не смѣю вамъ признаться.

АЛЬЦЕСТЪ.

Домашній кто-нибудь?

ХОЗЯИНЪ.

Оставьте добиваться.

АЛЬЦЕСТЪ.

Служанка, можетъ быть?

ХОЗЯИНЪ,

Кто — Анна? Никогда.

АЛЬЦЕСТЪ.

Такъ кельнеръ виноватъ?

ХОЗЯИНЪ.

Онъ честенъ былъ всегда.

АЛЬЦЕСТЪ.

Кухарки ловки всѣ..

ХОЗЯИНЪ.

Да, жарить или стряпать.

АЛЬЦЕСТЪ.

Такъ мальчикъ Гансъ?

ХОЗЯИНЪ.

Онъ глупъ, чтобъ такъ удачно сцапать.

АЛЬЦЕСТЪ.

Садовникъ могъ украсть.

ХОЗЯИНЪ.

Нѣтъ, вамъ не угадать.

АЛЬЦЕСТЪ.

Такъ сынъ?

ХОЗЯИНЪ.

О, нѣтъ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Тогда...

ХОЗЯИНЪ.

Не пса же обвинять?

АЛЬЦЕСТЪ (*про себя*).

Проклятый, старый плутъ! Но я тебя поймаю!

(*Громко*).

Кто бъ ни былъ воръ — ему проступокъ я прощаю,
Пусть деньги лишь отдастъ.

(*Дѣлаетъ видъ, что хочетъ уйти*).

ХОЗЯИНЪ.

О, да!

АЛЬЦЕСТЪ (*какъ-будто вспомнивъ что-то*).

Чуть не забылъ!
Велите-ка подать мнѣ въ комнату чернилъ.

ХОЗЯИНЪ.

Ого, вчера письмо получено лишь вами—
И нуженъ ужъ отвѣтъ! Знать, съ важными вѣстями!

АЛЬЦЕСТЪ.

Отсрочивать нельзя.

ХОЗЯИНЪ.

Пріятно ихъ писать

АЛЬЦЕСТЪ.

Ну это не всегда! Мнѣ время жаль терять
На письма вздорныя.

ХОЗЯИНЪ.

Тутъ какъ въ игрѣ: бываетъ,
Что дѣльное одно намъ двадцать наверстаетъ.
Простите мнѣ, коль васъ сказать я попрошу,
Что̀ пишутъ нынѣ вамъ?

АЛЬЦЕСТЪ.

За свѣтъ весь не скажу.

ХОЗЯИНЪ.

Не изъ Америки ль?

АЛЬЦЕСТЪ.

Не смѣю вамъ признаться.

ХОЗЯИНЪ.

Не слегъ ли Фридрихъ нашъ?

АЛЬЦЕСТЪ.

Оставьте добиваться!

ХОЗЯИНЪ.

Изъ Гессена тогда? Наборъ опять?

АЛЬЦЕСТЪ.

О, нѣтъ!

ХОЗЯИНЪ.

Здоровъ ли государь?

АЛЬЦЕСТЪ.

Быть можетъ—мой отвѣтъ.

ХОЗЯИНЪ.

Не съ сѣвера ль гроза?

АЛЬЦЕСТЪ.

Не стану вамъ божиться.

ХОЗЯИНЪ.

Въ броженьи все кругомъ?

АЛЬЦЕСТЪ.

Нельзя не подивиться!

ХОЗЯИНЪ.

Несчастье намъ грозитъ?

АЛЬЦЕСТЪ.

Да, близится бѣда!

ХОЗЯИНЪ.

Не правда ль, что морозъ?..

АЛЬЦЕСТЪ.

Сгубилъ тьму зайцевъ? Да!

ХОЗЯИНЪ.

Ко мнѣ, я вижу, въ васъ большого нѣтъ довѣрья.

АЛЬЦЕСТЪ.

Вамъ вашею плачу монетой лишь теперь я.

ХОЗЯИНЪ.

Скажите, чѣмъ могу его я заслужить?

АЛЬЦЕСТЪ.

Скажите мнѣ кто воръ—и я готовъ вручить
Вамъ тотчасъ же письмо: условья вамъ сподручны.
Ну, что же?—да иль нѣтъ?

ХОЗЯИНЪ (*взволнованный любопытствомъ*).

Вы очень добродушны!

(*про себя*).

Будь лишь не эта мнѣ задача задана!

АЛЬЦЕСТЪ.

Но это лишь услугъ взаимная мѣна;
А я не обману—клянуся честью въ этомъ.

ХОЗЯИНЪ.

О, если бъ не манилъ меня своимъ секретомъ
Онъ ловко такъ! Къ тому жъ тутъ Софья... Впрочемъ, что́ жъ:
Вѣдь противъ склонности природной не пойдешь!
А у меня во рту слюна точиться стала.

АЛЬЦЕСТЪ (*про себя*).

Да такъ не проберетъ и крысу запахъ сала!

ХОЗЯИНЪ.

(*сконфуженно и все еще колеблясь*).

Почтенный господинъ, вы пожелали знать...

АЛЬЦЕСТЪ (*про себя*).

Клюетъ!

ХОЗЯИНЪ.

И я... и я... обязанъ вамъ сказать...

А вы письмо свое мнѣ тотчасъ отдадите?

АЛЬЦЕСТЪ (*показывая письмо*).

Сейчасъ.

ХОЗЯИНЪ.

Вашъ воръ...

АЛЬЦЕСТЪ.

Мой воръ?

ХОЗЯИНЪ.

Когда вы знать хотите...

АЛЬЦЕСТЪ.

Ну, да!

ХОЗЯИНЪ.

Никто другой...

АЛЬЦЕРТЪ.

Какъ кто?

ХОЗЯИНЪ (*вырывая письмо изъ рукъ Альцеста*).

Какъ дочь моя.

АЛЬЦЕСТЪ (*пораженный*).

Какъ?

ХОЗЯИНЪ

(*сорвавъ конвертъ и начиная читать*).

«Обращаюсь къ Вамъ...

АЛЬЦЕСТЪ (*тряся его за плечи*).

Она? Нѣтъ, вы меня

Хотите обмануть!

ХОЗЯИНЪ (*нетерпѣливо*).

Какъ онъ меня тревожитъ!

(*Продолжая читать*).

«Съ покорнѣйшей...»

АЛЬЦЕСТЪ.

Она? Неправда! Быть не можетъ!

ХОЗЯИНЪ.

(*вырвавшись изъ рукъ Альцеста и продолжая читать*).

«Я просьбой, дорогой...»

АЛЬЦЕСТЪ.

Ну если это такъ—

Я долженъ замолчать.

ХОЗЯИНЪ (*продолжая читать*).

«Мой покровитель...»

АЛЬЦЕСТЪ.

Какъ
Случилось это все?

ХОЗЯИНЪ.

Скажу въ другое время.

АЛЬЦЕСТЪ.

Такъ это вѣрно?

ХОЗЯИНЪ.

Да!

АЛЬЦЕСТЪ (*уходя*).

Мнѣ не по силамъ бремя!

ЯВЛЕНІЕ IV.

ХОЗЯИНЪ.

(*продолжая читать письмо съ перерывами*).

Ушелъ? «Вамъ столько разъ случалось мнѣ прощать
Мои вины, что васъ рѣшаюсь утруждать
Я и на этотъ разъ...» За что же тутъ прощенье?
«Вамъ вѣсть моя должна доставить утѣшенье...»
Ну, дальше! «Благодать Господь излилъ на насъ,
За что благодарить всѣхъ прежде должно васъ:
Мнѣ нынче родила жена шестого сына».
О, чортъ возьми! «Меня жъ столь важная причина
Заставила просить покорнѣйше у васъ...»
Такъ вотъ въ чемъ дѣло все? А я-то битый часъ
Хотѣлъ узнать! И онъ надуть не постыдился
Такъ старика! Такъ вотъ изъ-за чего я бился,
Ухаживалъ за нимъ, упрашивалъ его!
Нѣтъ, другъ сердечный, вонъ изъ дома моего!
Кто можетъ поступать такъ скверно съ старымъ другомъ,
Самъ долженъ ждать себѣ отвѣта по заслугамъ.
Но дочь моя! Нажилъ я, знать, себѣ бѣльмо.

(*срываетъ съ себя парикъ*).

Продалъ я дочь свою за глупое письмо;
Дуракъ! оселъ! болванъ! Подъ старость дурь напала.
Письмо! покража! плутъ! Меня повѣсить мало.
Что дѣлать мнѣ теперь? Какъ горю пособить?

(*Хватаетъ палку и бьетъ по комнатѣ*).

Я голову готовъ бы каждому разбить!
О, если бъ мнѣ теперь враги мои попались—
Я далъ бы знать себя: довольны бы остались!
Чего бъ я ни готовъ былъ, кажется, отдать,
Когда бы могъ ему я голову сорвать!
Мнѣ надо отомстить: я осрамленъ предъ свѣтомъ.

(*Накидывается на кресло и начинаетъ колотить его изо всей мочи*).

А! пыль летитъ! Сорву я сердце хоть на этомъ.

ЯВЛЕНІЕ V.

Хозяинъ продолжаетъ колотить все сильнѣе и сильнѣе по креслу. Зеллеръ *входитъ въ домино и съ маской въ рукахъ, но, увидавъ хозяина, останавливается въ испугѣ.*

ЗЕЛЛЕРЪ.

Что съ нимъ? Иль спятилъ онъ? Тутъ близко не ходи:
Подъ лапу попадешь ему, того гляди.
Да въ стараго глупца, должно быть, чортъ вселился!
Уйду-ка прочь, пока онъ пуще не озлился.

ХОЗЯИНЪ (*не видя Зеллера*).

Охъ, мочи больше нѣтъ! Прошибъ вѣдь даже потъ!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Подобный моціонъ любого проберетъ!
Отецъ!

ХОЗЯИНЪ.

А, сударь! Вы ль? Явились вы давно ли?
Я бьюсь, какъ лещь объ ледъ, а онъ кутитъ на волѣ!
Онъ денежки свои транжиритъ по баламъ
И горя нѣтъ ему, что въ домѣ стыдъ и срамъ.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Что съ вами!

ХОЗЯИНЪ.

Погоди: усталъ съ тобой я плакать!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Да что?

ХОЗЯИНЪ.

Твоя жена... Все, что ли, сразу брякать?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Ай, нѣтъ! Избави Богъ!

ХОЗЯИНЪ.

Весь домъ идетъ вверхъ дномъ,
А тутъ ввязался плутъ еще съ своимъ письмомъ.
(*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ VI.

ЗЕЛЛЕРЪ (*съ комическимъ испугомъ*).

Бѣда! ей-ей, бѣда! Онъ наболтаетъ сдуру,
А я иди—платись: подставь свою имъ шкуру!
Того гляди, съ ума сегодня я сойду!
Я весь горю въ огнѣ, какъ докторъ Фаустъ въ аду!
Такъ рокъ не поступалъ съ Ричардомъ даже Третьимъ.
Смерть! Адъ!.. Рогатый мужъ, ты кончишь тоже этимъ!..
(*Бѣгаетъ въ бѣшенствѣ по сценѣ, затѣмъ останавливается и нѣсколько успокоивается*).
Въ чужомъ добрѣ, слыхалъ я, будто проку нѣтъ;
Но вѣдь меня еще не тянутъ на отвѣтъ.

Пройдетъ все, можетъ быть: всему конецъ бываетъ.
(*Увидя входящаго Альцеста, быстро убѣгаетъ въ испугѣ*).
Ай, батюшки, меня онъ за воротъ поймаетъ!

ЯВЛЕНІЕ VII.

АЛЬЦЕСТЪ (*со шпагой и шляпой въ рукахъ*).

Ни разу въ жизни я такъ не былъ огорченъ!
Созданьемъ молодымъ и милымъ увлеченъ,
Я видѣть въ немъ готовъ одну былъ добродѣтель —
И что же?—та, кого—Господь тому свидѣтель—
Подругою считалъ, отрадой, божествомъ—
Вдругъ пала низко такъ! Мой умъ идетъ кругомъ!
Пускай она теперь въ моемъ упала мнѣньи,
Пусть съ ней равны теперь всѣ прочія творенья ..
Но низко такъ упасть... О, я съ ума сойду!...
И все жъ ее люблю собѣ я на бѣду...
Но неужели же не справлюсь я съ собою?..
И счастья не схвачу, которое судьбою
Дается въ руки мнѣ?.. Красавица моя
Въ нуждѣ... Скорѣй, Альцестъ! Грошн, что̀ дамъ ей я,
Барышъ мнѣ принесутъ. Она распорядиться
Изволила сама. Ну, что̀ же! Притвориться
Рѣшись, Альцестъ, скажи съ спокойствіемъ въ глазахъ:
«Безъ денегъ, знаю, вы и по уши въ долгахъ —
Что жъ, тратьте изъ моихъ и за свое считайте
Все, что̀ имѣю я, но только не скрывайте».
Но вотъ она идетъ — и рѣчь я позабылъ;
Но все жъ не вѣрить ей въ душѣ моей нѣтъ силъ.

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Альцестъ и Софья.

СОФЬЯ.

Меня, Альцестъ, давно вы такъ не убѣгали!
Иль къ одиночеству душой вы склонны стали?

АЛЬЦЕСТЪ.

Не знаю, право, какъ остался я одинъ —
И рѣчь съ собой держалъ безъ всякихъ я причинъ.

СОФЬЯ.

Потеря велика, въ томъ нѣтъ, конечно, спора

АЛЬЦЕСТЪ.

Ахъ, стану ль я хандрить изъ-за такого вздора!
Не все ль равно грошамъ лежать или пропасть,
Когда пришлось въ карманъ надежный имъ попасть?

СОФЬЯ.

Намъ ваша доброта—всегдашняя защита.

АЛЬЦЕСТЪ.

Лишь дѣлалось бы все безъ фальши и открыто.

СОФЬЯ.

Какъ это мнѣ понять?

АЛЬЦЕСТЪ (*съ улыбкой*).

Что это?

СОФЬЯ.

Вашу рѣчь.

АЛЬЦЕСТЪ.

Зачѣмъ бы вамъ меня довѣрьемъ не облечь?
Пускай пропавшее летитъ куда попало!
Узнай я вѣ время объ этомъ—я бъ ни мало
И не заботился.

СОФЬЯ (*изумленная*).

Секретъ открылся мой?

АЛЬЦЕСТЪ.

Отецъ вашъ... Знаю все, мой ангелъ дорогой!

СОФЬЯ.

И вы прощаете?

АЛЬЦЕСТЪ.

Кто жъ шуткѣ дастъ значенье?

СОФЬЯ.

Казалось мнѣ...

АЛЬЦЕСТЪ.

Позволь мнѣ въ полномъ увлеченьи
Сказать тебѣ, что я по прежнему лишь твой,
И только временно разлучены судьбой.
Другъ другу сердцемъ мы давно принадлежали:
Ни въ деньгахъ, ни въ добрѣ различья мы не знали.
Хозяйкой полною, прошу, считай себя
Въ имуществѣ моемъ, но лишь люби меня.

(*Обнимаетъ ее. Софья молчитъ*).

Скажи, чтѣ хочешь ты? — готовъ исполнить все я.

СОФЬЯ (*гордо освобождаясь изъ его объятій*).

О деньгахъ рѣчь со мной оставьте вы въ покоѣ!
Мнѣ непонятенъ вашъ, признаться, даже тонъ.
Вы забываетесь.

АЛЬЦЕСТЪ.

Повѣрьте мнѣ, что онъ
Звучитъ прошедшаго лишь вѣрнымъ отголоскомъ!
За что меня казнить въ такомъ порывѣ жесткомъ,
Зайдя такъ далеко?

СОФЬЯ!

Зайдя? куда?

АЛЬЦЕСТЪ.

Ну, да!

СОФЬЯ.

Что съ вами?

АЛЬЦЕСТЪ.

Вѣрьте, я спасу васъ отъ стыда
Изъ уваженія къ любви прошедшей нашей.

СОФЬЯ (*съ гнѣвомъ*).

Альцестъ!

АЛЬЦЕСТЪ.

Поговорить прошу я васъ съ папашей:
Онъ объяснитъ вамъ все.

СОФЬЯ.

(*съ нетерпѣливой горячностью*).

А что мнѣ до молвы?
Я шутокъ не люблю!

АЛЬЦЕСТЪ.

Онъ мнѣ сказалъ, что вы...

СОФЬЯ.

Ну что?

АЛЬЦЕСТЪ.

Да то, мой другъ, что деньги взяты вами!

СОФЬЯ (*заливаясь слезами*).

О, Господи! Кто ждалъ такой бѣды надъ нами?

АЛЬЦЕСТЪ (*спохватясь*).

О, Софья!

СОФЬЯ.

Гдѣ вашъ стыдъ?

АЛЬЦЕСТЪ.

Мой другъ!

СОФЬЯ.

Прочь отъ меня!

АЛЬЦЕСТЪ.

Прости!

СОФЬЯ.

Подите прочь: простить не въ силахъ я!
Пусть честь мою отецъ задѣть не постыдился;
Но какъ могла я ждать, чтобъ и Альцестъ рѣшился...
Я бъ не рѣшилась въ томъ признаться до конца —
Теперь же знайте всѣ, что деньги у отца!
(*Быстро уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ IX.

Альцестъ, *потомъ* Зеллеръ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Ну, вотъ вамъ и сюрпризъ! Что можетъ быть глупѣе?
Самъ чортъ не разберетъ, чьи тутъ слова вѣрнѣе!
И тотъ, и та честны—а между тѣмъ взвели
Другъ на друга поклепъ. Боюсь, чтобъ не свели
Они меня съ ума! Давно знакомъ я съ ними;
Но встрѣтиться не ждалъ съ курьезами такими.

Бываютъ случаи, что чѣмъ начнешь сильнѣй
Въ нихъ вдумываться, тѣмъ становишься глупѣй.
Чтобъ Софья и старикъ меня обворовали!
Вотъ если бы еще на Зеллера сказали—
Тутъ подозрѣньемъ былъ малѣйшій бы намекъ:
Но онъ на балѣ былъ и денегъ взять не могъ.

Входитъ Зеллеръ *въ обыкновенномъ платьѣ, съ кружкой вина.*

ЗЕЛЛЕРЪ.

А, вотъ нашъ милый другъ! Усталъ, знать, на пирушкѣ!
Какъ былъ бы радъ хватить его я по макушкѣ!

АЛЬЦЕСТЪ (*про себя*).

Вотъ онъ — и съ виду пьянъ. (*Громко*).
Ну, что вы, Зеллеръ?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Злюсь!
Въ башкѣ гудитъ трезвонъ и съ ногъ совсѣмъ валюсь:
Я разболѣлся весь. (*Третъ лобъ*).

АЛЬЦЕСТЪ.

Довольны ли вы баломъ?
Красавицъ тьма была?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Онѣ, какъ мышь за саломъ,
Гоняются.

АЛЬЦЕСТЪ.

Былъ пиръ?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Да, былъ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Пускались въ плясъ?

ЗЕЛЛЕРЪ (*про себя*).

Нѣтъ, болѣе глазѣлъ съ женой моей на васъ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Повѣрить не могу, чтобъ вы не танцовали.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Зарокъ такой я далъ: мнѣ танцы вредны стали.

АЛЬЦЕСТЪ.

Э! будто бы?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Трещитъ жестоко голова.
Не растанцуешься, когда стоишь едва.

АЛЬЦЕСТЪ.

Что жъ съ вами?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Худо то, что и глаза, и уши
Мои совсѣмъ болятъ отъ видѣнной мной чуши.

АЛЬЦЕСТЪ.

Вотъ какъ! Жалѣю васъ! Давно ли вы больны?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Съ тѣхъ поръ, какъ комнаты у насъ вамъ отданы—
И раньше даже.

АЛЬЦЕСТЪ.

Да? Дивлюсь!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Недугъ прескверный!

АЛЬЦЕСТЪ.

На голову компрессъ холодный — способъ вѣрный,
Могу увѣрить васъ.

ЗЕЛЛЕРЪ (*про себя*).

Да опъ еще трунитъ!
(*Громко*). Ну, это врядъ ли такъ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Пройдетъ все, что́ болитъ.
Вамъ, впрочемъ, подѣломъ! Вещь хуже наживете!
Не стыдно ль, что жену свою вы не берете
Съ собою на балы? Мужъ пляшетъ и кутитъ,
А бѣдная жена одна себѣ сидитъ.

ЗЕЛЛЕРЪ.

О, женушка моя, оставшись, не скучаетъ!
Она и безъ меня согрѣться средство знаетъ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Курьезно это мнѣ.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Кто къ лакомству привыкъ,
Тотъ самъ, гдѣ слѣдуетъ, свой навостритъ языкъ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Что за загадки?

ЗЕЛЛЕРЪ.

О! Ужель ихъ смыслъ не ясенъ?
Exempli gratia я объяснить согласенъ.
Я, напримѣръ, вино хорошее люблю;
А нѣту своего, тогда чужое пью.

АЛЬЦЕСТЪ.

Языкъ бы вамъ сдержать!

ЗЕЛЛЕРЪ (*презрительно*).

А вамъ бы догадаться,
Что разъ она жена, то нечего соваться;
А какъ живемъ мы съ ней — ужъ дѣло то мое.

АЛЬЦЕСТЪ (*со сдержаннымъ гнѣвомъ*).

Мужъ ей вы или нѣтъ, я все жъ скажу свое;
А вамъ языкъ держать не дурно бъ за зубами.

ЗЕЛЛЕРЪ (*про-себя*).

Узнать бы отъ него, хотя обиняками,
Далёко ли зашли...
(*Громко*).
Овечка все жъ моя,
Хоть пастушокъ чужой.

АЛЬЦЕСТЪ.

Не стоите вы, я
Скажу, такой жены столь вѣрной, нѣжной, страстной.
И мужу столько благъ принесшей такъ напрасно!

ЗЕЛЛЕРЪ.

О страстности ея я спорить не хочу;
Что жъ благъ касается, то я не умолчу,
Что мнѣ чело она уборомъ наградила,
Который видно мнѣ судьба уже судила.

АЛЬЦЕСТЪ (*запальчиво*).

Нетъ Зеллеръ!

ЗЕЛЛЕРЪ (*дерзко*).

Что еще?

АЛЬЦЕСТЪ.

Прошу скромнѣе быть!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Я посмотрѣлъ бы, ктобъ смѣлъ глотку мнѣ закрыть!

АЛЬЦЕСТЪ.

Раздѣлаться бъ съумѣлъ въ другомъ я съ вами мѣстѣ

ЗЕЛЛЕРЪ (*полу-громко*).

Защитникъ правъ моихъ супружескихъ и чести!

АЛЬЦЕСТЪ.

О, да!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Куда она зашла — вамъ лучше знать.

АЛЬЦЕСТЪ.

О, негодяй!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Да что тутъ съ вами толковать!
Умѣрьте-ка свой пылъ: для всякаго вѣдь ясно,
Что вы одинъ изъ тѣхъ, которые прекрасно
Умѣютъ отрѣзать со стебля колосокъ,
А мужу жертвовать одинъ лишь стебелекъ!

АЛЬЦЕСТЪ.

Вы въ дерзостяхъ зашли ужъ черезъ-чуръ далёко.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Да полноте, вѣдь я, попригляд'вшись сбоку,
Пронюхалъ кое-что.

АЛЬЦЕСТЪ (*внѣ себя*).

Нѣтъ, это слишкомъ! Вонъ!
Вонъ тотчасъ же! Наглецъ, какъ вижу, страшный онъ!
Какъ удержать себя съ подобнымъ забіякой!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Я думаю, глазамъ своимъ повѣритъ всякій.

АЛЬЦЕСТЪ.

Какъ видѣть вы могли?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Спросите у людей —
Глазами видятъ всѣ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Что?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Будьте посмирнѣй!

АЛЬЦЕСТЪ (*рѣшительно на него наступая*).

Что видѣлъ ты? Когда? Что слышалъ? Ну, живѣе!

ЗЕЛЛЕРЪ (*испугавшись и пятясь*).

Позвольте!

АЛЬЦЕСТЪ.

Стой! Куда?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Гдѣ буду я цѣлѣе.

АЛЬЦЕСТЪ.

Со мной не кончишь такъ!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Не чортъ ли влѣзъ въ него!

АЛЬЦЕСТЪ.

Что слышалъ ты?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Ей-ей, не слышалъ ничего:
Сказалъ мнѣ кто-то.

АЛЬЦЕСТЪ.

Кто?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Да человѣкъ!

АЛЬЦЕСТЪ.

Живѣе!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Да тотъ, кто видѣлъ самъ. Я позову лакея.

АЛЬЦЕСТЪ (*хватая его за́ воротъ*).

Кто видѣлъ?

ЗЕЛЛЕРЪ (*вырываясь*).

Караулъ!

АЛЬЦЕСТЪ (*тормоша его*).

Я лгать тебѣ не дамъ!
(*Выхватываетъ шпагу*).
Кто былъ мошенникъ тотъ? Тотъ воръ, наглецъ?

ЗЕЛЛЕРЪ (*падая со страха на колѣни*).

Я самъ!

АЛЬЦЕСТЪ.

Что жъ видѣлъ ты?

ЗЕЛЛЕРЪ (*робко*).

Да то, что часто такъ бываетъ,
Когда жена часы не съ мужемъ коротаетъ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Ну?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Наконецъ, не мнѣ жъ извѣстно одному,
Что льнетъ мужчина къ ней, а женщина къ нему.

АЛЬЦЕСТЪ.

Ну!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Я предполагалъ въ васъ болѣе догадки.

АЛЬЦЕСТЪ.

Въ чемъ?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Въ томъ, чтобы бѣжать отсюда безъ оглядки.

АЛЬЦЕСТЪ.

Да говори жъ яснѣй!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Да полноте жъ кричать!

АЛЬЦЕСТЪ.

О, чортъ!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Она у васъ сбиралась почевать.

АЛЬЦЕСТЪ (*пораженный*).

Ты лжешь!

ЗЕЛЛЕРЪ.

А, струсилъ онъ!

АЛЬЦЕСТЪ.

Какими онъ путями
Узналъ о томъ?

(*Вкладываетъ шпагу въ ножны*).

ЗЕЛЛЕРЪ (*про себя*).

Смѣлѣй!

АЛЬЦЕСТЪ (*про себя*).

Кто подсмотрѣлъ за нами?
Такъ что жъ?

ЗЕЛЛЕРЪ (*нахально*).

Не мудрено понять другъ друга намъ;
Ночной вашъ разговоръ я весь подслушалъ самъ.

АЛЬЦЕСТЪ.

По гдѣ?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Да возлѣ васъ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Ты такъ-то былъ на балѣ?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Вѣдь вы туда же шли. Однако, покричали
Довольно мы—и вамъ мораль всѣмъ, господа:
Что шашни ваши съ рукъ вамъ сходятъ не всегда.

АЛЬЦЕСТЪ.

Открылось вмѣстѣ съ тѣмъ и то, что ты былъ воромъ.
Ужился бъ я скорѣй съ чумой и всякимъ моромъ,
Чѣмъ, негодяй, съ тобой!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Да, я, конечно, дрянь;
Но, господа, и вы — куда и какъ ни взглянь —

Но больно хороши! Вамъ на добро чужое
Запрету нѣтъ, а мы всегда отвѣтимъ втрое.
Не все ль равно украсть кошель или жену?
Такъ слѣдуетъ итти и въ петлю намъ одну.

АЛЬЦЕСТЪ.

Еще онъ смѣетъ!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Да, большого счастья нѣту
Рогатымъ странствовать на утѣшенье свѣту!
А что до воровства, мы оба хороши:
Жену украли вы, а я у васъ — гроши.

АЛЬЦЕСТЪ (*грозно*).

Что я укралъ?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Жену, которой вы владѣли
И до меня.

АЛЬЦЕСТЪ.

Ты лжешь!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Мы пѣсенку допѣли.

АЛЬЦЕСТЪ.

Ты въ петлю попадешь.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Пусть такъ; но вѣдь законъ
И для подобныхъ вамъ особый учрежденъ.

АЛЬЦЕСТЪ.

Herr Зеллеръ!..

ЗЕЛЛЕРЪ (*дѣлая рукою знакъ, какъ рубятъ головы*)

Да, и васъ обрѣютъ въ новомъ родѣ.

АЛЬЦЕСТЪ.

На практикѣ узналъ, что эта штука въ модѣ?
Не въ петлю, такъ подъ кнутъ ты вѣрно попадешь.

ЗЕЛЛЕРЪ (*показывая на лобъ*).

Но я ужъ заклейменъ.

ЯВЛЕНІЕ X.

Прежніе, Софья *и* Хозяинъ.

СОФЬЯ (*про себя*).

Отца не разберешь!
Онъ сталъ невыносимъ!

ХОЗЯИНЪ.

Дѣвчонка не винится!

СОФЬЯ.

Вотъ и Альцестъ.

ХОЗЯИНЪ (*увидя Альцеста*).

Ага!

СОФЬЯ.

Должно все объясниться.

ХОЗЯИНЪ (*показывая на Софью*).

Вотъ, сударь, воръ!

СОФЬЯ (*указывая на отца*).

Нѣтъ, онъ! Онъ вамъ городитъ вздоръ

АЛЬЦЕСТЪ (*смѣясь и указывая на Зеллера*).

Вотъ воръ!

ЗЕЛЛЕРЪ (*про себя*).

Держись смѣлѣй!

СОФЬЯ.

Возможно ль? Онъ?

ХОЗЯИНЪ.

Онъ воръ?

АЛЬЦЕСТЪ.

Не вы, а онъ укралъ.

ХОЗЯИНЪ.

Скорѣе за рѣшотку,

Подъ кнутъ его!

СОФЬЯ (*Зеллеру*).

Какъ! ты?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Чтобъ чортъ заткнулъ вамъ глотку!

ХОЗЯИНЪ.

Да я тебя!

АЛЬЦЕСТЪ

Прошу, на мигъ умѣрьте пылъ!

На Софью злой поклепъ взведенъ напрасно былъ:

Хотя я ночью здѣсь видался съ нею точно;

(*Зеллеру*).

Но вамъ извѣстно вѣдь, что Софья непорочна.

СОФЬЯ.

Какъ могъ увидѣть онъ — ночь такъ темна была!

ЗЕЛЛЕРЪ.

А все же дрожь меня изрядно пробрала!

АЛЬЦЕСТЪ (*хозяину*).

А вы?

ХОЗЯИНЪ.

Простите мнѣ: я любопытенъ страшно;

Проклятое жъ письмо казалось мнѣ такъ важно..

Но штуки я такой отъ васъ не ожидалъ:

Вашъ кумъ навѣки мнѣ урокъ хорошій далъ!

АЛЬЦЕСТЪ.

Простите хитрость мнѣ! Вы жъ, Софья, безъ сомнѣнья,

Прощаете меня?

СОФЬЯ.

Альцестъ!

АЛЬЦЕСТЪ.

Дурного мнѣнья

Я могъ быть о себѣ, о васъ же — никогда:
Вы честны и добры.

ЗЕЛЛЕРЪ.

Сказать мнѣ что ли «да»?

АЛЬЦЕСТЪ (*Софьѣ*).

Теперь простить пора и Зеллеру.

СОФЬЯ (*подавая ему руку*).

Охотно.

АЛЬЦЕСТЪ (*хозяину*).

А вы?

ХОЗЯИНЪ.

(*подавая руку Зеллеру*).

Ты не воруй!

ЗЕЛЛЕРЪ.

Жилось бы лишь вольготно.

АЛЬЦЕСТЪ.

Но деньги гдѣ жъ мои?

ЗЕЛЛЕРЪ.

Нуждой стѣсненъ я былъ:
Игрокъ проклятый мнѣ на горло наступилъ —
И вашимъ кошелькомъ расчелся я съ долгами,
А остальное — вотъ! Сочтите сколько сами.

АЛЬЦЕСТЪ.

Остатокъ вамъ дарю.

ЗЕЛЛЕРЪ (*про себя*).

Сошло на этотъ разъ!

АЛЬЦЕСТЪ (*Софьѣ*).

Онъ честнымъ мужемъ быть надѣется для васъ;
Но если и затѣмъ онъ станетъ куралесить...

ЗЕЛЛЕРЪ.

То все жъ на этотъ разъ нельзя насъ всѣхъ повѣсить!

F.L. 15-4-40

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED